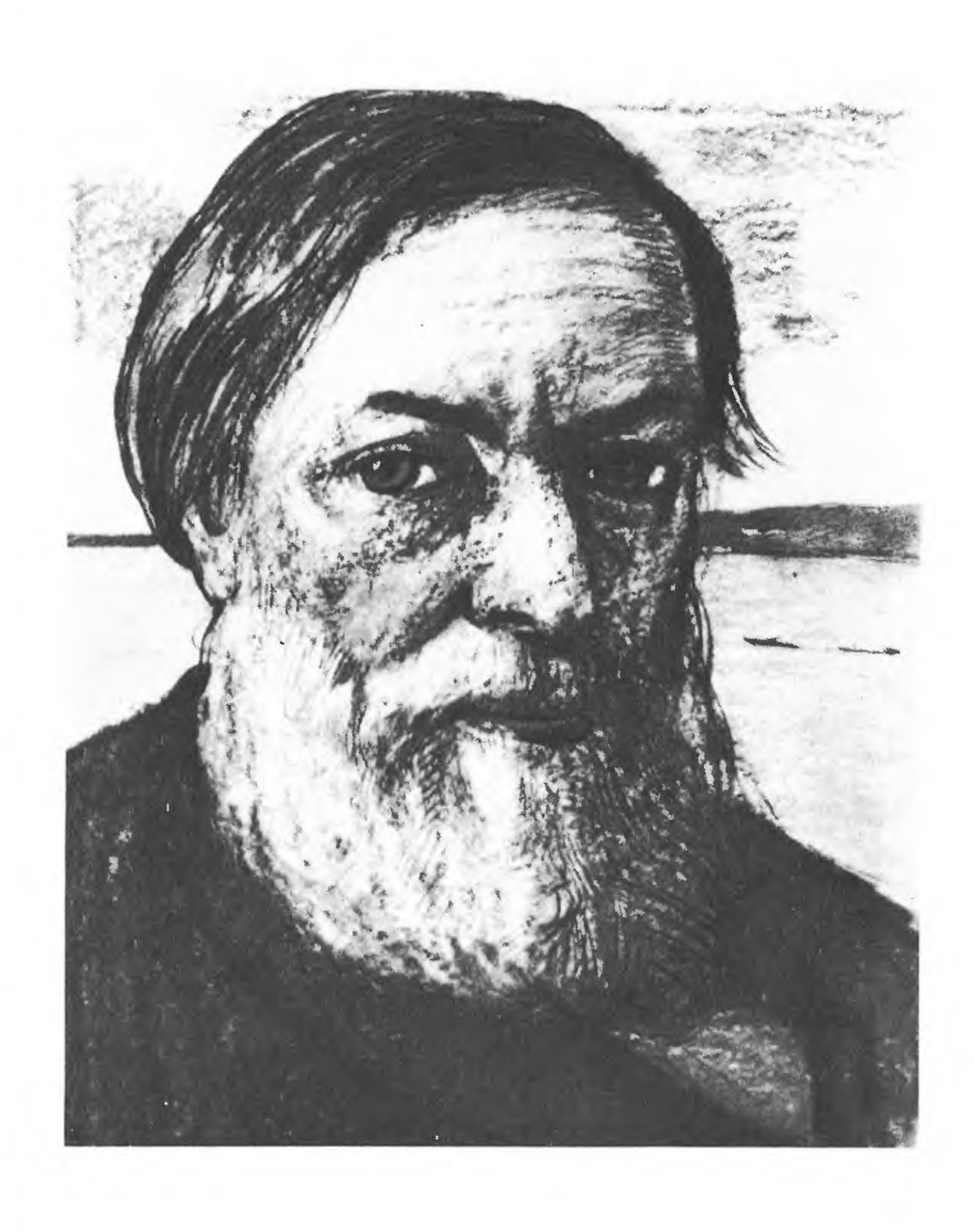
П. И. МЕЛЬНИКОВ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)



БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

П. И. МЕЛЬНИКОВ (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений

в восьми томах

ТОМ 1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

●

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА. 1976

Составление и общая редакция
М. П. Еремина

Портрет П. И. Мельникова
(Андрея Печерского)
и иллюстрации
работы художника
И. С. Глазунова

П. И. МЕЛЬНИКОВ (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

Очерк жизни и творчества

Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропреходящими: рассказ, повесть, роман, поэма, лирическое стихотворение — словом, все, что написано настоящим художником, поначалу приковывает наше внимание своей жизненной непосредственностью: вымышленные герои живут в нашем воображении, мы судим об их поступках и мыслях, грустим и радуемся, сочувствуем и негодуем. Но вот перевернута последняя страница книги, мы возвращаемся к повседневным нашим делам и заботам; но люди и события, о которых мы узнали при чтении, не перестают волновать нас. Вспоминать о полюбившихся образах — это едва ли не самое прекрасное в нашем общении с миром литературы. И не только потому, что тут мы заново переживаем первые впечатления; с этими воспоминаниями наступает черед неторопливых раздумий обо всем, что образует коренные основы нашего бытия в мире — о смысле и тайнах человеческих отношений, о бесконечном многообразии жизни, о вечном ее обновлении, о силе зла, о неисчерпаемости и нетленности прекрасного на земле... При этом рано или поздно, так или иначе, но неизбежно возникает мысль о писателе, который своим искусством возвысил наши чувства и обогатил наш разум.

Читая выдающиеся произведения литературы, мы не можем не удивляться широте познаний писателя, глубине его понимания жизни. Он представляется нам человеком незаурядного ума и богатейшего жизненного опыта. И не удивительно, что в наших глазах сам писатель становится героем в подлинном смысле этого слова. Потому-то, между прочим, мы и хотели бы знать о нем как можно больше.

Крупные писатели отличаются от заурядных, в частности, и тем, что они не навязывают своих мнений, а больше

всего заботятся о том, чтобы возбудить самостоятельную мысль читателя и направить ее по тому пути, который они считают верным. Может быть, именно поэтому, как бы ни восхищались мы тем или иным писателем, мы спорим с ним и недоумеваем, как это он при его проницательности порою не понимал самоочевиднейших, по нашим понятиям, вещей. Желание узнать писателя как личность еще больше усиливается.

Естественнее всего, конечно, искать его черты в том, что он создал, то есть в его произведениях. Ведь в конце концов, как и о всяком человеке, о писателе судят по его делам, а слова поэта, говорил Пушкин,— это и есть его дело. Однако очень часто личность писателя по разным причинам запечатлевается в его творчестве в таких сложных, а иногда, кажется, даже в преднамеренно завуалированных формах, что бывает чрезвычайно трудно более или менее отчетливо представить себе ее конкретные очертания. И в этих случаях просто необходимо заглянуть за страницы книги и узнать, какова была жизнь писателя, потому что только в ней можно найти источники всех тех качеств, которые удивляют, радуют, озадачивают, а порою и огорчают нас в его произведениях.

П. И. Мельников-Печерский был как раз из числа наиболее «скрытных» писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности. Мельников как будто бы все время напоминает своему читателю: вот я нарисовал картину жизни, и ты сам суди о ее смысле; а что касается меня, автора, то я, по-видимому, не могу сказать больше того, что сказал, потому что сказал все. Но, читая его книги, мы то и дело замечаем, что он чего-то не договаривает. И не всегда понятно: то ли он в этих случаях не знает, что сказать, то ли по каким-то не совсем ясным причинам не хочет говорить с окончательной определенностью.

А иногда, напротив, Мельников с какой-то нарочитой прямолинейностью высказывает такие мысли, которые явно противоречат всему образному строю его произведений. И то и другое — это нечто вроде помех, врывающихся в уверенное звучание его рассказа. Все это свидетельствует о том, что он «скрытничал» не от одной только скромности, что за этим были и другие причины. Какие? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо присмотреться к его жизни.

1

Павел Иванович Мельников родился 25 октября 1818 года (ст. стиля) в Нижнем Новгороде в семье офицера местного гарнизона Ивана Ивановича Мельникова. Отец писателя

принадлежал к старинному, но захудалому дворянскому роду. Учившийся, как говорили тогда, на медные деньги, он с юношеских лет начал тянуть чиновничью лямку — и не ради получения следующего чина, как большинство молодых дворян того времени, а для жалованья. Из статской службы Иван Иванович перешел в земское войско, а оттуда в 1813 году — в действующую армию, в составе которой участвовал в заграничном походе 1813—1814 годов. После окончания войны он был переведен в нижегородский гарнизон. Женившись и получив за женой небольшое именьице, Иван Иванович вскоре после рождения первенца (будущего писателя) вышел в отставку и определился служить по дворянским выборам — сперва в небольшом городке Нижегородской губернии Лукоянове, а позднее — в Семенове — одном из уездных городов того самого нижегородского заволжья, где происходит действие крупнейших произведений Мельникова-Печерского — «В лесах» и «На горах».

На службе — и на военной и на статской — Иван Иванович не отличался теми «добродетелями», благодаря которым тогдашние офицеры и чиновники беспорочно сколачивали кругленькие состояния.

В доме Мельниковых была обстановка, характерная для малосостоятельных дворянских семей. Тут не было ни гувернеров, ни учителей, получающих большое содержание. Будущий писатель рос в окружении людей из народа, с самого раннего детства незаметно привыкая к народной речи, узнавая народные обычаи и нравы. Воспитанием и первоначальным обучением детей занималась мать писателя — Анна Павловна. В молодости она получила скудное образование, но потом много и с увлечением читала и эту свою страсть передала старшему сыну.

В 1829 году Мельников был определен в нижегородскую мужскую гимназию. Он учился в одну из самых мрачных эпох в жизни русского общества. После восстания декабристов правящие круги России всеми средствами стремились подавить подлинное просвещение, которое коноводы реакции считали источником всякой крамолы. С неуемной жестокостью правительство Николая I преследовало все, что заключало в себе хотя бы малейшие признаки живой мысли. В гимназическом преподавании насаждался схоластический шаблон и бессмысленная, отупляющая зубрежка; розга и карцер были главными средствами «воспитательного» воздействия. Нижегородская гимназия в этом смысле не составляла исключения. Мельников в своих воспоминаниях рассказал весьма характерный для обстановки тех лет эпизод.

Вместе с одноклассниками он решил устроить свой театр. С увлечением разучивали они и декламировали популярные пьесы тогдашнего репертуара. Но об этих невинных занятиях учеников узнало учебное начальство. Наказание последовало немедленно. «Драматическую труппу под присмотром солдат отправили к директору... С нами расправились по тогдашнему обычаю довольно круто... Из ребяческой нашей шалости сумели раздуть страшную историю. В городе рассказывали вещи несодеянные, будто мы, одиннадцати- и двенадцатилетние мальчики, составили опасный заговор для ниспровержения существующего порядка. Одна нижегородская барыня... поехала в это время в Казань и там стала рассказывать о нашем злоумышлении. Из учебного округа предписано было разобрать дело как можно строже, и с нами в другой раз распорядились круто. Всего замечательнее то, что раздувал эту историю учитель словесности...» [1].

Случай, о котором рассказал в своих воспоминаниях Мельников, показателен. Двенадцатилетние любители театра, конечно, никаких крамольных целей не преследовали, но чиновники от педагогики знали, что делали: детей запугивали, внушая им растлевающий душу страх перед «политикой». Однако наказанные не образумились. Они стали действовать более осторожно и осмотрительно, перенеся свои представления в другое место — недоступное для гимназических надсмотрщиков. В этом их «упрямстве» сказалось недвусмысленное осуждение школьной рутины, хотя сами они, может быть, так и не думали. Для Мельникова увлечение театром имело еще и особое значение: тут впервые обнаружилась его художественная одаренность. В драматической труппе он был не только актером, но и автором.

Мельников вспоминал добрым словом только одного гимназического учителя — словесника Александра Васильевича Савельева, пришедшего на смену учителю-рутинеру, отличавшемуся доносительскими «доблестями». В отношениях Савельева с гимназистами-старшеклассниками не было той отпугивающей казенной непроницаемости, которая была свойственна большинству тогдашних преподавателей. В классе он читал Пушкина, Дельвига, Баратынского, давал своим ученикам произведения этих поэтов на дом.

---

[1] П. Усов. Павел Иванович Мельников, его жизнь и литературная деятельность. В кн. Полн. собр. соч. П. И. Мельникова (Андрея Печерского), изд. М. О. Вольфа, т. I, СПБ. 1897, стр. 26—27. В дальнейшем ссылки на эту книгу даются сокращенно: П. Усов и соответствующая страница.

В 1834 году Мельников поступил на словесный факультет Казанского университета. Мельников был студентом в ту пору, когда над университетами тяготел строжайший жандармский надзор, когда самые дикие расправы над студентами, заподозренными в склонности к вольнодумству, были будничным явлением. Но как ни старались подручные Николая I, искоренить ненавистное им университетское вольнодумство они так и не смогли. Как раз в последекабрьские годы из студенческой среды вышла целая когорта деятелей русского освободительного движения и передовой русской культуры во главе с Белинским и Герценом.

Казанский университет в то время переживал своеобразную полосу своей истории. Ректором тогда был великий математик Н. И. Лобачевский. Не жалея сил, стремился он укрепить научный авторитет университета. Но во всей университетской жизни еще давали себя знать отголоски той поры, когда попечителем Казанского учебного округа был мракобес, доносчик и казнокрад Магницкий. На словесном и юридическом факультетах подвизались еще профессора, которых Магницкий набирал, обращая внимание не столько на их познания в той или иной научной области, сколько на то, тверд ли в православии претендент на должность. Преемник Магницкого на попечительском посту Мусин-Пушкин не отличался мракобесной ретивостью своего предшественника, но и он, исполнительный вельможа николаевского царствования, предпочитал иметь дело не с подлинными учеными, а с послушными чиновниками от науки.

С благоговением готовился Мельников переступить университетский порог. Однако в первый же день занятий его постигло глубокое разочарование: профессор читал свою лекцию «по Кошанскому» — тому самому, который был уже известен по гимназическому зубрению. Многих первокурсников такое открытие надолго, если не на все время университетского учения, сбивало с толку: они убеждали себя, что заниматься нет никакой надобности, добывали у старшекурсников многолетней давности записи лекций и по ним благополучно сдавали экзамены. Мельников не поддался этому соблазну; только образование могло дать ему какое-то место в жизни: ни сильных связей, ни обширных поместий у его семьи не было. Но, разумеется, его усердные занятия науками стимулировались не только этими прозаическими соображениями.

С детства приобретенная страсть к чтению еще в гимназии помогала ему хоть немного отдыхать от зубрежки и приучала к самодеятельности. Читал он преимущественно

книги по истории. К счастью, в университете нашлись преподаватели, лекции которых поддержали и оживили интерес Мельникова к исторической науке.

Серьезнее и систематичнее занимался теперь Мельников и литературой. В те мрачные годы литература буквально спасала наиболее чутких студентов от иссушающего влияния николаевской казенщины. Но, конечно, не та литература, о которой тогда было разрешено говорить с кафедры, не «красоты» сумароковских трагедий или поэм Хераскова привлекали внимание молодежи, а новая литература, во главе которой стоял Пушкин.

Лекции по русской словесности в университете читал профессор Г. С. Суровцов. Ученый старой школы, он весь свой курс основывал на идеях Аристотеля и Горация, истолкованных в классицистском духе. К счастью, Суровцов вопреки обветшалым эстетическим догмам высоко ценил Пушкина и часто читал с кафедры его произведения, скромно признаваясь, что время для их всестороннего анализа еще не пришло. По-видимому, он понимал, какое значение имел Пушкин в духовной жизни молодежи. Весьма показательно в этом смысле его отношение к известию о гибели Пушкина. «В пятницу, 5 февраля 1837 года, в 8 часов утра,— рассказывает Мельников в своих воспоминаниях,— на третьем курсе словесного факультета была лекция русской словесности... Григорий Степанович взошел на кафедру и, не садясь, вынул из кармана газетный листок, помнится, «Русского инвалида», поднял его кверху и, окинув быстрым взглядом аудиторию, громко сказал: «Встаньте!» Мы встали, с изумлением глядя на профессора. Дрожащим от волнения голосом, в котором слышались горькие, задушевные слезы, он прочел известие — всего несколько строк. Живо помню первые слова его: «Солнце нашей поэзии закатилось — нет более Пушкина!» Аудитория ахнула в один голос, послышались рыдания... Сам профессор сел и, склонив на кафедру седую, как серебро, голову, громко заплакал... Прошло несколько минут, он встал и сказал: «Князь русских поэтов во гробе. Его тело везут из Петербурга куда-то далеко. Быть может, оно еще не предано земле. При незакрытом еще гробе Пушкина как сметь говорить о русской словесности! Лекции не будет...»

Прошло более двух месяцев. После поста, когда мы готовились к выпускному экзамену, на одной из последних лекций Суровцов принес известное стихотворение тогда еще безвестного Лермонтова и прочел его нам. Кончив, он сказал: «Говорят, это написал кто-то из молодых, Лермонтов какой-то... Какой стих! Какая сила! Какая смелость оборотов!.. Нет, это не Лермонтов, это сам Пушкин из гроба послал свой ропот на раннюю и ужасную кончину свою».

Говорили потом,— продолжает Мельников,— что Суровцову за его увлечение и особенно за прочтение стихов Лермонтова был сильный нагоняй от Мусина-Пушкина...» [1].

В этом горе, до боли сжавшем молодые сердца, была не только любовь к Пушкину — несравненному художнику.

Творчество Пушкина произвело коренной переворот в художественных взглядах всего русского общества. Но ведь художественные вкусы любого человека в конечном счете тесно связаны с его общественными симпатиями и убеждениями. У Пушкина при его жизни было много почитателей и друзей, но ни у одного из современных ему литераторов не было столько явных и тайных недоброжелателей. И самое характерное в этом расхождении заключалось в том, что оно почти полностью совпадало с расхождениями в общественно-политической борьбе. За единичными исключениями, все сознательные противники Пушкина так или иначе были связаны с самодержавно-крепостнической реакцией. В последекабрьские годы ее литературные прислужники всячески старались опорочить Пушкина в глазах передовых людей. Но сколько ни подновляли сплетню о «примирении» великого поэта с царем, сколько ни кричали об «аристократических» пристрастиях Пушкина, его творчество говорило само за себя. Все, кто мечтал о свободной жизни, были на стороне Пушкина. В те годы было бы вполне справедливо известное, несколько измененное изречение: скажи мне, как ты относишься к Пушкину, и я скажу, какова твоя общественно-политическая позиция. Для лучших людей этого времени художественное совершенство его поэзии само по себе было одним из проявлений духовных сил нации; его творчество всей своей сущностью противостояло бесчеловечному строю насилия и угнетения, внушало веру в победу свободы и подлинной человечности. «Только звонкая и широкая песнь Пушкина,— писал Герцен,— раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением» [2].

Из рассказа Мельникова ясно видно, что смерть Пушкина была воспринята казанскими студентами как огромное национальное бедствие. Обстоятельства гибели великого поэта им, конечно, не были известны, но сообщения о его смерти были так туманны, что невольно возникала мысль о его врагах. Стихотворение Лермонтова, обличавшее убийц Пушкина, подтвердило тревожные предчувствия.

---

[1] П. Усов, стр. 57—58.

[2] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. VII, М. 1956, стр. 214—215.

Творчество Пушкина было той школой, в которой начали вырабатываться художественные вкусы Мельникова; в этой школе началось и его гражданское самоопределение.

3

Мельников был одним из лучших студентов своего курса. После окончания университета он был оставлен на факультете для подготовки к профессорству. Предполагалось, что с целью совершенствования знаний он должен совершить заграничную поездку. Однако этим планам не суждено было осуществиться. Произошло нечто такое, о чем и сам Мельников говорил неохотно и его биографы обыкновенно ограничивались неясными намеками. Известно только, что на одной из студенческих вечеринок Мельников вел себя, по мнению университетского начальства, получившего соответствующий донос, весьма предосудительно. О характере «преступления» можно судить по тому, какое последовало наказание: заграничная поездка была отменена, а «преступник» в сопровождении солдата отправлен в захолустный Шадринск. Правда, по дороге к месту своего назначения он получил новое «милостивое» распоряжение, согласно которому он назначался старшим учителем в пермской гимназии. Но Мельников превосходно понимал, что и эта «милость» была все-таки ссылкой.

Весной 1839 года ему удалось выхлопотать разрешение переехать в родной Нижний Новгород. Здесь он был назначен на должность старшего учителя гимназии. Учительствовал Мельников сравнительно недолго. На первых порах он с юношеским увлечением стремился ввести в преподавание подлинную научность; в своих отношениях с учащимися он хотел следовать наиболее прогрессивным педагогическим идеям того времени. Но в этих своих стремлениях он оказался одиноким. Тогдашние гимназические преподаватели большей частью были людьми малообразованными и равнодушными. «В гимназии,— вспоминал позднее Мельников,— то есть в обществе учителей, я был почти лишним человеком. В это время директор, инспектор и многие учителя были из семинаристов старого покроя, несносные в классе, дравшие и бившие учеников нещадно (каждую субботу была «недельная расправа», и много розг изводилось) и низкопоклонничавшие не только перед высшими чинами губернской администрации, но и перед советниками»,— то есть перед мелкой чиновничьей сошкой. Но взаимная неприязнь между Мельниковым и его сослуживцами обусловливалась не только различием в педагогических взглядах и приемах. Боль-

шинство преподавателей гимназии в своих литературных вкусах и политических убеждениях было крайне реакционно. «Пушкин, по их мнению,— писал Мельников,— пустомеля, не имеющий изящного вкуса, и притом вольнодумец, Лермонтов — мальчишка, которому необходимы розги, Гоголь — сальный марака, а Белинский — сумасшедший человек, который сам не знает, что пишет» [1].

В этом свидетельстве большое значение имеет и то, что для Мельникова имя Белинского — и в литературном и в общественно-политическом плане — стояло в одном ряду с именами Пушкина, Лермонтова и Гоголя. До нас не дошло сведений о том, знал ли Мельников ранние статьи Белинского. Однако необходимо иметь в виду, что Белинский сразу же после того, как была напечатана его первая большая статья, «Литературные мечтания» (1834 г.), стал в центре всей литературно-общественной борьбы, и в те годы не было буквально ни одного журнала, в котором в той или иной связи не упоминалось бы имя молодого критика. Не знал о нем тогда только тот, кто вовсе был чужд литературе. Можно с полным основанием предполагать, что Мельников при его глубоком интересе к литературе читал тогдашние статьи Белинского и не мог не сочувствовать борьбе молодого критика против врагов Пушкина, предводительствуемых продажным журналистом и литератором Булгариным. Это предположение подтверждается и тем, что Мельников с самого первого своего выступления в печати оказался в рядах того литературного направления, которое было связано с традициями Пушкина.

В 1839 году в Петербурге начал выходить обновленный журнал «Отечественные записки», издатели которого — А. А. Краевский и В. Ф. Одоевский — не уставали напоминать о своей былой близости к Пушкину и о своей решимости бороться против Булгарина и его союзников — Н. И. Греча, состоявшего так же, как и Булгарин, в связи с тайной полицией, и О. И. Сенковского — ловкого, но беспринципного журналиста и критика, редактировавшего тогда самый распространенный журнал — «Библиотека для чтения». Именно в «Отечественных записках» Мельников и напечатал в 1839 году свое первое произведение — «Дорожные записки». Он сотрудничал в «Отечественных записках» вплоть до 1844 года, то есть как раз в те годы, когда этот журнал под руководством Белинского стал трибуной революционной мысли. Едва ли можно говорить о том, что Мельников тогда принимал революционную проповедь Белинского, но его со-

---

[1] П. Усов, стр. 72—73.

чувствие литературно-эстетическим взглядам великого критика не подлежит никакому сомнению. Крупные, принципиального характера литературно-критические статьи, печатавшиеся в те годы на страницах «Отечественных записок» (а все они принадлежали перу Белинского), Мельников считал прекрасными [1]. Сочувствие борьбе Белинского за укрепление реализма сказалось и на первых беллетристических опытах Мельникова.

Литературные взгляды Мельникова формировались в период обостренной борьбы между реализмом и романтизмом. В тридцатых годах XIX столетия были созданы такие шедевры реалистической литературы, как «Повести Белкина», «Медный всадник», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» — Пушкина; «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», «Невский проспект», «Коляска» — Гоголя; «Песня про купца Калашникова» и «Герой нашего времени» — Лермонтова. Эти произведения знаменовали собой решительную художественную победу реализма. Однако это вовсе не означало, что реализм уже в те годы стал господствующим направлением в литературе. Большинство писателей принадлежало тогда еще не к реалистическому, а к романтическому направлению. Писатели-романтики тех лет в большинстве своем принадлежали к реакционным общественным кругам и вполне сознательно выступали против правдивого изображения жизни. Однако к этому направлению примыкали и такие литераторы, которые по своим политическим взглядам ничего общего с правительственной реакцией не имели. Среди этих немногих литераторов наиболее талантливым и влиятельным был А. А. Бестужев-Марлинский.

В первой половине двадцатых годов Бестужев был виднейшим критиком и теоретиком романтизма. В те годы он писал и романтические повести. После поражения декабрьского восстания Бестужев, как один из активнейших его участников, был сослан в Якутск. В 1829 году он был переведен рядовым на Кавказ, и ему разрешили печататься, правда, под псевдонимом (Марлинский). В повестях тридцатых годов Марлинский стремился проводить те же идеи, что и в своем додекабрьском творчестве. Но если за протестом героев его ранних повестей чувствовался подтекст общественного подъема преддекабрьской поры, то в тридцатых годах этого подтекста не было, и поэтому обличительные филиппики его героев этого времени часто сбиваются на про-

---

[1] Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Сборник, том IX. В память П. И. Мельникова (Андрея Печерского), Нижний Новгород. 1910. с. 136. В дальнейшем все ссылки на это издание даются сокращенно: Сборник и соответствующая страница.

стое резонерство. Повести Марлинского стояли вне процесса демократизации тематики и стиля русской литературы тех лет — процесса, начало которому положили Пушкин и Гоголь и который в конкретной литературной практике проявился прежде всего во внимании к жизни рядовых людей, ко всему, что связано с этой жизнью, что непосредственно влияет на нее. Это и было причиной того, что Белинский, признававший незаурядный талант Марлинского, относился к его творчеству тридцатых годов отрицательно. Особенно последовательно он боролся против риторической напыщенности стиля повестей Марлинского. «Ни одно из действующих лиц его повестей,— писал великий критик,— не скажет ни слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммой или с каламбуром, или с подобием; словом, у г. Марлинского каждая копейка ребром, каждое слово завитком» [1].

Борьба Белинского за утверждение пушкинско-гоголевского направления в литературе и его выступления против Марлинского и особенно его подражателей оказали определенное влияние на замысел первого крупного беллетристического произведения Мельникова — его романа «Торин». Вот что писал Мельников издателю «Отечественных записок» А. Краевскому: «Посылаю вам провинциальный очерк «Звезда Троеславля». Несколько слов о нем: это не повесть, не рассказ, а так что-то — очерк... Скажу вам наперед: лица почти все списаны с натуры — все за исключением Торина, Менского и еще разве некоторых из остающихся на втором плане. Окуньков — живая натура: прочитал как-то раз историю философии Галича, не понял в ней ничего да знай щеголяет философскими терминами. Претензии на французский язык и незнание этого языка именно вы найдете в Вятке, Перми, Уфе, особенно в Вятке. Марлинский сильно подействовал на провинцию, и нынче любовники объясняются в провинции не иначе, как кудреватым слогом и даже аллегориями. Право, не шутя поезжайте в Пермь, в заводы зауральские, в Вятку, в Уфу, в Саратов, и даже отчасти в Пензу — и вы встретите очень много людей, подобных Шабурову. Даже люди бывалые превращаются часто в провинциальных амфибий, подобных Торину. У таких людей черные думы, мрачность души и т. п. занимают половину разговора. Это уж непременно. Сюжет очерка, разумеется, выдуман — я хотел было устроить завязку позамысловатей, но подумал — к чему это — ведь это не повесть. К тому же этот очерк будет не что иное, как часть сочинения: «Торин». Этот «Торин» будет состоять из пяти очерков и рассказов:

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I, М., 1953, стр. 84.

«Звезда Троеславля», «Новый исправник», «Ивановская красавица», «Заочная любовь» и «Он ли это?». В этих рассказах будет описана провинциальная жизнь в губернских городах высшего разряда («Заочная любовь»), в губернских городах низшего разряда («Звезда Троеславля» и «Ивановская красавица»), в уездных первого разряда («Он ли это?») и низшего («Новый исправник»), в эпилоге — жизнь в деревне. Если вам понравятся эти очерки, я помещу их у вас — и потом свяжу другими рассказами и издам отдельно года через два, если жив буду» [1]. Не трудно заметить, что на это его намерение — высмеять провинциальных «амфибий» оказало влияние и творчество Лермонтова. Тут особое значение имел Грушницкий — ничтожество, драпирующееся в романтическую тогу. Наряду с этим в «Торине» были темы и образы, предопределенные чтением Гоголя.

Этот роман не удался Мельникову, что, естественно, огорчило молодого писателя. Но не обескуражило. Как и всякий человек, одаренный подлинным талантом, он превозмог охватившее его поначалу чувство растерянности и разочарования и нашел в себе силы, чтобы отыскать истинные причины постигшего его поражения. В письме к младшему своему брату, служившему в то время на Кавказе, Мельников о своем литературном дебюте говорил так: «Ты пишешь, что в Кубанской глуши добыл «Литературную газету» и восхищался «Елпидифором»... Плохой же у тебя вкус, если только восхищение твое не произошло единственно от родственного чувства... Никогда не прощу себе, что я напечатал такую гадость; если бы можно было, я бы собрал все листки «Литературной газеты» не только на Кубани, но и во всей Великой, Малой и Белой России и все бы их в печку. Я еще мало знаю людей, чтобы писать повести, и даю тебе и себе честное слово не писать ни стихов, ни прозы до тех пор, пока не узнаю жизнь получше... Покаюсь тебе, кстати, еще во грехе: написал я повесть и повесть большущую, в 14 главах под названием «Звезда Троеславля», да этого еще мало — послал ее к Краевскому, но, слава богу, он возвратил мне ее для переделок, я ее и переделал на фидибусы — раскуривал трубку этими фидибусами чуть не полгода» [2].

Эта беспощадная самооценка была, пожалуй, первым реальным результатом изучения творчества Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Белинского. Школа великих учителей помогла ему уяснить одну из важнейших истин: без глубокого, самостоятельного знания живой жизни невозможно подлинное творчество.

---

[1] Сборник, т. IX, стр. 121—122.
[2] Сборник, т. IX, стр. 80—81.

Но мысль о необходимости досконального знания жизни сама по себе имеет еще слишком общий характер. Художник, если он действительно хочет сказать людям нечто такое, чего еще не говорили его предшественники, должен найти такую область общественного бытия, которая в его время является наиболее важной. И тут Мельников шел по той же дороге, по которой в сороковые годы XIX столетия шли молодые писатели — ученики Гоголя, последователи эстетических идей Белинского. Это был путь познания жизни народа. Еще с университетских лет он начал изучать быт и нравы народов, населяющих восточные губернии Европейской России. Но тогдашние изучения еще не имели определенной целенаправленности; он присматривался и запоминал, может быть, еще и не задумываясь над тем, что когда-нибудь эти впечатления пригодятся ему для его творчества. Теперь, в сороковых годах, исследования Мельникова приобрели, так сказать, специальный характер. Хотя, по-видимому, и на этот раз Мельников еще не сразу осознал, что жизненный материал, попавший в круг его зрения, определит его литературный путь.

4

Жизнь большинства крупных писателей при всем разнообразии конкретных обстоятельств, в которых им приходится действовать, при всей неповторимости темпераментов и характеров почти всегда имеет одну общую особенность: чаще всего писатель очень рано осознает свое призвание и после этого до конца своих дней все свои душевные силы подчиняет выполнению этой жизненной миссии. Пушкин на протяжении многих лет числился чиновником министерства иностранных дел; эта неизбежная в его положении обязанность отнимала какую-то часть драгоценного времени, тяготила и раздражала его, но, конечно, не привлекала и не занимала ни его ума, ни его сердца: вся энергия его личности была поглощена творчеством. Лермонтов с самого раннего детства — поэт; и в офицерском мундире он остался прежде всего поэтом и только поэтом. Вся жизнь Льва Толстого — это глубоко осознанный, целеустремленный писательский подвиг. Даже неоднократные его намерения оставить литературную деятельность были в конце концов предопределены неукротимой требовательностью художника к самому себе. Некрасова или Островского, Тургенева или Достоевского вне литературы просто нельзя себе представить.

Писательская судьба Мельникова сложилась иначе. Склонность к художественному творчеству у него обнаружилась довольно рано. Однако с детских лет с ней соперничал глубокий его интерес к истории. Будучи учителем ниже-

городской гимназии, Мельников начал изучение истории своего родного города. Он много работал в местных архивах, и это вскоре принесло ему известность в ученых кругах Петербурга и Москвы. Эти историко-краеведческие занятия и возбудили его интерес к «расколу», поскольку в Нижегородской губернии старообрядцы составляли тогда весьма значительную и в известной степени влиятельную часть населения. Первые шаги в изучении «раскола», как очень важного и своеобразного явления русской жизни, в значительной степени облегчались для Мельникова тем, что он многое в нравах и обычаях старообрядцев знал еще с детских лет. Но по мере овладения материалом он все больше и больше убеждался, что одного знания быта явно недостаточно. Больше того, сам этот быт не мог быть осмыслен без знания истории возникновения и развития «раскола», без понимания того, какое место в общественной и политической жизни России занимает старообрядчество в целом. Все эти вопросы в то время были еще мало освещены, а то и преднамеренно затемнены и фальсифицированы официальными историками православной церкви. Мельников принялся штудировать официальную церковную и старообрядческую догматику, историю возникновения и развития «раскола», знакомился с многочисленными правительственными мерами «пресечения» его. Он разыскивал почитаемые старообрядцами старопечатные и рукописные книги, записывал и запоминал многочисленные старообрядческие предания и легенды... К концу сороковых годов он был уже одним из самых известных знатоков старообрядчества. И эта его известность оказала на всю дальнейшую жизнь Мельникова огромное влияние. Дело в том, что его обширной осведомленностью в старообрядческой жизни заинтересовались прежде всего власти предержащие. В 1847 году Мельников стал чиновником особых поручений при нижегородском генерал-губернаторе. Занимался он почти исключительно старообрядческими делами: выявлял и подсчитывал тайных «раскольников», разыскивал беглых старообрядческих попов, «зорил» скиты, вел с начетчиками старообрядчества догматические диспуты и т. п. Эта энергичная деятельность нижегородского чиновника вскоре была замечена и в Петербурге; Мельников начинает выполнять не только поручения местного начальства, но и задания министра внутренних дел и даже «высочайшие» повеления.

В судьбе Мельникова произошел значительный по своим последствиям поворот: на долгие годы вступил он в круг царских чиновников, в круг лихоимцев, казнокрадов, изощренных крючкотворцев, циничных карьеристов. Ученик Пушкина и Гоголя, с большим сочувствием читавший статьи Белинского, и усердный служитель николаевской канцеля-

рии — как уживались в Мельникове эти две ипостаси? А может быть, их и не было — двух ипостасей? Может быть, он «с приходом лет перебесился», раскаялся в вольнодумческих грехах молодости и, заглушив голос совести, принялся делать карьеру? Ведь не мог же он — человек с университетским образованием — не знать, что представляет собою чиновничья каста, и, стало быть, не мог не понимать, что между его верованиями и канцелярскими нравами слишком мало общего? Правда, при всякой попытке разобраться в этих недоуменных вопросах необходимо иметь в виду, что непосредственной причиной поступления Мельникова на службу была самая прозаическая нужда: кроме жалованья, жить ему было не на что, а чиновникам даже средней руки платили тогда гораздо больше, чем учителям.

Если внимательно присмотреться к чиновничьей деятельности Мельникова, то нельзя не заметить в ней какой-то наивности, чего-то такого, что можно было бы назвать административным донкихотством. Он действовал не как исполнитель, которому приказали, а с каким-то особым рвением, инициативно. Однако этим своим необыкновенным усердием он достигал результатов на первый взгляд весьма неожиданных: лишь очень немногие из высших начальников одобрительно относились к его служебным подвигам; большая же часть его сослуживцев — и губернских и министерских — относилась к нему с нескрываемой враждебностью; при выполнении любого порученного ему дела он всегда чувствовал какое-то глухое и непреодолимое противодействие. На первых порах ему казалось, что оно зависит или от злонамеренной непорядочности, или от неосведомленности и равнодушия отдельных чиновников. «Есть у нас люди,— писал он в одном из своих писем,—...люди деловитые, люди, обрекшие себя на вечное вращение формальностями канцелярскими, люди, которых цель состоит в том, чтобы дело шло формально — хорошо и не могло бы иметь дурных последствий, а будет ли оно иметь последствия хорошие — это не наше дело.— Этим-то людям я и не по нутру» [1]. Он доказывал, жаловался, протестовал, апеллируя к законности и высшим интересам государства — интересам, которые, по тогдашнему его искреннему убеждению, совпадали с интересами народа и которые — это особенно важно для понимания общественно-политической позиции Мельникова тех лет — должно и может охранять царское правительство.

Нетрудно заметить, что это убеждение было по самой своей коренной сущности реакционно. Однако сам Мельников, действуя в соответствии с этим убеждением, вовсе не

---

[1] Сборник, т. IX, стр. 22.

считал себя отступником от прогрессивных идей своего времени. Напротив, он искренне верил, что путь государственной службы был едва ли не единственным для каждого передового человека, желавшего принести родине хоть малую, может быть, но зато реальную пользу. И в этой уверенности он был не одинок.

5

Для многих людей тридцатых — сороковых годов XIX столетия — людей, сочувствовавших народу и страстно желавших блага своей стране,— поражение декабристов означало полную невозможность открытой борьбы против самодержавного правительства. Силы немногочисленных революционеров были слишком ограниченны. А народ, думали эти люди, был слишком темен и несознателен, чтобы самостоятельно подняться на борьбу за свое освобождение или поддержать революционный почин своих доброжелателей из высших слоев общества. Отсюда настойчивые поиски иных, постепенных, но действенных способов облегчения участи народа. И наиболее верным считался путь просвещения — в самом широком понимании этого слова: просвещение помещиков, в результате чего они научились бы уважать человеческое достоинство крепостных крестьян; просвещение чиновников, чтобы они охраняли права граждан и строго соблюдали хотя бы те законы, которые тогда существовали, и, наконец, просвещение народа, чтобы он постепенно освобождался от темных предрассудков и суеверий и научился различать свои подлинные интересы.

Распространению просветительских иллюзий в те годы способствовало и еще одно весьма своеобразное обстоятельство. Трудно представить себе более закоренелого ненавистника культуры и просвещения, чем Николай I. Но и он вместе со своими приспешниками понимал, что одними запретами, преследованиями и расправами освободительные устремления передовых людей остановить нельзя. Чтобы сдерживать вольнолюбивые порывы и погасить революционную энергию, нужны были, как сказал один николаевский вельможа, «умственные плотины». С этой целью казенная идеология решила присвоить себе популярные идеи просвещения. Николай I был провозглашен убежденным просветителем, поклонником законности, тайным противником крепостного права. Всеми средствами распространялась легенда о том, будто правительство во главе с царем желает стране и народу всяческого добра, а невежественные, бесчестные чиновники и некоторые злонамеренные помещики мешают осуществлению благодетельных начинаний.

Как ни примитивна была эта демагогия, но в условиях спада освободительного движения она оказывала влияние даже на людей прогрессивного образа мыслей. Этим людям казалось, что честная, бескорыстная деятельность не может не получить поддержки правительства и, стало быть, тем вернее даст реальные плоды.

Мельников принадлежал именно к такого рода людям. В студенческие годы ему были свойственны некоторые черты вольнодумства, но оно, конечно, не поднималось до революционного протеста. Человек, выросший и воспитавшийся в провинции, вдали от центров освободительного движения, он не был знаком с самым существом революционных идей своего времени, слабо разбирался в обстоятельствах общественной борьбы тех лет. Потому-то, в частности, он и считал вполне возможным, сотрудничая в журнале Белинского, печататься и в «Москвитянине» — реакционном журнале М. П. Погодина. По коренным своим убеждениям он был просветитель. И высокий гуманизм Пушкина, и грозный смех Гоголя, и горькое отрицание Лермонтова он воспринимал как просветитель. Даже в проповеди Белинского он не сумел усмотреть революционного начала. Главными пороками всей общественной жизни России он считал своекорыстие большей части дворянства, невежество и лихоимство чиновничества, равнодушие и произвол вельмож. И все это, по его убеждению, могло процветать прежде всего потому, что русский народ был забит и темен.

Эти взгляды предопределили и его отношение к «расколу», который, как он совершенно искренне думал, был плодом крайнего невежества и самой несусветной дикости. Догматика и традиции «раскола» отгородили большие массы народа не только от элементарных завоеваний цивилизации (старообрядцы избегали обращаться к помощи врачей, даже в первой половине XIX века они считали картошку чертовым яблоком, им запрещено было пить чай и т. п.), но и от всего, в чем выражалась поэзия народной жизни: «мирские» песни, хороводы и пляски почитались в старообрядческой среде за великий грех. Старообрядчество как общественное явление — это воплощенный застой — таков был для Мельникова главный итог его исследований и разысканий.

Конечно,— нет худа без добра! — благодаря стараниям старообрядцев сохранились для истории многие древние рукописи, книги, замечательные по своей художественности иконы, утварь и т. п. Мельников это превосходно понимал, но его чисто просветительская ненависть к темной, суровой догматике «раскола» была так сильна, что только из-за присутствия ее элементов он, прирожденный художник, не сумел оценить такого исключительного по своей художест-

венной силе памятника старообрядческой старины, как «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

Свои взгляды на «раскол» Мельников изложил в монументальном «Отчете о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии», написанном по заданию министра внутренних дел (1855 г.). В этом документе рельефно выразилась двойственность положения Мельникова — ученого чиновника и просветителя. Почти десятилетняя служба не могла не повлиять на него. «Отчет» представляет собою типический образец чиновничьей «дипломатии», главным оружием которой были верноподданнические заверения. Сообразуясь с официальной политикой, Мельников писал в этом документе, что старообрядчество представляет силу, препятствующую «благодетельным видам» правительства, что в случае международных конфликтов «раскольники» могут оказать поддержку тому иноземному государству, которое пообещает им свободу вероисповедания. Правда, сколько-нибудь убедительных доказательств, подтверждающих эти положения, он, в сущности, не привел.

Но главное в «Отчете» не в обосновании правительственного взгляда на «раскол». Сквозь официальную фразеологию этого документа явственно проступает мысль Мельникова-просветителя о том, что «раскол» — это одно из тяжких зол народной жизни. Развивая эту мысль, он смело (нельзя забывать, что «Отчет» составлялся в последние годы царствования Николая I) высказал соображения и выводы большой обличительной силы. По мнению Мельникова, на отношении к «расколу» ярче всего проявлялись противоречия внутриполитической жизни России. В сущности, полулегальный гражданский быт старообрядцев создавал благодатную почву для всякого рода злоупотреблений. Чиновничество беззастенчиво грабило старообрядцев именно на том основании, что их верования были вне закона. Православный поп вымогал с них обильную дань только за то, что не доносил начальству об их приверженности к «расколу». Многие помещики «покровительствовали» старообрядцам лишь потому, что те отплачивали «благодетелю» «примерным» оброком. Богатые старообрядцы поддерживали традиции «раскола», чтобы сподручнее было обделывать свои торговые и промышленные дела, как правило, отнюдь не безгрешные.

Таким образом, главные правящие силы России на деле были заинтересованы в существовании «раскола», но именно полулегальном существовании. В николаевские времена нечего было и думать о полной легализации «раскола» — Мельников это хорошо понимал. Он искренне был убежден, что для того, чтобы защитить подлинные человеческие инте-

ресы массы старообрядцев, необходимо было подавить «раскол» силами правительства и православной церкви. Дело оставалось за малым: нужны были честные чиновники и образованные, непродажные попы!

Тут отчетливее всего сказалась ирония чиновничьей судьбы Мельникова. Наконец-то и высшее начальство увидело, что рвение Мельникова имеет мало общего с «видами правительства»; предложенные им «радикальные» меры были отвергнуты. И понятно почему: на фоне нарисованной Мельниковым вакханалии злоупотреблений его проекты могли восприниматься почти как издевательство. После представления «Отчета» служебная карьера Мельникова, по существу, окончилась. Правда, он состоял при министерстве еще около десяти лет, но важные дела ему теперь поручали редко, чинами явно обходили.

Мельников не мог не понимать причин такой «немилости». Утопическая вера в просветительную миссию самодержавного правительства получила сильный удар. Но богатый опыт чиновничьей службы не пропал даром. Именно в эти годы родился самобытный писатель Андрей Печерский.

6

Рассказом «Красильниковы» Мельников как бы заново начинал свой творческий путь. Он тогда все еще сомневался в своих писательских способностях. Понадобилось одобрение такого авторитетного в то время писателя, как В. И. Даль, чтобы Мельников решился отослать это свое произведение в печать. Успех рассказа превзошел самые смелые надежды. Критики того времени говорили о нем как о незаурядном явлении литературы. Некрасовский «Современник» — в те глухие годы самый последовательный защитник реализма,— заключая свой отзыв, писал: «По верности действительности, по меткости и по силе впечатления этот рассказ может быть поставлен наряду только с лучшими произведениями». Произведения, с которыми критик мысленно сопоставлял рассказ Печерского, здесь не названы, но безоговорочная решительность тона побуждала читателей вспомнить имена самых крупных русских писателей.

«Красильниковы» написаны уверенной рукой мастера. Печерский наделен одним из самых драгоценных свойств повествователя — умением с первых же фраз овладеть вниманием читателя. Несколькими, казалось бы, случайно попавшимися на глаза деталями он сразу вводит в атмосферу действия. Дешевая гипсовая статуэтка знаменитой балерины и странные бумажные фигуры, налепленные на оконных стеклах; тяжелое железное кольцо на дубовой калитке; сиплый

лай, глухой рев дворовых собак, а потом толстая заспанная девка.

— А отдыхает...

— А не знаю же я...

Еще неизвестно, кто там и что там — за толстыми воротами. Пока что чувствуется еле уловимая и не совсем еще понятная усмешка рассказчика да возникает ожидание чего-то мрачного и тяжелого.

Образы этого рассказа, как произведения большого скульптора, «хорошо смотрятся» с самых различных точек зрения. Это ведь Корнила Егорыч соорудил «залу» и стал «добровольным заточенником в золотой тюрьме своей»; и что рядом с «изысканными» гелиотропами поставлен стручковый перец — во всем этом — он, Корнила Егорыч, его «вкус», его характер. Тут чисто гоголевское умение видеть в вещах и предметах «душу» их владельца. Но в чем душа старшего Красильникова как бы настежь распахивается перед нами, так это в его речи. Пословицы, поговорки, старинные слова и обороты — все это Мельников, конечно, тщательно отобрал. Но эта предварительная работа почти совсем не чувствуется. Речь Корнилы Егорыча звучит как совершенно свободная и непринужденная импровизация.

Ученик Пушкина и Гоголя, Мельников овладел здесь и секретом лаконичности. Даже второстепенные фигуры в его рассказе рельефны и впечатляющи. Рисуя отношения своих героев, он достигает почти драматической выразительности. Вот, например, младший из Красильниковых — Сережа. О нем сказано немного, но каждый штрих бьет в цель: «Низко поклонясь, смиренно остановился он у притолоки, глядя исподлобья на родителя...» Что это — стеснительность, богобоязненность? «Молод, дурь еще в голове ходит... Все бы еще рядиться да на рысаках... Летось женил...» Так говорит о нем отец — при посторонних людях! А вот как он с ним разговаривает:

«— Слышишь?.. Чего стал?.. Пошел, дожидайся!

— Слышу, тятенька!

— Ступай же!.. На крыльце дожидайся...»

Понятно, почему Сережа исподлобья-то смотрел! Легко себе представить, каков он бывает, вырвавшись из-под тяжкой ферулы родителя,— «на рысаках» или где-нибудь в трактире. Должно быть, Сережа очень желает своему отцу доброго здравия и многих лет жизни...

Успех «Красильниковых» открывал перед Мельниковым широкую дорогу в литературу. Будучи весной 1852 года в Петербурге, Мельников убедился в этом. «Красильниковых» читают нарасхват,— сообщил он в одном из своих тогдашних писем.— Панаев задал мне обед; вместо 50 р. за лист, которые дает Погодин, предлагает 75 рублей серебром за

лист». Казалось бы, теперь он мог писать и писать. Но в его литературной работе наступил еще один, почти пятилетний перерыв. Почему же он не воспользовался обстоятельствами, как будто бы так счастливо сложившимися для него?

В только что цитированном письме есть фраза, содержащая исчерпывающий ответ на этот вопрос. Рассказав о будущих гонорарах, Мельников написал следующее: «Если не запретят писать, надобно будет воспользоваться этим выгодным предложением». Если не запретят писать... В николаевские времена такого рода запреты не были редкостью. Лютая ненависть царя и его прислужников к литературе была общеизвестной. «История нашей литературы,— писал Герцен в 1850 году,— это или мартиролог, или реестр каторги»[1]. Когда Мельников писал горькие слова о возможном запрете, у всех еще была в памяти буря, разразившаяся над А. Н. Островским после напечатания пьесы «Свои люди — сочтемся»: попечитель московского учебного округа «вразумлял» великого драматурга, а полиция следила за каждым его шагом — по прямому приказу царя. Как раз в 1852 году Тургенев после выхода в свет его «Записок охотника» был посажен на съезжую, а потом сослан в деревню.

«Красильниковы» произвели большое впечатление не только на читателей, но и на тех, «кому ведать надлежало». «Быть может, до вас дойдут слухи о том, что я арестован,— предупреждал Мельников своего адресата в том же письме.— Повесть «Красильниковы» имела сильный успех, но цензура, говорят, возопияла и послала в Москву узнать, кто такой «Печерский»... Если это справедливо, без неприятностей не обойдется: здесь то и дело литераторы на гауптвахте сидят. Авось и пройдет!»[2]. Но авось не выручил: ведь Мельников был чиновник — лицо перед высшим начальством сугубо подневольное.

Почему же власть имущие так всполошились?

Тема рассказа как будто бы чисто бытовая. Но разрешалась она на таком жизненном материале — быт купечества, который в то время сам по себе был политически актуален. Гоголь бросил на купца презрительно-насмешливый взор. Но его купцы еще старозаветной породы. Они еще и сами не перестали считать себя холопами; даже с начальством средней руки они были почтительны и уступчивы и осмеливались только разве жаловаться, да и то лишь в крайних случаях. Русский купец и промышленник середи-

---

[1] А. И. Герцен, т. VII, стр. 208.
[2] П. Усов, стр. 104—105.

ны XIX столетия был уже не таков. Вышедший из числа оборотистых мужиков или плутоватых и услужливых приказчиков, он все смелее и напористее претендовал на положение нового хозяина жизни. И самодержавие сочувственно относилось к этим претензиям. К такому купцу русские писатели тогда только еще начинали присматриваться. Самсон Силыч Большов стоял в тогдашней литературе почти в полном одиночестве.

Корнила Егорыч — человек того же разбора, что и Большов. Но в мельниковском герое перед нами новое качество: он, если можно так про него сказать, мыслит более крупными категориями, он «политик». Говоря о бестолковости чиновничьей статистики, Корнила Егорыч в то же время имеет в виду всю государственную экономию; он толкует не просто о нравах и стремлениях купеческой молодежи самих по себе, а о смысле и пользе просвещения вообще. И все это самоуверенно, ни на минуту не сомневаясь в собственном превосходстве над собеседником.

На первый взгляд может показаться, что Мельников в чем-то разделяет мнения старшего Красильникова и даже чуть ли не сочувствует ему. В речах Корнилы Егорыча о несуразице казенных умозаключений есть явный резон. Но ведь чиновники и на самом деле действуют так бессмысленно и нелепо, что не надо было большого ума, чтобы заметить это. Рассказчику эти речи, по-видимому, нравятся; но Печерского ни в коем случае нельзя отождествлять с самим Мельниковым: первый слушает Красильникова, разиня рот, и не перестает удивляться его мудрости, а второй просто дал купчине покуражиться и вместе с тем его устами высказал свое мнение о той машине, которую теперь знал досконально. За «критиканством» Корнилы Егорыча явно чувствуется полное его равнодушие и к интересам государства и к народной участи. «Лежит себе на печи да бражку потягивает»,— говорит он о мужике, нисколько не смущаясь этой явной ложью.

С полной заинтересованностью он требует только одного: чтобы наживе не препятствовали, чтобы его «сноровке» дали полную волю. А все его «разумные» речи, как и мелкоштучный паркет, как и незажигаемые дорогие лампы в «зале»,— только для вида. Он как будто бы с завистью говорит об иностранных кожевенных промышленниках, вполне резонно объясняет небрежную работу русских мастеров поштучной платой, посмеивается над русскими купцами, рассчитывающими «на авось, небось да как-нибудь»,— и все это ради красного словца. Сам-то он платит рабочим поштучно и понуждает их старание и радивость толстой суковатой палкой: его алчность не знает пощады. Да что рабочие! Безмерной жадностью к деньгам погубил он и своего талант-

ливого сына Дмитрия. Корнила Егорыч — опять-таки только ради красного словца — уверяет, будто приданое он не ценит; на самом-то деле он не может скрыть своей досады, что Дмитрий не захотел жениться на дочке какого-нибудь мильонщика. Потому-то так и ненавистно Корниле Егорычу просвещение, что оно неразлучно с человечностью, что по самой своей сущности оно враждебно религии барыша.

В этом рассказе впервые выразились взгляды Мельникова на нового хозяина жизни, взгляды, которым он не изменял до конца своих дней. Конечно, Корнилы Егорычи — это сила. Но сила бесчеловечная, антинародная, сила тем более страшная, что ей покровительствуют власти, и поэтому при всей ее жестокости она безнаказанна.

7

«Красильниковы» были не только важнейшей вехой в литературной деятельности, но и во всем общественном поведении Мельникова. Осознав себя художником, уверовав, наконец, в свое художническое призвание, он острее, чем когда бы то ни было прежде, почувствовал, насколько чужд он миру чиновничества и насколько ненавистен ему этот мир. Раньше ему казалось, что он не может ужиться лишь в среде провинциального чиновничества. Теперь, вступив в круг высшей столичной бюрократии, он и здесь увидел тех же чиновников, может быть, чуть-чуть только повылощенней да поприбранней. Но самое важное было даже не в этом. В сороковых годах Мельников, если можно так сказать, «не смел» мыслить как художник, и поэтому его жизненный опыт носил экстенсивный характер: в памяти откладывался нескончаемый ряд наблюдений, а подлинная связь между ними не всегда до конца осознавалась. Теперь неверие в силы своего таланта больше не угнетало его и не мешало ему мыслить художнически. А художническая мысль в конечном счете устремлена к обобщению; без него подлинное творчество невозможно. Каждый замеченный факт сопоставляется со всем ходом вещей и, стало быть, становится достоянием творчества. И чем крупнее художник, тем сильнее в нем способность видеть, как в единичном явлении сказываются общие закономерности жизни. Правдивость заложена в самой природе мышления подлинного художника.

После успеха «Красильниковых» Мельников быстро освобождался от прежних иллюзий. А то, чему раньше он, может быть, не придавал значения, теперь приобретало глубокий смысл. Сюжеты и ситуации складывались сами собой, образы наполнялись живой тканью действительности. Те-

перь нужна была только возможность общения с читателем. И она в конце концов появилась.

Царствование Николая I кончилось так, как только оно и могло кончиться,— катастрофой. Казенный оптимизм, показное величие, оплаченные славословия — все это в свое время было пущено в ход николаевским правительством для того, чтобы успокоить, то есть обмануть общественное мнение. Но ложь — это палка о двух концах: она поражает не только тех, кому предназначена, но и тех, кто ее выдумал. В последние годы николаевского властвования ложь пропитала все поры государственной жизни. Предупреждающие голоса внутри страны были подавлены, а то, что говорили о положении в России иноземные наблюдатели, объявлялось злонамеренной клеветой, сочиненной якобы из зависти. В правящих верхах, в сущности, никто ничего толком не знал. Страна была ввергнута в бессмысленную войну, в ходе которой показное величие рухнуло с таким треском, что главный лицедей режима — Николай — при всей своей безграничной самоуверенности не перенес этого: ходили слухи, будто лейб-медик Мандт оказал своему патрону последнюю услугу — дал ему по его просьбе соответствующую порцию яда, а сам отправился в родные места — в Германию — проживать щедрые царские подачки, заблаговременно переведенные в европейские банки.

Новый царь, похоронив «незабвенного» родителя (демократически настроенные люди сразу переиначили этот эпитет и стали звать Николая «неудобозабываемым»), поневоле должен был как-то менять внутреннюю политику — опять-таки ради успокоения общества. Но оно уже было не то, что раньше. В нем были силы, полные решимости опереться на растущее возмущение народа. Именно поэтому самодержавно-помещичьи правящие верхи вынуждены были пойти на известные уступки. В 1856 году заговорили о необходимости отмены крепостного права, о преобразовании суда, администрации и т. п. Был несколько ослаблен и цензурный гнет.

Передовые русские писатели не замедлили воспользоваться этим. В 1856 году вышли в свет две книги, обозначившие новую эпоху в литературе: сборник стихов Н. А. Некрасова, открывавшийся стихотворением «Поэт и гражданин», в котором звучал почти открытый призыв идти на бой против самодержавия и крепостничества, и «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, потрясшие читателей горькой правдой о нравах той огромной корпорации разных служебных воров и грабителей, о которой писал незадолго до своей кончины Белинский в знаменитом письме к Гоголю.

В рядах передовых писателей выступил и Мельников. Ему не пришлось долго размышлять над тем, что произошло в стране и чего ждет общество от литературы. В 1856—1857 годах — всего лишь за один год с небольшим — он напечатал целую серию произведений, которые если и не были целиком написаны, то уж во всяком случае обстоятельно обдуманы еще в николаевские времена. «Дедушка Поликарп», «Поярков», «Медвежий угол», «Непременный» — во всех этих рассказах Печерского предстали перед читателем во всей своей безобразной и цинической наготе порядки и нравы, господствовавшие в самодержавно-чиновничьем государстве.

Мельников сразу выдвинулся на одно из первых мест в литературе тех лет. Редакторы журналов наперебой стремились заручиться его согласием на сотрудничество; критики ставили его имя наряду с именем Щедрина. Это сближение не без гордости принимал и сам Мельников: «...Я с Салтыковым по одной дорожке иду: что Щедрину, то и Печерскому»[1]. В 1857—1858 годах такая оценка не была преувеличенной.

В названных выше рассказах Андрей Печерский не изменяет своей позиции занимательного и непритязательного рассказчика. Он, по-видимому, без каких-то важных целей повествует о людях и случаях, с которыми ему пришлось сталкиваться во время его разъездов по медвежьим углам — по всем этим Рожновым, Чубаровым, Бобылевым. Этот своеобразный «индифферентизм» Печерского подчеркнут и построением его рассказов: обыкновенно он только вводит читателя в обстановку действия, а затем заставляет говорить своих героев. Они-то чаще всего и рассказывают о главных героях и обстоятельствах, тоже как будто бы не вдаваясь в суть дела, а просто так, для занятности. Если это какой-нибудь мелкий чиновник вроде Пояркова, то он рассказывает о своих похождениях, неизбежно впадая в бахвальство: «Да-с, бывал я котком, лавливал мышек». Если же речь ведет человек из народа, как, например, дедушка Поликарп или старик Максимыч из рассказа «На станции», то он обыкновенно толкует о чиновниках «хороших», которые сейчас правят, противопоставляя их «плохим» прежним. Но в этом простодушии Печерского и его собеседников и сказывается горькая ирония Мельникова, являющаяся в этих его рассказах одним из главных средств выражения идеи повествования.

Истинные «герои» всех этих рассказов — уездные или губернские чиновники различных рангов — от какого-нибудь исправника или станового до управляющего казенной пала-

---

[1] П. Усов, стр. 188.

той. В среде этих людей властвуют законы разбойничьей шайки. Грабительство для них — дело заурядное и естественное: брать бери, не задумываясь, только знай, с кем и когда поделиться добычей. Правда, некоторые из них различали виды грабежа; считалось, например, что «казной корыстоваться не в пример способнее, чем взятки брать...». Способы ограбления казны, глядя по обстоятельствам, были довольно разнообразны, но все без исключения цинически просты — изощряться особенно было не из чего, потому что наказывать было, собственно, некому. Но как ни отвратительно казнокрадство, Мельников обращал внимание прежде всего на взяточников — и не столько на тех, кто с купцами да подрядчиками дело имел, сколько на тех, кто драл непосредственно с народа. Именно здесь нагляднее всего обнаруживалась антинародная сущность бюрократической машины.

Хвалители самодержавия — и купленные и доброхотные — без устали твердили о его цивилизаторской миссии, о том, что оно является носителем строгой законности. Мельников и сам совсем еще недавно склонен был верить этой легенде. Теперь он с возмущением обнажал ее лживость. «Закон, как толково ни будь написан, все в наших руках,— разъясняет Поярков.— А мужик что понимает? Он человек простой, только охает да в затылке чешет. До бога, говорит, высоко, до царя далеко». Действительно, мужик — темный и забитый — жил, как на осадном положении. В деревне его грабили местные и налетные начальники, в городе — городские. «Всякий... с тебя сорвать норовит: и городничий, и квартальный, и исправник; будочник привяжется — и будочника ублаготвори...»

«Все в наших руках...» — в этом было главное. Мельников не оставляет никакого сомнения: беда не в том, что среди чиновников слишком много мерзавцев; причина причин — в системе. Каждый чиновник сам по себе, как правило,— ничтожество, но его сила в том, что он связан грабежом со всем чиновничеством — от захолустного зимогорского до столичного. В этом смысле особенно важны фигуры крупных грабителей — Линквиста и Кабрейта. Первого часто ревизовали губернские власти, а второго — еще более важные чиновники, и обходилось благополучно, и все потому, что оба они и в столице были известны, то есть делились и с министерскими чиновниками. Правда, Кабрейт на одной из поставок слишком уж понадеялся «на волю божью», но надежды все-таки не теряет: соучастники грабежа в конце концов выручат.

Пока существует чиновничья корпорация, думал Мельников, народ так и будет беззащитен и бесправен, так и будет руководствоваться этой рабской «мудростью»: «Перед на-

чальством имей голову наклонну, а сердце покорно...» Мельников и в эти годы не знал подлинных путей обуздания чиновничьей своры. Темнота и забитость народа были той почвой, на которой расцветало грабительство,— тут он был прав. Но, по его чисто просветительскому убеждению, сам народ не в силах был превозмочь этой темноты и забитости; свет должен был прийти откуда-то сверху.

Повесть «Старые годы» была напечатана как раз в то время, когда все больше и больше обострялась борьба вокруг крестьянского вопроса. Защитники крепостничества, отстаивая свои «права» на владение крещеной собственностью, за явной несостоятельностью юридических и экономических доводов с удвоенной настойчивостью принялись оживлять старую легенду об исторических заслугах всего дворянства перед русским государством, перед русской культурой.

Вспоминали имена «птенцов гнезда Петрова», «екатерининских орлов», героев Отечественной войны 1812 года и заслуги этих людей приписывали всему дворянству. Дворянские идеологи немало потратили чернил, доказывая, будто русское дворянство было чуть ли не единственным творцом и распространителем культуры в России. Пушкин, Лермонтов и многие другие русские писатели тоже были дворяне, с напускной гордостью говорили эти люди, делая вид, что не знают, как русская аристократия травила и преследовала великих поэтов и как эти последние относились к дворянству и крепостничеству. В повестях и романах консервативных писателей дворянин выставлялся носителем рыцарского чувства чести и человеческого достоинства. Авторы многочисленных трактатов и статей без тени смущения толковали о том, что дворяне являются просветителями и наставниками крестьян.

Передовая русская литература противопоставила этим легендам правду о крепостническом дворянстве. В те годы появились новые, наиболее беспощадные антидворянские стихи Некрасова; Гончаров напечатал «Обломова», а Добролюбов разъяснил общественное значение этого романа. Некрасов в своей «Железной дороге», А. Н. Островский в исторических драмах, несколько позднее Лев Толстой в «Войне и мире» показали великую роль народа в защите родной страны и в созидании всех ее богатств — народа, а не дворянства.

Повесть Мельникова сразу привлекла сочувственное внимание демократических кругов. Некрасов сообщил о ней Тургеневу как о первостепенной литературной новости: «В «Русском вестнике»... появилась большая повесть Печерского «Старые годы»... интерес сильный и смелость небывалая. Выведен крупный русский барин во всей ширине и безобразии старой русской жизни — злодействующий над своими под-

властными, закладывающий в стену людей...» И этот злодей, продолжал Некрасов, «всю жизнь пользовался покровительством законов и достиг «степеней известных»[1]. Здесь прежде всего необходимо обратить внимание на мысль о «смелости небывалой».

«Старые годы» написаны в иной тональности, чем рассказы Мельникова о чиновниках. Там господствует иронический тон, здесь — саркастический. Большая часть мельниковских чиновников — мелкая сошка, над которой в те годы потешались и на которую хотели свалить все беды и неустройства даже самые закоренелые ретрограды. Мельников обличал не столько их самих, сколько бюрократическую систему в целом. Князь Заборовский как личность — тоже совершеннейшее ничтожество, но в его руках сосредоточена огромная, самостоятельная, в сущности, почти неограниченная власть. В его карьере, в его привычках и желаниях, во всей его бесчеловечно-жестокой и чудовищно-бессмысленной жизни воплотилась норма дворянского бытия — от царских палат до мелкопоместной усадьбы. Князь Алексей Юрьевич был заметной фигурой при дворе. Там он прошел великолепную школу и тирании и холуйства. В своем Заборье он просто установил обычаи и нравы, господствовавшие при дворе. Потому-то главным образом все местные дворяне в этих обычаях и не видели ничего преступного. Мелко- и среднепоместные поспешили определиться в приживальщики со всеми «приличными» этому званию преимуществами и обязанностями, а губернатор и предводитель дворянства почитали за честь быть приглашенными к княжескому столу. Для них Заборовский — образцовый барин; любой из окружающего его «шляхетства» поступал бы в точности так же, если бы имел такое богатство и такие связи. Поэтому преступления князя Заборовского не исключение; они прямое следствие того положения, которое занимали русские дворяне в обществе.

Для Мельникова самые разговоры о цивилизаторской и просветительной миссии русского дворянства были отвратительны. Заборовские могли только угнетать народ и развращать его. Стоит только вспомнить омерзительную фигуру Прокофьича.

Необычайный успех «Старых годов» в демократической читательской среде свидетельствовал о том, что повесть была воспринята как злободневно-полемическое произведение, и само ее заглавие воспринималось как саркастическое. Разве в середине XIX столетия дворянская масса — от придворной

---

[1] Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, М., 1952, стр. 355.

камарильи до мелкопоместных обывателей — чем-нибудь существенным отличалась от Заборовских? Честь? Человеческое достоинство? Но как могут воплотиться эти свойства личности в среде, в которой богатство и власть добываются холуйством, где «высшие» безнаказанны, а «низшие» беззащитны? Знания? Культура? Но холуйство ведь приносило не в пример больший успех. Мельников отрицал все продворянские легенды.

В «Старых годах» Мельников высказал, в сущности, все, что он думал о русском дворянстве. В других его произведениях о дворянской жизни только развивались и в чем-то дополнялись идеи, впервые высказанные в этой повести. «Бабушкины россказни», например,— это нечто вроде варианта «Старых годов», исполненного в обычной для Мельникова иронической манере. Здесь простодушие Печерского снова вступает в свои права. Но сила обличения от этого вовсе не ослабевает.

Прасковья Петровна Печерская, хоть и не очень богатая дворянка, была, однако, своим человеком и в верхнем губернском и в придворном кругах, а ее мораль, ее взгляды на жизненные ценности ничем не отличаются от взглядов темного княжеского холопа Прокофьича.

8

Есть в «Бабушкиных россказнях» как будто бы проходной, но на самом деле весьма многозначительный диалог о «бесподобном» французском короле — Людовике XVI, который всегда с таким глубоким уважением и с такой почтительностью говорил о Екатерине II и которого «tué» на эшафоте. Конечно же, Мельников смотрел на это историческое событие иначе, чем бабушка Андрея Печерского, и напомнил он о нем неспроста. Общественная борьба, развернувшаяся в те годы в России, могла, по его убеждению, привести к тем же, что и во Франции конца XVIII века, последствиям, если единомышленники бабушки будут упорствовать в защите своих привилегий.

В 50—60 годах с наибольшей силой и резкостью обнаружилась противоречивость мировоззрения Мельникова, его сильные стороны и его ограниченность. Еще задолго до 1855 года он понял эфемерность своей веры в просветительскую миссию Николая I. Но и после этого он не перестал быть мирным просветителем. Он был убежден в необходимости и неизбежности переустройства общественных порядков в России. Однако, кроме правительства, он не видел в России иной силы, которая могла бы возглавить и осуществить дело такого переустройства.

---

[1] П. Усов, стр. 187.

Слабость этой позиции временами ощущалась и самим Мельниковым. Крупный министерский чиновник, он хорошо знал, каково тогда было русское правительство. Самые влиятельные посты занимали коноводы крепостнической партии — все эти Орловы, Панины, Муравьевы, Долгорукие, каждый из которых, по словам Мельникова, был «пропитан помещичьим духом с ног до головы».

И снова надежды возлагались на царя. Но эти надежды были шаткими. «Темная партия сетьми опутывает государя. Доброго что-то не предвещает настоящее»[1],—писал Мельников в своем дневнике за 1858 год. Для его тогдашних настроений чрезвычайно характерна дневниковая запись от 22 марта 1858 года: «...Встретился с Сергеем Васильевичем Шереметьевым и ходил с ним по Невскому и по Литейной более двух часов... Он, разумеется, против освобождения... Шереметьев сказал, между прочим, что еще будут перемены в этом деле, но какие, не говорил. Он в связях и родстве с великими мира сего и, конечно, говорит не без основания. Что же это будет? Народу обещали свободу, назначили срок и правила; народ ждет; везде тихо, спокойно, несравненно спокойнее, чем прежде, и вдруг, если Шереметьев правду говорит, пойдет дело в оттяжку. Таких дел откладывать нельзя, а то, чего доброго, и за топоры примутся»[1].

Хотя Мельников никогда не считал себя единомышленником либералов 50—60-х годов, его позиция в общественной борьбе того времени в главном и существенном совпадала с их позицией. Его сочувствие закрепощенному крестьянству было вполне искренним, но возможность освобождения народа от помещичье-чиновнического гнета «снизу», то есть силами самого народа, страшила его больше, чем козни крепостников. В период революционной ситуации 1859—1861 годов, когда возмущенные крестьяне все чаще и чаще принимались за топоры, когда борьба революционных демократов становилась все более решительной, Мельников при всей его ненависти к «помещичьему духу» оказался в лагере реакции.

Однако было бы ошибочно думать, что Мельников теперь начисто отказался от своих просветительских убеждений. Они неизбежно прорывались в его действиях и поступках. И это хорошо понимали вчерашние его противники: ревностные охранители самодержавно-крепостнического режима не могли забыть и простить рассказов и повестей Печерского и не считали Мельникова «своим человеком». Да он и сам в эти годы был далек от уверенности в правоте своей общественной позиции. Только этим и можно объяснить но-

---

[1] П. Усов, стр. 182—183.

все, третье молчание Мельникова-беллетриста, на этот раз продолжавшееся около восьми лет (1860—1868 гг.).

В министерстве его держали подальше от дел, в которых он больше всего был осведомлен и заинтересован. Тогда он решил заняться публицистикой и в 1859 году стал издавать газету «Русский дневник». Полуофициозный характер этого издания предопределил полный его неуспех у читателей: оно перестало выходить, даже не дотянув до конца года. После закрытия «Русского дневника» он некоторое время сотрудничал в консервативной газетке «Северная пчела». На эту его «частную» журнальную деятельность министерское начальство смотрело косо. Чтобы взять «перо» Мельникова под свой полный контроль, министр внутренних дел Валуев назначил его редактором отдела внутренней жизни правительственной газеты «Северная почта». Но и на поприще официальной публицистики он продержался недолго: выяснилась непригодность Мельникова на роль послушного пересказчика «идей» и указаний Валуева. В 1866 году Мельников вышел в отставку, переселился в Москву и перешел на положение профессионального литератора.

Переехав в Москву, Мельников становится одним из ведущих сотрудников газеты «Московские ведомости», редактором-издателем которой был М. Н. Катков — главный идеолог и присяжный публицист крайней самодержавно-крепостнической реакции. Вскоре, однако, Мельников отказался от этого, в денежном отношении весьма выгодного и необходимого для него, главы большой семьи, сотрудничества: в ногу с Катковым-политиком он идти не мог. Теперь он должен был писать прежде всего ради заработка. В 1867—1868 годах он напечатал целый ряд популярных историко-этнографических очерков о «расколе» и связанных с ним в той или иной степени религиозных сектах. Только в 1868 году он вплотную приступает к осуществлению давнего своего замысла — к писанию романа «В лесах».

9

Связь между двумя главнейшими произведениями Мельникова — его романами «В лесах» и «На горах» — весьма своеобразна. Каждому из них свойственна известная самостоятельность: «В лесах», например, на первом плане судьба семейства Чапуриных, а во втором романе — «На горах» — в центре повествования семья Смолокуровых. Есть различия между этими книгами и в других, может быть, менее заметных, но важных деталях и подробностях. И все-таки, сколько бы такого рода различий мы ни отметили, эта самостоятельность оказывается сугубо относительной. Ведь если читатель не знаком с книгой «На горах», то и в содержании

книги «В лесах» ему будет многое неясно. Нечего уж говорить о том, что без знания романа «В лесах» роман «На горах» даже во многих сюжетных подробностях не будет понятен. В наше время два романа, так тесно связанные между собою, называют обыкновенно дилогией. «В лесах» и «На горах» — это две большие книги, или, другими словами, две сложные части одного большого произведения. В читательской памяти они так и живут — неразрывно друг от друга.

При чтении этих книг нельзя не удивляться богатству вместившегося в них жизненного материала, необъятной, кажется, широте познаний автора, порою имеющих весьма «специальный» характер. О чем только не рассказывается в этих книгах! Об изготовлении и сбыте горянщины и о хлыстовских «радениях»; о заготовке леса и о старообрядческих обычаях и верованиях — с обширнейшими экскурсами в историю и догматику «раскола»; о хлебной торговле и о монастырских и церковных нравах; о ловле и засолке рыбы, о рыбной торговле со всеми тайнами купеческого плутовства и о народных праздниках, поверьях и легендах; о прошлом и настоящем валяльного промысла и о развитии волжского судоходства; о еде... еда представлена в этом произведении, так сказать, во всех ее аспектах: кто, что, как и когда ест, как готовят и даже как заказывают еду...

И все это рассказывается с такой очевидной увлеченностью, что читатель временами готов думать, что Андрей Печерский был очень любознательный, памятливый и словоохотливый человек, и он, по-видимому, не очень заботясь о стройности всего повествования в целом, не мог удержаться, чтобы не щегольнуть какой-нибудь полезной, или редкой, или просто занятной подробностью из запасов своей памяти. Но Печерский вовсе и не боится такого впечатления; напротив, он как будто бы даже заинтересован, чтобы дело получило именно такой оборот. И поступал он так «с полного согласия самого Мельникова».

10 ноября 1874 года в Москве праздновалось тридцатипятилетие его литературной деятельности. В ответ на приветственные речи юбиляр сказал следующее: «Бог дал мне память, хорошую память... Что ни видишь, что ни слышишь, что ни прочтешь — все помнишь... А на роду было писано довольно-таки поездить по матушке по святой Руси. И где-то не доводилось бывать?.. И в лесах, и на горах, и в болотах, и в тундрах, и в рудниках, и на крестьянских полатях, и в тесных кельях, и в скитах, и во дворцах, всего не перечтешь... Вздумалось мне писать; ну, думаю, давай писать и стал писать «по памяти, как по грамоте», как гласит старинное присловье. Вот и все... Говорили о художественности моих литературных произведений, об их обдуманности. Да,

ей-богу же, когда беру лист бумаги и пишу на нем первую строку, никогда и не знаю, о чем буду писать на последней строке той страницы» [1].

Это признание ввело в соблазн не одного историка литературы. Если уж сам писатель говорит, что никакой он не художник и что никогда не следовал завету великого Пушкина и не «усовершенствовал плоды любимых дум», а просто писал, что помнил, то стоит ли отыскивать у него какие бы то ни было художественные идеи? Больше всего и лучше всего он помнил подробности народной жизни; стало быть, он и есть этнограф. Писатель-этнограф — этот, в сущности, ничего не определяющий, но зато удобозапоминаемый ярлык и до сих пор еще встречается в некоторых историко-литературных работах. Если повнимательней прислушаться к приведенному выше признанию, такому на первый взгляд откровенному, то окажется, что тут еще раз проявилась лукаво-ироническая «скрытность» Мельникова. «Вздумалось мне писать, ну, думаю, давай писать... да, ей-богу же...» Перед нами опять Андрей Петрович Печерский. Сам Мельников поступал совсем не так. Достаточно сказать, что прежде чем наступила эта важная минута — «давай писать»,— он почти десять лет вынашивал и обдумывал замысел своего крупнейшего произведения. Но в конце концов важнее другое: разнообразие и многоцветность жизненного материала в романе, иногда кажущиеся даже чрезмерными, не только не мешают цельности впечатления, а, напротив, усиливают его. Дело в том, что буквально ни одно из бесчисленных отступлений не существует само по себе, безотносительно к судьбам его героев.

Мельников создавал «В лесах» и «На горах» в те годы, когда в русской литературе бурно развивался социально-психологический роман, достигший в творчестве И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского своего наивысшего расцвета. Но в тогдашней литературе существовали и другие жанровые разновидности романа. Одной из них был так называемый «деловой» роман, непосредственно связанный с традицией «Мертвых душ» Гоголя. В критике тех лет типическим в этом смысле произведением считали «Тысячу душ» А. Ф. Писемского. Отличительной особенностью такого романа было то, что его персонажи действовали не только в бытовой сфере или в сфере интимных отношений, но прежде всего и преимущественно в сфере «деловой» (государственная служба, промышленные или торговые спекуляции и т. п.).

Связь романа Мельникова именно с традицией «делового» романа несомненна. Характер Смолокурова, например,

---

[1] П. Усов, стр. 276.

был бы во многом не ясен, если бы не было отступлений хотя бы о том же рыбном промысле и о рыбной торговле. Точно так же образ Манефы не был бы столь рельефен, если бы Мельников не ввел читателя в мельчайшие подробности скитской обрядовости, «экономики» и «дипломатии». Конечно, Мельников не прошел мимо завоеваний социально-психологического романа. Многие его герои, особенно те, кому он сочувствует,— это люди сильных страстей и сложных чувств. Когда он оставляет их наедине с самими собой, он пользуется и приемами психологического анализа. Но в целом психологический анализ в стиле Мельникова — лишь вспомогательное средство выразительности. Характеры его героев определяются прежде всего в действии, которое чаще всего связано с главным делом их жизненной практики. Вот почему все эти, казалось бы, преизобильные сведения о промыслах, о купеческих плутнях, о делах «раскольников» не имеют в нашей памяти самодовлеющего значения: вспоминая о них, мы чаще всего даже незаметно для самих себя начинаем думать о судьбах людей. И это не только потому, что в литературе мы интересуемся прежде всего тем, что происходит с человеком; тут сказывается воля Мельникова-художника. По своей «скрытности» он почти никогда не высказывал своего отношения к изображаемой жизни ни в форме философских рассуждений, как это бывает у Л. Н. Толстого, ни в публицистически страстных отступлениях, как у Гоголя. В этом смысле Мельников ближе к Пушкину-прозаику. Чтобы вникнуть в существо идей Мельникова-художника, нужно присмотреться к судьбам его героев.

10

В этом романе очень много несчастных людей; еще больше злых и жестоких. А что касается благополучно-добродетельных, которых в романе совсем мало, то Мельников, как будто бы не зная, что с ними делать, или оттеснял их на самую дальнюю периферию действия, как Сергея Андреича Колышкина, или выносил благополучно-добродетельное существование некоторых персонажей за пределы романа. Все его внимание сосредоточено на судьбах несчастных и злых.

До конца своих дней Мельников был верен своим просветительским взглядам. Он был убежден, что люди родятся на свет хорошими, способными к безграничному совершенствованию. И только неразумные условия жизни мешают осуществлению человеческих возможностей. Большинство главных героев «В лесах» и «На горах» — это люди от рождения неплохие. Конечно, по природным задаткам они различны; однако в ранней молодости они были похожи друг на друга

непосредственностью и чистотой помыслов и чувств. Но как только наступала пора так или иначе приобщаться к «делам», так все то хорошее, что было в молодых сердцах, или с цинической жестокостью попиралось и осквернялось, или постепенно заглушалось. Одни, защищая чистые мечты юности, погибали, как Настенька; другие бессильно склонялись перед мерзостями жизни; третьи под напором этих мерзостей сами старались подавить в себе порывы здоровых желаний и страстей; четвертые открыто предавались злу и пороку... Но как бы ни были различны жизненные дороги каждого человека, Мельников как подлинный художник-реалист всегда стремился отыскать главную, конечную причину тех перемен, которые происходили в судьбах его героев. И эти поиски привели его к мысли, что и к несчастьям, и к жестокости, и к пороку толкают людей одни и те же силы. На исследовании этих сил и сосредоточено почти все его внимание.

Что погубило Настеньку Чапурину?

Да, Алексею не хватило мужества, чтобы отстоять и свою и ее любовь. Но почему оно ему изменило? Он не был прирожденным трусом и соблазнительством тогда еще не успел заразиться. Его любовь к Насте — любовь с первого взгляда! — на первых порах была чистой и бескорыстной: «Зародится же на свете такая красота!». Страх и малодушие пришли после. Разве мог он подумать, что Патап Максимыч согласится отдать за него свою любимицу? Ведь Алексей был «закабаленный». Этот страх подтвердился слухами о самарском женихе-купце. И не взбреди Патапу Максимычу блажь породниться с мильонщиком, может быть, по-другому бы сложилась участь и Насти и Алексея. Может быть, тогда и блеск золотого песка не подействовал бы на Алексея так ослепляюще. Дух стяжательства — вот кто истинный виновник гибели Настеньки. Он же, этот дух, в конце концов и в Алексее убил все человеческое.

А разве Маше Залетовой выпало бы на долю столько страданий, если бы ее отцу не втемяшилось во что бы то ни стало завести пароход и разбогатеть еще больше, разбогатеть без предела? И еще две жертвы. Евграф Масленников не мог защитить ни себя, ни своей чистой любви; он об этом и подумать не смел; он твердо знал: у кого богатство, у того и «воля» — то есть полный произвол. Он сгинул где-то, а его возлюбленной Марье Гавриловне, вынесшей все надругательства старика Масленникова, предстояло еще раз пережить и любовь и унижения. Мучитель был другой, а причина мучений та же: богатство, дух стяжательства.

Манефа и Яким Стуколов — жертвы того же божества. Матрену Чапурину, дочь богатых родителей, не захотели выдать за голяка Якима. Она подавила в себе живые чело-

веческие чувства в скиту; а он — неудачливый стяжатель — попал на каторгу.

Отношение Мельникова к русскому купцу определилось еще в «Красильниковых». «В лесах» и «На горах» он нарисовал обширнейшую панораму буржуазного образа жизни. Если попытаться найти слово, которое наиболее полно характеризует сущность буржуазной жизни, как ее представлял Мельников, то самым подходящим окажется слово преступление. В своем романе он не говорит о бережливости и трудолюбии первозаводителей мильонных состояний. И не случайно. Хвалители буржуазии именно эти качества объявляли основой могущества капитала. Мельников на всем пространстве романа — особенно во второй его части, «На горах»,— настойчиво проводит мысль, что это могущество замешено на преступлении. Поташовские, смолокуровские мильоны, самоквасовские и доронинские богатства были добыты грабежом в буквальном смысле слова. Всякий, кто лишь прикоснется к миру стяжательства и барыша, неизбежно втягивается в преступление. В этом смысле характерна фигура Марка Смолокурова.

Сам он грабежом на большой дороге не занимался. Да, по-видимому, и не был предрасположен к этому. В молодости ему были доступны чистые человеческие чувства. Когда случилось несчастье с Мокеем, Марк был искренне опечален; он долго и упорно, не жалея денег, разыскивал его. Он преданно любил свою жену и глубоко страдал после ее смерти. Всю свою жизнь посвятил он потом воспитанию дочери Дуни, в которой души не чаял. Но его «дело» без преступлений вести было невозможно. Грубый обман, насилие, подкупы, убийства — все это неизбежные спутники выгодных «законных» торговых оборотов. И опустела его душа, очерствело и ожесточилось сердце. Теперь Мокей прежде всего — претендент на долю в капитале. Теперь Марк Смолокуров — раб своих мильонов и преступник. Предсмертное его свидание с Корнеем Прожженным достойно завершает всю его преступную жизнь.

Нажива и добродетель — антиподы. Ведь Гаврила Залетов был добрый и честный человек — это Мельников подчеркивает особенно настойчиво,— но жажда барыша заставила его продать родную дочь. А Патап Максимыч Чапурин? Добрый, широкой души человек, нежно любящий отец, он гнет под свою лапу всех. И все во имя того же божества — богатства и наживы. В угоду этому божеству он загубил и Настеньку.

Судьба Чапурина — это не только судьба человека, доброта которого затемнена и обессмыслена стяжательством; это также и судьба деятельной и неэгоистичной личности

в буржуазном обществе. Вчерашний мужик, Патап Максимыч очень скромен в своих личных потребностях. Конечно, дом его один из лучших в Заволжье. Но только по мужицким масштабам и вкусам. Чапурин задает обильные «пиры», но и это больше все из того же наивного — мужицкого еще — тщеславия. Знаменитый «купецкий» разгул ему чужд, и в этом смысле деньги для него не соблазнительны. Богатство он больше всего ценит за то, что оно дает ему «почет и уважение». Но влияние и власть ему нужны не только для того, чтобы потешать свое славолюбие. В нем жила постоянная мечта о деятельности в масштабах всей России; о такой деятельности, которая приносила бы благо всей стране. За такие большие дела, мечтал Чапурин, не грех было бы принять и благодарность русских людей.

Иногда считают, что Мельников, живописуя благороднодеятельные качества своего героя, хотел внушить читателю мысль о великой созидательной, цивилизаторской роли русской буржуазии и, стало быть, о благодетельности всего буржуазного образа жизни. На самом деле это не так. Всем своим романом Мельников спорил с тогдашними апологетами буржуазии.

Два раза Патапу Максимычу казалось, что он близок к осуществлению своей большой мечты. И оба случая только наглядно обнаружили ее наивность. Ветлужское золото оказалось фальшивым, и Чапурин закаялся иметь дело с «золотым песочком». Мельников разъясняет, что золотопромышленничество было неразлучно с преступлением. Патап Максимыч хотел завести «дела» на горах, развить там выгодную для народа промышленность. Это была несбыточная мечта о «народном капитализме».

В критике 80—90-х годов высказывалось мнение, будто бы роман «На горах» ничего не прибавляет к первому роману — «В лесах». Разве что некоторые новые этнографические подробности. Эта ошибочная мысль порождена непониманием самой сущности романа Мельникова как романа антибуржуазного.

Патап Максимыч — это купец еще патриархальной складки. Он связан с кустарной промышленностью и ее же хотел бы расширить и совершенствовать. В романе «На горах» даны картины «деятельности» купцов нового типа, таких, которые пользуются уже новейшими средствами обогащения: составляют дутые акционерные компании, пишут необеспеченные векселя, объявляют мнимые банкротства. Чапурин для такого рода «операций» был явно не пригоден. Стоит только вспомнить правобережных воротил, чтобы понять, насколько была наивна его мечта о роли народного «благодетеля»; конечно, Орошины, Смолокуровы и им подобные с их мильонами не позволяли бы Патапу Макси-

мычу — всего лишь тысячнику — и шагу ступить: они были заинтересованы в нищете народа. Нет, говорил Мельников читателю своего времени, не Чапуриным суждено быть первыми фигурами в купечестве. Патап Максимыч, в сущности,— еще одна жертва жестокого божества. Гоняясь за богатством, он и не заметил, как ушло из его жизни все, что он горячо любил. В финале романа это одинокий человек, без семьи, без большой мечты и без будущего; действует он теперь как бы по инерции.

Но, может быть, неудачи Патапа Максимыча от его патриархальной «неотесанности»; может быть, молодые образованные купцы, вроде Никиты Меркулова или Дмитрия Веденеева, великолепно знающие все ухватки новых дельцов, вытеснят Орошиных и облагородят купеческие нравы? По-видимому, такого рода предположения Мельникову-просветителю были не совсем чужды. Но как это осуществится, он не мог себе представить. Потому-то и фигуры этих купчиков так бледны и невыразительны. Беглый рассказ о том, как Меркулов с Веденеевым «честно» взяли больший барыш, чем Орошин, малоубедителен. Он доказывает только одно: «молодые» постепенно втягиваются в борьбу, которая в конце концов заставит их действовать так же, как и Орошины, потому что эти последние не исключение, а правило. Тут еще раз сказалась та закономерность, что реалистическое творчество неизбежно подтачивает всякие иллюзии, в том числе и просветительские.

Когда-то Корнила Красильников хвалил иностранных купцов за их основательность и добросовестность, и Мельников не спорил с ним. Теперь, через двадцать с лишним лет, Мельников убедился, что и европейские буржуа не лучше русских купцов. «Распервейшие мошенники»,— говорит о тамошних дельцах Дмитрий Веденеев, побывавший за границей: «Ладят с тобой дело, так спереди целуют, а сзади царапают». Дух барыша и предпринимательства не может ужиться с принципами истинного просвещения, потому что божество просвещения — разум — слишком щепетильно и непреклонно в вопросах чести, человеческого достоинства и справедливости. Русский купец облюбовал себе старообрядческого бога, на этот счет более покладистого.

11

О старообрядчестве в романе Мельникова говорится больше всего. Поначалу даже складывается впечатление, будто это главная его тема. Если взять богато разветвленный сюжет романа, то окажется, что почти все персонажи и события так или иначе соотнесены со старообрядческими дела-

ми, в особенности с судьбой Манефиной обители. «Раскольническими» делами определяется и само «романное» время: действие начинается в 1846—1847 годах, вскоре после основания «австрийской», то есть Белокриницкой, старообрядческой митрополии, а кончается в 1853—1854 годах, после разрушения Керженских скитов. Естественно предположить, что Мельников высказал здесь все, что он думал о «расколе» в последние годы своей жизни. Каковы же итоги его почти сорокалетних разысканий и размышлений?

В 1855 году своим «Отчетом о современном состоянии раскола...» он нажил себе врагов не только в высших бюрократических сферах, но и в кругу князей официальной православной церкви. С тех пор они при всяком удобном случае порочили Мельникова, стараясь прежде всего заподозрить искренность его мнений о «расколе». С этой целью ими был пущен слушок, будто Мельников как-то «внезапно» превратился из гонителя старообрядчества в его защитника. На самом деле после 1856 года Мельников не один раз выступал против подавления «раскола» административными мерами. Но это объяснялось не какой-то «внезапной» переменой в его отношении к старообрядчеству, а изменением политической обстановки в стране: после 1856 года возможность легализации «раскола» стала более вероятной. Однако он предлагал смягчить отношение властей к старообрядчеству не для того, чтобы увековечить его.

Мельников-просветитель не понимал исторической закономерности возникновения «раскола» как своеобразнейшего отражения борьбы различных социальных сил XVII столетия: с одной стороны, сопротивления верхушки боярства (Хованские, Морозовы, Урусовы) централизаторской политике царя Алексея Михайловича, а с другой — протеста широких народных масс против феодального гнета и засилья официальной церкви. Не сумел он увидеть и того, что в старообрядческой «закоренелости» низов и в XIX столетии отражались не только их антицерковные, но и антиправительственные настроения. Именно поэтому революционные демократы и Герцен осуждали позицию Мельникова в вопросах «раскола».

Мельников и после 1856 года продолжал считать «раскол» следствием укоренившейся темноты и дикости. «Не надобно забывать,— писал он в одном из официальных документов тех лет,— что раскол, собственно так называемый, то есть поповщина и беспоповщина, есть порождение грубости и невежества, и что он должен со временем уничтожиться, когда просвещение проникнет в низшие слои народа. Перед светом общечеловеческого образования не устоять расколу,

если не будут воздвигаться на него новые преследования и новые гонения» [1].

Крайняя темнота, по мысли Мельникова, не позволяла созреть в старообрядческой массе элементам социального протеста. Зато она, эта темнота, давала купцам обширнейшие возможности наживаться. И в этом им помогала старообрядческая верхушка. Потому-то они и раскошеливались всякий раз, когда надо было поддержать «раскольническую» иерархию и в особенности скиты. Патап Максимыч Чапурин — один из влиятельнейших «столпов» старообрядчества,— когда пошли споры, принимать или не принимать епископа «австрийского» посвящения, без обиняков отрезал: «Все мои покупатели ему последуют. Не ссориться с ними из-за таких пустяков...». Манефа — влиятельная игуменья, славившаяся чуть ли не «святой» жизнью,—высказывает эту мысль еще более отчетливо: «Разориться Патапушка может, коль не примет нового священства. Никто дел не захочет вести с ним; кредиту не будет, разорвется с покупателями». Это и предопределило отношение Манефы к ставленникам Белокриницкой митрополии. Догматы можно было толковать и так и этак, а благополучие обитателей зависело прежде всего от заступничества купцов и от их «безгрешных» приношений. Таким образом, тема жизни в скитах, развитая в романе с такой щедрой обстоятельностью, сливалась с его антибуржуазной темой.

Еще в «Пояркове» Мельников нарисовал несколько выразительных сцен из жизни инокинь и белиц. Но там она задета как бы мимоходом. К тому же читатель смотрит на нее глазами прохвоста-чиновника, которому как-то не хочется верить, хотя он и говорит о скитах голую правду. «В лесах» и «На горах» нравы обитательниц и обитателей скитов исследованы всесторонне. В романе с неотразимой убедительностью показано, что в скитах нет нравственной чистоты. Да она и немыслима там, где люди живут бездельной, паразитической, противоестественно изолированной от мира жизнью. Ложь, лицемерие, тайный разврат, обжорство, холуйство одних и надменность других — нет, кажется, ни одного порока, который не гнездился бы под островерхими крышами скитов, как мужских, так и женских. И все это с именем бога на устах.

Среди приверженцев «древлего благочестия» — ни в скитах, ни в «миру» — Мельников не нашел, в сущности, ни одного человека, который искренне верил бы в бога и вполне осознанно, «от души» следовал бы слову «священного пи-

---

[1] П. Усов, стр. 222.

сания». А он искал таких людей многие годы. В рассказе «Гриша» как будто бы есть настоящие «верующие» — сам Гриша и его покровительница Евпраксия Михайловна Гусятникова. Но Гриша в своих поисках «истинной веры» дошел до полного исступления, граничащего с умопомешательством. А Евпраксия Михайловна, узнав о пропаже сундука с капиталами, умерла в одночасье. Мельников предоставлял самому читателю решить вопрос, какому богу она больше поклонялась: которому денно и нощно по всем правилам «древлего благочестия» воссылала молитвы или тому, который хранился в сундуке — и хранился-то, кстати, в моленной! В романе он продолжил эти поиски людей «праведной» жизни, но и тут без успеха.

Оказалось, происшедшее с Гришей не случай, а нечто вроде закономерности. Герасим Силыч Чубалов с таким же упорством искал «истинную веру»: перечитал горы книг, перебывал почти во всех старообрядческих «согласиях» и сектах и в конце концов пришел к мысли, что «нет, видно, больше истинной веры». Он ожесточился, стал человеконенавистником и... стяжателем. Только жалость к бедствующему родному брату и его нищим детям пробудила в нем человека. Но после этого Мельников, как бы за недосугом, почти ничего не сказал, насколько искренним было обращение Герасима Силыча к официальной православной церкви.

Дуня Смолокурова тоже искала свет «истинной веры». С самого раннего детства ее окружали скитницы и канонницы, а растила и лелеяла убитая безысходным горем темная староверка Дарья Сергевна. Но детским своим сердцем чуяла Дуня, что люди — и прежде всего ее родной отец — в делах своих поступают не по «слову божьему». От старообрядческих скитов и моленен дошла она до хлыстовских радений. Что помогло ей освободиться из трясины хлыстовской обезличивающей мистики, от корыстного шантажа «божьих людей»? «Слово божье»? Нет. Здоровое чувство отвращения и брезгливости отшатнуло ее от исступленного изуверства, от безобразного разврата во славу господа бога. И опять Мельникову было как будто бы уже некогда рассказать, какова была Дунина вера в бога православной церкви.

Обе эти истории проникнуты одной мыслью: «взыскующие града» неизбежно подавляют в себе все человеческое, утрачивают собственную личность. Старообрядческий и сектантский бог с его жестоким, аскетически иссушенным ликом неотвратимо враждебен всему, что несет человеку живые радости и счастье. В этом смысле особенно поучительна судьба Манефы. Горькое несчастье пригнало Матрену Чапурину в обитель «невест христовых». Обида на людей,

лишивших ее счастья, темный страх наказания божьего, внушенный скитницами, рассчитывавшими поживиться подачками ее богатого отца, заставили Матрену стать инокиней Манефой. Должно быть, она искренне верила в старообрядческого бога. Но к чему привела ее эта вера? Даже успокоения не дала она ей. Крайним напряжением незаурядной воли своей Манефа заставила себя забыть «мирские» радости. Только при внезапной встрече с Якимом в доме Патапа Максимыча дрогнуло ее измученное, очерствевшее сердце, дрогнуло и замерло — теперь уже навсегда. Не любовь к людям жила в ее душе, а еле прикрытое презрение и ненависть ко всему, что за оградой скита, что не способствует упрочению «древлего благочестия». С неколебимым самообладанием «началит» она Петю Самоквасова за то, что тот пожертвовал сто рублей на детский приют.

«Сиротки ведь они, матушка, пить и есть тоже хотят, одним подаянием только и живут,— промолвил на то Петр Степаныч.

— То прежде всего помни, что они — никониане, что от них благодать отнята... Разве ты ихнего стада? Свою крышу, друг мой, чини, а сквозь чужую тебя не замочит...»

Единственное существо, напоминавшее ей ее молодость и «мирскую» жизнь,— родную дочь Фленушку — принесла Манефа в жертву своему жестокому богу. И сделала она это не потому, что верила в «святость» иноческой жизни. Она боялась за Фленушку: «мирские» люди, по ее убеждению, были способны только на зло; но и скитниц она боялась не меньше, потому-то и хотела она, чтобы еще при ее жизни Фленушка стала игуменьей.

Судьба Фленушки — это самое тяжкое обвинение против всех старообрядческих обычаев и нравов. В изображении Мельникова Фленушка — воплощенная полнота и прелесть жизни. Умная, независимая, женственная, она заражала жизнерадостностью и весельем всех, с кем встречалась, желала людям счастья и сама рвалась к нему. Но она родилась и выросла в скиту. Инокини и белицы, видя, как игуменья во всем потакает Фленушке, заискивали перед ней; общая «любимица», она делала, что хотела, и это постепенно приучило ее к своеволию. Фленушка уже не представляла себе, как она сможет укротить свой нрав. Тут одна из причин того, почему она боялась выйти замуж за Петю Самоквасова: «...любви такой девки, как я, тебе не снести». Всем этим и воспользовалась Манефа, чтобы подавить волю дочери. Долго не покорялась Фленушка, но в конце концов «анафемская жизнь», как называла она скитское существование, сломила ее. Мельников провожал свою любимую героиню на иночество, как на смерть.

Когда над Фленушкой совершали обряд пострига, ее возлюбленный бродил по кладбищу. Но вот до него донеслись слова молитвы: «Воистину суета всяческая! Житие бо се — сон и сень, и всуе мятется всяк земнородный...»

— О, будь вы прокляты! — воскликнул Петр Степаныч.

И Мельников не осудил своего героя, которому он явно сочувствовал. Что это значит? Прокляв и эти слова, и заключенный в них смысл, и тех, кто их возглашал, Петя, по существу, проклял не только старообрядческую «философию» жизни; те же слова и в том же значении пели и в православной церкви: в них один из главных догматов всего христианства. Как мог Мельников пройти мимо такого «богохульства»? Ведь он, по-видимому, был «верующий». Свидетельства многих современников говорят о том, что по всем признакам Мельникова можно было считать религиозным человеком. Но есть свидетельства и другого свойства. Сын писателя Андрей Павлович Мельников в своих воспоминаниях рассказывает, что, получив известие о смерти отца, он зашел сообщить эту печальную весть его ближайшему другу, знаменитому востоковеду, профессору Петербургского университета В. П. Васильеву. «Васильев, выслушав меня, занес было руку перекреститься, но только отмахнулся, сказав: «Ведь мы с покойником чужды были религиозных предрассудков» [1].

Эти слова были неожиданны даже для родного сына писателя; в своих воспоминаниях он пытался опровергнуть показание В. П. Васильева, сообщив, что в кабинете П. И. Мельникова были иконы и что он ходил в церковь, хотя не часто. Однако то, о чем В. П. Васильев, знавший автора «В лесах» и «На горах» с гимназических лет, сказал так категорически, подозревали и другие современники писателя, в частности церковники. Но самое убедительное подтверждение слов В. П. Васильева в содержании романа.

В своих трудах о «расколе» Мельников всегда настойчиво и убедительно доказывал, что старообрядческие низы, народ в собственном смысле этого слова, упорствуют в своем заблуждении, между прочим, и потому, что служители официальной православной церкви — попы и монахи различных рангов — все сплошь пьяницы, развратники, святокупцы, стяжатели и т. п. Эта же мысль проведена и в романе. Нельзя забывать, что тема церковной жизни для беллетриста была запретной — ведь такого рода книги читали и «непосвященные»! Поэтому в первых частях романа Мельников был осторожен и касался состояния церковных дел лишь слегка. Тут он вывел только православного попа Родиона

[1] Сборник, т. IX, стр. 65.

Сушилу, который занимался главным образом тем, что вымогал со старообрядцев поборы да писал доносы на тех, кто упрямился. Но в частях романа, объединенных общим названием «На горах», Мельников, ободренный необычайным успехом первой книги — «В лесах», стал действовать смелее.

С почти неприкрытым негодованием рисовал он картины жизни в православных монастырях. При чтении страниц, на которых описываются подвиги настоятелей Миршенского монастыря: «преподобного отца» Вассиана, грабившего и истязавшего крепостных крестьян, его преемника «честного отца» Варлаама — развратника и пьяницу; Нифонта, который в пьяном разгуле спалил село и сам сгорел, спасая от огня туго набитую кубышку,— нельзя не удивляться, как такие страницы были пропущены цензурой. Объяснить это можно только влиянием издателя «Русского вестника» М. Н. Каткова, которому цензоры, в том числе и духовные, доверяли больше, чем самим себе, и которому успех романа Мельникова приносил немалые барыши. Но и Катков в конце концов стал подозревать «недоброе». Его помощник Любимов, конечно, с ведома патрона, писал Мельникову: «Обратите, добрейший Павел Иванович, внимание на одно обстоятельство. Выводятся две стороны: все хлысты описываются добродетельными людьми с возвышенными помыслами, а православное духовенство — пьяница на пьянице, вор на воре. Выводилась бы одна сторона — не беда. А то очень резко сравнение. Поуменьшите водочки и мошенничества у православных пастырей, игуменов и архиереев» [1]. Конечно, Любимов только для вящей убедительности своего пожелания говорил, будто в романе возвеличены хлысты. Но главное он заметил верно: правды о служителях официальной православной церкви Мельников не утаил.

Но антицерковная направленность романа сказалась не только в резко обличительном изображении православных пастырей. «Раскольническая» догматика отличалась от догматики официального православия главным образом формальными особенностями. Существо же и той и другой было едино. И Мельников в своем романе обращал внимание не на форму, а на сущность. Над проповедью аскетизма Мельников смеялся в связи с картинами «раскольнического» быта. Но ведь идея аскетизма лежит в основе всей христианской морали. Когда Мельников развивал мысль о противоестественности скитской «анафемской» жизни, то ведь это выражало и его отношение к жизни в православных монастырях, потому что существование и скитов и монастырей основано на одних и тех же началах христианской религии. В романе

---

[1] П. Усов, стр. 304—305.

высмеиваются толстосумы-старообрядцы, отваливавшие скитам богатые дары, чтобы там замаливали их грехи. А разве купцы-никониане действовали иначе и разве официальная церковь гнушалась такого рода приношениями? Страдавшие зубной болью старообрядцы, чтобы исцелиться, грызли Ионину ель. Но ведь и православная церковь всячески поощряла веру в подобные «исцеления».

Примеры таких ударов по двум целям в романе неисчерпаемы. А вернее, это были удары не по двум, а по одной, но очень крупной цели. В старообрядчестве и сектантстве всех мастей Мельников обличал не «отступления» от главных начал «святой, равноапостольной» православной церкви. Вся логика развития религиозной темы в романе подчинена одной мысли: «раскольники» и сектанты довели абсурдность христианской догматики до крайнего выражения. И служители официальной церкви преследовали тех и других не как «отступников» от «истинной веры» (сами эти служители в большинстве своем были глубоко равнодушны к ней), а как соперников в оболванивании народа.

Вот когда Андрей Печерский сослужил Мельникову самую большую службу. Досужий рассказчик Печерский «в простоте душевной» как будто бы и не замечал этих ядовитых, опасных для официальной церкви соответствий. Во всяком случае, он не старался каким-нибудь особым способом привлечь к ним внимание читателя, разъяснить ему их значение; писал себе «по памяти, как по грамоте»,— и все! Но необходимо иметь в виду, что тогдашний читатель и не нуждался в подобного рода разъяснениях. В те времена каждый грамотный человек просто не мог не знать по крайней мере основных догматов христианской религии: «закону божьему» обучали во всех школах — от начальной церковноприходской до гимназий и университетов. И Мельников не ошибся в расчетах.

Демократический читатель 70-х годов сразу понял и принял его роман. А охранители устоев самодержавно-монархического строя хоть и поздно, но в конце концов догадались, какова подлинная тенденция этого произведения. Каждая новая глава книги «На горах» все больше убеждала издателя «Русского вестника» в антицерковной направленности всего романа. Ссылаясь на требования цензуры, Катков выбрасывал из рукописи целые эпизоды и даже главы. Мельников протестовал, даже намеревался прекратить печатание романа в «Русском вестнике». Однако желание завершить публикацию основного своего произведения на страницах одного журнала заставило его пойти на какие-то уступки. Именно такого рода уступкой являются те несколько фраз, в которых говорится, что «истина» на стороне официальной церкви. Но эти дежурные, сказанные «под за-

навес» и не подкрепленные художественной тканью фразы не могли исказить главный смысл романа как произведения антицерковного, а точнее и шире — произведения, возбуждающего отвращение от всякой религиозности.

12

Совсем недавно про Мельникова было сказано так: «Какой материал, какие стороны жизни должны быть охвачены в его романе, писателю было ясно, но как развяжется та или другая сюжетная ситуация, какие возникнут конфликты, насколько широко разовьется действие и чем завершится роман, он не представлял себе, да это и не имело для него существенного значения» [1]. Конечно, «даль свободного романа» — да еще такого масштабного — нельзя было заранее ясно «различать» во всех подробностях. Но, не составив предварительного представления о конфликтах, которые должны образовать основу будущего произведения, нельзя было приступить к работе над ним, потому что художник, если он действительно художник, а не протоколист, осознает жизнь прежде всего в порождаемых ею конфликтах.

Когда речь заходит об основном конфликте романа Мельникова, необходимо иметь в виду следующее. Действие романа происходит в конце 40-х — начале 50-х годов, когда внимание всего русского общества было приковано к отношениям крепостного крестьянства и помещиков. А ни в одной из частей произведения о крепостном праве почти и не упоминается. Однако это вовсе не говорило об ослаблении ненависти Мельникова к «помещичьему духу». Дело в том, что тема романа (в литературе чаще всего именно так и бывает) определена не временем действия, а временем написания. Мельников-беллетрист еще за десять лет до отмены крепостного права обратил внимание на нового «господина». В «Старых годах» он уже отметил: владения князей Заборовских переходят в руки Кирдяпиных, наследников бывшего кабацкого подносчика. Но в предреформенную пору Мельникову еще, по-видимому, было неясно, насколько быстро новый «господин» займет место старого. Это еще одна причина — и едва ли не главная,— задержавшая работу над романом на целых десять лет: к 1868 году первенствующее положение русской буржуазии в экономической жизни страны обозначилось вполне определенно.

В 70-е годы это общественное явление стало одной из центральных тем передовой русской литературы. «Современ-

---

[1] История русской литературы, т. IX, ч. II, М.-Л. 1956, стр. 210—211.

ники» Некрасова, «Бешеные деньги», «Волки и овцы» Островского, «Благонамеренные речи» и «Убежище Монрепо» Салтыкова-Щедрина, «Подросток» Достоевского, «Мещане» Писемского — вот далеко не полный перечень крупнейших произведений, посвященных в те годы приходу «чумазого», как назвал русского буржуя Щедрин. В этом ряду и книга Мельникова. Он не ограничивается изображением нравственной физиономии «чумазого», а стремится выяснить влияние новой общественной силы на жизнь народа.

В финале романа есть такой эпизод. На супрядках у Акулины Мироновны заговорили о приданом Дуни Смолокуровой, которого, по слухам, было не на одну сотню тысяч.

«— Сто тысяч! — воскликнула Акулина.— Вот где деньги-то! У купцов да у бояр, а мы с голоду помирай! Им тысячи — плевое дело, а мы над каждой копейкой трясись да всю жизнь майся. А ведь, кажись, такие же бы люди.

— А всего-то, говорят, богатства ей после отца досталось больше миллиона...

— Господи владыко! — на всю избу вскликнула Мироновна.— Да что же это такое? Ни на что не похоже! У одной девки такое богатство, а другие с голоду колей! Начальство-то чего глядит?»

В литературе тех лет не часто звучали такие слова. Правда, Печерский постарался приглушить впечатление: многозначительные реплики произнесла баба, слишком уж разбитная; ниоткуда не видно, как она «мается». Но ведь и говорит-то она не только от собственного имени. Не случайно попробовала было одна гостья спорить с ней, да и та, не получив поддержки, замолкла. А сам Мельников? Он, разумеется, не мог забыть, что смолокуровские миллионы — награбленные. В романе о них рассказывается так, что у читателя того времени поневоле возникал вопрос: «начальство-то чего глядит?» Таким образом, одни и те же слова получают двойное освещение. Мельников как бы поправляет «забывчивого» Печерского. Это особенно важно иметь в виду для того, чтобы понять, как освещается в романе подлинное положение народа.

Печерский, рассказывая о жизни заволжан «вообще», с упоением расписывал их «достатки»: и ходят-то они не в лаптях, а в сапогах; и дома-то у них большие под тесовой, а то и под железной крышей; и лапшевниками-то они лакомятся, и убоина на столе у них бывает... Но потом, когда речь заходит о конкретных событиях и людях, он, по-видимому, забыв о рассказах «вообще», сообщает такие подробности, которые почти целиком заслоняют «общие» идиллические картинки. Оказывается, что деловые отношения «благоденствующих» заволжан-горянщиков с Чапуриным — это

просто-напросто кабала: «благополучных» заволжан-лесников промышленники обсчитывают и обманывают совершенно безнаказанно. А положение тех, кто жил «на горах», то есть по правому берегу Оки и Волги, Печерский не отваживался хвалить даже «вообще». Достаточно вспомнить семью Абрама Чубалова, чтобы представить себе, какая бедность царила среди тамошних жителей, работавших на Смолокурова и ему подобных.

Подлинные, неискоренимо глубокие противоречия были не между старообрядцами и «никонианами», а между купцом и мужиком, независимо от того, к какой церкви они принадлежали.

Мельников одним из первых русских писателей запечатлел попытки сопротивления купеческому грабежу. Бунт на смолокуровских баржах в этом смысле весьма знаменателен. Но власти и законы были на стороне Смолокуровых, а бунтари слишком неорганизованны и разобщены. Более устойчивыми, по мнению Мельникова, были артели, собиравшиеся из мужиков одной деревни. Тут еще действовала традиционная общинная мораль. Разумеется, и такие артели не могли противостоять напору «чумазого». Слишком много было в них патриархальной инертности и бестолковости. Но здесь еще сохранялись чистые народные нравы. В артели лесников, с которой встретился Чапурин, были народные умники вроде Петряйки или Онуфрия. Дядя Онуфрий — «хозяин» артели лесников — фигура в этом смысле весьма характерная. По уму он не только не уступает Патапу Максимычу, но и превосходит его. Однако его ум с народом; этого народного мудреца за рубль не купишь. Дядя Онуфрий — это носитель народной морали. И насколько его взгляды на мир свободнее и шире, чем взгляды Чапурина и особенно Стукалова! Он совершенно чужд религиозной исключительности; а к церкви относится несколько даже иронически: «Ведь повадишься к вечерне, все едино, что в харчевню; ноне свеча, завтра свеча — глядишь, ан шуба с плеча».

Мельников был убежден, что религиозность старообрядцев из народа также была в значительной степени внешней. «...Наши мужики за ведро вина и Христа и веру продадут, а скиты на придачу дадут»,— призналась однажды Манефа. Сердитая на всех «мирских», она явно сгустила краски, но в ее раздраженных словах была значительная доля правды. Мужик-старообрядец великолепно знал, какова «святость» жизни попов и скитниц; как и мужик-«никонианин», он смеялся над лицемерием и развратом тех, у кого должен был научаться «слову божью».

Мысль о превосходстве народной морали над моралью господствовавших верхов пронизывает весь роман Мельни-

кова от начала до конца. Она проявляется не только в том, что среди купечества и «священства» не было людей такой нравственной чистоты, как Трифон Лохматый, или тетка Егориха, или жена Абрама Чубалова — Пелагея Филипьевна. «Мысль народная», если воспользоваться этим выражением Толстого, воплотилась в романе и в другой форме: все, что в людях, принадлежавших к верхам, сохранялось хорошего, чистого, поэтичного,— все это шло от народа. Не случайно, когда Мельников писал об этих свойствах, в его повествование естественно вливалась народная песня. Под ее аккомпанемент, то ликующий, то печальный, вспыхнула и оборвалась любовь Насти Чапуриной; в народной песне выпевала Фленушка мечту о счастье и оплакивала свою горькую участь. Особенно выразительны в этом отношении перемены, происшедшие в характере Алексея: чистая любовь к Насте рождала в его душе песню, но, как только корысть овладела душой, песня навсегда покинула его, речь его стала приказчицки-развязной и косноязычной. Даже внешнюю красоту своих героев Мельников рисует в стиле народной песни.

Есть в романе добрый земной бог — Ярило, Яр-Хмель. Он возбуждает в людях жажду счастья и радости. Он заботится о том, чтобы люди любили друг друга, родили и растили детей, чтобы в жизни никогда не останавливался этот круговорот любви и счастья. Память об этом боге жила в народе. Поэзия этого народного мифа близка и дорога Мельникову. Его жизненный идеал чужд всякой мистики: «Человек человечьим живет, пока душа из тела не вынута». И опять: тема Ярилы неразлучна с народной песней.

В песне, по представлению Мельникова, ярче всего блистало одно из самых драгоценных достояний народа — могучая русская речь. Она вызывала в нем безграничное восхищение и гордость. Всю свою жизнь Мельников неустанно изучал, бережно отбирал и хранил золотую россыпь народного слова, вслушивался и вживался в строй народной речи. И все эти огромные богатства он щедрой рукой мастера возвратил народу. Правда, временами ему изменяло чувство меры, и тогда элементы народного творчества в романе приобретали черты цитатности и художественной недоработанности. Но на большей части его повествования народно-песенная стихия звучит совершенно естественно и непринужденно. Недаром язык Мельникова-художника так высоко ценил Горький.

* * *

Романом «На горах» завершилась литературная деятельность Мельникова. Он дописывал его, превозмогая присту-

пы неизлечимой болезни. В 1881 году Мельников возвратился на постоянное жительство в родной Нижний Новгород; там он и умер — 1 февраля (ст. стиля) 1883 года.

Русская литература на протяжении всего XIX столетия неотступно созидала великий эпос народной жизни. Гоголь и Кольцов, Тургенев и Некрасов, Писемский и Никитин, Салтыков-Щедрин и Лесков, Глеб Успенский и Короленко, Толстой и Чехов — каждый из них внес в этот эпос свое, в высшей степени своеобразное, нисколько не нарушая, однако, его внутренней цельности, потому что в его основе, как и в основе творчества любого из этих писателей, лежал один, утвержденный Пушкиным принцип. «Что развивается в трагедии? — писал он,— какая цель ее? Человек и народ — Судьба человеческая, судьба народная» [1]. Вряд ли нужно говорить о том, что ко всей литературе этот принцип имеет более непосредственное отношение, чем к трагедии. И прежде всего, конечно, к русской литературе. Возможны ведь иные соотношения: человек и природа, человек и вселенная, человек и вечность и т. п. Все они волновали и русскую литературу XIX века, но на первом месте стояло это: человек и народ.

Все, что создал Мельников-художник — и в особенности его эпическая дилогия «В лесах» и «На горах»,— в этом великом русском эпосе не затерялось, не потускнело во времени. Исторические обстоятельства изменяются, но отношение человек и народ никогда не перестанет волновать людей.

М. Еремин

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч., изд-во АН СССР, т. XI, М.-Л., 1949, с. 419.

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ



КРАСИЛЬНИКОВЫ

Из дорожных записок

I

В уездном городе С. остановились мы посмотреть на известные кожевенные заводы Красильникова. Нетрудно было отыскать дом богатого заводчика, каменный, двухэтажный, лучший во всем городе; стоит он недалеко от древнего собора, обезображенного пристройками в «новейшем» вкусе.

В верхнем жилье, в окнах с цельными зеркальными стеклами стояли незатейливые гипсовые изображения Вольтера, Суворова, поднявшей чуть не выше головы правую ногу Тальони, зеленого попугая с коричневым носом и разноцветной кошки, с головой, качавшейся при малейшем прикосновении. В середнем окне виднелись дорогие бронзовые часы, а стекла других залеплены были вырезанными из цветной бумаги подобиями лошади и чего-то вроде буквы Ф., с раздвоенным нижним концом и трехуголкой с перьями наверху. В нижнем жилье в окна вделаны были толстые железные решетки, а стекла сплошь выбиты. На цоколе красным карандашом в несколько рядов писаны бирочные знаки: кресты, кружки, черточки — открытая на весь мир расходная книга приказчика, отпускавшего кому-то опойки.

Ворота были заперты. Я стукнул тяжелым железным кольцом о дубовое полотно калитки: раздался сильный лай цепной дворняжки, и в подворотне показались три собачьи морды, скаля зубы и заливаясь глухим ре-

вом. Щеколда изнутри стукнула, и краснолицая, курносая девка-чернавка, вершков одиннадцати в отрубе, одетая в засаленный московский сарафан из ивановского ситца, просунулась до половины и опросила нас:

— Кого вам надоть?

— Корнила Егорыч дома?

— А отдыхает: сейчас пообедамши.

— Когда его можно застать?

— А не знаю же я... Да вы откелева будете?

— Из П...

Я назвал губернский город.

— По кожу, аль по сало?

— Нет... Так, нужно хозяина повидать. Когда застать-то?

— Не веду. Спрошать разве Марью Андревну, коль не започивала.

Заперла девка-чернавка калитку, ушла. Воротясь минут через пять, сказала:

— В вечерню приходите, не то завтра после ранней обедни.

— Ну, завтра так завтра.

Мы с путевым товарищем хотели было идти на постоялый двор, где остановились за неимением в С. гостиницы; но девка-чернавка еще раз спросила нас, должно быть, для удовлетворения собственного любопытства:

— А сами-то вы из каких будете? Приказчики, что ли, чьи?

— Нет, не приказчики.

— Кто же вы?

— Чиновные.

— Из судов?

— От губернатора.

Это слово имело чародейную силу: не прошли мы ста сажен, как за нами послышались крики:

— Обождите-ка, воротитесь-ка! Корнила Егорыч вас кликнуть велел.

Босоногая девка-чернавка бежала во всю прыть. Ее перегоняли собаки, одна вцепилась в полу моего спутника.

— Лыска! Лыска! цыма-те! Экой пострел, кабан проклятый! — кричала изо всей мочи девка-чернавка.

И, схватив валявшуюся на улице слегу, принялась колотить направо и налево косматых стражей Корнилы

Егорыча. Собаки завизжали и побежали домой. Путеводимые спасительницей от их ярости, вошли мы на двор Красильникова, обошли парадное крыльцо, где обглоданные мослы и сбитое сено указывали на жительство врагов наших, и теперь еще исподтишка бросавшихся под ноги. Обогнув угол дома, по заднему крыльцу вошли мы наверх, нагибаясь под протянутыми веревками, развешанными для просушки белья. По всему двору крепко пахло дегтем и кожей.

Темными закоулками провела нас девка-чернавка в обширную комнату — в «залу» и, молвив, что хозяин сейчас выйдет, ушла.

По убранству комнаты видно было, что Корнила Егорыч — человек домовитый и, разбогатев, из кожи лез, чтоб на славу украсить жилище свое: денег не жалел, все покупал без разбору, платил втридорога, и все невпопад. Отделав стены под мрамор, раззолотил карнизы, настлал дубовый мелкоштучный паркет, покрыл его шелковыми коврами, над окнами развесил бархатные занавеси, а на стену наклеил литографию Василья Логинова, в углу повесил клетку с перепелом, а на окнах между кактусом и гелиотропом в полуразбитых чайниках поставил стручковый перец да бальзамин. Мебель в гостиной за дорогую цену куплена была в Петербурге да еще наперебой с каким-то вельможей; но сшитые из поношенного холста с крашенинными заплатами чехлы снимались с нее только в светлое воскресенье да в хозяйские именины. В великолепных лампах, расставленных по столам и по углам, масла сроду не бывало, да во всем С. и зажигать-то их тогда еще никто не умел.

Непривычно Корниле Егорычу ходить по мелкоштучному паркету, не умеет он ни сесть ни стать в комнатах, строенных не на житье, а людям напоказ, робеет громко слово сказать в виду дорогих своих мебелей. Душно ему в своем доме, сбылась над ним пословица: «Своя воля страшней неволи». Осторожно пробираясь меж затейливыми диванами и креслами, ровно изгнанник бежит Корнила Егорыч из раззолоченных палат в укромный уголок, чужому человеку недоступный. Там на теплой изразцовой лежанке ищет он удобств, каких не сыскать в разубранных комнатах. Вот у лежанки стоит сосновый, крепкой водкой травленый стол под ярославской салфеткой; на нем счетная книга, псалтирь

и «Московские Ведомости»; у стола стул-складень; привык к нему Корнила Егорыч, еще сидя мальчишкой в чужой лавке. Вот двуспальная кровать с пуховиком, чуть не до потолка и с дюжиной подушек: крепко спится на ней Корниле Егорычу. Вот кафельная печь с поливными фигурами балахонской работы: ровно баню, греет она заветный угол хозяина и приглядней ему беломраморных стен залы и бархатных обоев гостиной. А часов с кукушкой, что повешены против кровати, не отдаст он за две дюжины дорогих часов, что на мраморном подставе красуются у середнего окна гостиной. Добровольно, но подчас с досадой, жмется Корнила Егорыч, в сесной мурье — хватил бы все по боку и зажил бы, как хочется — да нельзя!.. Как от людей отстать? Попал в стаю — лай не лай, а хвостом виляй... Еще скрягой прозовут. Зато раз отведена была у него квартира для губернатора. На прощаньи генерал сказал хозяину: «Ну, Корнила Егорыч, домик-то у тебя на славу отделан — мебель хоть во дворец». И счастлив и доволен был Корнила Егорыч и сторицей вознагражден за досадные минуты, когда, проходя бочком мимо дорогих мебелей, думает сам про себя: «И на какой шут, прости господи, такие стулья наделаны? Сесть порядком нельзя — без сноровки провалишься совсем».

Не странно в зале Корнилы Егорыча встретить и логиновскую литографию, и стручковый перец, и перепела в клетке из лутошек. Дороги они хозяину, добровольному заточеннику в золотой тюрьме своей. Вспоминали они ему былое, бедное, но свободное от несродного житья-бытья время — время молодости, когда жилось веселей, а на свете божьем было просторней и все смотрело ясней и радостней. Кроме перепела да перца, остальное было чуждо, несродно хозяину: здесь ему и свое не свое, здесь и сам он ровно на выставке — миру напоказ. Ничего для себя; все для чужих; даже гипсовых Вольтера с попугаем поставил он передом на улицу.

По лицу вышедшего к нам Корнилы Егорыча видно было, что могучее слово «от губернатора» оторвало его от дорогой лежанки. Заметно было, что одевался он наскоро; золотых медалей однако ж не забыл надеть. Это был широкоплечий старик среднего роста, волосы совсем почти белые, борода маленькая, клином, глаза подслеповатые, но живые, выразительные. По суровому об-

лику его видно было, что это старик своеобычный, крутой; а россыпью глядевшие глаза обличали в нем человека, что всякого проведет и выведет. Но в этом хитром, бегающем взоре крылась какая-то грусть затаенная. Туманилось лицо Корнилы Егорыча горем душевным, еще не выношенным, не выстраданным. День меркнет ночью, человек печалью, а горе, что годы, борозды по лицу проводит. Казалось, и Корниле Егорычу не годы убелили голову, а душевное горе. Оно не молодит, а косицу белит.

— Покорно просим! — сказал Корнила Егорыч.— Извините, позадержал: соснуть было прилег.

И, при воспоминаньи о лежанке, зевнул, набожно перекрестив рот. Мы извинились, что потревожили его, сказали свои имена и показали открытый лист начальника губернии, где было сказано, что приехали мы из Петербурга от министра внутренних дел для собрания статистических сведений. После того я попросил хозяйского дозволения взглянуть на его кожевенный завод.

Без чашки чаю, без рюмки вина, без закуски от русского купца старого закала никому не уйти. Старинное хлебосольство не чуждо было и Корниле Егорычу. На столах появились вино, закуска, разные сласти. Приказчик, стриженный в скобку, в длиннополой суконной сибирке с борами назади и с сильным запахом кожи, подал чай. Речь шла про торговлю.

— Кожа плохо пошла! —говорил Корнила Егорыч.— В прежние годы в одну Одессу мы втрое больше ставили, в Ливурну оттоле возили; теперь стало дело, да и шабаш.

— Отчего ж так, Корнила Егорыч?

— Сырьем повезли. У иностранцев, я вам доложу, на этот предмет руки золотые — не нашим чета. Наш брат русак сметкой взял, а немец — терпеньем. Да в нашей-то сметке горе проявилось, да не одно, целых три... Русский человек на трех сваях стоит: авось, небось да как-нибудь. Нам бы тяп-ляп и корабль, а там — н е т-с, там на этот счет все в аккурат... К примеру хоть кожа: что наша русская кожа? Вон на дворе партия юхты лежит,— на Урюпинску заготовил — разваляйте-ка воз: тут подрез, тут гниль мясная, а тут и все дырье... Отчего?.. Оттого, что платишь рабочему поштучно, он тебе и делает как-нибудь, одно норовит: больше бы кож обрядить... Да как пошел ножом сплеча валять, тут ему не до

подрезей. Небось, говорит, хозяин не заприметит. А хозяин, наш брат, не в печку же ему бросать порчену кожу: авось, думает, на ярмонке сбуду. А как работник-от делает как-нибудь да хоронится за небось, да как и хозяин-от на авоське в ярмонку выезжает — добра не жди. Правду надо говорить!.. Вот за границу наша кожа и нейдет, а сырье иностранцы с руками готовы рвать. Из русского сырья они такую тебе кожу сработают, что нашей-то в нос кинется. Вот отчего сударь, стала наша кожа. Красна юхта покуда еще идет — это особь статья, эта завсегда пойдет; у нас березы-то не занимать стать, а за границей чуть не каждый сучок на перечете.

— Как же сбыт юхты зависит от березы?

— Березы нет — дегтю нет; а без дегтю хорошей юхты не сделать.

Перешел разговор на смуты, возникшие в то время на Западе.

— В Венгрии, кажется, война будет,— сказал я: — для тамошних войск кожа потребуется, нашей попросят...

— Пуда не попросят. Пошли бы туда наши кожи, ежели бы там шла война по божьему велению, стал бы царь на царя, закон на закон. Тогда бы пошла... А теперь что там? Законная разве война... Бунт богопротивный, усобица... Подерутся и босиком!..

Таковы были речи Корнилы Егорыча. А учился за медну полтину у приходского дьячка, выезжал из своего городка только к Макарью на ярмонку, да будучи городским головой, раза два в губернский город — ко властям на поклон. Кроме псалтиря, четьи-минеи да «Московских Ведомостей» сроду ничего не читывал, а говорил, ровно книга... Человек бывалый. Природный, светлый ум брал свое. Заговорили о развитии торговли и промышленности.

— Чтоб дело торговое шло,— молвил Корнила Егорыч,— надо, чтоб ему не делали помехи, а пуще того, чтоб ему не помогали, на казенну бы форму не гнули. Не приказное это дело: в форменну книгу его не уложишь. А главная статья — сноровка... Без сноровки будь каждый день с барышом, а век проходишь нагишом. А главней всего — божья воля: благословит господь — в отрепье деньгу найдешь; без божьего благословенья корабли с золотом ко́ дну пойдут.

— Так, Корнила Егорыч, слова нет на вашу речь:

божье благословенье первое дело; но, кажется, вы еще одно позабыли.

— А что ж такое?

— Науку, просвещение.

Нахмурился Красильников, помолчал и такую речь повел:

— Просвещение!.. Это что в книгах-то пишут?.. Эх, сударь, мало ль что пишут да печатают! Супротив печатного не соврешь. Перо скрыпит, бумага молчит да все терпит... Вот, примеру ради, промысла хоть, что ли, взять? Пишут да печатают, что в гору они пошли... Речи нет, прытко идут, шагают широко, да не так, как пишут. Не в ту силу говорю, что наша промышленность тише идет супротив того, как про нее печатают: нет-с, может она и попрытче того идет,— а про то я говорю, что пишут-то нескладно, неладно, ровно черт шестом по Неглинной... Вот в «Ведомостях» как-то раз я про наш уезд вычитал. Пишет какой-то барин — видно, такой же, что и вы: тоже сведения собирал,— пишет, что в запрошлом году и скота у нас стало больше и крестьянский промысел в гору пошел; а видно-де это из того, что на базарах скота больше продано, саней и всякого другого крестьянского изделия.

— Что ж, Корнила Егорыч? Разве базарная торговля не может показать степень крестьянских промыслов?..

— Вряд ли, сударь!.. По-нашему, не может... Вот хоть бы нашу сторону взять... Сторона гужевая: от Волги четыреста, от Оки двести верст, реки, пристани далеко — надо все гужом. Вот в запрошлый год и уродились у нас хлеба вдоволь, а промысла на ту пору позамялись... Мужик волком и взвыл, для того, что ему хлебом одним не прожить... Крестьянско житье тоже деньгу просит. Спаси, господи, и помилуй православных от недорода, да избавь, царю небесный, и от того, чтобы много-то хлеба родилось.

— Как так, Корнила Егорыч?

— Да так-с. Мы люди простые, зато седьмой десяток доживаем — всего насмотрелись. Привел господь смолоду, когда еще в бедности находился, и голод изжить: макуху, дуранду, мезгу сосновую ели. И урожаи видал. Так уж я и знаю, что перерод хуже недорода, что здешнему гужевому крестьянину не то беда, что гумно не полно, а то горе великое, ежели работа замнется, промыслу не

хватит, да на ту пору хлеб в низкой цене станет. В запрошлый год хлеб-от здесь по полтине был ассигнациями. Серебряный пятиалтынный, значит, без семитки... Подушные мужику надо платить: вези, значит три воза за двести верст до пристани,— для того, что по осени да по первозимице на месте покупщиков ни души. Ну, и вези да считай, много ль дорогой-то денег-то прохарчишь... Да что подати?.. Подати у нас, слава богу, не больно еще тяжелы; так ведь не на одне подати мужику деньги нужны: надо упряжь справить, надо кушак купить, шапку, платок жене, в храмовой праздник винца хлебнуть, а там еще свадьбы да родины, молебны да крестины, поп с праздничным придет — ему хлеб-от хлебом, а деньги деньгами. А как в урожайный год хлеб-от подешевеет да промыслы-то ухнут, и нет их совсем, заработки-то пойдут дешевые, у мужика из рук все и отобьется. А на ту пору староста в окошко стучит: «оброк, говорит, подавай».— «Денег нет». «Давай, говорит, срок пришел, а нет денег, так корову продавай...» Повел мужик телку, повел другой снова телку, повел третий бычка. На базаре их сосчитали да в «Ведомостях» и припечатали: «Скота-де у них расплодилось»... Прошел месяц-другой, опять староста у окна.— «Денег нет», говорит ему мужичок. А староста ему на ответ: «у тебя две телеги — нову-то продай». Повез мужик телегу, повез другой сани, повез третий дровни — на базаре их сосчитали, а ваша милость, что сведения-то собираете, и хвать в «Ведомостях» — «промыслы-де у них в гору пошли»... Не в ту силу, говорю, что здешнему мужику жизнь горемычная. Год на год не приходит: одно лето перетерпит, на другое за три наверстает. А в ту силу, говорю, что ины книги ровно шайтан помелом в трубе написал. Год-от перерода минет, на хлеб станет цена хорошая, промыслы поднимутся, глядишь — справился мужик: скотом обзавелся, сбруей, и в мошне не пусто стало. В зимнице три-четыре коровушки, под навесом две-три телеги, и как староста под окно придет, оброк-от ему платить есть из чего. А на базаре ни коров, ни телег, ни саней, что в прошлом году нужда вывозила. Подметят господа, что книги печатают, да, не справясь со святцами,— бух в большой, скота-де стало меньше: видно-де, падеж у них был, да и промыслы упали, должно-де быть, народ обеднял... Обеднял!.. Как же!.. Лежит себе на печи да бражку потягивает.

Странным казалось мне уклоненье Корнилы Егорыча от прямого разговора. «Что б это значило? — думалось мне.— Начал за здравие, свел за упокой». Опять наклонил я речи на прежний предмет, опять сказал, что для успехов торговли надо купцам учиться и учиться...

— В ниверситете, что ли-с? — с горькой, но задорной усмешкой возразил Красильников.— Нет-с, увольте, ваше высокородие!.. Покорнейше благодарим-с!.. Знаем мы! Это дело, сударь, ваше — барское, а нашему брату оно не по шерсти. Из нашего брата, из купечества, это тому пригодно, кто думает сыновей в дворяне выводить, а нам — нет-с, увольте!.. да и проку мало, ей-богу, мало. Дед, отец копят деньги, скопят капитал, большие дела заведут, миллионами зачнут ворочать, а ученый сынок в карты их проиграет, на шампанском с гуляками пропьет, комедиянткам расшвыряет, аль на балы да на вечеринки... Глядишь — и пошел Христовым именем кормиться. Да это бы еще не беда... А как разум сгинет, как... Прохора Андреича Крапивина — изволите знать?.. В Москве суконная фабрика у него была. У него сынок-от ученый... В чинах был, в каретах ездил, на дворянке женился да как профуфынился — из ружья себя и застрелил... Вот-те и чины!.. Вот-те и ученье!.. Душеньку-то свою не уберег, самому сатане ее на руки отдал...

— Не говорю я, Корнила Егорыч, чтоб молодые купцы, выучившись, оставляли свое звание и проматывали отцовские капиталы. Дельное, правильное ученье научит быть бережливым, научит и уважение иметь к сословию, в котором родился. Теперь у нас слава богу...

— Не говорите!.. Мне-то этого не говорите!.. Купцу ученье — пагуба, вот что!.. У меня у самого... Да позабавьтесь финичками-то, ваше высокородие... Икорки-то покушайте: первого, сударь, багренья, прямо из Уральска... А ты что губы-то распустил, Петрович?.. Что чашки не примаешь?.. Давай еще чаю-то!.. Да мадерцы еще рюмочку, ваше высокородие!.. Кликни Сережу, Петрович!

Сережа, парень лет двадцати трех-четырех, румяный, здоровый, с богобоязненным видом и тихой поступью, робко вошел в комнату. Низко поклонясь, смиренно остановился он у притолки, глядя исподлобья на родителя. Тот сказал ему:

— Сивую в дрожки, савраску в беговые. Ты со мной на савраске поедешь.

Я стал уговаривать Корнилу Егорыча самому не беспокоиться, а отпустить с нами на завод одного Сережу... Взгрустнулось, должно быть, по лежанке Корниле Егорычу,— согласился.

— Парень молодой,— сказал он про сына: — мало еще толку в нем... Оно толк-то есть, да не втолкан весь... Молод, дурь еще в голове ходит — похулить грех, да и похвалишь, так бог убьет. Все бы еще рядиться да на рысаках. Известно, зелен виноград — не вкусен, млад человек не искусен. Летось женил: кажется, пора бы и ум копить. Ну, да господь милостив: это еще горе не великое... не другое что...

Помутился взор Корнилы Егорыча. Помолчавши, вздохнул он и молвил вполголоса:

— На волю божью не подашь просьбы!..

Вошел Сережа.

— Поезжай на завод с господами! — сказал ему отец.— Покажи там все, как оно есть... Слышишь?.. Чего стал?.. Пошел, дожидайся!

Сережа пошел было, но отец, воротив его с полдороги, тихонько молвил ему:

— Митьку в сушильню!.. Слышишь?..— прибавил он громко.

— Слышу, тятенька!

— Ступай же!.. На крыльце дожидайся... А после заводу, ваше высокородие, просим покорно на чашку чаю. Сделайте такое ваше одолжение, не побрезгуйте убогим нашим угощением.

Сережа, тихий смиренник на отцовских глазах, не таков был на заводе. С нами обходился подобострастно, насилу согласился картуз надеть, но с рабочими обходился круто и к тому ж бестолково. Покрикивая ни за что ни про что, сурово поглядывал он то на того, то на другого, и пятились рабочие и прятались друг за дружку, косясь на толстую, суковатую палку, что была в сильных, мускулистых руках Сережи... Но вдруг какой-то шальной, вывернувшись из-за зольного чана, мазнул его по спине мешалкой, обмакнутой в известковый подзол. Сделав свое дело, поворотил он неровным шагом назад. Рабочие уступали ему дорогу и, казалось, друг другу говорили глазами: «Ай да молодец!..» Увлеченный рассказом, через сколько пересолов проходит яловица прежде квасов, Сережа ничего не заметил. Тот шальной был мо-

лодой человек лет под тридцать, в загрязненной, просаленной насквозь холщовой рубахе и в дырявых сапогах. Взъерошенная голова, казалось, сроду не была чесана, небольшая бородка свалялась комьями, бледно-желтое, худощавое лицо обрюзгло, рот глупо разинут; но в тусклых, помутившихся глазах виднелось что-то невыразимо-странное, что-то болезненно-грустное... Потухающий ум последней, прощальной искрой светился в том взоре.

Мы проходили через отделение, где толкут корье. Неочищенную ивовую кору подбрасывали в толчею. Путевой товарищ мой заметил, что он видел в Бельгии особую машину для скобленья корья. Сказал это по-французски.

— Les meilleurs cuirs—maroquins qui se fabriquent... [1]— проговорил за нами сиплый голос.

Обернулся Сережа и крикнул:

— В сушильню!

Оглянувшись, увидал я того шального, что вымазал спину Сереже.

— Нейду! — закричал тот задорно.— Ты мне не указ... Наушник!.. Подлец!.. Ты ее погубил!.. Ты убил мою...

— Митька!.. Тятеньке скажу.

Вздрогнул шальной. Понурив голову, тихо поплелся он из толчеи, но вдруг быстро обернулся и заговорил умоляющим голосом:

— Сереженька, голубчик ты мой! Дай гривенничек.

— В сушильню!

— Хоть на шкалик!

— Слушай, Митька! — подняв палку, закричал Сережа: — Право, тятеньке скажу!.. Хоть бы при чужих постыдился!.. Своди его, Федька, в сушильню. На замок.

Митька сам пошел. За дверьми нестройно запел он хриплым басом:

Quand le vin de champagne
Fait en echappant,
Pan, Pan!
La douce gaîté me gagne... [2]

---

[1] Лучшие сорта кожи — марокен, которые выделываются... *(франц.)*

[2] Когда летит пробка из шампанского... меня охватывает веселье... *(франц.)*.

— А вот здесь дегтем бухтарму после дубов мажут! — говорил в то время Сережа, переводя нас в другое отделение.

II

Вечером, сидя у Красильникова, опять я свел разговор на просвещение. Говорил, что купцам ученье необходимо... Заговорил и Корнила Егорыч, сидя за пуншиком.

— Не говорите про это, ваше высокородие... Мне-то не говорите!.. Говорят люди: красна птица перьем, человек ученьем... Говорят: ученье свет, неученье тьма... Врут люди!.. Ученье — прямо мученье, а нашему брату погибель!..

Купец знай читать, знай писать, знай на счетах класть, шабаш — дальше не забирайся!.. Лучше не доучиться, чем переучиться. Ученье-то ведь что дерево: из него и икона и лопата... Аль что ножик: иной его на пользу держит, а наш брат себя ж по горлу норовит... Купцу наука, что ребенку огонь. Это уж так-с, это — не извольте беспокоиться... Много купецкой молодежи проматалось, много и совсем сгинуло,— а все отчего?.. Все от ученья, все моды проклятые, все оттого, что за господами пошли тянуться, им захотели в вёрсту стать. Нет-с, был бы купец смышлен, даром что не учен.

Нынче за наши грехи не на ту стать пошло. Не то что сыновей, дочерей-то французскому стали учить, да на музыке, плясать. Выучатся дочки, хвать — ан забыли, которой рукой перекрестить лоб следует... У свояка моего, у Петра Андреича Кирпишникова, дочка ученая есть: имя-то святое, при крещеньи богоданное — Матреной зовут — на какое-то басурманское сменяла, выговорить даже грех, Матильда, пес ее знает, какая-то стала... Замуж вышла за дворянина: промотался голубчик, женился — карман починить. Стала дворянкой и пустилась во вся тяжка́я: верхом, сударь, на лошади катается... тьфу ты, гадость какая!..

Вот и у меня Митька... Погиб, совсём погиб, пропащий стал человек... А все ученье, все наука... А парень-от какой был разумный, да тихий, смирный, рассудительный!.. Что перед ним Сережка?.. Дурь нагольная, как есть одна дурь!.. Сердце колом повернет, как вспомнишь... Ох ты, господи, творец праведный!..

Да-с, без детей горе, а с ними вдвое... Дал мне господь двух сынов да дочку одну: Митька от покойницы от первой жены, Сережа да Настя от Марьи Андревны. Ну, дочь, известно дело, чужое сокровище — холь, корми, учи, стереги, да после в люди отдай... А сын домашний гость — корми его да пой — тебе же пригодится. Да учи его, покамест поперек лавки лежит; вырастет да во всю вытянется, тогда уж его не унять. Худ сын глупый — родной отец к коже ума ему не пришьет, а хуже того сын ненаказанный — он бесчестье отцу... Легло бесчестье и на мою седую голову!.. Божья воля!..

Смышлен рос Митька, отдал я его здесь в уездно училище. Учился бойко — три похвальных листа получил. Выучился, в гимназию стал проситься, ревет мой парень: пусти да пусти. Думал я ременную гимназию ему в спину-то засыпать, да шурин-покойник уговорил... Пристал, отдай да отдай ему Митю на руки... Попутал меня грех,— послушался... В гимназии Митька учился лет пять и был умен не по годам: летом, бывало, на побывку приедет,— на что у нас пятницкой протопоп отец Никанор, и тот с ним не связывайся: в пух загоняет, да все ведь по-латынски... А благочестивый какой был: ни обедни, ни заутрени не пропустит... На крылосе как пел... Голос-от, голос-от какой был!.. А смиренник какой!.. что твоя красная девка... И по заводу навострился: ни корья, ни подзола при нем, бывало, фунта не украдут, даром что не был приучен к заводским порядкам... И думал ли я, на него радуясь, что погибнет мой разумник, что покроет он горем старость мою?.. Господи, господи!..

Когда срок ученья ему отошел, был я на ту пору в губернском городе: городским головой служил, к начальству ездил. Стал Митька проситься в Москву, в ниверситете доучиваться. В ногах валяется — плачет: пусти да пусти его еще в ученье. «Врешь, говорю, Митька, умнее не будешь: не пущу!» — Чуяло родительское сердце!.. А из гимназии когда его выпущали, был он что ни на есть первый ученик, не то что своего брата, барчат всех за пояс заткнул. На экзамент на ихний велели мне побывать, печатный билетец прислали... Митька речь держал по-французскому, качал бойко, только ничего не поймешь. Его превосходительство господин губернатор из своих рук лист да книгу эту пожаловал, да, подозвавши

меня, сказал: «У тебя, говорит, Корнила Егорыч, не сын, а звезда». А был на ту пору в нашем губернском городе генерал, над гимназией-то набольший; он, слышь, допрашивал учеников, кто что знает и куда после выучки идти хочет. Полюбись ему мой Митька, бойко, слышь, из книг гораздо ему отвечал. Спрашивает его генерал: чей сын, откуда родом и куда хочет. А Митька ему: «Так и так, ваше превосходительство, сын я первой гильдии купца Корнилы Красильникова, очень бы хотелось в ниверситет, да тятенька не пущает...» Ладно, хорошо!.. Сижу я у шурина, глядь, губернский лакей на двор, в золоте весь... Что за оказия?..— «Где, говорит, Корнила Егорыч Красильников?..» — «Здесь, говорю, я самый и есть».— «Ступай, говорят, к генералу обедать». Усомнился я, думаю — прошибся лакей: к другому послали, а он ко мне... Нет, ко мне в самом деле... Честь не малая: сам губернатор обедать зовет: «Ты, говорит, Корнила Егорыч, приходи моего хлеба-соли кушать». Пошел, благо день-от скоромный был — вторник.

Посадил меня губернатор с собой рядышком; а тут еще сидел генерал, которому Митька-то мой полюбился, да губернаторша, да две барышни — дочки губернатору-то — красовитые из себя, только уж больно сухопароваты. Губернаторша сама изволила мне похлебки в тарелку налить, губернатор из своих рук вином угощал... Вот оно что!.. И стали они меня улещать: «Ты, говорят, Корнила Егорыч, поперек Митьки не ходи: из мальчугана, говорят, выйдет прок — пусти его до конца доучиться». А генерал-от, что его возлюбил, обещал ему заместо отца быть, «как за родным детищем, говорит, пригляжу, баловаться не дам, да и парень-от, говорит, он у тебя не такой, баловником не смотрит...» Сами посудите, ваше высокородие, можно ль тут поперечить им? Два генерала ровно с ножом к горлу пристали: пусти да пусти Митьку доучиться! Губернаторша тоже: «Ты, говорит, Корнила Егорыч, не губи своего детища рожоного, не отымай у Митьки счастья. Бог, говорит, за это тебе не попустит!» Послушался... Больно не хотелось, чуяло сердце... А послушался — потому нельзя: начальство не свой брат — стоя без шапки да переступая с ноги на ногу, много не накалякаешься...

Собрал Митьку в Москву, Марья Андревна хоть не родная мать, а в гору было полезла. И руками и ногами:

«Не пущу, говорит, Митеньку на чужу сторонушку...» Да что она?.. Баба, бабе плеть — вот и все... Призвав бога в помощь, Николу на путь, снарядил я Митьку; да на прощанье, перед благословенной иконой, взял с него зарок, чтоб после выучки не ходил он ни в офицеры, ни в приказные, а был бы всю жизнь свою купцом и кожевенным заводчиком. А Митька, ну уж двадцать первой тогда ему шел, на полном смысле значит: «Не бойтесь, говорит, тятенька, никуда не пойду, буду вам на старости печальник, на покон души помянник, а выучусь, буду то и то, заведем мы с вами такое да этакое...» Да уже так красно говорил, что нехотя верилось!..

Четыре года Митька в Москве выжил, учился на первую стать, а в праздники там какие, аль в другие гуляющие дни, не то чтоб мотаться да бражничать, а все на фабрику какую, аль на завод, да на биржу... С первостатейным купечеством знакомства свел, пять поставок юхты уладил мне, да раз сало так продал, что, признательно сказать, мне бы и во сне так не приснилось...

Нашего уезда помещик есть Андрей Васильич Абдулин. Не изволите ль знать? У него еще конный завод в деревне... Тут вот неподалеку от Федяковской станции,— ехали сюда, мимо проезжали. Сынок у него Василий Андреич вместе с моим Митькой учился и такой был ему закадычный приятель, ровно брат родной. Митька у господина Абдулина дневал и ночевал: учиться-то вместе было повbabнее... Ох, пропадай эти Абдулины! Заели век у старика, погубили у меня сына любимого!..

Отучился Митька, дали ему медаль золотую: не то чтоб на шею, а так, карманную... И в газетах пропечатали: «выучился-де такой-то Дмитрий Красильников в кандидаты»... Домой приехал, заводом занялся: то уладит, другое переменит, то чан, зольник, то другое что. Спервоначалу-то я было побаивался: испортит, думаю. Нет: восемь копеек лишков на сале взял, семь копеек на юхте. А все его разумом да старательством. Отец ведь, кажись, отец, а — сыну родному позавидовал... Вот каков был умница!.. А бережливый какой!.. Только и изводил деньги, что на книги... Бывало, как месяц прошел, так из Москвы короб с книгами ему и шлют.

Пожил Митька у меня месяцев с восемь. Андрей Васильич Абдулин той порой на теплые воды собрался жену лечить. Ехал в чужие краи всей семьей. Стал у меня Митька с ними проситься. Что ж, думаю, избным теплом далеко не уедешь, печка нежит, дорога разуму учит, дам я Митьке партию сала, пущай продаст его в чужих краях; а благословит его бог, и заграничный торг заведем!.. Тут уж меня никто не уговаривал — враг смутил!.. Захочет кого господь наказать — разум отымет, слепоту на душу нашлет!..

Три года ездил мой Митька, продавал юхту бродским жидам, по салу с самим Лондоном уладил дела... Большие пошли барыши — в три-то года рубль на рубль нажил я!.. Не нарадовалось сердце!.. Экой сын-от, думаю... На что московские купцы, и те завидовали... Всем стал знаем мой Дмитрий Корнилыч Красильников. А я? Чем бы бога благодарить, колокол бы вылить аль иконостас поставить... согрешил, окаянный, возгордился — барыши стал считать да сыном хвалиться!.. Думы-то были за морями, а горе за плечами!.. Где теперь мой разумник? Чем теперь похвалюсь?.. Не родиться б ему!.. Дайка мне пуншу, Петрович, да крепче налей!..

На четвертый год воротился из-за моря... Господи, что было радости!.. Письма от купцов заграничных привез: товару просят, Митьку хвалят. Замышляли мы с ним свой корабль снарядить, да еще бы года три-четыре побыл у меня Митька в разуме, два снарядили бы... Думали в Питере контору открыть, дом купить, загадывали в Лондоне приказчика держать... И все тогда казалось мне таково сбыточно, как вот теперь стакан пуншу выпить... Ан нет... людское счастье, что вода в бредне! Величался почетом своим, величался сыном разумным и не знал никого счастливее себя!.. Все суета... В море потоп, в пустыне звери, в мире беды да напасти!..

Двадцать девятый Митьке пошел: давно пора своих детей наживать. Правду говорят, что и в раю тошно жить одному. Семейная каша погуще кипит, а холостой век проживет да помрет — собака не взвоет по нем...

За невестами дело не стало бы: рот разинь — из любого дома бери... Первостатейные, мильонщики, фабриканты сами с дочками напрашивались, сами письма писали. И стал я Митьке советовать: пора-де тебе и закон

совершить... Только выбирай, говорю, жену не глазами, а ушами, слушай речь, разумна ли, узнавай, в хозяйстве какова. С лица не воду пить: красота приглядится, а щи не прихлебаются. А пуще всего смиренство да разум: это на всю твою жизнь пригодится. На богатство не зарься: у самих, слава богу, довольно. Приданое что? В потраве не хлеб, в долгах не деньги, в приданом не животы...

Говорю этак Митьке, а он как побледнеет, а потом лицо все пятнами... Что за притча такая?.. Пытал, пытал, неделю пытал — молчит, ни словечка... Ополовел индо весь, ходит голову повеся, от еды откинулся, исхудал, ровно спичка... Я было за плеть — думаю, хоть и ученый, да все же мне сын... И по божьей заповеди и по земным законам с родного отца воля не снята... Поучу, умнее будет — отцовски же побои не болят... Совестно стало: рука не поднялась...

Той порой из чужих краев Андрей Васильич воротился. Дом купил в городе, рядом со мной. Митька там и днюет и ночует, от дела даже отстал, придет на завод — смотрит в оба, а не видит ничего. А рабочие, сами изволите знать, народ бестия — тотчас смекнули и давай добро по сторонам тащить... Да что завод?.. Пропадай он пропадом, огнем гори, сгинь все, что нажито!.. Митька-то разум терял — вот где напасть-то!.. Кровавыми слезами ее не вымоешь!.. Верите ль богу? Старик я, старик, а плакал, бабой ревел и ему, сыну-то своему, рожденью-то своему, покорился!.. Да, покорился... Слезами обливаючись, упрашивал, умаливал его рассказать про кручину, что его одолела!.. Не вытерпел слез моих Митька — сказал!.. Лучше б на ту пору язык у него отнялся!.. Пуншу, Петрович!.. Да лей рому побольше, собака!..

Немка жила у Андрея Васильича, за дочерью ходила. По найму жила, полторы тысячи ассигнациями ей давали... Девка безродная, откуда — бог весть, так, шаверь какая-то!.. А веры ихней еретицкой, не то люторской, не то папежской — да это все равно — такая ли, сякая ли, одна нехристь... Митька и бух мне: за морем-де слюбился с нею и окромя ея ни на ком в свете не женится... Так меня варом и обдало!.. В землю бы лег, гробовой бы доской укрылся, только бы этих слов не слыхать!.. «В уме ль?» — говорю. А он свое!.. Корнями обвела, еретица,

на богатство польстившись!.. Да чтоб этому быть, чтоб я сам себе бороду оплевал!.. Да весь мой род переведись! По миру пойду, на гноище середь улицы лягу, а такого срама не возьму на себя, не возьму покора от роду, от племени!.. «Слушай,— говорю Митьке,— вот тебе счеты: поезжай в Коренную, оттоль прямо в Нижний к Макарью, по осени в степь за скотом». Проветрится, думаю, дурь-то вытрясет. «А поедешь, говорю, Москвой, побывай у Архипа Иваныча Подколесникова, у него дочка не немке чета: тоже на всяких языках говорит, в купеческом собрании пляшет, а на музыке позакатистей немки играет... А главное — благочестивых родителей дочь, не еретица поганая...» Митька было перечить, а я ему: «Слушай, говорю, хоть ты и барином глядишь, а воля с меня не снята: возьму варовину — не пеняй!» Замолчал.

Вечером Андрей Васильич пришел ко мне. Спервоначалу так себе о том, о сем покалякали. Потом речь на немку свел, хвалит ее пуще божьего милосердия. Я слушаю да думаю: что еще будет! Говорит, она-де и креститься может; господа-де женятся же на немках. Смекнул, к чему речь клонит, говорю ему: «Господам и воля господская, а нашему брату то не указ. Вы мой гость, Андрей Васильич, грубой речи вам не молвлю, а перестанем про еретицу толковать... ну ее к бесу совсем!» «Да мне, говорит, Димитрия Корнилыча жалко».

«Вам, говорю, жалко, а мне вдвое жалчей: я ведь отец, хоть детское сердце и в камне, да отцовское в детках... Да знаете, говорю, Андрей Василич, русскую пословицу: «Свои собаки грызутся, чужа не приставай». Замолчал.

Митька всю ночь проревел. Я уж дал волю... Проревется, думаю, легче будет. Самого меня от хлеба откинуло: отец ведь, каков ни будь сын — все болезнь утробы моей!..

Поутру в сад я пошел. Обрезываю с яблони сухие сучья у самого абдулинского забора. Слышу, Митькин голос!.. Припал ухом к забору — и ее голос!.. Говорят не по-русски!.. Из моего-то сада калитка тогда была в абдулинский сад — я туда. Свету не взвидел... Митька с немкой обнявшись сидят, плачут да целуются!.. Увидавши меня бежать шельма,— знает кошка, чье мясо съела...

А Митька в ноги... «Батюшка, говорит, мы ведь повенчаны!!».

Остамел я, услыхавши срамоту на мою седую голову... Зелень в глазах заходила, к сердцу ровно головня подкатилась!.. На лежанке очнулся, не помню, как и добрел!.. Выдался денек! Пять лет на кости накинул!.. Андрей-от Васильич хорош!.. Приятелем звался, хлеб-соль водил, денег когда займовал, а у Митьки на свадьбе в посажёных был!.. Где-то за морем, пес их знает, свадьбу сыграли... Без моего-то ведома, без родительского благословения!.. Вот они, друзья-то!.. За наше добро нам же рожон в ребро!.. Да и теперь на меня во всем вину валит! Сына, слышь, я погубил! Сами посудите, ваше высокородие, чем же я тут причинен, чем виноват?.. Ведь я отец — а ведь и змея своих детей бережет?.. Ученье всему виной, ученье!.. Не я ж в самом деле!.. Еще, слышь, Сережка да Марья Андревна на Митьку-де мне наговаривали!.. Как же!.. Не догадался б без них!.. Так вот!.. Язык-от без костей!.. Вот что...

На другой день иду от ранней обедни — немку встречу. Не стерпело — зашиб: ударил маленько. Откуда ни возьмись Митька — отнимать ее. Сердце меня и взяло: его в сторону, немку за косу да оземь... Насилу отняли... Уж очень распалился я...

Тяжела, видно, свекрова рука пришлась!.. Зачахла. Месяцев через восемь померла. Ха-ха-ха!.. Слава богу, думаю, теперь у Митьки руки развязаны, поревет-поревет, да и справится... Быль молодцу не укора, будет опять человек... Да беда не живет одна: ты от горя, оно тебе встречу; придет чаша горькая — пей до дна...

На другой день похорон пришел Митька домой... Господи батюшка!.. Никогда этого за ним не важивалось!.. Вот оно где, горе-то неизбывное!.. Митя, мой Митя!..

Крепись, Корнила!.. Терпи, голова, благо в кости скована!.. Эх, изведал бы кто мое горе отцовское!.. Глуби моря шапкой не вычерпать, слез кровавых родного отца не высушить!.. Пуншу, пуншу, Петрович!..

— Что ж потом сталось с ним? — спросил я после долгого молчания.

— Не пытайте отца!.. Горько!.. Упился я бедами, охмелился слезами!.. Петрович! лей до краев!..

ДЕДУШКА ПОЛИКАРП

Рассказ

Приехавши на Валковскую станцию, вышел я из тарантаса, велел закладывать лошадей, а сам пошел пешком вперед по дороге. За околицей, у ветряной мельницы, сидел старик на завалинке. На солнышке лапотки плел. Я подошел к нему, завел разговор. То был крестьянин деревни Валков, отец старого мельника, все его звали дедушкой Поликарпом.

Сколько ему лет — никто не знал, и сам он не помнил. Одно только сказывал, что нес тягло еще в ту пору, как «царица Катерина землю держала». Крепко жаловался старина на нынешние времена, звал их «останными», потому-де, что восьмая тысяча лет в доходе и антихрист во Египетской стране народился. Слово за слово, разговорились мы с дедушкой.

— Что,— спросил я его,— много ль помолу на мельнице-то?

— Какой помол, родименький! Какой помол! Наши места бесхлебные. У нас, кормилец, по всей волости хлеб-от плохо родится. Каков ни будь урожай, доле Святой своего хлеба не хватит; иной год с Тимофея-полузимника * на базаре покупаем.

— Земли-то у вас, кажется, довольно.

— Эх, родименький, какая земля по нашим местам! Много ее, да пути-то нет. И велико поле, да не родимо. Погляди, какова землица-то: лес да песок, болота да мочажины... Какой у нас хлеб?.. Земля же холодная: овсы иной год уродятся, ну и льны тоже, а рожь завсегда плоха бывает. А ежели насчет пшеницы аль проса, так этих хлебов у нас и в заведении нет, семена погубить, ежель посеять. Гречей тоже мало займуются, для того, что каждый год морозами ее, сердечную, бьет. Такие уж наши места!

— А в старину как бывало?

— Как можно в старину! В старину все лучше было, на что ни взглянешь, все лучше было. И люди были здоровее, хворых да тщедушных, кажись, и вовсе не бывало в стары-то годы. И все было дешево, и народ-от был про-

---

* Двадцать второе января. (*Прим. автора.* В дальнейшем все примечания Мельникова-Печерского отмечены звездочкой.)

ще, родимый ты мой. А урожаи в стары годы и по нашим местам бывали хорошие. Все благодарили создателя. У мужичка, бывало, года по два да по три немолоченый хлеб в одоньях стоит... А в нынешни останны времена не то... Объезжай ты, родимый, все наши места: и Заузолье, и Ячменскую волость, и Лыковщину, и Жары, нигде ты единого одонья не увидишь, чтобы про запас заготовлен был. В стары-то годы, родименький, «кулижки» * жгли, на них рожь-то, бывало, сам-восемь да сам-десять... А в нонешни года кулижек жечь не велят — лесные завелись, полесовные. От этих от самых лесных кулижка теперь в такую цену станет, что палить ее уж и не из чего... А бывало, в старину-то, в летнюю пору, перед Ильиным днем, куда ни поглядишь — там из лесу дымок, в другом месте, в третьем... Иной раз местах в десяти разом горит... А нынче не велят, запрет положо́н.

— Что ж это за кулиги такие, дедушка, для чего они?

— А видишь ли, родной... Пойдет, бывало, мужик в лес, свалит ельнику, сколько ему надо, да, сваливши деревья, корни-то выроет, а потом все и спалит. А чтоб землю-то получше разрыхлить, по весне-то на огнище репы насеет. А к третьему Спасу ** хлебцем засеет. Землица-то божья безо всякого удобренья такой урожай даст, что господа только благодарить... Сам-восемь, сам-десять урожай-от бывал. А теперь не то,— с глубоким вздохом прибавил дедушка,— теперь не велят кулижек палить.

— Да нельзя же, дедушка, волю над лесом дать. Пожжешь его без толку, так после не то что на отопку, на лучину ничего не останется.

— Вестимо, родименький! Известно дело, мужику нельзя в лесу воли дать... Как можно! всякое запрещение для порядков делается. Только земля-то у нас уж больно скудна, без навоженья ничего не родит. Такие уж наши места! Семена надо сгубить, коль хорошенько не унавозишь полосу. А на кулижках-то и без навозу хлебец родился. Так-от оно и хорошо было.

— Что ж вы получше не навозите землю-то? Навозьте ее больше.

---

* Кулига — то же, что валки, чища, чищоба, огнище — расчищенный, выкорчеванный и выжженный под пашню лес.

** Шестнадцатое августа.

— Вестимо так, родимый, землю по нашим местам как можно больше надо навозить. Какого хлеба с нее без навоза взять? Без навозу никак нельзя... Только скотинка-то у нас больно плохонька. Вот что, кормилец!.. Уж куда с нашими коровенками землю удобрять как следует!.. Никак невозможно... Посмотри-ка ты, какая по нашим местам скотина? Сама лядащая, именно, как пословица молвится: «коровенка меньше котенка». Слава только одна, что скотина. Вон на Горах * скотина хорошая, крупная: кажда корова барыней смотрит, оттого там и хлеб родится хорош. А у нас что? Места уж такие у нас.

— Так заведите хорошую скотину.

— Известно дело, родименький, что от хорошей скотины больше навозу... Это так, это ты истинну правду молвил... А нам без удобренья никак невозможно... Вот начальники-то наши, дай им бог многолетно здравствовать, хермы ** тоже у нас завели и скота хорошего пригнали на них... Такой славный скот, что любо-дорого посмотреть. И мужичкам было хотели давать на племя такую скотину, строгостью даже приказывали разбирать ее по дворам безданно-беспошлинно... Дай бог им здоровья, господам начальникам... Уж такое они об нас глупых попечение принимают, что сказать нельзя. И не стоим мы таких милостей. Право слово, не стоим.

— Нарасхват, чай, разобрали жалованных-то коров?

— Как возможно, родимый? Нам ли таку скотину держать?.. Нет, нечего бога гневить, помиловало начальство: ни единой коровки не дали... Всей волостью поклонились тогда мужички управляющему, по чем там с души пришлось, поблагодарствовали... Дал господь — откупились. Помиловали начальники, дай бог им, нашим добродеям, здоровья — не роздали коровушек. Прописали, где следует: «желающих не оказалось».

— Как же так, дедушка? Даром такое добро вам давали, а вы не брали? Что ж это значит?

— А то значит, родимый, что уж такие у нас места... Место месту ведь рознь. Начальники-то наши, известно дело, каждому человеку добра хотят, одначе ихне добро в ином месте впрямь добром выйдет, только надобно

---

* На Горах — значит, на правой стороне Волги. «Нагорные» — жители правой стороны Поволжья.

** Фермы.

будет бога вечно молить за него, а в ином, может, и неподалеку где-нибудь, от того добра мужик-от волком взвоет... Земля-то наша святорусская больно уж велика стала, кормилец: с одного-то места ее не обо́зришь... Вот, примерно сказать, про казенну скотину мы с тобой калякали: по здешним местам наши лядащие коровенки невпример способней крупного скота. А каких-нибудь за тридцать верст, хоть у нагорных, крупна скотина — истинно бесценное сокровище. У нас ведь по всем нашим местам поемных лугов вовсе нет, и пожней-то, сенных-то, значит, покосов маловато. По плантам и много, да в наличии не предвидится... Да и что за покосы? Белоус, да осока, да донник — и все тут. На что наши коровенки, и те по раменям пасутся, а сыты не бывают, зимой стоят на соломе, для того, что посыпки-то взять негде, и на свой-от обиход хлебушко с базару покупаем... Ну, от такого корму не диви, что здешняя скотина — кожа да кости. По этому по самому крупному скоту у нас и невозможно быть: зимним делом и сам голодом насидишься и жалованну корову сморишь; а летом где ее пасти? У нас по покосам да по раменям: собашник, болиголов, лютик, бешеница, молочай, жабник *. Ну как казенна-то корова да нахватается этой дряни, с голодухи-то? Вези под овраг да принимай от начальства остуду, не умел-де, мошенник, жалованной скотины соблюсти. И то сказать, в способных-то местах не хитро́ дело мужику казенну корову во двор взять, да хитрое дело держать ее. Дадут тебе корову и надзор приставят к ней. Зачнут к мужику наезжать: понаведаться, здоровенько ли, мол, жалованна-то коровушка поживает, держит ли хозяин ее в тепле да в холе. А ведь сам ты, родименький, знаешь, что наезд-от начальства из мошны деньгу волочит: и курочку ему заколи, и говядинки купи, и калачика, а по питейной части, окромя простого, виноградненького потребуется. По этому по самому, родимый, мужички наши от казенного скота и откупились, для того, что жалованна-то корова, невпример дороже купленной обойдется. Нет, на что уж нам хороши коровы?.. Нам бы вот кулижки позволили, век бы стали бога благодарить.

---

* Собашник — Cynoglossum officinale; болиголов — Chauronyllum; лютик — Aconitum; бешеница — Cicuta virosa; молочай — Euphorbium palustre; жабник — Ranunculus bulbosus — травы более или менее ядовитые.

— Сам же ты, дедушка, сказал, что кулижки лес губят и что запрет на них положен ради порядков.

— Вестимо, родименький. Знамо дело, для порядков. Как же нам жить без порядков?.. Никак нельзя... Примером сказать, хоть об лесе, нельзя не молвить, что губленье губленью рознь... Сам посуди, кормилец, какое губленье лесу от кулижки? Много ли места под нее надоть?.. И то сказать — лес-от на кулижки палят ведь не строевой, не дровяной, а больше все заборник да прясельник. А заборнику да прясельнику по нашим местам такое место, что, как ты его ни руби, он из земли так и лезет, ровно прет его оттуда кто.

— Дедушка! да ведь от прясельника и хороший лес загорится. Тогда что?

— А как ему загореться-то, родимый?.. Хорошему-то лесу? Лесной-от пожар по низу не ходит, верхом все. А кулижку-то прежде повалят да потом зажгут — она и горит низом, по верху ходу ей нет.

— Как же можно попусту лес губить? Жечь его задаром? Жаль такого добра.

— Точно, правда, родимый. Лес вещь дорогая, дорогая, кормилец; как не жаль леса, когда он горит? Уж так его жаль, так жаль, что и сказать не можно. Как этак увидишь, что лесок-от где-нибудь загорелся, так горько станет, подумаешь: «Вот растил его господь долгия лета, и стоял он, человека дожидаючись, чтоб извел на показанную богом потребу, а теперь за грехи наши — горит без пути»... Да вот неподалеку от нас, в Наумовской волости, такая палестина лесу выгорела, подумать страшно: от Рожествина, почитай, до Толмазина, верст на тридцать выхватило. А лес-от был кондовый, дерево-то не охватишь. Загорелось от божьей воли, от молоньи, а друго дело, не знаю. Ну, дерево-то хоша и обгорело, а все-таки было годно для того, что в лесном-то пожаре только хвоя да сучья горят, а самому дереву вреды нет. Наши мужички и хотели было купить тот горелый лес, на сплав чтоб его в низовы города. И купцы приезжали, не по один раз смотрели, тоже хотели купить. За весь-от, что его погорело, два ста тысяч на монету давали, а Василий Трофимыч, что нами в ту пору заправлял, отписал к самому большому начальству, что тех денег взять мало, коли, дескать, сделать торги, так больше дадут. Требовал, видишь, родименький, Василий-от Трофимыч

двадцать тысяч благодарности, а его не ублаготворили. Поэтому и прописал, чтобы лес не продавать, казне-де убытки будут. На третий год после пожару межевой наезжал, велено ему было доподлинно вымерять, много ль погорело казенного лесу, и сосчитать, сколько придется на продажу бревен, и какой толщины будут они. Ну, палестина не малая — скоро ли ее вымеряешь? Наезжал года по два,— да все-то, кормилец, в саму рабочую пору. Понятых сбивал, подводы, ну и благодарности тоже требовал, без того уж нельзя. Да окромя благодарности харчевые, да свечные, да питейные. Однех питейных что вышло! Человек-от был пьющий, народ-от с ним тоже до винца охочий; бывало, каждый божий день два либо три штофа пеннику. Ну, послал межевой планты, куда следует; по времени и вышло об лесе решенье: торги произвесть, кто больше даст, тому его и продать. А решенье-то выслали после пожару на восьмой год; той порой лес-от подгнил, ветром его повалило, и остались одне гнилые колоды; лежат комлем вверх и новому лесу расти не дают, корни-то выворотило, землю от того всю изрыло. Не то, чтоб купить,— с казны еще стали просить, место-то бы только очистить... Так и запропало божье место: гарь теперь одна, не пролезешь. Грибы даже не растут, только и пользы, что малиннику много разродилось. Место хоть совсем брось, только беглым да скрывающим скитникам жилье уготовали, а больше ничего... Так вот оно что, родненький! — промолвил дедушка, немного помолчавши.— Как можно сказать, чтоб мы не жалели лесу! Сердце кровью обольется, как завидишь лесной пожар. Думаешь: «Ну как и этот лес задаром пропадет?» Как нам не жалеть лесу, родимый? Ведь его бог не про кого, что про нас, вырастил.

— Ты сказал, дедушка, что хлеб-от у вас плохо родится. Что ж, промыслами кормитесь?

— Как же, родименький. Промыслом только и живем, изделием то есть. Хлебца-то мало, кулижек-то палить не велят, так мы все больше около леску промышляем. Котора деревня ложки точит, котора чашки, по другим местам смолу сидят, лыко дерут, рогожки ткут: только леском и живем, родимый! Оттого-то лесок-от и люб нам, оттого-то мы его и жалеем — ведь он наш поилец, кормилец.

— За попе́нные лес-от берете?

— За попенные, кормилец, за попенные. Как же можно без попенных? Не велят. Да попенные что? Деньги не великие, заминки только много от них... Лесной-от тоже ведь барин, стал быть, благодарности требует. Да это бы еще ничего — без благодарности как же ему и быть. на то он лесной. А вот иные больно неподходящи бывают и на руку крепки: чуть ему слово, он тебя изобьет, как ему хочется. Станешь с ним порядком говорить, а он свое: «Разве, говорит, не знаешь, что ты весь в моих руках — застану, говорит, с топором в лесу, до смерти могу убить... Знаешь ли, говорит, что, когда лесной порубку преследует, дозволяется ему вора из ружья застрелить? Так поэтому ты, говорит, и должен ухо востро держать и меня почитать больше, чем исправника аль окружного, потому что те только спину тебе вздерут, а я, ежель захочу, до смерти могу застрелить».

Наш лесной Иван Васильич — добрый, хороший барин, а этак же иной раз нашего брата попугивает. Спервоначалу-то думали — морочит: «Как же можно ему человека застрелить», этак, знаешь, думаем. Да грамотеи из наших мужичков доподлинно в законных книжках вычитали, что лесная стража, ежели кого преследует, может того человека убить, и смертное убийство в грех ей не вменяется. Такая статья есть, кормилец... От этого лесной нашему брату страшней всякого: другой барин, как велик ни будь, все-таки живота лишить не может, а лесному это, стал быть, можно. Правду сказать, таковых случаев не слыхать, а все-таки страху много. Как же после того не ублаготворишь ты его? Умирать не своей смертью кому охота? Хоть, может быть, он только для острастки такие речи говорит, однако ж все дело в его руках. Ну, а как стрельнет? Тогда что?

Вот еще эти издельны билеты у нас! Такую заминку делают, что просто не приведи господи! Что мужик ни сработает: смолы ль насидит, кадушек ли, ведер ли наделает, чашек ли наточит,— на всяко изделье, как его на продажу везти, должен у лесного билет выправить. И в тот билет на дороге всякий у тебя смотрит, ленивый разве про билет не спрашивает. И на перевозах с ним задержка, и на базаре хлопот не оберешься. А в города да на ярмонки лучше не езди. Всякий там с тебя сорвать норовит: и городничий, и квартальный, и исправник; будочник привяжется — и будочника ублаготвори, не то

скажет, что изделье из краденого леса: тебя после по судам и затаскают. А билет дают один, сколько мужик ни наработает товару, ему все один билет. Иной раз и повез бы изделье сам на базар, а сына на другой бы послал, да страшно: билет-от не разорвать стать, а куда без билета приехал, там скажут, что ты воровское изделье привез, и так тебя оборвут, что долго будешь помнить, каково без издельного билета на базар выезжать.

Тоже вот и насчет штрафных за неуборку вершин и сучьев. Это уж выходит для нас немножко и обидно, родименький. Сам ты посуди, кому хочется штрафованным быть? Штраф-от хоть не велик, да слов-то будто обидно. Да этот же штраф лесной берет наперед, заодно с попенными, точно тому делу так и надо быть, чтобы каждый человек штрафился. Ты возьми хоть два, хоть три гривенника — за тем мы не стоим — да штрафом-то не зови, а то ведь, что там ни говори, все же выходишь ты человек нехороший, коли штраф с тебя взят. Да что еще лесной-от говорит, как придешь к нему за билетом: «Ты, говорит, вершины-то да сучья не убирай, а как от этого казенного лесу порча, так и подай за то гривенник штрафу, да подай наперед, чтоб после мне тебя не разыскивать». Оно и обидно таки речи слушать: ведь это все одно, что скажут тебе, казну-де ты обворовал. Таким делом обзывать невиноватого, кажись бы, не надо.

А куда убирать вершины да сучья — ни у нас, ни по другим волостям мест не отведено... А места наши ровныя: ни гор ни оврагов верст на сотню во все стороны нет, валить-то вершины да сучья и некуда. Раз было — кучились мужики лесному, всем миром кланялись, «укажите, мол, ваше благородие, такое место». Так он подика как разлютовался. «Учить, говорит, меня вздумали? Об вас же, говорит, начальство заботу принимает, нарочно штрафы учредило, чтоб вас от дела не отрывать, а вы же, мошенники, еще неблагодарны остаетесь? Да пикни, говорит, у меня кто-нибудь хоть единое слово, не то что без промыслу — без дров, без лучины оставлю. Лишу и тепла и света на всю зиму зименскую». Да весь мир взашей. Опосле еще похвалялся нашему голове: «Вот, говорит, отведу я им место верст за пятьдесят, так узнают кузькину мать». Что ты станешь делать, родимый мой?

Да наш барин — добрый и смирный. Иван-от Васильич. Бога надо благодарить за такое начальство. Просто сказать — душа-человек. Другой раз и покричит, и побьет, и убить из ружья погрозится, а все же с ним говорить хоть можно — на речи охочий. И много еще милости оказывает, дай бог ему многолетнего здравия. Хоть бы насчет лажу. Ведь прежде, родименький, целковый-от четыре рубля двадцать пять копеек ходил, а потом его на три с полтиной поворотили. Теперь деньги у мужика хоть и те же, да счетом-то их стало меньше, оно будто их и не хватает. И по всем местам в нынешни времена, где ни послышишь лаж-от везде порешился, а наш Иван Васильич, дай бог ему здоровья, до сих пор лажем милует. Попенны деньги, те на серебро берет, а насчет иных сборов, которы ему следует: за троицки березки, за веники, грибной сбор, ореховый, за стрельбу дичины, дровяные, лучинные, харчевые, это все, дай бог ему здоровья, с лажем принимает. Оно нашему брату и повыгодней... Поэтому — хоть иной раз Иван Васильич какого непослушника и поизобидит, а все же мы довольны им остаемся: отец родной — не барин.

За таким лесным, как Иван Васильич, дай ему бог многолетнего здравия, жить можно, и только бога надо благодарить... А вот в Липовской волости лесной-от Петр Егорыч — вот уж беда: строгий-настрогий и самый не подходящий. Слова с мужиком не молвит, глядит волком и все норовит тебя в зубы. Как ты его ни ублаготворяй, ему все мало. «Место мое, говорит, в Питере, не у вас в трущобе с волками да с медведями, так за это за самое, говорит, ты и должен меня ублаготворить. Да помни, говорит, расканалья ты этакая, что надо мной есть палата, и потому я сам под сборами нахожусь». Что с таким барином поделаешь? А нашему брату без лесу никак невозможно; лесом только и живем.

Придет к Петру Егорычу мужик за билетом, попенны принесет, ну и почести сколько следует, да коли барин на ту пору в сердцах — в карты проигрался, аль жену в город за покупками снаряжает, заломит он такую благодарность, что затылок затрещит. А как мужик заартачится, да в цене не сойдутся, Петр Егорыч ему и молвит: «приходи завтра». Завтра да завтра, да дело-то до Евдокеи-плющихи * и дотянет. Придет мужик на Ев-

* Первое марта.

докею, он билет ему выдаст и окромя попенных,— каков есть медный грош,— не возьмет. И давать станет, еще зарычит, ровно медведь: «Я человек благородный, на подлости не пойду, мундира марать не стану. Как ты смел, говорит, мошенник этакой, взятку мне давать? Да за это, говорит, в Сибирь можешь угодить, коли я захочу». Швырнет благодарность-то, обругает, иной раз поколотит. А в билете пропишет, что выдал его не на Евдокею, а на крещенье, либо на Сипиридона-поворота *. Мужик, коли не был учен, сдуру-то, пожалуй, обрадуется, что дешево выправил билет, да на радостях за топор — и в лес. И только что успеет он свалить деревья, что в билете прописаны, Петр Егорыч пред ним ровно из земли вырос. Вспороть прикажет, веревками руки-ноги скрутит и велит полесовным в город его везти,— рубил-де не в урочное время. Потому, видишь ты, родименькой, с Евдокеина-то дня рубке лесу запрет, для того, что тут в соку он бывает. Ну, ладно, хорошо. Наругается досыта, ружье на мужика наставит, говорит: «Убью и отвечать не буду: черту баран готов ободран. Давай пятьдесят целковых, не то по суду больше возьмут». Есть у мужика деньги — даст, нет — под суд его. Там и распоясывайся как знаешь, да еще в тюрьме насидишься.

Попался этак ему мой внучек, деревни Жужслки крестьянин, Василий Блинников. Моя-то дочка, видишь ты, в Жужелку выдана: так Васька-то внучком мне и приходится. Затребовал с него Петр Егорыч шесть золотух; тот заупрямился, не дал. Он возьми да дело-то и затяни за Евдокею, на Сорок мучеников ** билет-то выдал, а прописал, что выдан за день до Рождества. Васютка, делом не волоча, в лес: свалил пятьдесят, никак, дерев, что в билете прописаны, да только что свалил, Петр Егорыч и шасть на то самое место. Поругал, поколотил, убить погрозился, пятьдесят целковых спросил. Васька не дал; он его в город. Что ж ты, думаешь, родимый? Оценили каждое бревно, по расписанию, в два целковых, да с Васютки по суду семьсот рублев на монету без лажу и взяли. Вдвое, вишь, по закону взысканье-то полагается. Что станешь делать? Мужик был справный, по всей волости немного таких было, теперь в разор разорили его. Пять

* Двенадцатое декабря.
** Девятое марта.

лошадок держал, полная чаша, а теперь ровно бобыль какой, и коровенки-то ребятишкам на молоко даже нет. И в палату ходил к губернатору: везде сказали, что дело сделано, как быть ему следует.

Уж бранил же я Ваську и клюкой побил, «Зачем, говорю, пес ты этакой, не ублаготворил лесного шестью золотухами, зачем опять, говорю, не дал ты ему пятидесяти целковых, как он в лесу тебя накрыл?.. Да что толковать? — старого не воротишь. Да, родименькой, супротив ветру не подуешь... Вот за Васькино упрямство и покарал его господь. И сам-от разорился, и ребятишкам по миру придется идти.

Да, родименький, уж оно так и следует. На то и порядки установлены, чтобы их исполнять. Ведь они для нас же, глупых, начальством ставятся, без порядков како уж житье? А кто супротив порядков пойдет, тот отвечай спиной и мошной. Это уж так следует. Вот и внучку такие же речи я баял, да уж нечего делать. Ну как ему можно было согрубить перед Петром Егорычем?.. Ведь лесной — начальство, а по нашим местам начальство-то самое первое, для того что лесом только и дышим. А перед начальством имей голову наклонну, а сердце покорно. Начальства должно во всем слушаться, и велено за него бога молить. Как же можно было ему огорчать Петра Егорыча? И ближний человек, и болезнь утробы моей, а надо правду говорить. Что в самом деле?

И какой еще чудной Васютка-то! Чему скорбит! «Мне, говорит, не то обидно, что меня ободрали да нищим пустили, а то, что судили меня с Прошкой Малыгиным — ему особенные права дали, а меня разорили». А Прошка Малыгин, родименький, ихней же деревни мужичонка есть — вор отъявленный, давно ему место в Сибири аль в «рестанской» роте, да все только в подозрении остается. Спервоначалу-то и он был справный мужик, да хмелем зашибся, ну, а зелено на пагубу дано, к добру оно не приведет. Съякшался Прошка с кабацкими сидельцами, пропил что было у него, стал из дому таскать, да старик-отец еще жив, приостановил. Связался Прошка с ворами да с беглыми солдатами и пошел за добром через забор ходить да на большой дороге у тарантасов чемоданы резать. Маялись с ним, маялись жужельски мужики — однако ж поймали с поличным. Суд наехал — временное, значит, отделение. Проживало в деревне не-

дели две. Дорого обошлось жужельским Прошкино дело!.. Ведь кто по суду ли наехал, всякому припасай и чаю с сахаром, и вина, и всяких харчей. В две-то недели всех куриц в Жужелке перерезали, что баранов перекололи, а свиней, гусей и всякой животины не столь переели, сколь озорством разбросали... Да что тут говорить — известно дело: вор ворует — мир горюет; а вор попал — так и мир пропал. У Прошки обыск делан был: под полом много краденого нашли. Посадили Прошку в острог; сидит год, сидит другой, отъелся на острожных-то калачах — бык быком стал. На третий год Прошкино дело решили. Привели его в суд выслушивать решенье, и Васютку моего туда ж пригнали. Спервоначалу Ваське решенье вычитали: взять с него семьсот на монету, а после того Прошке стали вычитывать. Вычитывают Прошке такой суд: «Следовало бы тебя, деревни Жужелки вора, Прошку Малыгина, за твое великое воровство послать на житье в дальны губернии, да по статье закона замена выходит, и по этой статье следует тебя, Прошку, в «рестанску» роту на полтора года. А как-де в нашей губернии «рестанской» роты покамест еще не завели, так по этому самому случаю тебе, Прошке, по другой статье другá замена выходит: сидеть тебе, вору, в рабочем доме два года три месяца. А как в рабочем доме и без тебя, вора Прошки, много сидельцев и посадить тебя, мошенника, некуда, так по этому случаю выходит тебе по третьей статье третья замена: велено тебе, Прошке, дать восемьдесят пять розог при полиции». Прочитавши такой суд, судья спросил Прошку: «Доволен ли, говорит, решеньем?» А Прошка ног под собой не слышит: рад-радешенек, что заместо дальней губернии спиной ответить может. Поклонился судье в ноги: «Много, говорит, доволен вами, по гроб жизни, говорит, не забуду вашей милости». А судья ему: «Погоди, говорит, ведь тебе, вору, грабителю, еще особенны права будут». Прошка призадумался. «Что ж, думает, спину ль вдругорядь станут драть, в остроге ль еще сидеть доведется, аль и деньги потребуются?..» А судья ему: «Перво дело, говорит, не бывать тебе сиротским опекуном; второе дело: не будут тебя в свидетели брать; третье дело: не станут на мирской сход пускать; четвертое, говорит, дело: ни в головы, ни в старшины, ни даже в сотские аль в десятские не станут тебя выбирать во всю твою жизнь». Повалился

Прошка в ноги, слезами заливается: «Отцы мои родные, говорит, благодетели вы мои, уж коли такие есть до меня ваши милости, нельзя ли приписать, чтоб и подвод-то с меня не брали?..» Однако ж подводами Прошку не помиловали, гоняет очередь с другими наряду.

Вот на это на самое и обижается Васютка: «Как же, говорит, это так? По Прошкину делу — вор Прошка; а по моему делу — вор не я. Как же с меня семьсот целковых взяли, а ему права дали и стал он теперь счастлив на всю жизнь?» «Ты, Васька, молчи, на то порядок, и всякому свое счастье, а надо всеми бог. И ты, говорю, бога не гневи: лесного почитай, супротивничать не моги, а кому какое счастье господь на суде посылает, не тебе, сиволапому, о том рассуждать. Как ты себе ни мудри, а бог над нами, и супротив начальников ходить не велено. А такая супротивность, говорю, как твоя перед Петром Егорычем, по всему хуже Прошкина воровства»...

В это время послышался колокольчик. Тарантас подъехал к мельнице, и я простился с дедушкой Поликарпом.

— А не можешь ли ты, родименький, кулижки-то нам выхлопотать? — проговорил он, когда я садился в тарантас.

— Эх, ты!.. Еще с кулигами тут! А ты знай ковыряй свои лапотки да язык-то не больно распущай,— молвил ямщик.— Еще кулиги захотел!.. Какие уж тут кулиги!.. Ехать, что ли, ваше высокородие?

— Поезжай. Прощай, дедушка.

И лихой ямщик помчал по гладкой дороге. Встречались мужики с бочками смолы, с ведрами, кадушками, корытами и другим лесным издельем. Они торопливо сворачивали с дороги и, издали сняв шапки, низко кланялись. Ждали, что и я потребую издельного билета.

ПОЯРКОВ

Рассказ

Ехал я большой торговой дорогой, обсаженной березками. Тут когда-то был почтовый тракт, потому и обсадили его. Торный путь набит сажен на шесть в ширину, и обозы по нем взад и вперед тянутся беспереводно, друг дружке не мешая, а широкая тридцатисаженная дорога

впусте лежит; давно отдана в распоряженье гуртовщиков, что гоняют скотину из уральских степей с Нарын-Песков, с ярмонки у Ханской Ставки.

Проехав версты четыре, ямщик остановился, слез с козел, стал поправлять упряжь на коренной и посвистывать пристяжной. Колокольчик замолк. В стороне послышался дрожащий старческий голос: *Блажен муж, аллилуия, иже не иде на совет нечестивых, аллилуия, аллилуия.*

Я оглянулся: у дороги под ракитой сидел старичок в изношенном сюртуке, с котомкой за плечами; на траве возле него клюка и кожаный картуз. Утреннее солнце ярко освещало пепельного цвета лицо его и раскинутые по плечам седые, как лунь, волосы.

— Кто бы это? — сказал я путевому товарищу.

— Богомолец. И верно из дворовых. Был псарем либо музыкантом у богатого барина, век свой брил бороду, ходил в форменном казакине, до седых волос звался Мишкой либо Гришкой и служил верой и правдой. А как пришла старость, руки-ноги стали отставки просить, да увидал Гришка, что во дворне он лишним стал: то бабы на рубаху холста забыли ему наткать, то в застольной место ему на сажень от чашки — бух в ноги барину: «Увольте в Киев ко святым мощам на поклонение да к святителю Митрофанию». Таких много по большим дорогам.

Завидя нас, старик подошел и низко поклонился.

— Не в Ключищи ль изволите ехать, ваше высокородие? — спросил он.

— В Ключищи, а что?

— Окажите милость старику; позвольте на облучок присесть. Дело хворое — ноги болят. Сам бог не оставит вас.

— Садись, пожалуй, да ты кто такой?

— Титулярный советник Поярков.

— Садитесь, пожалуйста... Да куда ж вы? Вот здесь. Тарантас широк, троим не будет тесно.

— Помилуйте, ваше высокородие, смею ли я?.. Не извольте так много беспокоиться.

Насилу уговорил его сесть с нами.

— Где служили? — спросил я, думая, что это один из оставленных за штатом чиновников... Их тоже довольно на больших дорогах.

— Приставом второго стана Пискомского уезда Хохломской губернии.

— Долго служили?

— Больше десяти лет. А до того секретарем земского суда был, письмоводителем в городническом правлении — все в полицейских должностях...

«Десять лет становым — и на большой дороге нищим! Чудеса!..» — подумал я.

— Отчего ж не продолжали службу?

— Я-с... отрешен от должности с тем, чтоб впредь никуда не определять.

— Чем же занимаетесь?

— Как вам доложить?.. Ничем-с... По святым обителям странствую... Работать не могу — года уж такие.

— Частной бы должности поискали...

— Нельзя-с.

— Отчего?

— Указом Правительствующего Сената объявлен ябедником, хождение по частным делам воспрещено... К другому ни к чему не приобык. Оно, конечно, вона теперь много мест по пароходству на Волге и в компаниях, и жалованье хорошее, и можно бы приспособиться... И пытался... Да с моим аттестатом кто возьмет?

«Вот подхватил я гуся лапчатого»,— подумалось мне.

— А впрочем, благодарю создателя, что не попал на место,— заговорил Поярков после короткого молчания,— а то не сподобил бы господь столько святыни видеть и недостойными устами своими к ней прикасаться, не привел бы узнать матушку Русь православную, как живется, как думается народу. Был я, ваше высокородие, в Киеве и у Почаевской Богородицы, в Воронеже и в Соловках, у Кирилла Белозерского, у Симеона Верхотурского, вкруг Москвы везде,— всю почти Россию пешком выходил. А ведь нашему брату, убогому страннику, в дворянские да в чиновничьи дома ходу мало: у мужичков больше привитаем, от их трапезы кормимся. От них-то и узнал я русский народ... Познавать его ведь можно только лежа на полатях, а не сидя за книгами да за бумагами, да разъезжая по казенной надобности.

Сначала подумал я, что если это не закоренелый мошенник, так, по крайней мере, плут и уж наверное пьяница. Недаром говорится: вор слезлив, плут богомолен. Но, вслушиваясь в звуки речей, всматриваясь в лицо

Пояркова, больше и больше удивлялся... Ни сизого носа, ни багровых пятен на щеках, ни мутности в глазах, ни отека в лице, ни одного из признаков знакомства с чарочкой не было. Напротив, в глазах выражалось много ума и благодушия, в лице — много твердости характера.

— Послушайте, господин Поярков,— сказал я,— скажу вам прямо: вы меня удивляете... По вашему лицу, по вашим речам не видно, чтоб вы были...

— Шельмованный негодяй? — перебил Поярков.— Не ропщу на суд человеческий: творился он волею божией. Поделом я наказан.

— Но...

— Как ни будь крив суд человеческий,— перебил меня Поярков,— все-таки он творится по божьему веленью.

— Бывает однако, что невинные страдают!

— Бывает, что судье мзда глаза дерет, бывает, что судья неопытен и дела не разумеет, вершит не по закону, не по совести... Так... Но поверьте, что за каждым невинно осужденным были другие грехи, до людей не дошедшие, а к богу вопиявшие. За эти-то тайные грехи и осуждается человек под предлогом таких, каким он не причастен... На человеческом суде всего один только раз был осужден не имевший греха. Судьей тогда был Пилат.

— Правда,— продолжал Поярков,— судья, что плотник: что захочет, то и вырубит, а у всякого закона есть дышло: куда захочешь, туда и повернешь. Да ведь и над судьей и над подсудным есть еще судия... Неуж ли он допустит безвинно страдать? Не палач он людей, а весь — любовь бесконечная... Судья делом кривит, волю дьявола тем творит, на душу свою грех накладывает, а в то же время, по судьбам божьего правосудия, творит и волю правды небесной, за ту вину карает подсудимого, которой и не знал за ним. Так-то на всякую людскую глупость находит с неба божья премудрость.

Хоть об своем деле вам доложу. Отрешен от должности вот за что. В деревне баня загорелась, ее раскидали. Подают объявление о пожаре: до деревни восемьдесят верст, а у меня сорок важных дел на руках, в том числе пятнадцать арестантских. Становому всех обязанностей исполнить нельзя, будь у него в сутках сорок восемь часов. Потому и держат они вольнонаемных писцов. Набирают их из вольноотпущенных, исключенных из ду-

ховного звания, из службы выгнанных, из лиц, состоящих под надзором полиции. Они и заправляют делом, а становой тем только занят, что поважнее да прибыльнее. И у меня человек с пяток таких было. Одного и послал я на следствие о пожаре; он допросы снял, дело как следует очистил, я подписал, в уездный суд представили, решили там: «предать воле божьей». А мужичонка, бани хозяин, кляузник был, подал губернатору жалобу: был-де у меня поджог, а такой-то отпущенник поджигателей скрыл. Губернского чиновника прислали, тот нашел, что мужик врет, поджога никакого не бывало, а следствие в самом деле отпущенник производил, а я на нем учинил фальшивую, значит, подпись и совершил допросы и очные ставки задним числом... Подлог, значит!.. Губернатор был внове, а нова метла чисто метет — под суд меня. В уголовной 391 статейку и подвели: «лишение всех прав состояний и ссылка в Сибирь на поселенье». Подмазал — смилостивились: уменьшающие вину обстоятельства нашли, решили «уволить от должности». А тут другое дело завязалось: «о похоронении на огороде без священнического отпевания некрещеного младенца матерью его, состоящею в расколе». Другой чиновник приехал. Прикосновенными были государственные крестьяне, стало быть, надо депутата. Чиновник меня и просит: «Нельзя ли, говорит, поскорей депутата прислать, всего бы лучше безграмотного прислать, да прислал бы свою печать поскорее, мы бы дело-то разом кончили. У нас, видите ли, говорит, на будущей неделе в Хохломске благородный театр будет, я, говорит, с губернаторшей «Женщину-лунатика» представляю, так достаньте, пожалуйста, поскорее депутата, да непременно безграмотного». Написал я к волостному писарю записочку, выслал бы такого-то старшину к чиновнику. Года через три попадись эта записка к моим лиходеям. Завели новое дело «о разглашении тайны», под 453 статью меня: за сообщение бумаг, отмеченных надписью «секретно»,— отрешение от должности. Ведь изволите знать, что каждая бумага про раскольников, какая ни будь пустячная, сверху-то «секретно» надписывается. Бабы на базаре про дело толкуют, а ты «секретно» пиши... По совокупности преступлений меня и приговорили — отрешить от должности, чтобы впредь никуда не опре-

делять. Кому ни рассказать — всяк подумает, что не по вине страдаю. А осужден я достойно и праведно.

Теперь так говорю, когда господь умягчил мое сердце, а в те поры мыслил другое... Когда отрешили меня, остался я, на старости лет, без куска хлеба. Еще слава богу, что ни передо мной, ни за мной никого тогда не было — один как перст. Конечно, деньги были, да лихом нажитое прочно не бывает,— что было нажито, мирской слезой облито, а мирская слеза у бога велика. Под судом бывши истерялся: суд ведь докуку да деньги любит; да и жил-то широконько — привык, знаете, к хорошей-то жизни, сразу отвыкнуть не мог. В картишки любил поиграть, ну и выпала мне такая линия, что дело хоть брось — ни иголки с елки, ни иконы — помолиться, ни ножа, чем зарезаться. Работать сил нет: и годы стары и руки мягки, а мягки-то руки чужой хлеб в рот кладут, а печь своего не умеют. Так горько пришлось, так прискорбно, что руки на себя хотел наложить.

И вот злость-то какая во мне была: пришел к проруби топиться; о душе, об ответе на Страшном суде на ум не приходит, а про чуваш вспомнил, как они недругу «суху беду делают». На кого зол, пойдет к тому да у него на дворе и удавится, суд бы на него навести... И стал я думать, какая же мне польза, ежели утоплюсь — унесет меня под вешним льдом и не знай куда, где-нибудь сыщут, в губернских ведомостях напечатают, найдено-де неизвестное мертвое тело, и станут вызывать наследников или владельцев с ясными на принадлежность онаго доказательствами. Нет, думаю себе, коли класть на себя руки, так уж с тем, чтоб лиходею суху беду сделать: пусть же знает, что безрога корова и шишкой бодает. А лиходеем почитал губернатора, что велел меня под суд отдать. И такое веселье враг вложил в меня, что с проруби-то я ровно с праздника воротился.

Сведал, что у лиходея дельце есть тяжебное. В Малороссию верст тысячу пешком отшагал и усталости не знал — вот какова злость-то была. У него, видите ли, дядя бездетный был, имения тысячи две душ благоприобретенного. Покойник жене завещал его, а мой лиходей стал духовную оспаривать. Вот, думаю, привел же господь поплатиться да еще и за правду постоять. Взял у тетки доверенность, ездил, хлопотал, писал и «записался»... У племянника-то, у губернатора, то есть, сильна

протекция была: тетку по миру пустил, а мне хождение по делам воспретили...

Указ застал меня в Малороссии. Денег ни копейки, деваться некуда. Опять хотел руки на себя наложить, опять к реке пошел; но тут господь мне помощь явил... Встретился я со старцем, сказывал, что идет он из Киева в Саровскую пу́стынь. Кто такой, не знаю, но человек божий и дар прозорливости имел. Стал разговаривать и всю-то мою жизнь ровно по книге вычитал. И сам не знаю, что со мной сделалось; заплакал я — благодать-то божия коснулась окаменелого сердца. «Научи, говорю, старче, как горю помочь».— «Ступай, говорит, в Киев, помолись Иоанну Многострадальному, и твоим страданьям будет конец».

Слова старца умилили мое сердце; в тот же день побрел я в Киев. Много раз хотел с дороги воротиться, враг-от действовал. У самых даже ворот монастырских смутил он меня, такую тоску нагнал, что хотел было я, не заходя в святую лавру, на Днепр да в воду. Но за молитвы праведного старца, давшего мне благой совет, избавил господь от врага... И сам не помню, как очутился у мощей Иоанна Многострадального... И тут во мне ровно что просияло, и заплакал я сладкими слезами... Мерзка и нечестива показалась мне прошлая жизнь! Вот теперь, девятый год по обету, данному в киевских пещерах, странствую по святым обителям.

Между тем подъехали мы к Ключищам. Старик спешил туда к храмовому празднику. В церкви того села стоит чудотворная икона, и к ней на поклоненье из окрестных мест сходится много богомольцев. После обедни залучил я к себе Пояркова. Слово за слово, зашла речь про быт уездных чиновников. Вот что он рассказал:

— Кто кого сильней да важней в уездном городе,— вы не так говорить изволите. Ежели хотите знать, кто кого в уезде больше — в табель о рангах не смотрите; там своя табель. Первое место в городе — управляющий откупом: будь он чиновником, будь борода — все одно. Ему и честь и уваженье, его и в кумовья зовут и на свадьбы в отцы посаженые. Каждый божий праздник все от обедни к нему на закуски, каждое первое число всем чиновникам он шлет и вина, и пива, и меду, и наличными много ль кому следует, по «расписанью». Вот это самое расписанье и есть табель о ра́нгах: кому откупщик

больше платит, тот чиновник важнее, силы в нем больше. Важнее всех, конечно, исправник, а ежели город большой, богатый, купцов живущих в нем много, аль ярмонки при нем знатные есть,— то городничий. Если же город не важный, то городничий последняя спица в колеснице, и знать его никто не хочет, и не слыхать совсем про него; только что в мундирный день в соборе на первом месте станет — в том и весь его авантаж. После исправника — становой, потом секретарь земского суда да секретарь уездного. Эти люди первые, за ними пойдет мелкая сошка: судья, непременный член, казначей, стряпчий, винный пристав. А всех ниже штатный смотритель да учителя: ими никто не занимается, и никакого к ним уважения нет, откуп им копейки не дает, к самой даже Пасхе полштофа полугару не пришлет. И в гости их не зовут: разве когда из милости, аль для счету. Не во всяком городу окружные есть да лесничие; а это люди первой статьи: окружной с исправником может вровень стать, помощник его да лесничий выше станового, чуть-чуть не исправниками смотрят.

А ежели насчет грехов, так их во всяком городу и во всяких чинах довольно... Про других не стану говорить, зачем осуждать?.. А про свои грехи для чего не рассказать?.. Всенародное покаяние очищает ведь их...

Вырос я в канцелярии; за приказным столом и состарился. А знал людей по одной только бумаге. Написано в деле: «В деревне Колосковой крестьянин Василий Сидоров», ну и знаешь, что есть на свете Василий Сидоров. Явится он к тебе по делу, только и думы, как бы побольше сорвать с него. Не думаешь, будет ли Сидоров с семьей завтра ужинать, об одном помышляешь: губа-де у меня, у барина, к сладкому наважена, а мужицкое горло, что суконное бердо, проглотит и долото. Пишешь, бывало, бумагу: «С крестьянина Миронова деньги взысканы», и знаешь, что у Миронова были деньги. Пишешь: «Кондратьев розгами наказан», и знаешь, что есть у Кондратьева спина. А не сидят ли у Миронова ребятишки без молока, зажила ль спина у Кондратьева, про то и не думаешь. Со всякого берешь, а себя праведником ставишь. Что-ж? бывало, думаешь: по праздникам церковь божию не обегаю, попов с праздным принимаю, говею каждый год, в большие посты не скоромлюсь, нищим по силе помощи подаю, в тюремном комитете состою чле-

ном, ежегодные пожертвования на детские приюты, по письмам губернаторши, плачу исправно. Чего еще?..

Святым себя считал, а врага слушал. Шепчет, бывало, в душу-то: «Карпушку-то Власьева прижми, денег у него, у шельмы, много, пущай не забывает, что ты его начальство». И прижмешь Карпушку бумаги листом, а бумаги листок на руке легок, а выйдет из под руки, так иной раз тяжелей каменной горы станет.

Раз были нужны деньги до зарезу: наличные в горку спустил, праздники подходят, покойница-жена шляпки требует, салоп с куньим воротником ей подай, в губернское правление дань посылать срок две недели уж минул. Хоть в доме от мирского приносу всякого припаса и вдоволь, да надо хорошенького винца купить, не равно губернский чиновник наедет, не подашь ему мадеры деверье — шампанского подавай, да настоящего, по три целковых бутылка. Просто беда: как бредень ни закидывай, рыбешка не ловится. Что делать, как быть? А главное дело — губернское! Во-время не представишь — шесть выговоров на неделе закатят, и пошел под суд, купайся там.

Почту получаю. Посмотрим, думаю,— нет ли благостыни. Подтверждений штук сорок, помечаю — «к делу». Пачка публикаций о сыске лиц и имуществ: ну, это известно дело — под стол, письмоводитель подберет, напишет: «на жительстве не оказалось», и конец. От губернатора предписания, да все пустяковые: статистику требует, да двух старых девок в консисторию на увещанье переслать... Объявления об умерших солдатах, о взысканиях, о скотском падеже, много всякой дряни, а путного нет ничего.— Эх, несчастная ты доля моя!.. Еще распечатываю: губернаторша еще раз пожертвовать в пользу детского приюта приглашает. «Нет, думаю, шалишь, ваше превосходительство,— не до твоих поросят свинье, коль ее самое палят на огне». С горя да с печали за печатны циркуляры принялся. Видно, тяжело было, что за них принялся... Их, бывало, никогда не читаешь, только сбоку пометишь: «к сведению и руководству».

Десятка полтора прочел — ничегохонько... Вдруг, гляжу — милость-то господня! У циркуляра сбоку припечатано: «об отдаче малолетних крестьянских детей в Борыгорецкую школу Могилевской губернии».— Э!.. Не штука,— деньги, штука — выдумка!.. Вот она, благо-

дать-то, где! С места даже вскочил, запел от радости: *Заутра услыши глас мой!*

«Лошадей! В Ермолино!..» — Приехали.— «К волостному голове!..» — Достучались. Вошли. Хозяйка в задней избе самовар ставит, а хозяин, стоя у притолоки, в кулак зевает: на рассвете дело-то было.

— Что, говорю, Корней Сергеич, здоровенько ли поживаешь?

— Слава богу, говорит, ваше благородие, бог грехам терпит.

— Ну, слава богу,— дороже всего, говорю... Домашние что? Хозяюшка здравствует ли?

— Что ей делается?.. Вон с самоваром возится... Ишь надымила как в сенях-то!.. Грунька! Чего в угли-то налила?.. Эка дурь-баба!.. Дым сюда пройдет — у барина головка разболится.

— Ничего, говорю, Корней Сергеич... Ну, дочки что?.. Землемер-от, чать, недаром месяц у тебя выжил.

— Эх, ваше благородие, чего тут ворошить? Мало ль чего толкуют?.. Чужи речи не переслушаешь.

— Ну, да про это что? Девки молодые! По-вашему, может, так и надо. Парнишка-то что?

— Ничего, ваше благородие, растет. Часослов скончал, на второй кафизме сидит.

— Дело хорошее... А ведь я, Корней Сергеич, к тебе с повесткой... Читай-ка: человек ты грамотный.— И подаю ему циркуляр. А народ-от по захолустьям глуп: видит, печатна бумага, да сбоку «министерство» стоит — глаза-то у него и разбежались. Учен еще мало, знаете.

Прочел бумагу Корней, повертел в руках, на стол кладет.

— Мы, говорит, ваше благородие, люди слепые,— извольте приказать, какое тому дело есть.

— Что ты за слепой человек, Корней Сергеич!.. Зачем на себя клепать? Читай-ка вот, сбоку-то: «об отдаче малолетних крестьянских детей в Горыгорецкую школу, Могилевской губернии». Видишь?

— Вижу, ваше благородие.

— А слыхал ли ты про такую губернию? Про Могилевскую-то?

— Никак нет, ваше благородие, не слыхивал, что есть такая Могилевская губерния. Впервой слышу!

— Эта губерния за Сибирью, на самом краю света,—

говорю ему.— И вся-то она, братец ты мой, состоит в могилах. А на тех на могилах гора, и на той горе школу, вот видишь, завели... Крестьянских ребятишек там ко всякому горю приобучают: оттого и прозвана «на горе горецкая школа». Понял?

— Невдомек, ваше благородие: ваши речи умные, да наши головы глупые.

— Да полно малину-то в рукавицы совать! Что в самом деле на себя клеплешь! У него и Власка кафизмы читает, а сам будто и печатного разобрать не может. Бери бумагу-то читай; не морочу ведь тебя... Печатное. Не сам же я печатал... Видишь? «Об отдаче малолетних крестьянских детей»... А ты читай сам!

Корней ни жив, ни мертв: только пальцами семенит. Смекнул, куда дело-то клоню. А все-таки спрашивает:

— Какое ж тут до меня касательство, ваше благородие?

— Как какое касательство? Власке-то который год?

— Двенадцатый на масленице пошел.

— Таких и требуется. Читай-ка вот.

— Нельзя ли помиловать, ваше благородие?

— Да как же я тебя помилую? По ревизским сказкам известно ведь, у какого крестьянина каких лет сыновья. Что ж мне из-за твоего Власки на свою голову беду брать... А?..

Замолчал Корней. Повесил голову, лицо пятнами пошло. А я себе помалкиваю, из сундучка бумаги вынимаю да раскладываю их по столу.

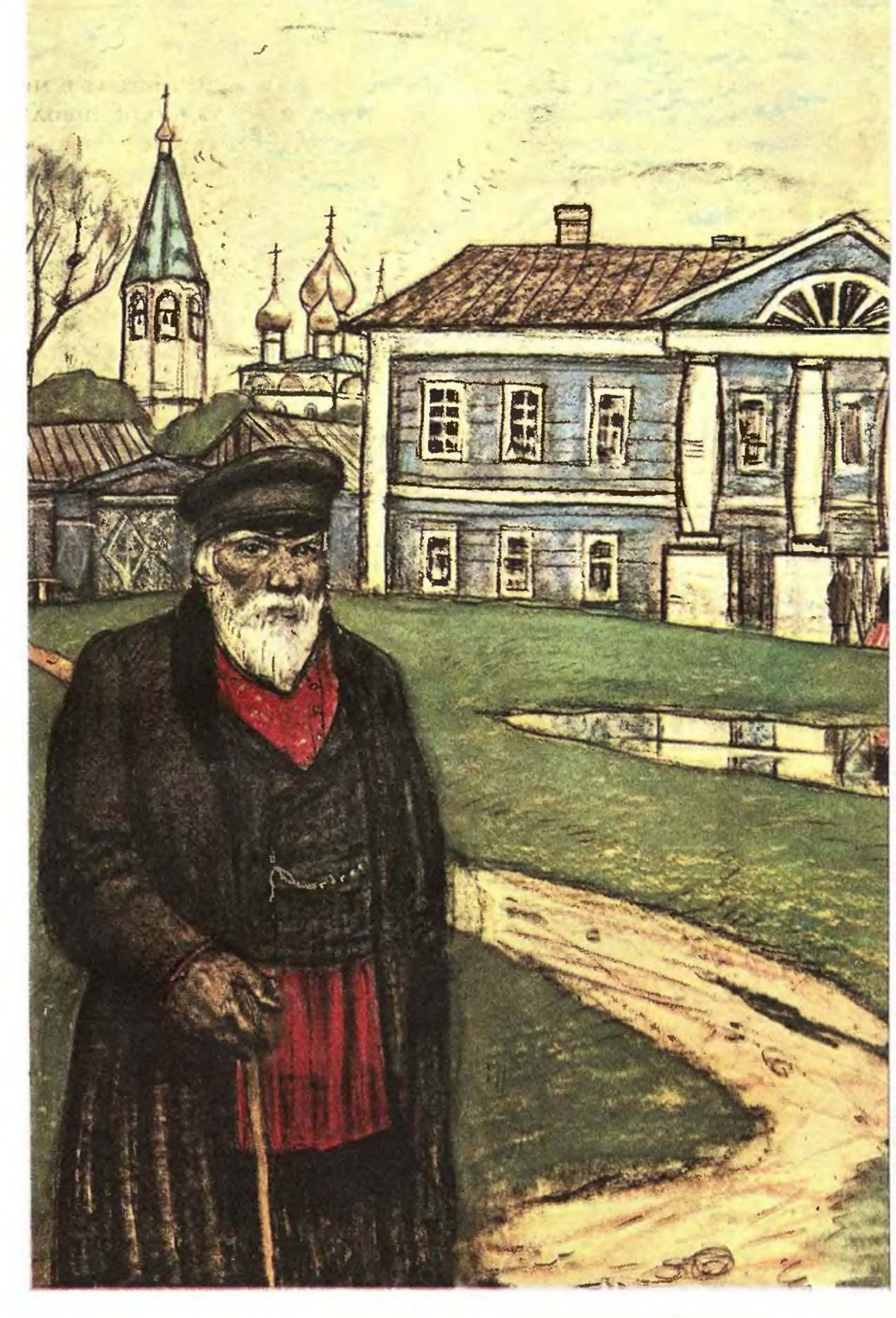
— Нельзя ли как помиловать, ваше благородие? — заголосил Корней.

— Как мне тебя миловать-то, Корней Сергеич? Своего что ли сына заместо Власки по этапу высылать? Так у меня и сына-то нет.

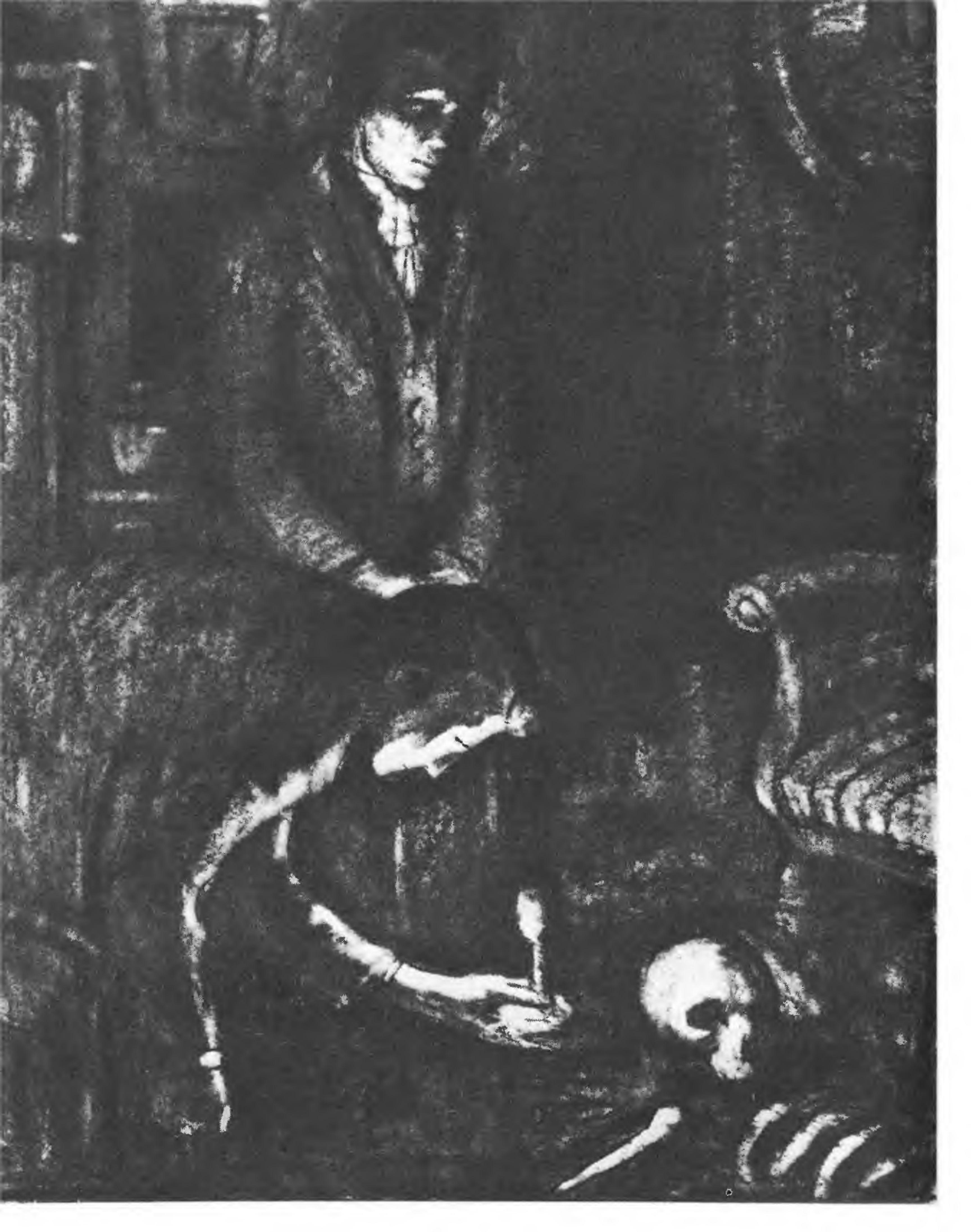
— Все в ваших руках, ваше благородие... Как бог, так и вы!.. Помилуйте, заставьте за себя вечно бога молить.

Корнеева жена в избу вошла, знает уж, о чем дело идет. Повалилась на пол, ухватилась мне за ноги, воет в источный голос на всю деревню. Услыхавши материн вой, девки прибежали, тоже завыли, тоже в ноги. А Власка, войдя в избу, стал у притолоки, сам ни с места. Побелел, ровно полотно, стоит, ровно к смерти приговорен.

— Душно что-то здесь,— молвил я Корнею,— на крыльцо выйду. Хочешь, вместе пойдем.



«КРАСИЛЬНИКОВЫ»



«СТАРЫЕ ГОДЫ»

Вышли на крыльцо. Хозяйка почти без дыхания. Девки — было за нами, да Корней цыкнул на них.

Сел на крыльце, трубочку закурил, покуриваю себе... Говорю Корнею таково приятно да ласково:

— Избы не хочу сквернить этим куревом... Знаю, что старинки держишься, скитам веруешь... Так я на крылечке, чтоб у тебя богов не закоптить. Садись-ка рядком, Корней Сергеич, потолкуем...

Потолковали. На пяти золотых покончили. Написал я Власку немым и увечным, в Горыгорецкую, значит, негодным.

С легкой Корнеевой руки у меня дело как по маслу пошло. Сколько ни было в стану богатых мужиков,— всех объехал, никого не забыл. Сулил могилы да на горах горе, получил за каждого парнишку по золотенькому, в глухие, в немые писал их... Мужики рады-радешеньки, отбывши такое великое горе. Всем праздник, а мне вдвое: у жены салоп и шляпка с белым пером, точь в точь как у вице-губернаторши; у полюбовниц, что в стану держал: у одной шелково платье, у другой золотная душегрейка; шампанского вдоволь, хоть на месяц приезжай губернские... А главное, в губернском правлении остались довольны: крепко, значит, на месте сижу.

Да-с, бывал я котком, лавливал мышек.

Вся штука в том, что надо остроту иметь, чтоб показать мужику дело не с той стороны, как оно есть. Это у нас называлось «перелицевать». Кто мастер на это, будет сыт, и детки без хлеба не останутся. Закон, как толково ни будь написан, все в наших руках: из каждой бумаги хочешь — свечку Николе сучи, хочешь — посконну веревку вей... А мужик что понимает? Он человек простой: только охает да в затылке чешет. До бога, говорит, высоко, до царя далеко. Похнычет-похнычет — и перестанет.

А нет ничего прибыльней, как раскольники. Народ уж такой: обижаются даже на того, кто не берет. Кто взял, на того надеются, что не выдаст и все по-ихнему сделает; а кто не взял, того боятся, притеснителем обзывают, и пронесут имя его, яко зло — до самых высоких степеней... Такая уж вера у них: им шагу ступить нельзя, чтобы чего-нибудь супротивного закону не сделать. Паспортов, по-ихнему, не надо, для того, что антихристову печать означают. Оттого беспаспортным у

них пристанище, к тому ж без беглых им во всем невозможно: попы ли, большаки ли ихние, народ все «скрывающийся», попросту сказать—беглый. А это нашему брату и на руку. У меня в стану скиты были—дно золотое.

В каждом по десяти, по двенадцати обителей, в каждой обители настоятельница, стариц и белиц штук пятьдесят и побольше. Это «лицевых», значит, таких, что с паспортами живут. Кроме того, «скрывающихся» много. Каждая настоятельница за «лицевую» в год золотых по два платит, а за «скрыющуся» меньше тридцати взять нельзя. А у богатых раскольников еще такое заведение есть, что ежели купеческой дочке пошалить случится и она тяжела станет, ее посылают в скиты, будто бы к тетушке там какой-нибудь погостить, в своем-то бы городу огласки не было, женихи бы после не обегали. Тут, бывало, пожива хорошая: девка-то придет с деньгами, с нее за то, чтоб девичьей тайны не огласить, а ребеночка принесет — следствия б не производить!..

Большой праздник подходит: изо всех обителей к тебе с подносами: к пасхе — на куличи, к Петрову дню — на барана, к успенью — на мед, к покрову — на брагу, к рождеству — на свинину, к масленице — на рыбу, к великому посту — на редьку да на капусту.

А то еще за сборами по городам матери ездят. Приедут перед зимним Николой, воротятся к благовещеньеву дню... Едучи в путь, приходят паспорты явить... Со сбору воротятся, опять являются — и чего тут, бывало, не натащат. Котора в Саратов ездила — рыбы да икры, котора в Казань — сафьяну на сапоги, котора из Екатеринбурга приехала—нельмы-рыбы да печаток из камней самоцветных, с Дону — балыков, из Москвы — сукна, материй разных, всякого, значит, фабричного дела. Самому ни съесть, ни износить, лишки нужным людям в губернию шлешь... Они довольны, и оттого насчет неприятностей опасения не предвидится.

В скит приедешь — угощение тут тебе богатой рукой. Спервоначалу все чинно: сядешь за стол с чиновниками, что прихватишь с собой разгуляться, матери во всем чину у дверей стоят в венцах, во иночестве,— шапочка такая плисовая у них есть, иночеством зовется! — на плечах у всех манатейки — пелеринки, этакие черные с красной выпушкой. У каждой в руке лестовка: стоят смиренно, глядят умильно, речь ведет одна игуменья, да

разве еще келарь, стряпка значит, примолвит: «милости просим», когда на стол нову перемену ставит. Рядовые старицы только вздыхают да молитвы про себя шепчут. Белиц тут не бывает,— те по светлицам сидят. И велишь, бывало, матерям пить, ихним же добром их угощаешь. Хоть все они, кроме престарелых, до винца и охочи,— а спервоначалу тоже блюдут себя, церемонятся. Выругаешь хорошенько, примутся за чарочки... Перепьются, потому что не смеют ослушаться...

Тогда к белицам в гости. А белицы бывали хорошие, молодые, красивые, полные такие да здоровенные — кровь с молоком. Ходят чистенько: юбки, рубашки миткалевые, кофточки полотняные... При сторонних в черных сарафанах с цветными широкими ситцевыми передниками. Пойдешь по светлицам: там они сидят, бисерны кошельки вынизывают, шелковы пояски ткут, по канве шерстями да синелью вышивают... Такая тут возня пойдет, что без греха никогда, бывало, кончиться не может... Насчет этого слабеньки...

А ведь их винить нельзя. У крестьянской девки хоть много работы, да в году три радости есть: на масленице покататься, на святой покачаться, на троицу венки завивать. А келейны белицы тяжелого дела не знают, снуют целый день из часовни в светлицу, из светлицы в часовню, каноны читают да кошельки вяжут — вот и работа вся. А едят сладко, спят мягко, живут пространно, всякому пальчику по чуланчику — дурь-то в голову и лезет. По-ихнему же это и не грех, а только падение: без греха, слышь, нет покаяния, а без покаянья и спасения нет. Потому девице и дозволено согрешить, было бы в чем каяться и тем спасенье получить. Такая уж вера.

А когда благодетели, значит, богатые купцы, приедут в скит, тут не то... Не тем обитель смотрит, точно в самом деле истинное благочестие в ней обитает. Поведут матери благодетеля в часовню, там старицы стоят чинно, рядами, в полном чину, на венце у каждой креповая «наметка», все лицо она покрывает. Везде лампадки, везде свечи горят. В середине стоит «уставщица», смиренно в землю глаза опустив, внятно читает старинные книги. Чистыми, звонкими голосами стройно белицы поют по крюкам, демественным разводом. Кланяются разом, перед земными поклонами бросают на пол подручники разом, подымают их разом, лестовки перебирают

разом. Слова стороннего не молвят, в сторону не взглянут — да этак часов пять либо шесть сряду. Благодетель-от упарится, умается и сам себе думает: «Вот оно где благочестие-то, вот она где старая-то вера!..»

И пригоршнями благостыни отвалит... А домой приедет, братье своей зачнет говорить: «Видел я, братия, скиты... Уж такое там благолепие, уж такое там благочестие: истинно земные ангелы, небесные же человеки». А небесные человеки — только что благодетель вон из скита, на радостях от хорошей выручки,— старицы за рюмочку, а белицы за мила дружка за сердечного.

Благодетели на каноны и на негасимую денег скитницам пересылают много. Ежели где-нибудь, хоть в дальнем каком городе, богатый раскольник умрет, родственники посылают милостыни «на корм братии». Те деньги идут настоятельницам, у них в каждой обители общежительство: пьют, едят на общий счет. Кроме того, на «негасимую свечу» присылают, значит, чтоб читать псалтирь по покойнике денно-нощно шесть недель, либо полгода, либо год, глядя по деньгам, и каждый день петь «канон за единоумершего». Иной раз придется рублев по пяти на скитницу, богачи-то присылают на все скиты тысяч по десяти, на ассигнации... Дележ бывает в скрытности, опричь игумений да каких-нибудь знатнеющих, никого тут не бывает... А сборы им законом воспрещены; потому они завсегда у нас в руках.

Случится узнать,— привезли панафидные деньги и будут делить в такой-то обители. Поедешь, бывало; но как ни придешь — ничего не застанешь, а по всему видно, что вот сейчас из кельи вон разбежались... Когда и вовремя попадешь, да у них в скитах дома нарочно такие построены: ходы в них да переходы, темные коридоры, чуланы да тайники, скрытные проходы меж двойными стенами, под двойными полами, и подземные ходы из одной обители в другую есть. Им без того нельзя,— такая уж у них вера, что вся на беглых стоит. Прячут их в тайниках-то в случае надобности.

Раз мне удалось на дележ попасть. Узнал, что из Сибири большую сумму привезли и будут делить у матери Иринархии в обители. На ту пору был я у матери Иринархии по какому-то делу, а у нее купеческая дочка из Москвы жила и со мной, грешным делом, по тайности в любви находилась. А скитские девки, я вам доложу,

беда какие неотвязчивые; ежели с которой сошелся, требуют, чтобы в гости жаловал, а ежели долго в ските не бывал, плачет, укоряет — забыл-де меня...

— Знаешь ли что,— говорю возлюбленной своей,— ведь у вас завтра собрание будет, а мне больно хочется посмотреть на него. Я бы сегодня так сделал, будто уеду из скита, а сам у тебя в светлице останусь, ты мне ихнее-то собрание из тайничка и покажешь.

Обрадовалась моя Варвара Абрамовна, что целые сутки у ней в светлице пробуду... Велел я письмоводителю мою шубу надеть, да чтоб по голосу его не признали, приказал ему пьяным быть, и вышло так, будто я напился до бесчувствия, и меня, положивши в сани, из скита вон увезли. Целые сутки пробыл я у Варвары Абрамовны, а под вечер через тайничок вниз спустился и стал возле Иринархиной кельи. Дырочка там проверчена: все видно.

Собрались матери, приказчика привели, что деньги привез, помолились, письма прочитали, канон за умершего пропели, кутьи поели и уселись — деньги делить. Самая полночь была. Только что деньги на стол они разложили, я из тайника да середь честной компании и стал.

— Здорово ль, говорю, поживаете, преподобные матери?.. Что ж меня-то в долю не принимаете?

Заметались. А при мне охотничий рог был. Затрубил... Сотские да рассыльные — а им наперед велено было тайным образом к ночи вкруг обители собраться — голос стали подавать.

— Слышите, говорю, матери? Мои-то молодцы русака в скиту учуяли! Да не ты ли русак-от, почтенный? — говорю приказчику.— Кажи паспорт!

— Паспорта нет; в городе на квартире, говорит, покинул.

— Это мне все равно. Ежели при тебе паспорта нет, милости просим в кутузку.

— Да я, говорит, купеческий сын.

— А хотя ты и купеческий сын, да есть пословица: от тюрьмы да от сумы никто не отрекайся. Сидят в тюрьме и дворяне, не то что ваша братья, купцы.

Так да этак, смиловался я, отпустил приказчика. Три тысячи на ассигнации мне досталось. Читали ль матери заказной псалтирь, нет ли — того не знаю.

А уж как легковерны они, так просто на удивленье!

Жила в Чернушинском ските средних лет девка, звали ее Пелагея Коровиха. Жила у матерей долго, скитские порядки знала да скружилась, ее и прогнали. В город переехала. Сайки на базаре продавала, с печенкой у кабака сидела — перебивалась этакой торговлей. Познакомилась она с отставным солдатом Ершовым, что лет с десяток при земском суде в рассыльных был, по всему уезду знали его. Запивать стал — потерпели-потерпели, однако выгнали наконец. Приходит он к Коровихе, на судьбу плачется, «не знаю, говорит, что и будет со мной; удавиться думаю, хуже будет, как с голоду помру». Посоветовались — да и придумали штуку! Обрезала Коровиха косу, добыла где-то вицмундир, чиновником оделась, орден св. Станислава на шею надела. Достали лошадей; Коровиха в сани, Ершов на козлы да ночным временем в скит, только не в тот, где Коровиха жила, а в другой, где не знали ее. А по уезду еще не было известно, что сменен Ершов, и он по дороге сказывает, что послан исправником при чиновнике, что по раскольничьему делу из Петербурга приехал. Перед Коровихой все шапки ломают; видят, барин большой: крест на шее.

Приехали. Разбудил Ершов настоятельницу: «Вставай, говорит, скорей, мать Евфалия: беда твоя до тебя дошла. Чиновник из самого Питера приехал. Чуть ли часовню не станет печатать». Евфалия заохала, Ершов ей свое:

— Меня, говорит, исправник нарочно с ним послал, чтоб тебе, по силе возможности, какую ни на есть помощь подать.

— Кормилец ты мой!..— завопила Евфалия.— Помоги ты мне старой старухе, а уж я тебя не оставлю... Заставь за себя бога молить! — А сама меж тем Ершову в руки зелененькую.

— А ты вот что, мать Евфалия,— говорит Ершов,— сделайся-ка с ним, как знаешь; поблагодари его честь. Исправник велел сказать, что он подходящий, благодарить его можно.

— Дай бог здоровья его высокородию Петру Федорычу,— говорит Евфалия,— что на разум наставляет меня старую да глупую.

А чиновник-Пелагея уж в келье... Очки на носу, бумаги разбирает. Вошла к нему мать Евфалия ни жива, ни мертва.

— Как тебя звать? — крикнула ей Коровиха.

— Евфалия грешная, ваше превосходительство.

— По отце?

— То есть по-белически-то зовут меня Авдотья Маркова; а это значит по-иночески: Евфалия грешная.

— Да разве ты смеешь иноческим именем называться? — закричала Коровиха и ногами затопала.

Да приподнявши платок, что Евфалия на себя в роспуск накинула, увидала под ним и манатейку и венец... Пуще прежнего закричала:

— Это что такое? Это что надето на тебе?.. Не знаешь разве, что за это нашу сестру в острог сажают? В кандалы старую каргу,— крикнула Ершову Коровиха,— в острог ее, шельму, вези!

— Слушаю, ваше превосходительство! — говорит Ершов.

— Подай из саней кандалы! — крикнул он, выйдя в сени, извозчику.

Ровно гром грянул в обители: в ногах валяются, милости просят. Тут и промахнись Коровиха.

— Давай, говорит, десять целковых да штоф пеннику.

Тотчас принесли и деньги и пеннику... Только тут все и поусумнились: что ж это за важный чиновник, коль за дело, что тысячи стоит, только десять целковых потребовал... Опять же ни мадеры, ни рому, ни другого дворянского пойла ему не надобно, а вдруг подай пеннику! Неподалеку от скита исправник в то время на следствии был. Ему дали знать, тот нагрянул. Входит в келью, а Коровиха с Ершовым, штофик-от опорожнивши, по лавкам лежат. Так и взяли их в вицмундире и с крестом на шее. По суду три года в рабочем доме потом просидела.

Чего в тех скитах не творилось! Да вот хоть про друга моего, про Кузьку Макурина рассказать. Был он из удельных крестьян, парень еще молодой. Отец у него кузнечил, а когда помер, довольно деньжонок сыну оставил, и дом — полну чашу, и кузницу о двух наковальнях. Неразумному сыну родительское богатство в прок не пошло; не понравилось Кузьке ремесло отцовское: ковать жарко, продавать холодно. Черной работы не жаловал; захотелось ему белоручкой жить — значит, от кузницы подальше, меньше бы копоти было. Годика в два

родительское добро все до нитки спустил. К винцу да к сладкой еде привык, а в мошне-то пусто. И почал деньги ломом да отмычками добывать. Раз пять попадался, да каждый раз по суду в подозрении только оставляли. Поймали наконец на деле, в солдаты приговорили, потому что недели до совершенных лет у него не хватало.

На другой же день, как сдали его, он бежал. По деревням проживать опасно было,— он в скиты. Пришел к матери Маргарите: «Бегаю, говорит, от антихриста, и ты, матушка, меня в стенах своих сокрой».

Маргарита разжалобилась, взяла Кузьку на конный двор в работники. Тут он зажил припеваючи: сыт, пьян, одет, обут... А главное, живучи под крылышком Маргариты, никого не бойся, даром что беглый... Мы с ней жили в добром согласии. Иногда разве что скажешь ей: «Кузька-то у тебя больно пространно живет, спрячь его до греха». Ну и припрячет.

Кузька со мной подружился через то, что Маргаритину племянницу Евпраксию Михайловну мне предоставил. Изо Ржева была, купеческая дочка — с офицером провинилась, ее и послали к тетке стыд прикрывать. Скитское житье ей по нраву пришлось — осталась в кельях... Ну, Кузька, спасибо ему, помогал, очень даже помогал. Оттого и завелась у меня дружба с ним.

Неспокойный был человек. Чем бы, кажется, не житье ему было у матерей? Так нет, пакостить начал и скитниц мне выдавать. Шепнет, бывало: «Приходите, ваше благородие, тихими стопами ночью под успеньев день к матери Феозве в моленную; беглый поп приехал, в полотняной церкви станет служить».

Нагрянешь, во всем чину службу застанешь. «Это что? Ты кто такой? Вяжи!» Матери забегают, ровно мыши в подполье: котора антиминс за пазуху, котора сосуды в карман, с попа ризы дерет. А поп ровно хмельной, сам шатается, а норовит в угол, чтоб оттуда в тайник да скрытыми переходами в другу обитель, а оттоле в лес. Знал я эти штуки-то: «Нет, говорю, отче святый, от меня не улизнешь, знаю я ваши мышиные норки, а протяни-ка ты лучше стопы свои праведные, вон сотский-от хочет кандалы на тебя набивать».

Старицы в ноги.

— Батюшка, ваше благородие, положи гнев на милость!

— Дам я вам милость, говорю: вяжи всех да подводы под них снаряжай... Всех в острог.

А они:

— Помилосердуй, милость на суде хвалится.

— Дам я вам милость!.. Вяжи всех да гаси свечи: часовню-то запечатаю.

А сам из кармана шнурок, печать да сургуч. Всегда при себе держал: страх внушают.

— Да заставьте же, ваше благородие, за себя бога молить,— вопят старицы,— помилосердуйте!..

— Да что вы, говорю, пристали ко мне?.. Ничего не могу сделать, губернатор предписал. Сами знаете: твори волю пославшего.

— Да все в твоих руках, батюшка, ваше благородие!.. Как бог, так и ты!..

Дали. Попа в кибитку, а мы к Феозве чай пить да с белицами балясы точить.

Проведает Кузька: под моленну новы столбы подвели; скажет. Приедешь в скит, найдешь починку, запечатаешь моленную. Пообедаешь, разгуляешься, возьмешь, распечатаешь.

А на Кузьку ни одна из матерей подозрения не имела. Думают: «Свой человек, состоит по древнему благочестию, как же ему Иудой-предателем быть». А в своей обители у Маргариты пакостей он не творил.

Не сдобровал, однако, у скитниц мой Кузька: очень уж безобразную жизнь повел, стали матери им тяготиться, а прогнать боялись, потому что, ежели прогнать, скит сожжет. Напился он раз с попом Патрикием донельзя и зачал спорить с ним о божественном. Спорили они, спорили — Кузька в ухо попа: «я, дескать, тебя, ревнуя по истинной вере, аки Никола святитель Ария — заушаю!..» А поп-от через день возьми да богу душу и отдай... Следствия не было: беглый беглого убил, оба люди не лицевые. Так оно и заглохло.

После того его и прогнали. По деревням шататься стал где день, где ночь. Тяжело пришлось житье: в водке вкус позабыл. Конокрадством вздумал промышлять, да на первой клячонке попутал грех: поймали Кузьку,— ко мне.

— Что, говорю, попался?

— Попался, говорит, ваше благородие, такая уж судьба моя проклятая!.. А у меня до вас есть секрет.

— Какой?

— Важный секрет, ваше благородие. Могу сказать только один на один... Потому секрет по первым двум пунктам, государственный секрет, ваше благородие...

Пошли в боковушку. Сказал.

Вышли мы с ним в канцелярию, стал я с Кузьки показание снимать.

— Зовут меня Иваном; как по отце и чей родом, не помню, скольких лет, не знаю; грамоте российской читать и писать умею, в штрафах и под судом не находился, по девятой ревизии покуда никуда не приписан, движимого и недвижимого имения за мной нет, никакого определенного промысла или занятия не имею, а прибыв в прошедшем году в здешний Пискомский уезд, занимался деланием фальшивой монеты. На таковое ремесло был склонен торгующим по свидетельству третьего рода крестьянином Марком Емельяновым, каковый Марк Емельянов и научил меня, с помощью собственных его инструментов, как российскую, так и иностранную монету чеканить. А ту фальшивую монету, из опасения подозрения и законного по суду воздаяния в случае открытия, производили мы в разных местах...— После того и пошел перечислять мужиков, что самые богатые были... Во свидетельство представляя два фальшивые талера и старинный целковый, тоже фальшивый.— И сильно скорбя о содеянном преступлении и жестоко мучась угрызением совести, решился я в присутствии вашего благородия чистосердечно объяснить о содеянном мною преступлении, что вы уже и слышали от меня. Имею неотъемлемое право на справедливо заслуженное мною наказание и, предаваясь в волю закона, прошу со мною учинить, что правосудие повелевает.

Сделав такое показание, Кузька бойко подписался по всем статьям: «К сему показанию Иван, непомнящий родства, руку приложил».

Велел я заковать Ивана Непомнящего и поехал с ним да с понятыми к Марку Емельянову. Обыск произвели — ничего не отыскали. Марк, известно дело: «Знать не знаю, ведать не ведаю, впервой того человека и вижу». Поставил их на очную ставку.

Кузька говорит:

— Побойся бога, Марк Емельяныч, как же ты меня не знаешь? Да не я ль у тебя две недели выжил? Да не

ты ль меня учил монету делать, да не ты ль хвалился, что сделаешь монету лучше государевой?

Марк и руками и ногами, а Кузька ему:

— Нет, постой, Марк Емельяныч, у меня ведь улика есть.

— Какая улика? — спрашивает Марк Емельянов.

— А вот какая: прикажите, ваше благородие, понятым в избу войти.

Я велел, Кузька и говорит им:

— Вот смотрите, православные, под этой под самой лавкой я гвоздем нацарапал такие слова, что с 1 по 22 октября с Марком Емельяновым вот в этой самой избе я триста талеров начеканил.

Посмотрели под лавку,— в самом деле те слова нацарапаны.

Вязать было Марка — в острог сряжать, да сладились. От него к другим богатым мужикам поехали... И всех объехали. А как объехали всех, велел я Кузьке бежать, кандалы подпиливши, сам и пилочку дал ему. Дело заглохло.

А Кузька, извольте видеть, когда по деревням шатался, надписи такие у богатых мужиков царапал. Попросится ночевать христа ради, ляжет на полу, да ночью как все заснут, и ну под лавкой истории прописывать.

После того Кузька попом оказался и до сих пор, слышь, поп попит. Есть на рубеже двух губерний, Хохломской да Троеславской, деревня Худякова; половина — в одной губернии, другая — в другой. В той деревне мужичок проживал, Левкой звали — шельма, я вам доложу, первого сорта, а промышлял он попами. Содержать беглых попов на губернском рубеже было ловко: из Троеславской губернии нагрянут — в Хохломскую попа, из Хохломской — в Троеславскую его. Левку все раскольники знали, от него попами заимствовались. С этим самым Левкой и сведи дружбу Кузьма Макурин — днюет и ночует у него, такие стали друзья, что водой не разольешь. Рыбак рыбака далеко в плесе видит, а вор к вору и нехотя льнет.

Лежит раз Кузька у Левки в задней избе на полатях, а поп, под вечер взъехавши к Левке да отдохнувши после дороги, сидит за столом. Избу запер, зачал деньги считать, что за требы набрал по окольности. Смотрит Кузька с полатей, а сам тоже считает: считал-считал и

счет потерял. Слез тихонько с печи, отомкнул дверь, вышел — поп не видит, не слышит.

Кузьма в переднюю...

Будит Левку: «Вставай, говорит, дело есть».— Левка встал, Кузька ему говорит: «Поп деньги считает, я подсмотрел. Такая, братец, сумма, что за нее не грех и в тюрьме посидеть. С такими деньгами, Левушка, век свой можно счастливу быть, на Низ можно сплавиться, в купцы там приписаться».

Соблазнил.

— А видывал ли когда тебя отец-то Пахомий? — спрашивает Левка.

— Отродясь,— говорит Кузька,— не видывал.

— Делай же вот как да вот как.

Пошли приятели в заднюю, где поп-то свои дела правил... А хоть дверь и отперта была, все-таки, чтоб Пахомию не подать сомнения, Левка постучался, входную молитву творя.

— Аминь! — ответил поп из избы.— Кто там?

— Я, батюшка, отец Пахомий, хозяин.

— Сейчас, свет, отопру... Эко диво како! Дверь-то была отомкнута!.. Забыл, видно, запереть, вот ведь память-то какая у меня стала.

Вошли Левка с Кузькой. А деньги у попа уж припрятаны. На̀чал положили у Пахомия, простились и благословились.

— Вот, батюшка, отче Пахомие,— говорит Левка,— наш христианин, именем Косьма, исправиться желание имеет, давно мне кучился свести его к иерею древлего благочестия.

Кузька в ноги попу: «Прими, говорит, отче святый, на дух».

— Бог благословит, чадо,— ответил Пахомий,— время теперь тихое, исправлю, пожалуй.

Левка вышел, Пахомий епитрахиль надел, требник на налой положил.— «Клади на̀чал!» — говорит.

Положил на̀чал. Лег Кузька ничком, Пахомий ему голову епитрахилью покрыл и начал «исправу»:

— Рцы ми, чадо Косьмо...

А Кузька поднял голову, говорит ему:

— Отче святой, совесть-то моя очень сумленна,— рцы ми прежде: по отлучении от великороссийские церк-

ви принял ли ты «исправу второго чина» с проклятием ересей?

— Нет, чадо,— говорит Пахомий,— исправе второго чина и проклятию ересей аз грешный по правилам не подлежу, того ради, что и крещение имею старое и рукоположение старое.

— А где ж ты старое-то рукоположенье сыскал? — спросил Кузька, став на ноги перед Пахомием.— Кто тебя в попы-то ставил?

— Да не смущается сердце твое, чадо Косьмо, ведай, яко имамы ныне архиереев древляго благочестия. Начало же сему произволению бысть сицевое.

— Ну, послушаем, пожалуй, какое тут у вас было произволение,— молвил Кузька, садясь на лавку.— Садись и ты, отец Пахомий, рассказывай, какое было произволение.

— Есть, мой свет, киновия Белокриницкая. Испервa обитаема была едиными токмо мнихами, священных же особ в себе не имела, ныне же божиею к нам милостию получила архипастыря. Вси несумнящеся о сем христиане, елико обретается их в поднебесной, в том уверены. Та киновия, влекуще семя свое от древних оных кубанцев, рекше некрасовцев, зашедших туда с большим количеством народа, с женами и детьми. И тако сии вышереченные кубанцы, рекше некрасовцы, поселишася в Туречине, по реке Дунаю, и во упражнении своем занятием рыболовства...

— Да ты балясы-то не точи, говори настоящее дело. Какое произволение-то было?.. Кто тебя в попы-то поставил?

— Внимай, чадо Косьмо, дивному промышлению и не борзися... Сим бо случаем дивная вещь содеяся и памяти достойна.

— А ты лишняго-то не мели, сказывай, кто таков?

— Аз многогрешный прежде был господским крестьянином и немалое время находился приставником при псовой охоте. Обаче распалихся желанием иерейства, оставя господина, приидох к епископу нашему Софронию и молих его, да поставит мя во иерея. Он же по многом испытании рукоположи мя у единаго мужа благочестива, на пчельнике, и даде ми одикон, рекше путевой престол, и церковь полотняную.

— Так ты, попросту сказать, беглый псарь?

— Не глумися, чадо Косьмо, рцы же ми своя согрешения...

— А ведь ты мошенник, отец Пахомий! Из псарей в попы на пчельнике поставлен!.. Ай да святитель!.. Знаю Софрона-то я. Ведь это Степка Жиров, что в Москве постоялый двор в Вороньем переулке держал, что попа Егора утопил?.. Знаю, все знаю, и другого вашего пастыря знаю, Антония, что прежде Шутовым прозывался. Так ты из этаких!.. А сколько ты, собашник, христианских-то душ погубил, их исправляючи? Да знаешь ли ты, что твое место в Сибири?

Хвать его за честную браду и «караул» закричал. Левка с веревкой вбежал, скрутили попа, вытащили его на улицу, сбежался народ: кто за попа, а кто кричит: «Вези его в город!..» Кутят ему Кузька в полы-то положил: «Вот, говорит, твои прихожане!» Поглумились этак над Пахомием и пустили его на четыре стороны, а деньги и весь скарб у Левки остались.

На другой день приходит уставщик от Пахомия.— «Деньги-то, говорит, возьмите, подавитесь ими, окаянные, ящик-от только отдайте... Без него отцу Пахомию никак невозможно...

— Эка что вздумал!..— молвил Кузька Макурин.— Да я такого ящика пятый год добиваюсь. Пойду на Урень,— сторона глухая, народ слепой,— стану попить не хуже твоего псаря. Так ему и скажи.

Заплакал инда уставщик: за ящик-от Сафронию никак тысяча была заплачена, а теперь все пропало ни за денежку.

Вскрыли ящик: там и одикон, и полотняная церковь, и прочее, что нужно, и ставлена грамота.

— Эка умница этот Жиров! — молвил Кузька.— Не пишет примет в ставленой-то... Хоть я Пахомию во внуки гожусь, а с этой ставленой могу и Пахомием быть. Прощай, Левушка,— деньги все себе бери, с меня и ящика довольно. Вот каким попом буду, сам ко мне на исправу придешь... Приходи, Левушка: все грехи отпущу и гроша не возьму.

Так и поделились. Левка с деньгами на Низ уехал,— и там расторговался. А Кузька за Пахомия и до сих пор попит...

Так вот с какими я людьми хороводился! Вот какие дела делывал! Да мало ль чего не бывало... Всего не перескажешь.

Ничего в свое время не огласилось, пред судом человеческим ничего не явилось. Но все было ясно пред неумытным судиею. И послал он мне наказание достойно и праведно.

СТАРЫЕ ГОДЫ

Рассказ

Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное.

Это гнездо угасшего рода князей Заборовских. Теперь оно принадлежит разбогатевшему откупщику Кирдяпину, родитель же его некогда был подносчиком в Разгуляе. А Разгуляй — любимейший народом кабак в селе Заборье. Стоит он между пристанью и базаром: место веселое, бойкое.

Местность в Заборье живописна. Крутой, высокий берег Волги тут перемежается, образуя обширную, покатую к реке лощину, в ней построено Заборье. Там до десятка златоглавых церквей, сорок либо пятьдесят двухэтажных каменных домов, больше тысячи деревянных, городской постройки, обширный гостиный двор, несколько фабрик и заводов: всюду кипучая деятельность. По волжскому берегу тянется длинный ряд амбаров для складки хлеба и других товаров, у пристани стоит не одна сотня барок, расшив, ладей, паузков и других разной величины парусных судов. Поодаль, у особой пристани, устроенной в Кривоборском затоне, дымятся пароходы. В стороне мель, на ней обсохшая коноводка.

И справа и слева тесно застроенного и шумно оживленного Заборья великанами высятся крутые горы из красного мергеля. На одной красуются величественные храмы XVII века, украшенные снаружи стенописью, увенчанные золотыми шатрами и куполами. Вместе с громадными двухэтажными зданиями они обнесены зубчатыми белокаменными стенами, высокими башнями и бойницами. Ни казанские татары, ни лисовчики, ни сообщники Разина не могли взять тех твердынь, хоть не раз пытались овладеть Заборским монастырем, зная о сокровищах, в нем сохранявшихся. Теперь не то, теперь здесь тихое и безмятежное пристанище немногих иноков, просторно разместившихся по уголкам громадных келий,

где в старые годы тесно было жить многочисленной братии и толпам слуг и служебников Заборской обители.

По другую сторону Заборья высятся на горе палаты князей Заборовских. Величественный дворец, строенный в прошлом столетии по плану Растрелли, окруженный полуразвалившимися флигелями и службами, господствуя над Волгой и Заборьем, угрюмо смотрит на новую, развившуюся под его ногами деятельность. Запустелый, обветшалый, точно переглядывается он с древними зданиями монастырскими... Ведут меж собой каменные старцы беззвучную беседу о суете мирской, что внизу гулом тысячи голосов и звуков дает знать о себе, о приволье места и о довольстве народа. Ведут угрюмые старцы беседу, а сами будто сокрушаются, что минули старые годы, когда наверху было людно и шумно, а внизу говорить громко не смели...

Исправник предложил мне показать заборский дворец, но нескоро добился ключей. Трое дворовых, приставленных для охраненья гнезда угасших князей Заборовских, рассчитав, что злонамеренные люди не украдут вверенного им здания, отправились на пристань шить кули, чтоб, заработав по пятиалтынному на брата, провести веселый вечерок в Разгуляе.

Покамест сотский их отыскивал, мы пошли в сад. Сад огромный, версты на полторы тянется он по венцу горы, а по утесам спускается до самой Волги. Прямые аллеи, обсаженные вековыми липами, не пропускающими света божьего, походили на какие-то подземные переходы. Местами, где стволы деревьев и молодых побегов срослись в сплошную почти массу, чуть не ощупью надо было пробираться по сырым грудам обвалившейся суши и листьев, которых лет восемьдесят не убирали в запущенном саду.

Кой-где уцелели каменные постаменты, на них в старые годы стояли статуи. Известный богач прошедшего века, князь Алексей Юрьич скупил много статуй за границей и поставил их в своем Заборье. Куда после девались они, бог знает... Вот на одном постаменте уцелели буквы: «Iov... omnipoten...» [1]. На другом ясна надпись: «Venus et Adonis» [2].

---

[1] Юпитер... всемогущий... (*лат.*).
[2] Венера и Адонис (*лат.*).

Повернув из главной аллеи в сторону, очутились мы перед глубоким оврагом, что, простираясь до самого волжского берега, разделяет сад на две части. Смелой аркой перекинут был через тот овраг каменный мост, на дне шумел родник, скрывавшийся в сочной густой зелени. За мостом каменный павильон — это Parc aux cerfs[1] Заборья старых годов... Давно свалились его двери, давно вышиблены из окон его рамы, ветер да зимние вьюги свободно гуляют по комнатам, где чего-то ни бывало в старые годы!.. В одной комнате уцелели фрески, и какие фрески! Недюжинный маляр их работал. Вот Венера в объятиях Марса — хорошо сохранились свежие, роскошные перси и руки богини красоты, досадная улыбка безобразного Вулкана до сих пор мерещится мне, только что вспомню павильон заборский. На другой стене нагая Леда страстно прижимает лебедя, на третьей свеженькая нимфа лениво отталкивает обхватившего ее сатира, а на четвертой сладострастно раскинулась юная вакханка, и ее

Налитые негой груди,
Чуть прикрытые плющом,
И белее снега зубы
И пурпуровые губы —
Манят поцелуй...

Плафон осыпался, но по сохранившимся остаткам заметно, что он изображал торжество Приапа... Сколько белобрысых Акулек и чернявых Матрешек перебывало здесь в качестве живых нимф и вакханок.

— Вон там был другой такой же павильон! — сказал исправник, указывая на груду кирпичных осколков, выглядывавших из лопушника, полыни и чернобыли.

— Развалился?

— Нарочно сломали.

— Зачем?

— Да видите ли, что здесь болтают: князь Данила Борисович, годов тридцать тому назад, приезжал в Заборье и в том павильоне находку, слышь, какую-то нашел, да после того и приказал его сломать.

— Что ж он нашел?

— Да болтает народ... оно, может, и вздор, а все-таки намолвка идет, будто в том павильоне одна комната изстари была заложена, да так, что и признать ее было невозможно. А князь Данила Борисович тайно ото всех своими руками вскрыл ее.

[1] Олений парк (*франц.*).

— Ну?

— Ведь это одна намолвка, Андрей Петрович, а правда ли, нет ли, господь ведает. Клад, что ли, какой-то там нашли, только на стене, слышь, гвоздем было что-то нацарапано. Как только князь Данила Борисович прочитал, тотчас стену своими руками топором зарубил, а потом и весь павильон сломать приказал.

— Что ж такое там было?

— Чего здесь в старые годы ни бывало?.. Да вы изволили, конечно, читать «Удольфские таинства» госпожи Ратклиф?

— Читал. А что?

— У нас по уезду старики-помещики говорят, будто госпожа Ратклиф те таинства с Заборья списывала. Правду ли, пустяки ль говорят, доложить не могу... А болтают.

— Скажите, пожалуйста, не осталось ли стариков, что жили в Заборье при князе Алексее Юрьиче?

— Где же? Помилуйте! Ведь князь-от Алексей Юрьич лет сто тому как помер. За пятнадцать лет до Пугачевщины скончался, считайте, сколько тому времени. Сын его, князь Борис Алексеич, и внук, князь Данила Борисович, подолгу здесь не живали, а княжна Наталья Даниловна и вовсе здесь не бывала. После нее имение за долги продано, теперь стало кирдяпинское. Старина и забылась. А долго-таки кое-что поддерживалось... Вот и я еще помню псарню здесь, музыкантов, арапа старого да карлика — древний-надревний был. Мало-помалу переводили все, а как вотчина к Кирдяпиным перешла, все порешилось. Сами изволите знать, уж как оно ни на есть, а все чужое. Оттого и не жаль... Был здесь старик Прокофьич. Чуть-чуть его помню. Да вот уж лет сорок, как и он помер. Вот он так уж всю подноготную про здешние старые годы знал. Дожил до ста лет, а в молодые годы при князе Алексее Юрьиче в стремянных бывал. Мне про того Прокофьича Валягин Сергей Андреич много рассказывал, управляющим здесь был... Посажен был на вотчину Сергей Андреич князем Данилой Борисовичем, умер при княжне. Славный был человек, хороший, умный такой. Он даже записывал все, что ни рассказывал ему Прокофьич. Видал и я у покойника такую тетрадку.

— Куда ж она девалась?

— У наследников, должно быть, коли на подвертку свеч да на пироги не извели. После Сергея Андреича две дочери-девушки остались, у них должна быть.

— А где его дочери?

— А как Сергей-от Андреич помер, уехали они к тетке не то в Херсонскую, не то в Костромскую губернию, хорошенько сказать не могу. Слышно было, что замуж повышли, а за кого — тоже доложить не могу.

Между тем, сотский привел одного из хранителей заборовского дворца. Исправник приличным образом поругал его, посулил березовой лапши с ременным маслом и приказал отпереть дом.

Сыростью и затхлою гнилью пахнуло, когда отворили двери чертогов князей Заборовских. На каждом шагу из-под ног густая пыль поднималась, а ворвавшийся в растворенные двери поток свежего воздуха колыхал отставшие от стен и лохмотьями висевшие дорогие, редкостные когда-то шпалеры. Не грустью, не печалью веяло со стен запустелого жилища былой роскоши и чудовищного своенравия: будто с насмешкой и сожалением смотрели эти напудренные пастухи и пастушки, что виднелись на обветшалых дырявых гобеленах, а в портретной галерее потемневшие лики людей старых годов спесиво и презрительно глядели из потускневших резных рам... «Зачем вы зашли сюда, незваные гости? — будто спрашивали они.— Чего не видали... Вон ступайте, жалкие люди, мы вас не знаем, да и вам никогда не изведать нашей раздольной, веселой жизни, нашего буйного разгула, барских затей и ничем неудержимых порывов!..»

— Вот князь Алексей Юрьич! — сказал исправник.

Высокий, тучный князь стоял перед нами. Открытое лицо с римским носом и выдавшеюся вперед нижней губой выражало спесь непомерную и крутую волю, никогда и ни в чем не знавшую противоречия. Князь улыбался, но улыбка лукава была и коварна. Вот-вот сейчас нахмурится это высокое чело, и хитрые, слегка прищуренные, черные глаза заблестят неукротимым гневом... Рядом стоял портрет статной высокой женщины в желтом атласном помпадуре с черными кружевами. Лицо было прекрасно, в глазах много ума, но тихая затаенная грусть виднелась в них. Немного радостей, должно быть, видела она на веку своем!

— Это княгиня Марфа Петровна,— сказал исправник,— супруга князя Алексея Юрьича.

Один портрет особенно поразил меня. В голубой робе на фижмах, с тонко и кокетливо перегнутою талией, стояла, вероятно, молодая женщина: прекрасная ее рука, плотно обтянутая длинною перчаткой, играла розою. Но лицо, все лицо было густо замазано черною краской...

— Это что значит? — спросил я у исправника.

— А господь их знает, должно быть, не похожа была.

— Однако ж что у вас про это толкуют?

— Да говорить-то много говорят... Сказывают, что это первая супруга князя Бориса Алексеевича. В замужестве, слышь, недолго находилась, а взята была откуда-то издалека. Только что молодые успели, слышь, сюда к отцу приехать, князь Борис Алексеевич на войну ушел, супруга его стосковалась, в полк к нему поехала, да на дороге и померла. А скоро после того и сам князь Алексей Юрьич помер. Говорят, будто по смерти молодой княгини очень он тосковал... Пошел, слышь, раз в портретную один да и упал без памяти перед этим портретом. А как в чувство пришел, велел замазать лицо. И как замазали, на другой же день богу душу отдал. А другие говорят, что хлебнул чего-то... С мышьячком, должно быть, потому что перед смертью он ведь под суд попал...

В кабинете на стене висела писанная на пергаменте родословная. Похвально поступили господа Кирдяпины, оставив чуждый им пергамент в запустелом жилище князей Заборовских. Будто живой повествователь об угасшем роде, он здесь на своем месте.

Вот у корня родословного древа красуются имена Гедимина литовского, Монтевида керновского, Любарта волынского... Вот князь Минигайло Зимовитович... Приехал он в Москву на службу к великому князю Василию Дмитриевичу, крещен самим митрополитом Фотием и прозван князем Заборовским. И пошел от него ряд бояр, воевод и думных людей: водили Заборовские московские полки на крымцев и других супостатов; бывали Заборовские в ответе* у цесаря римского, у короля свейского, у польских панов Рады и у Галанских статов; сиживали Заборовские и в приказах московских; были Заборовские в городовых воеводах, но только в городах первой статьи: в Великом Новгороде, в Казани или в

* В послах.

Смоленске... А вот сын окольничего, князь Юрий княж Никитич Заборовский, уже бритый, сидит обер-штер-кригс-комиссаром в кригс-комиссариатской конторе военной коллегии... Скончался в Питербурх-городке после попойки с голландскими матросами и знатными персонами из российского шляхетства...

Единственный его сын, князь Алексей Юрьич, большой службы не сослужил, а *в случае* бывал. При Петре Великом ходу ему не было, потому что в дело не годился, зато ловкий князь после умел наверстать и взять свое: во-время подбился к Меншикову, во-время вошел в дружбу с молодым Долгоруковым, во-время съездил в Митаву на поклонение Бирону, во-время перекинулся к Миниху, во-время сблизился с Лестоком. И когда правительственные перемены сопровождались казнями и ссылками, благополучие князя Алексея Юрьича оставалось неизменным: чины и деревни летели к нему при каждой перемене.

Нельзя сказать, чтобы он был человек умный: образование получил плохое, а от природы был коварен, тщеславен, к тому же был великий мастер лгать и хвастать непомерно. При Петре Великом приходилось ему сдерживать свой неукротимый нрав, в то время мог он давать полную волю одной только страсти — бражничанью. Много тогда было важных людей, сбривших бороды, надевших немецкие кафтаны, но оставшихся верными той стороне русской народности, про которую еще равноапостольный Владимир сказал: «*Руси есть веселие пити*». Но, напиваясь, под защитой вельможных бражников, князь Алексей Юрьич вел себя так увертливо, что ни разу не отведал родительского наставления от петровской дубинки. Не понимая и не сознавая важности дела сближения русского общества с Европой, Заборовский полюбил, однако, общество иностранцев, в особенности близок был с венским резидентом Гогенцоллерном, с голштинским бароном Стамбкеном, с прусскими баронами Мардефельдами, а они, как гласит история, были горькие пьяницы *.

Никогда князь Алексей Юрьич не был так доволен судьбой, как в короткое царствованье Петра II. Хоть в то время было ему уж под сорок, но вошел он в тесную дружбу с даровитым, обаятельным, но беспутным юно-

---

* Записка Дюка де-Лириа.

шей, князем Иваном Алексеичем Долгоруковым и был с ним все три года его могущества неразлучен. Князь Заборовский, под защитой всесильного кутилы, дал полную волю своему разгулу. Под прикрытием драгун, ровно сумасшедший, скакал он с князем Иваном по московским улицам, буйствовал днем, а по ночам нагло врывался в мирные семейства честных людей... Но когда Долгоруков девятилетней ссылкой и смертью на колесе платил за грехи молодости, ловкий князь Алексей Юрьич, ругая на чем свет стоит павшего собутыльника, с прекрасным аппетитом изволил кушать за роскошными обедами герцога Эрнста-Иоанна Курляндского. Будучи знатоком в лошадях и проводя ночи в попойках с братом герцога, Карлом, был он в ходу при Бироне, достиг генеральского ранга и получил кавалерию Александра Невского... Но в 1743 году счастье повернуло к нему спину: сказано было князю Алексею Юрьичу ехать в свои деревни. Такую немилость современники объясняли близкими отношениями его к царице всех балов и ассамблей, графине Ягужинской, и дружбою с первой красавицей Петербурга, Натальей Федоровной Лопухиной. Под шумок поговаривали, будто Ягужинская в числе немногих принимала князя Заборовского во время своего таинственного затворничества, будто фавориту Натальи Федоровны, графу Рейнгольду Левенвольду, князь Алексей Юрьич проигрывал в фаро огромные суммы, будто близок он был с венским резидентом, маркизом Боттой, будто раз на охоте арапником отдул самого Разумовского. Правда ли, нет ли — кто теперь разберет?..

Когда ветреных красавиц, приятельниц князя Заборовского, постигла плачевная участь, сам он хоть не совсем чист вышел из дела, но так сумел обделать делишки, что ему только велено было отправиться в свои вотчины для приведения в порядок расстроенных дел. Таким образом жив, здрав, невредим приехал князь Алексей Юрьич в свое Заборье; здесь он начал строить великолепный дворец, разводить сады и вести жизнь самую буйную, самую неукротимую... В деревенской глуши, в забытом уголке, никем и ничем не удерживаемый, он предался той жизни, что так по сердцу пришлась ему во дни могущества князя Ивана. Не только в Заборье,— по всей губернии все ему кланялось, все перед ним раболепствовало, а он с каждым днем больше и больше пре-

давался неудержимым порывам необузданного нрава и глубоко испорченного сердца... Вскоре для князя не стало иной законности, кроме собственных прихотей и самоуправства... При таком состоянии человека до преступления один шаг, и князь Алексей Юрьич совершал преступления, но, совершая их, нимало не помышлял, что грешит перед богом и перед людьми. О последних-то, впрочем, он не заботился и, щедро оделяя вкладами монастыри, строя по церквам иконостасы и платя за молебны пригоршнями серебра, твердо уповал на божье милосердие... И до того дошел князь Заборовский, что рассказы про его житье-бытье в наше время кажутся страшной сказкой...

Женат был князь Алексей Юрьич на княжне Марфе Петровне, последней в роде князей Тростенских. Своим приданым увеличила она и без того огромное богатство князей Заборовских. Единственный сын их, князь Борис Алексеевич, крестник императрицы Анны Иоанновны, вахмистр гвардии в колыбели, двадцати лет уехал из Заборья в Петербург искать счастья. Находясь с полком в каком-то захолустье России, влюбился он в дочь небогатого дворянина Коростина, женился на ней без родительского благословения и, за неимением наличных денег, приехал через год после свадьбы в Заборье, кинуться вместе с женой к стопам оскорбленного родителя... Ждали страшной грозы; дело кончилось благополучно. Молодая княгиня была так прекрасна, так была образованна, так умна, что с первого свидания умела растопить каменное сердце сурового свекра... Вскоре началась Семилетняя война; молодой князь Заборовский поспешил под знамена Апраксина, оставив в Заборье молодую жену. Стосковавшись по муже, поехала она к нему в новопокоренный Мемель, но умерла по дороге...

После войны вдовый князь Борис Алексеевич поселился в Петербурге, женился в другой раз и, прожив до 1803 года по-барски, скончался от несварения в желудке после плотного ужина в одной масонской ложе. Целую жизнь, будто по заказу, старался он расстроить свое достояние, но дедовские богатства были так велики, что он не мог промотать и половины их, оставив все-таки три тысячи душ единственному своему сыну и наследнику, князю Даниле Борисовичу. Этот последний князь в древнем роде князей Заборовских как ни старался по-

править грехи родительские, но не мог восстановить дедовского состояния. Впрочем, и сам он протирал-таки глаза отцовским денежкам исправно. С воронцовским корпусом во Франции был, денег, значит, извел немало; в мистицизм, по тогдашнему обычаю, пустился, в масонских ложах да в хлыстовском корабле Татариновой малую толику деньжонок ухлопал; делал большие пожертвования на Российское библейское общество. Душ восемьсот спустил понемножку. Дочь его, княжна Наталья Даниловна, как только скончался родитель ее, отправилась на теплые воды, потом в Италию, и двадцать пять лет так весело изволила проживать под небом Тасса и Петрарки, с католическими монахами да с оперными певцами, что, когда привезли из Рима в Заборье засмоленный ящик с останками княжны, в вотчинной кассе было двенадцать рублей с полтиной, а долгов на миллионы. Близких родственников у княжны не было, из дальних не оказалось ни в одном столь нежных родственных чувств к покойнице, чтоб воспользоваться Заборьем да кстати уж принять на себя и должишки итальянские. Кончилось тем, что Заборье пошло под молоток. Сын подносчика в Разгуляе стал владельцем гнезда знаменитого рода князей Заборовских, а кредиторы княжны получили по тридцати пяти копеек за рубль...

О, Гедимины и Минигайлы! Как-то встретили вы последнюю благородную отрасль вашего благоцветущего корня — княжну Наталью Даниловну?.. Князь Алексей Юрьич! Вы-то, батюшка, ваше сиятельство, как изволили встретить свою правнучку?.. Ну, он-то разве пожалел только, что встретился с нею не в здешнем свете. Здесь-то бы он расправился...

Лет через пять после того, как был я в Заборье, в одном степном городке на верховьях Дона, по случаю, досталась мне связка бумаг, принадлежавших какому-то господину Благообразову. Они состояли большею частью из черновых просьб, сочинением которых, как видно, занимался господин Благообразов. Но, представьте, каково было мое удивление, когда, разбирая кипу, в заглавии одной тетради я прочел:

Старые годы

Писано по словам столетнего старца Анисима Прокофьева с надлежащими объяснениями коллежским сек-

ретарем Сергеем Андреевым сыном Валягиным 17-го мая 1822 года в селе Заборье.

— Записки Валягина!

— Это, должно быть, тестя,— заметил случившийся на ту пору у меня один старожил того городка.— Благообразов-от на дочери Валягина был женат.

Вот «Записки Валягина».

I

РОЗОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Вскоре по приезде нашем в Заборье, только что принял я в управление вотчину, пошел я поутру с докладом к князю Даниле Борисычу. Он был не в духе.

— Я, говорит, сегодня ни на волос уснуть не мог. Что это за вой был у нас на рассвете?

— Должно быть, на псарном дворе собаки зверя учуяли,— докладываю ему.

А князь спрашивает с неудовольствием:

— Разве, говорит, у меня есть псарный двор?

— Как же, говорю, псарня у вашего сиятельства хорошая; собак пятьсот борзых да сотни полторы гончих. Псарей и доезжачих при них до сорока человек.

— Как! — закричал князь,— шестьсот пятьдесят собак и сорок псарей-дармоедов!.. Да ведь эти проклятые псы столько хлеба съедают, что им на худой конец полтораста бедных людей круглый год будут сыты. Прошу вас, Сергей Андреич, чтоб сегодня же все собаки до единой были перевешаны. Псарей на месячину, кто хочет идти на заработки — выдать паспорты. Деньги, что шли на псарню, употребите на образование в Заборье отделения Российского библейского общества.

— Слушаю, ваше сиятельство,— сказал я и тотчас же отдал приказ вешать собак.

Через полчаса приходит к князю древний старец. Лицо у него все сморщилось; длинные, по плечам лежавшие волосы пожелтели, во рту ни единого зуба, а черные глаза так и горят. Одет был он в старинный чекмень с золотым галуном, опоясан черкесским поясом.

— Я вековечный холоп вашего сиятельства, Анисим Прокофьев,— зашамкал старик,— а был, государь мой, первым стремянным у вашего дедушки, у князя Алексея Юрьича.

— Здравствуй, здравствуй, старик, садись-ка, устал, чай! — говорит ему князь.

— Сидеть мне перед вашим сиятельством не приходится. А пришел я к вам, государь мой, челом ударить.

— О чем, Анисим Прокофьич?

— Да слышно, ваше сиятельство, что изволили на нас свой княжеский гнев положить.

— Я?.. Что ты, Прокофьич?.. В уме ли?

— Не мудрое дело, ваше сиятельство, и ума лишиться от такого бесчеловечия!.. Избить шестьсот шестьдесят восемь собак, ничем неповинных!.. Это дело, сударь, не малое!.. Ведь это все едино, что как царь Ирод неповинных младенцев избивал!.. Чем бедные собачки провинились перед вашим сиятельством? Ведь это не шутка: шестьсот шестьдесят восемь собак задавить!.. Надо ведь будет вашему сиятельству и богу на страшном судище ответ отдавать...

— Полно, старик, успокойся, перестань...— говорит ему князь.

— Чего мне перестать... Коль я не буду говорить, кто тебе скажет? — гневно вскричал старый стремянный.— Да как же тому статься, чтоб всех собак перевешать?.. Дедами, прадедами псарня установлена, больше ста годов держится, прошла про нее слава по всему, почитай, свету, и вдруг ни с того ни с сего разом перевести ее!.. Да от такого дела, князь Данила Борисыч, кости твоих родителей во гробах повернутся, все твои деды, прадеды из гробов встанут, руки на тебя протянут, проклятье тебе изрекут. Знаешь ли ты, государь мой, что псарня-то наша со дней царя Петра Алексеича нерушимо стоит? За что ж ее порушить хотите?.. Да ведь это роду вашему вечный покор, всему вашему княжому племени бесчестье, не говорю уж про то, что на совесть свою такое душегубство хотите принять!.. Собака-то, батюшка, тоже тварь божия, а в писании что сказано!..— «блажен иже и скоты милует». Идете, ваше сиятельство, супротив божией заповеди!.. И вот, сударь, ваше сиятельство, надел я на старости лет жалованный чекмень вашего дедушки — двадцать лет в сундуке лежал, думал я, что придется его только в могилу надеть; вот, сударь, одел я и пояс черкесский, а жаловал мне этот пояс родитель ваш в ту самую пору, как, женившись на вашей матушке, княгине Елене Васильевне, привез ее в вотчину и в первый раз

охоту своей княгине изволил показывать: никто из наших не мог русака угнать, а сосед Иван Алексеич Рамиров уже совсем почти угонял, я поскакал, угнал русака и тем княжую честь перед молодой супругой сохранил... Власть ваша, князь Данила Борисыч, с места не сойду, покамест милости собакам не выпрошу.

— Да чего ж ты хочешь? — спрашивает у него князь.

— А того я хочу, ваше сиятельство, чтобы вы мне прежде голову приказали снять, а потом бы уж и собак вешать изволили... В этом чекмене, в этом поясе предстану я пред вашими родителями, дедами и прадедами, подведу к ним собачек, вами задавленных... А они-то, старики-то ваши, яко зеницу ока их берегли!.. Пусть же ваши родители судятся с вами на страшном суде за такое злодейство... что не хотели вы уберечь родительского благословенья, пролили кровь неповинную!.. Дело мое, государь мой, старое, а порядки у вас новые, отпустите меня, ваше сиятельство, к господам моим: прикажите рубить голову, а там уж и собак вешайте.

От сильного волнения у Прокофьича дух занялся и ноги подкосились; он бы упал и расшибся, если б мы с князем его не поддержали. Без чувств вынесли старика из дома. Горячее заступничество девяностолетнего стремянного спасло на время собак. Псарный двор в Заборье был уничтожен лишь после смерти князя Данилы Борисыча и Прокофьича...

Князь полюбил старика, часто призывал его к себе и расспрашивал о старых годах. По нескольку часов, бывало, просиживали они вместе.

Раз, вечером, после долгой беседы с Прокофьичем, послал князь за мной, требуя, чтоб я тотчас же явился к нему.

Я нашел князя сильно возволнованным.

— Сергей Андреич, — сказал он, — в состоянии ли вы несколько часов, вместе со мной, проработать ломом?

— Как проработать ломом, ваше сиятельство?

— Пробить каменную стену... Видите ль, Прокофьич сейчас рассказал мне один необыкновенный случай старого времени... Мне бы хотелось узнать: вздор болтает старик или правду говорит... Посторонних, особенно своих крепостных, в это дело мешать не годится... Будьте так любезны, Сергей Андреич, не откажите...

Я согласился, дал слово и спросил князя, что ж такое рассказывал ему Прокофьич?

— Э, да все это, может быть, еще вздор... Прокофьич, кажется, из ума стал выживать, рассказывает вещи несодеянные. А все-таки хочется удостовериться. Завтра, надеюсь, вы исполните данное слово.

Я повторил обещание, и князь тотчас же завел речь о хозяйственных делах, но, занятый другим, вовсе не слушал слов моих. Наконец, отпустил меня.

— Так завтра? — сказал он, подавая руку.

— Слушаю, ваше сиятельство.

Таинственность предстоявшей работы, какое-то необыкновенное событие старых годов, волнение князя — все это до такой степени распалило мое воображение, что я всю ночь заснуть не мог. Чем свет присылает за мной князь.

— Пойдемте! — сказал он, когда я вошел в кабинет.

Пошел за ним. Князь отдал приказание, чтобы никто не смел входить в сад до нашего возвращенья. Пройдя большой сад, мы перешли мост, перекинутый через овраг, и подошли к «Розовому павильону». У входа в тот павильон уже лежали два лома, две кирки, несколько восковых свеч и небольшой красного дерева ящик. Князь на рассвете сам их отнес туда.

В павильоне было пять или шесть комнат. Пройдя три, князь ударил в глухую стену и сказал:

— Здесь!

Мы принялись за работу; часа через полтора стена была пробита. Князь зажег свечи, и мы пролезли в темную, наглухо со всех сторон закладенную комнату.

Среди развалившейся и полусгнившей мебели лежал человеческий остов...

Князь перекрестился, заплакал и тихо проговорил:

— Упокой, господи, душу рабы твоея.

— Старик сказал правду! — прибавил он, немного помолчав.

— Что это? — спросил я, немного оправившись от первого впечатления.

— Грехи старых годов, Сергей Андреич... После все расскажу; теперь помогите собрать это...

Бережно собрали мы кости и положили их в ящик красного дерева. Князь запер его и положил ключ в карман. Когда мы собирали смертные останки, нашли меж-

ду ними брильянтовые серьги, золотое обручальное кольцо, несколько проволок из китового уса, на которых кой-где уцелели лохмотья полуистлевшей шелковой материи. Серьги и кольцо князь взял к себе.

Утомленные трудом и сильными впечатлениями, вынесли мы ящик из сада.

— Сейчас же собрать человек полтораста с ломами и топорами да нарядить пятьдесят подвод! — сказал князь бурмистру, проходившему через двор.

Я зашел в свой флигель умыться и переодеться. Когда пришел к князю, его не было в кабинете.

— Где князь? — спросил я попавшегося лакея.

— В портретную галерею прошли! — отвечал тот.

Там, запыленный, запачканный, как вышел из павильона, стоял князь перед портретом женщины, у которой, по какой-то прихоти прежних владельцев, лицо было замазано черной краской. Знакомый ящик стоял на полу перед портретом. Я взглянул на князя. Он плакал.

И рассказал он страшную повесть старого времени. Подробнее узнал я ее после от Прокофьича...

Когда рабочие были собраны, князь приказал им сломать «Розовый павильон» до основания, а кирпич отвезти к строившейся тогда в Заборье церкви. Когда потолок с павильона был снят, мы еще раз вошли в ту комнату.

На стене чем-то острым было нацарапано: *1757 года октября 14-го. Прости, мой милый, твоя Варенька пропала от жестокости тв...*

— Топор! — вскрикнул князь, прочитав эти слова.

Подали топор. Князь быстро изрубил штукатурку.

— Живей ломайте! — торопил он рабочих.— Скорее, скорей!

К вечеру павильон был сломан.

На другой день чем свет подали карету. Мы сели вдвоем с князем и взяли с собой обернутый в черное сукно ящик.

— В монастырь! — сказал князь.

Там, в усыпальнице князей Заборовских, зарыли мы ящик с костями, а на другой день слушали заупокойную обедню и панихиду о *упокоении души рабы божией княгини Варвары.*

Через неделю князь Данило Борисыч уехал в Петербург. Больше мы с ним и не видались. Через три года он

скончался. В духовном завещании не забыл ни меня, ни Прокофьича.

Молва о таинственной работе нашей и о сломке павильона быстро разошлась по народу. Толковали, что князь в «Розовом павильоне» нашел целый ящик золота. Чтоб поддержать этот слух, он сам после рассказывал своим знакомым, что Прокофьич открыл ему тайник, где князем Алексеем Юрьичем заложены были некоторые родовые драгоценности. Мы с Прокофьичем ту же сказку рассказывали. Так все и уверились.

II

ПРОКОФЬИЧ

— Да, батюшка Сергей Андреич,— говорил мне однажды Прокофьич,— в старину-то живали не по-нынешнему. В старину — коли барин, так и живи барином, а нынче что? Измельчало все, измалодушествовалось, важности дворянской не стало. Последние годы мир стоит. Скоро и свету конец.

Совсем, сударь, другой свет ноне стал. Посмотришь-посмотришь, да иной раз согрешишь и поропщешь: зачем, дескать, господи, зажился я у тебя на здешнем свете? Давно бы тебе пора велеть старым моим костям идти на вечный покой, не глядели бы мои глазыньки на годы новые... А все-таки, батюшка Сергей Андреич, мил вольный свет, хоть и подумаешь этак, а помирать не хочется.

А уж так измельчало, так измельчало все, что и сказать невозможно. У барина, например, не одна тысяча душ, а во дворе каких-нибудь десять — пятнадцать человек — и дворней-то нельзя назвать. Псарня малая, ни музыкантов, ни песенников, а уж насчет барских барынь, шутов, карликов, арапов, скороходов, немых, калмыков — так, я думаю, теперь ни у одного барина и в заводе нет; все стали ровно мелкопоместные. Я так полагаю, сударь, что теперь вряд ли где можно сыскать кучера, чтоб сумел карету цугом заложить. Все на парочках — ровно мелкого рангу, аль купцы какие... А ведь и в законе написано, что столбовому барину шестериком ездить следует. Да чего уж тут шестериком? — до такой срамоты дошли, что и сказать нельзя: заложат куцу лошаденку в каку-то чухонску одноколку, сядет лакей с барином рядом — сам руки крестом, а барину вожжи в руки. Смо-

треть даже скверно... Вот до какого унижения дошли!.. И хоть бы неволя нудила, ну, делать нечего,— так ведь нет: сами захотели... Просто, сударь, можно сказать — никакого благородства не стало, один бог знает, что это значит такое... До чего ведь иные дворяне дошли? Торговать пустились, на купчихах поженились, конторские книги сами ведут! Ну, сами вы умный человек, посудите ради Христа — дворянское ли это дело?.. Да хоть бы богатство от того какое получили; и того нет — все профуфынились, всяк должен век, а платежу нет как нет... Эх, встали бы дедушки да прадедушки, царство им небесное!.. Уж свели бы любезных внучков на конюшню, да, по старому заведению, такую бы ременную масленицу в спину-то им засыпали, что забыли бы после того дурь-то на себя накидывать.

Хоть бы нашего князя Данилу Борисыча взять! Что ни говорите, беден он, беден, а все ж не одна тысяча душ у него найдется — стало быть, барин настоящий. А похож ли хоть маненько на барина-то? Ну, сами вы скажите — похож ли?.. В Москве в каком-то нивирситете обучался, с портными да с сапожниками там на одной скамье, слышь, сидел,— товарищем ихним звался. Ну, возможно ль сапожнику с князем в товарищах быть?.. Что же вышло? Сапожников да всяких других разночинцев не облагородил, а сам вкруг них холопства набрался. Хотя бы вот тогда приезжал он с вами в свою вотчину — что делал? Чем бы на охоту съездить, аль банкет сделать, бал, гулянку какую,— по мужичьим избам на посиделки почал таскаться, с парнями да с девками мужицкие игры играть; стариков да старух сказки заставлял рассказывать да песни петь, а сам на бумагу их записывал... Княжеское ли это дело?.. Старые книги да образа за большие деньги стал покупать. Кто ни скажет ему: вот, мол, ваше сиятельство, в такой-то деревне у такого-то мужика есть редкостная книга,— глазенки у него так и загорятся, так и забегают. В полночь ли, заполночь ли — лошадей!.. И поскачет, сломя голову, верст за тридцать либо за сорок к мужику за книгой. Курганы почнет копать, сам с мужиками в земле роется, черепки там попадутся аль жеребейки какие, он их в хлопчату бумагу ровно драгоценные камни, да в ящики, да в Питер. Не видали, знать, там этакой дряни!.. Увидал раз нищего слепца, стоит слепец на базаре, Лазаря поет. Батюш-

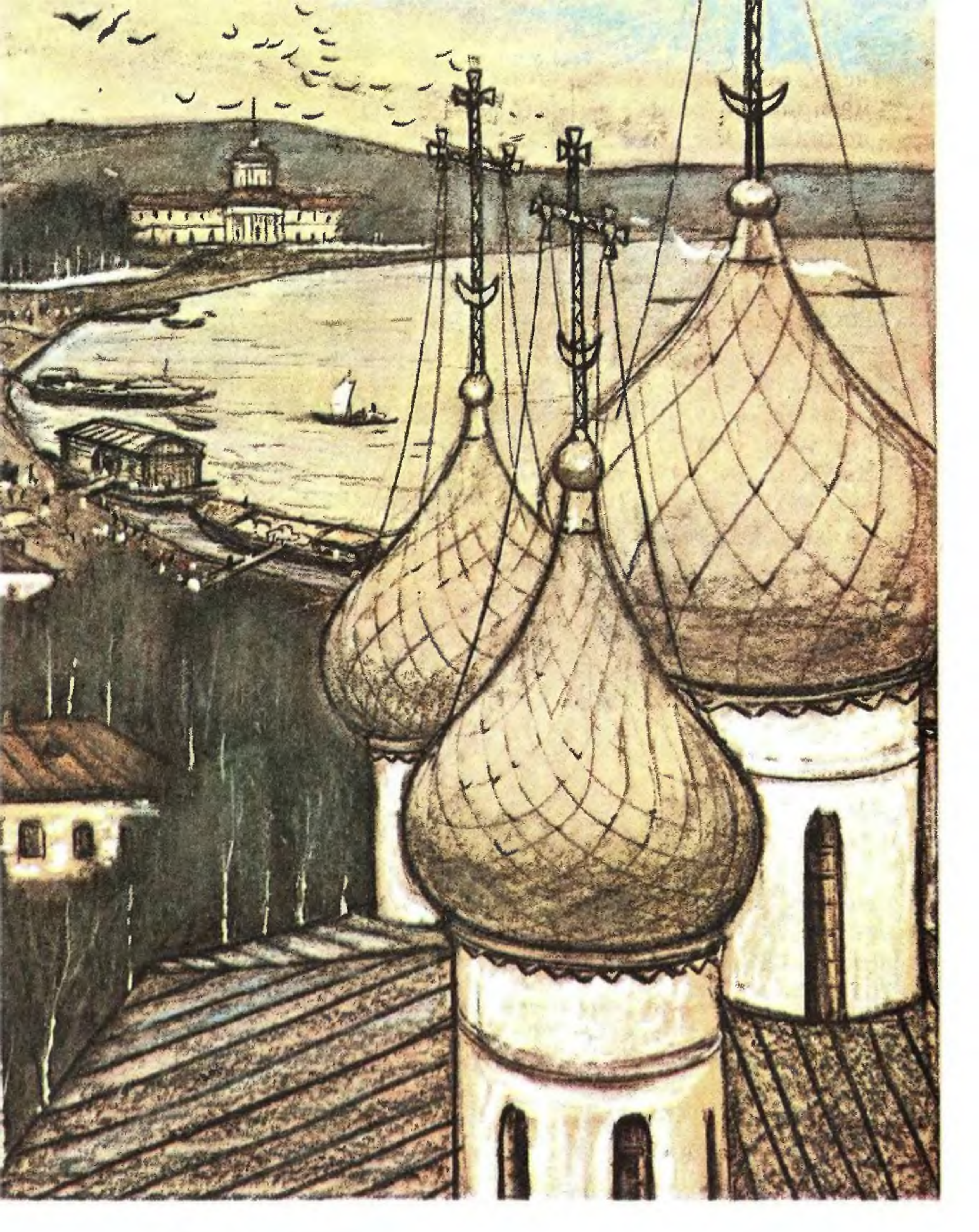
ки светы!.. Наш князь Данила Борисыч так и взбеленился, берет слепца за руки, сажает с собой в карету; привез домой, прямо его в кабинет, усадил оборванца на бархатных креслах, водки ему, вина, обедать со своего стола, да и заставил стихеры распевать. Тот обрадовался да дурацкое свое горло и распустил, орет себе как бурлак какой, а князь Данила Борисыч все на бумагу да на бумагу... Ну хорошее ли это, сударь дело?.. Ведь грязью играть — только руки марать, дело это не княжеское. Три дня тот нищий у нас выжил, пил, ел с княжого стола, на пуховой постели, собака, дрыхнул, а как все стихеры перепел, князь ему двадцать рублей деньгами, одежи всякой, харчей, повозку велел заложить да отвезти до села, где он в кельенке при церкви живет. А сам-от после носится со стихерами: «золото, говорит, неоцененное сокровище!» Хорошо сокровище, нечего сказать! Просто сказать, ума лишился, и все тут.

Нет, сударь, в стары годы жили не так. В стары годы господа держали себя истинно по-барски, такую дрянь, как нищий слепец, на версту к себе не допускали. Знай, дескать, сверчок свой шесток. Компанию с ровней водили, другой хоть шляхетного роду, да не богат, так его разве только из милости в «знакомцы» принимали, чтоб над ним когда потешиться, аль чтобы в доме было полюднее. И должен был тот «знакомец» ходить по струнке, а чуть проштрафился, шелепами его на конюшне. Да иначе и не следует: как бы на горох не мороз, он бы через тын перерос. Так вот, сударь, как в стары-то годы живали! А теперь что! Тьфу!

Хоть бы, например, при князе Алексее Юрьиче здесь в Заборье было!.. Подлинно, не жизнь, а рай пресветлый. Богатство-то, сударь, какое, изобилие-то какое было! Одного столового серебра сто двадцать пудов, в подвале бочонки с целковыми стояли, а медные деньги, что горох, в сусеки ссыпали: нарочно такие сусеки в подвалах были наделаны. Музыкантов два хора, на псарне не одна тысяча собак, на конюшне пятьсот лошадей верховых да двести езжалых; шутов да юродивых десятка полтора при доме бывало, опричь немых арапов да карликов. Шляхетного рода «знакомцев» из мелкопоместных, человек по сорока и больше проживало. Мужики ли, бывало, у кого разбегутся, деревню ль у кого судом оттягают, пропьется ли кто из помещиков, промотается ли,



«СТАРЫЕ ГОДЫ»



«СТАРЫЕ ГОДЫ»

всяк, бывало, в Заборье на княжие харчи. Опять барыни-приживалки, барышни: этих тоже штук по тридцати водилось. Уж именно дом был, как полная чаша. А сам-от князь какой был барин! Такой, сударь, важности, что теперь, весь свет исходи, днем с огнем не сыщешь... И все-то прошло, все-то миновалось!.. Да, сударь, стары годы были годы золотые, были они, сударь, да и прошли, прошли и не воротятся. Красно лето два раза в году не живет!

А куда каково давно тому времени, как в Заборье-то было житье-бытье раздольное да привольное! Мне теперь десятый десяток идет, а в ту пору и тридцати годков не было, как батюшки-то нашего, князя Алексея Юрьича не стало. А скончаться изволил лет семидесяти без малого... Да я уж что за жизнь застал? Тогда уж князь-от в немилости был, в опале, то есть, а вот как, бывало, родитель мой — дай ему бог царство небесное, а вам добро здоровье — порасскажет про те годы, как князь-от Алексей Юрьич в настоящей своей поре был и в Питере «во-времени» находился, а в Заборье бывал только наездами, так вот тогда точно что жизнь была золотая. И умирать не надо было.

А батюшку моего покойника князь Алексей Юрьич изволил жаловать своей княжею милостью. Перво-наперво он у него в доезжачих находился, а потом в стремянные попал, да проштрафился однажды: русака в остров упустил. Князь Алексей Юрьич за то на него разгневался и тут же, на поле, изволил его из своих рук выпороть, да уж так распалился, что и на конюшне еще велел пятьсот кошек ему влепить и даже согнал его со своих княжих очей: велел управляющим быть в низовой вотчине... Однако ж после того годов этак через пяток помиловал — гнев и опалу изволил снять.

Вот как то дело случилось. Князь Алексей Юрьич на охоту по первой пороше поехал. Время стояло холодное, на Волге уж закраины, только самые еще что называется стекольные, значит, лед пятаком можно еще пробить. Ста полтора русаков заполевали, за монастырем, на угоре, привал сделали. А гора в том месте высокая, что стена над Волгой-то стоймя стоит. Князь Алексей Юрьич весел был, радошен, потешаться изволил. Сел на венце горы верхом на бочке с наливкой, сам целый ковшик изволил выкушать, а потом всех тут бывших из своих рук

поил, да, разгулявшись, и велел доезжачим да стремянным резака делать. А чтоб сделать резака, надо под гору торчмя головой лететь, на яру закраину головой прошибить да потом из-подо льда и вынырнуть. Любимая была потеха у покойника, дай бог ему царство небесное! На ту пору никто не сумел хорошо резака сделать: иной сдуру, как пень, в реку хлопнется,— а это уж не то, это называется паля, и за то пятнадцать кошек в спину, чтоб она свое место знала и вперед головы не совалась. Другой, не долетевши до льда, на горе себе шею свернет, а три дурака хоть и справили резака, да вынырнуть не сумели: пошли осетров караулить. Осерчал князь Алексей Юрьич: «Всех, закричал, запорю до смерти!» За мелкопоместное шляхетство принялся, им приказал резака справлять. Те еще хуже: один и прошиб было головой лед, да тоже к осетрам в гости поехал.

Заплакал индо князь Алексей Юрьич, навзрыд зарыдал: таково ему стало горько и прискорбно.

— Видно, говорит, последние мои дни настают, что нет у меня молодца, чтоб резака сумел справить!.. Все ровно бабы!.. А где, говорит, Яшка Безухой?.. Вот удалец-от: по три резака, бывало, сряду делывал.

А это он про батюшку-покойника изволил вспомянуть. А батюшка-покойник и в самом деле безухий был. Лево-то ухо ему медведь отгрыз: раз как-то князь Алексей Юрьич изволил приказать батюшке с любимым своим медведем побороться, медведь, видно, осерчал да ухо батюшке и прочь, а батюшка-покойник не вытерпел да охотничьим ножом Мишку под лопатку и пырнул. У того дух вон. Так за то, что осмелился без спросу княжего медведя положить, князь Алексей Юрьич приказал для памяти батюшке-покойнику и другое ухо отрезать и прозвал его потом Яшкой Безухим. А батюшку-покойника вовсе не Яковом, а Прокофьем звали.

— Где, кричит, Яшка Безухой. Подавай сюда Яшку Безухого!

Доложили, что Яшка Безухой под гневом находится пятый год, низовой вотчиной управляет.

— Давай сюда Яшку Безухого — он у меня на резаке не прорежется, как вы, шельмецы.

Поскакали за покойным батюшкой. Ну, Саратов — место не ближнее: когда батюшку оттуда ко княжему двору привезли, лед-от такой уж стал, что будь у покой-

ника свинцовая голова, так и тут бы ему резака не сделать. Допустили батюшку до светлых очей князя Алексея Юрьича.

— Здравствуй, говорит, Яшка Безухой!

Батюшка в ноги; князь его пожаловал, велел встать.

— Что, говорит, резака завтра с того угора валь-нешь?

— Можем постараться, батюшка, ваше сиятельство, надеючись на милость божию да на ваше княжеское счастье! — отвечал покойник родитель мой.

— Ладно, говорит, ступай на псарный двор. Жалую тебя сворой муругих.

А к утру вьюга. Да так поля засыпала, что охота совсем порешилась. Остался резак за батюшкой до другого ледостава. Зато уж какого же резака на другую-то осень он справил... И за такую службу его и за великое раденье жаловал его князь Алексей Юрьич своей княжеской милостью: изволил к ручке допустить, при своей княжой охоте приказал находиться, красный чекмень с позументом пожаловал, на барской барыне женил, и сказано было ему быть в первых псарях. И до самой кончины князя Алексея Юрьича батюшка у него в самых ближних людях и в большой милости находился. А как я родился, князь Алексей Юрьич сам изволил меня от святой купели воспринимать, а восприемницей была Степанида-птичница, гайдука Самойлы жена. Тоже из барских барынь.

Подрос я, сударь, у батюшки на псарне, а как приехал князь сюда совсем на житье и мне шестнадцать лет исполнилось, изволил он и меня своей высокой милостью взыскать. На само светло Христово воскресенье, после заутрени, сказал свое жалованье: велел в комнатных казачках при себе быть, есть с княжьего стола, а матушке-покойнице давать за меня месячину мукой, крупой, маслом, да по три алтына в месяц деньгами. В грамоту с прочими казачками меня отдали, драли, сударь, немилосердно, однако ж дьячок Пафнутий до своего дошел: грамота всем далась, цыфирному делу даже маленько навыкли. А когда исполнилось мне двадцать годов, стали нас распределять по наукам: кого в музыканты, кого в часовщики, кого в живописцы, кого французскому учиться, чтоб с молодым князем с Борисом Алексеевичем в Париж отправить. Меня же, за многую службу ма-

тушки-покойницы и по ее великой слезной просьбе, по собачьей части князь определить изволил.

Было, сударь, мне лет двадцать с небольшим, как сподобил и меня господь перед светлыми очами князя Алексея Юрьича малую службишку справить и тем его княжеского жалованья и милости удостоиться. Верстах в двадцати от Заборья, там, за Ундольским бором, сельцо Крутихино есть. Было оно в те поры отставного капрала Солоницына: за увечьем и ранами был тот капрал от службы уволен и жил во своем Крутихине с молодой женой... А вывез он ее из Литвы, аль из Польши, а может статься, из хохлов, доподлинно не знаю,— только красавица была писаная, теперь, думать надо, изойти весь белый свет, такой не найдешь. Князю Алексею Юрьичу Солоничиха приглянулась: сначала хотел ее честью в Заборье сманить, однако ж она не поддалась, а муж взъерошился, воюет: «Либо, говорит, матушке государыне подам челобитную, либо, говорит, самого князя зарублю». Выехали однажды по лету мы на красного зверя в Ундольский бор, с десяток лисиц затравили, привал возле Крутихина сделали. Выложили перед князем Алексеем Юрьичем из тороков зверя травленого, стоим, ждем слова ласкового.

А князь Алексей Юрьич кручинен сидит, не смотрит на красного зверя травленого, смотрит на сельцо Крутихино, да так, кажется, глазами и хочет съесть его.

— Что это за лисы, говорит, что это за красный зверь? Вот как бы кто мне затравил лисицу крутихинскую, тому человеку я и не знай бы что дал.

Гикнул я да в Крутихино. А там барынька на огороде в малинничке похаживает, ягодками забавляется. Схватил я красотку поперек живота, перекинул за седло да назад. Прискакал да князю Алексею Юрьичу к ногам лисичку и положил. «Потешайтесь, мол, ваше сиятельство, а мы от службы не прочь». Глядим, скачет капрал; чуть-чуть на самого князя не наскакал... Подлинно вам доложить не могу, как дело было, а только капрала не стало, и литвяночка стала в Заборье во флигеле жить. Лет через пять постриглась, игуменьей в Зимогорском монастыре была, и князь Алексей Юрьич очень украсил ей обитель, каменну церковь соорудил, земли купил, вклады большие пожаловал.

Добрая была барынька, дай ей бог царство небесное,

милостивая: как жила в Заборье, завсегда умела утолить сердце князя Алексея Юрьича. Только что он на своих ли холопей, на мелкопоместное ли шляхетство распалится, завсегда, бывало, уймет его. Много за нее бога молили.

За эту самую службу изволил меня князь Алексей Юрьич беспримерно пожаловать. «Коли верен раб, так и князьему рад»,— при всех сказать изволил и велел мне быть при своем княжем стремени. Чекмень малиновый с позументами изволил пожаловать, полтора рубля деньгами, чарку серебряную, три полушубка мерлушчатых, лисью шубу, да кусок сукна немецкого. А сверх того соизволил женить меня на барской барыне. Однако ж матушка-покойница князя укланяла: за молодостью лет в брачное дело мне вступить было отказано. Милость князя была ко мне великая: заместо женитьбы с птичного двора девку Акульку в наложницы мне пожаловал. Да ведь не то, чтоб я просил о том, нет, сударь, сам пожаловать изволил, без просьбы... После того, года через два, меня на певице женили, на родной сестре Василисы Бурылихи, что в Заборье надо всеми порядок держала. Презлющая баба была эта Василиса, а с рожи такая, что как во сне, бывало, приснится, вскочишь да перекрестишься. А у князя Алексея Юрьича в великой была милости, для того, что по девичьим ладно дела вела. Мне с женой из-за нее куда как хорошо было жить.

III

НА ЯРМОНКЕ

«Отселе,— сказано в записках Валягина,— заношу в сию тетрадь со слов Анисима Прокофьева и по рассказам других стариков».

В старые годы бывала в Заборье ярмонка, приходилась она в летнюю пору. Съезжались на ту ярмонку люди торговые со всякими товарами со всего царства русского, а также из других краев, всякие иноземцы бывали, и всем был вольный торг на две недели. Сказывали купчины, что наша Заборская ярмонка малым чем Макарьевской уступала, а украинских и иных много лучше была. Теперь совсем порешилась.

Была она на земле монастырской, оттого все сборы денежные: таможенный, привальный и отвальный, пят-

но конское и австерские, похомутный и весчая пошлина сполна шли на монастырь. Монастырскую землю заборские дачи обошли во все стороны, оттого ярмонка в руках князя Алексея Юрьича состояла. Для порядку наезжали из Зимогорска комиссары драгунами: «*для дел набережных*» и «*для дел объезжих*», да асессоры провинциальные,— исправников тогда и в духах не бывало,— однако ж вся сила была в князе Алексее Юрьиче.

Наступит девята пятница, начало ярмонке. С раннего утра в Заборье все закишит, ровно в муравейнике: в парад зачнут собираться, пудриться, одеваться, коней седлать, кареты закладывать. И когда все по чину устроится, пойдет к князю старший дворецкий с докладом,— а бывал в том чине не из холопей, а из мелкопоместного шляхетства. Доложит он, что время на ярмонку ехать, и велит князь в ряды строиться. Доложат, что построились, выйдет на крыльцо во всем наряде: в алом бархатном кафтане, шитом золотом, камзоле с серебряными блестками, в парике по плечам, в треугольной шляпе, в красной кавалерии и при шпаге. За ним с сотню других больших господ, «знакомцев» и мелкопоместного шляхетства и недорослей — все в шелковых кафтанах и париках. Потом выйдет на крыльцо княгиня Марфа Петровна — в помпадуре из серебряной парчи с алыми разводами, волосы кверху зачесаны и напудрены, наверху кораблик, а шея, грудь и голова так и горят камнями самоцветными. За ней барыни — все в робронах, в пудре, приживалки в княгининых платьях, комнатные девки — в золотых шугайчиках, в летниках и собольих шапочках.

— Трогай! — крикнет, севши в карету, князь Алексей Юрьич, и поезд поедет к монастырю.

Впереди пятьдесят вершников, на гнедых лошадях, все в суконных кармазинных чекменях, штаны голубые гарнитуровые, пояса серебряные, штиблеты желтые, на головах парики пудреные, шляпы круглые с зелеными перьями.

За вершниками охота поедет, только без собак. Псари и доезжачие регентами: первый регимент на вороных конях в кармазинных чекменях, другой регимент на рыжих конях в зеленых чекменях, третий — на серых лошадях в голубых чекменях. А чекмени у всех суконные, через плечо шелковые перевязи, у одних белые, шиты зо-

лотом, у других пюсовые, шиты серебром. За ними стремянные на гнедых конях в чекменях малиновых, в желтых шапках с красными перьями, через плечо золотая перевязь, на ней серебряный рог.

За охотой мелкопоместное шляхетство и «знакомцы» верхами, кто в мундире, кто в шелковом французском кафтане, все в пудреных париках, а лошади подо всеми с княжей конюшни. За шляхетством, мало отступя, сам князь Алексей Юрьич в открытой золотой карете, цугом, лошади белые, а хвосты да гривы черные,— нарочно чернили. За каретой четыре гайдука на запятках да шестеро пешком, все в зеленых бархатных кафтанах, а кафтаны вкруг шиты золотом, камзолы алого сукна, рукава алого бархату с кондырками малыми, золотой бахромой обшитыми. Шапки на гайдуках пюсового бархату с золотыми шнурами и с белыми перьями. И у каждого гайдука через плечо цепь серебряная. За каретой арапы пешком в красных юбках, с золотыми поясами, на шее у каждого серебряный ошейник, на голове красна шапка. Потом другая золотая карета, тоже цугом, в ней княгиня Марфа Петровна, вкруг ее кареты скороходы, на них юбки красного золотного штофа, а прочее платье белого штофа серебряного, сами в париках напудренных больших, без шапок. За княгининой каретой карет сорок простых, не золоченых, каждая заложена в четыре лошади без скороходов, а только по два лакея в желтых кафтанах на запятках; в тех каретах большие господа с женами и дочерьми, барыни из мелкопоместного шляхетства и вольные дворянки, что при княжом дворе проживали. Потом, на княжих лошадях, что поплоше, видимо-невидимо мелкопоместного шляхетства.

Приедут к монастырю, у святых ворот из карет выйдут и в церковь пешком пойдут. А как службу божественную отпоют, с крестным ходом кругом монастыря отправятся, да, обошедши монастырь, на ярмонку, ради освящения флагов. Как станут воду святить, пальба из пушек пойдет и музыка. Тут князь Алексей Юрьич к архимандриту ярмоночный флаг поднесет, тот святой водой его покропит; а князь на столб своими руками вздернет. Пушки запалят, музыка играет, трубы, роги раздадутся, а народ во все горло: ура! и шапки кверху. Это значит ярмонка началась, и с того часу всем купцам торг повольный, а смей кто допрежь урочного часу лав-

ку открыть, запорет князь Алексей Юрьич того до полусмерти и товар в Волгу велит покидать, либо середи ярмонки сожжет его.

К архимандриту обедать! А на поле возле ярмонки столы накроют, бочки с вином ради холопей и для черного народу выкатят. И тут не одна тысяча людей на княжой кошт ест, пьет, проклажается до поздней ночи. Всем один приказ: «пей из ковша, а мера душа». Редкий год человек двадцать, бывало, не обопьется. А пьяных подбирать было не велено, а коли кто на пьяного наткнулся, перешагни через него, а тронуть пальцем не смей.

На другой день в Заборье пир горой. Соберутся большие господа и мелкопоместные, торговые люди и приказные, всего человек, может, с тысячу, иной год и больше. У князя Алексея Юрьича таков был обычай: кто ни пришел, не спрашивают, чей да откуда, а садись да пей, а коли есть хочешь, пожалуй, и ешь, добра припасено вдосталь... На поляне, позадь дому, столы поставлены, бочки выкачены. Музыка, песни, пальба, гульба день-деньской стоном стоят. Вечером потешные огни да бочки смоляные, хороводы в саду. Со всей волости баб да девок нагонят... Тут дело известное: что в поле горох да репка, то в мире баба да девка, значит, тут без греха невозможно, потому что всяка жива душа калачика хочет. Потешные-то огни как потухнут, князь Алексей Юрьич с большими господами в павильон, а мелкопоместное шляхетство в садочке, на лужочке да по овражкам всю ночь до утра прокуражатся.

Да так всю ярмонку и прогуляют. Каждый божий день народу видимо-невидимо. И все пьяно. Крик, гам, песни, драка — дым коромыслом.

А на ярмонку ради порядку князь Алексей Юрьич каждый день изволил сам выезжать. Чуть кого в чем заметит, тут ему и расправа. И суд его был всем приятен, для того, что скоро кончался; тут же, бывало, на месте и разбор и взысканье, в дальний ящик не любил откладывать: все бы у него живой рукой шло. Чернил да бумаги беда как не жаловал. Зато все торговые люди, что на Заборскую ярмонку съезжались, как отца родного любили его, благодетелем и милостивцем звали. И они до бумаги-то не больно охочи. До челобитных ли да до приказных дел купцу на ярмонке, когда у всякого каждый час дорог?

Не любил тех князь Алексей Юрьич, кто помимо его по судам просил. Призовет, бывало, такого, шляхетного ли роду, купчину ли, мужика ли, ему все едино: перво-наперво обругает, потом из своих рук побить изволит, а после того кошки, плети аль кашица березовая, смотря по чину и по званию. А после бани тот человек должен идти к князю благодарить за науку.

— То-то и есть,— скажет тут князь,— ты как гусь: летаешь высоко, а садиться не умеешь, вот и дождался. Разве нет тебе моего суда, что вздумал по приказным ходить? Смотри же, вперед будь умнее...

И ничего, еще ручку пожалует поцеловать и велит того человека напоить, накормить до отвалу.

Купцам на ярмонке такой был приказ: с богатого сколь хочешь бери, обманывай, обмеривай, обвешивай его, сколько душе угодно; бедного обидеть не моги. Раз позвал князь к себе в Заборье одного московского купчину обедать: купец богатеющий, каждый год привозил на ярмонку панского и суровского товару на многие тысячи: парчи, дородоры, гарнитуры, глазеты, атласы, левантины, ну и всякие другие материи. А товар-от все прочный был — лубок лубком; в нынешне время таких материй и не делают, все стало щепетильнее, все измельчало, оттого и самую одежу потоньше стали носить. Пообедавши, говорит князь Алексей Юрьич купчине:

— Ты почем, Трифон Егорыч, алый левантин продаешь?

— По гривне, ваше сиятельство, продаем и по четыре алтына, смотря по доброте.

— А была у тебя вчера в лавке попадья из Большого Врагу?

— Не могу знать, ваше сиятельство, народу в день перебывает много. Всех запомнить невозможно.

— Попадья у тебя аршин алого левантину на головку покупала. Почем ты ей продал?

— Не помню, ваше сиятельство, хоть околеть на этом месте, не помню. Да еще может статься, не сам я и товар-от ей отпущал, из молодцов кто-нибудь.

— Ну ладно,— сказал князь Алексей Юрьич да и кликнул вершника. А вершников с десяток завсегда у крыльца на конях стояло для посылок.

Вошел вершник. Купчина ни жив ни мертв: дума-

ет — на конюшню. Говорит вершнику князь Алексей Юрьич:

— Проводи ты вот этого купчину до ярмонки, там он даст тебе кусок алого левантину самого лучшего. Возьми ты этот левантин и духом отвези его в Большой Враг, отдай отца Дмитрия попадье и скажи ей: купец, мол, московский Трифон Егорыч Чуркин кланяться тебе, матушка, велел и прислал, дескать, кусок левантину в подарок за то-де, что вчера он с тебя за аршин такого же левантина непомерную цену взял. А ты, Трифон Егорыч, за молодцами-то приглядывай, чтоб они бедных людей не обижали, а то ведь я по-свойски расправлюсь. Пороть тебя не стану, а в сидельцы к тебе пойду. Так смотри же, держи у меня ухо востро.

Недели не прошло, спроведал князь про Чуркина, однодворца какого-то канифасом обмерил. Только услыхал про это, ту ж минуту на конь, прискакал на ярмонку, прямо к Чуркину в лавку.

— А ты, говорит, Трифон Егорыч, приказ мой позабыл? Экая, братец мой, у тебя память-то короткая стала! Нечего делать, надо мне свое княжое слово выполнить, надо к тебе в сидельцы идти. Эй вы, аршинники, вон из лавки все до единого!

Чуркин с молодцами из лавки вон, а князь Алексей Юрьич, ставши за прилавок да взявши в руки аршин, крикнул на всю ярмонку зычным голосом:

— Господа честные, покупатели дорогие! К нам в лавку покорно просим, у нас всякого товару припасено вдоволь, есть атласы, канифасы, всякие дамские припасы, чулки, платки, батисты!.. Продаем без обмеру, без обвесу, безо всякого обману. Сдачи не даем и сами мелких денег не берем. Отпускаем товар за свою цену за наличные деньги, у кого денег нет, тому и в долг можем поверить: заплатишь — спасибо, не заплатишь — бог с тобой.

Навалила в лавку чуть не целая ярмонка. А князь за прилавком аршином работает: пять аршин чего ни на есть отмеряет да куска два-три почтения сделает. Таким манером часа через три у Чуркина весь товар распродал, только наличной выручки оказалось число невеликое.

— Вот тебе,— сказал князь Алексей Юрьич Чуркину,— выручка, а остальной товар в долг продан. Ищи, хлопочи, сбирай долги, это уж твоя забота, а мое дело

сторона. Да ты у меня смотри, попадью с однодворцем не забывай. Поедем теперь в Заборье обедать; оно бы, по-настоящему, с тебя магарычи-то следовали, ну, да так и быть: пожалуй, уж я накормлю. Садись в карету.

Замялся Чуркин, не лезет в карету, стоит, дрожит, как зачумленный.

— Не бойсь, хозяин, садись,— говорит ему князь Алексей Юрьич.— Ты, чай, думаешь, драть тебя стану, не бойся: сказано, не стану пороть, значит, и не стану. Захотел бы плетью поучить — и здесь бы спину-то вздул. Садись же, хозяин!

Сел Чуркин с князем в карету, поехал в Заборье обедать. А за обедом Чуркина на перво место посадили, и князь Алексей Юрьич сам ему прислуживал: за стулом у него с тарелкой стоял, *хозяином* все время называл: «Я, говорит, у Трифона Егорыча в услужении».

А пороть не порол. На прощанье еще жалованьем удостоил: от любимой борзой суки Прозерпинки кобелька да сучонку на племя подарил.

С той поры Чуркин на ярмонку ни ногой.

А кто с князем Алексеем Юрьичем смело да умно поступал, того любил. Раз один купчина прогневал его: отобедавши в Заборье, не пожелал с барскими барынями да с деревенскими девками в саду повеселиться, спешным делом отговаривался, получение-де предвидится от сибирских купцов. Соснувши маленько после обеда, узнал князь, что купчина его приказу сделался ослушен: тихонько на ярмонку съехал.

— Ну, говорит, черт с ним: была бы честь предложена, от убытка бог избавит. Пороть не стану, а до морды доберусь — не пеняй.

И попадись он князю на другой день за балаганами, а тут песок сыпучий, за песком озеро, дно ровное да покатое, от берега мелко, а на середке дна не достанешь; зато ни ям, ни уступов нет ни единого. Завидевши купчину, князь остановился, пальцем манит его к себе: поди-ка, мол, сюда. Купчина смекнул, зачем зовет, нейдет, да, стоя саженях в двадцати от князя, говорит ему:

— Нет, ваше сиятельство, ты сам ко мне поди, а я не пойду для того, что ни зуботрещин твоих, ни кошек, ни плетей не желаю.

— Ах ты, аршинник этакой! — закричал князь Алексей Юрьич да к нему.

А купчина — парень не промах, задал к озеру тягача, а песок тут сыпучий, ноги так и вязнут. Князь Алексей Юрьич вдогонку, распалился весь, запыхался, все бежит, сердце-то уж очень взяло его. Вязнут ноги у купчины, вязнут и у князя. Вот купчина догадался: оглянулся назад, видит, князь шагах во ста от него. «Эх, думает, успею»; сел, сапоги долой, да босико́м дальше пустился: бежать-то ему так вольготнее стало. Видит князь, купчина умно поступил, сам сел, тоже сапоги долой, да босиком дальше. Купчина к озеру, князь тоже. Забрел купчина по горло, а князь по грудь, остановился да перстиком купчину и манит.

— Подь, говорит, ко мне, разделаться с тобой хочу.

А купчина в ответ тоже пальцем манит да свое говорит:

— Нет, ваше сиятельство, ты ко мне подь, а уж я не пойду.

— Да ведь ты, подлец, утопишь?

— Там уж, что бог даст, а к тебе не пойду.

Перекорялись-перекорялись, а друг к дружке не пошли. Хоть время стояло и жаркое, а оба, стоя в воде, продрогли.

— Ну,— говорит князь,— люблю молодца за обычай, едем в Заборье обедать, зло твое я забыл.

— Врешь, ваше сиятельство,— говорит купчина,— обманешь, выпорешь.

— Пальцем не трону,— отвечал князь Алексей Юрьич,— ей-богу, пальцем не трону.

— Обманешь, ваше сиятельство.

— Ей-богу, не обману, право, не обману.

— А ну перекрестись!

И стал князь, стоя в воде, креститься и всеми святыми себя заклинать, что никакого дурна над купчиной не учинит. Дал купчина веру, поехал в Заборье.

Не то чтобы выдрать — приятелем сделал его, дом каменный в Москве подарил. Бывало, что есть — вместе, чего нет — пополам. Двух дочерей замуж повыдал; в посаженых отцах у них был, сына вывел в чины; после в Зимогорске вице-губернатором был, от соли да от вина страх как нажился...

— А ведь утопил бы ты меня, Конон Фаддеич, как бы я к тебе тогда подошел? — скажет, бывало, князь.

— А как знать, чего не знать,— отвечает купчи-

на: — что бы бог указал, то бы я над тобой, ваше сиятельство, и сделал.

И захохочут оба, да после того и почнут целоваться.

И всегда и во всем так бывало: кто удалую штуку удерет, либо тыкнет князю прямо в нос, не боюсь-де тебя, того жаловал и в чести держал. Да вот какой случай был.

В летнюю пору после обеда садился, бывало, он в кресла подремать маленько. Кресла ставили на балконе, задние ножки в комнате, а передние на балконе, так на пороге и дремлет. И тогда по всему Заборью и на Волге на всех судах никто пикнуть не смей, не то на конюшню. Флаг над домом особый выкидывали, знали бы все, что князь Алексей Юрьич почивать изволит.

Дремлет он этак раз, а барчонок из мелкопоместных «знакомцев», что из милости на кухне проживал, тихонько возле дома пробирается. А в нижем жилье, под самым тем балконом, жили барышни-приживалки, вольные дворянки, и деревни свои у них были, да плохонькие, оттого в Заборье на княжеских харчах и проживали. Барчонок под окна. Говорить не смеет, а турусы на колесах барышням подпустить охота, стал руками маячить, а сам ни гугу. Барышням невтерпеж: похохотать охота, да гроза наверху, не смеют. Машут барчонку платочками: уйди, дескать, пострел, до греха. А барчонок маячил-маячил, да как во все горло заголосит: *«Не одна-то во поле дороженька»*. Заорал да и драла. Вершники, что у крыльца стояли, его не заприметили, сами тоже вздремнули; час был полуденный. Так барчонок и скрылся.

Пробудился князь. Грозен и мрачен, руки у него так и дергает.

— Кто «Дороженьку» пел? — спрашивает.

Побежали сломя голову во все стороны. Ищут.

А барчонок себе на уме, семью собаками его не сыщешь. Улегся на сеннике, спит тоже будто. Кроме барышень никто его не приметил, а те, известное дело, не выдадут.

— Кто «Дороженьку» пел? — кричит князь Алексей Юрьич.

Бегают холопи, не могут найти.

— Кто «Дороженьку» пел? — кричит князь. На крыльцо вышел, арапник в руке.

Не знают, что доложить, бегают, рыщут, дознаться не могут.

— Кто «Дороженьку» пел? — на все село кричит князь Алексей Юрьич.— Сейчас передо мною поставить, не то всех запорю!

Не могут найти. Рычит князь, словно медведь на рогатине. Ушел в дом, зеркала звенят, столы трещат.

Старший дворецкий и холопи все кланяться стали Ваське-песеннику: «возьми на себя, виноватого сыскать не можем».

Васька себе на уме, уперся. «Спина-то, говорит, моя, не ваша, да еще, чего доброго, пожалуй, и в пруд угодишь». Не желает.

Стали ему кучиться со слезами: «дворецкий, мол, тебя выручит, а на всякий случай вот тебе десять рублев деньгами». А десять рублей в старые годы деньги были большие.

Почесал в затылке песенник: и спины жаль, и с деньгами расстаться не охота. «Ну, говорит, так и быть, идет. Только смотри же, коль не из своих рук станет пороть, так вы, черти, полегче».

А тем временем князь распалился без меры.

— Всему холопству, кричит, по тысяче кошек, все шляхетство плетьми задеру. Да спросить у барышень, они должны знать... Не скажут, юбки подыму, розгачами угощу!

Страх смертный. Пикнуть не смеет никто, дышать боятся.

— Кошек! — зарычал. Зычный голос по Заборью раздался, и всяка жива душа затрепетала.

— Ведут, ведут,— кричат комнатные казачки, завидев дворецкого, а за ним гайдуков: волочили они по земле по рукам по ногам связанного Ваську-песенника.

Сел князь на софу суд и расправу чинить. Подвели Ваську. Сами ни живы, ни мертвы.

— Ты «Дороженьку» пел? — спросил у песенника князь Алексей Юрьич.

— Виноват, ваше сиятельство,— отвечал Васька-песенник.

Замолк князь. Помолчал маленько и молвил:

— Славный голос у тебя... Десять рублей ему да кафтан с позументом!

IV

ИМЕНИНЫ

А именины справлял князь на пятый день покрова. Пиры бывали великие; недели на две либо на три все окружное шляхетство съезжалось в Заборье, губернатор из Зимогорска, воеводы провинциальные, генерал, что с драгунскими полками в Жулебине стоял, много и других чиновных. Из Москвы наезжали, иной раз из Питера. Всякому лестно было князя Алексея Юрьича с днем ангела поздравить.

Каждому своя комната, кому побольше, кому поменьше: неслужащему шляхетству, смотря по роду; чиновным, глядя по чину. Губернатору флигель особый, драгунскому генералу с воеводами другой, по прочим флигелям большие господа: кому три горницы, кому две, кому одна, а где по два, по три гостя в одной, глядя, кто каков родом. А наезжее мелкопоместное шляхетство и приказных по крестьянским дворам разводили, а которых в застольную, в ткацкую, в столярную. Там и спят вповалку.

С вечера накануне именин всенощну служат. Тут всем приказ: у службы быть неотменно. Князь сам шестопсалмие читает и синаксарь. Знал он церковный устав не хуже монастырского канонарха, к службе божией был не леностен, к дому господню радение имел большое. Сколько по церквам иконостасов наделал, сколько колоколов вылил, в самом Заборье три каменные церкви соорудил.

Ужина не бывало, чтоб грехом до утра не забражничаться, обедни не проспать бы. Подавали каждому есть-пить в своем месте, а хмельного ставили число невеликое.

На другой день, после обедни, все, бывало, поздравлять пойдут. Сядет князь Алексей Юрьич во всем наряде и в кавалерии на софе, в большой гостиной, по праву руку губернатор, по левую — княгиня Марфа Петровна. Большие господа, с ангелом князя поздравивши, тоже в гостиной рассядутся: по одну сторону мужчины, по другую — женский пол. А садились по чинам и по роду.

Пиита с виршами придет — нарочно такого для праздников держали. Звали Семеном Титычем, был он

из поповского роду, а стихотворному делу на Москве обучался. В первый же год, как приехал князь Алексей Юрьич на житье в Заборье, нанял его. Привезли его из Москвы вместе с карликом — тоже редкостный был человек: ростом с восьмигодового мальчишку, не больше. Жил пиита на всем на готовом, особая горница ему была, а дело только в том и состояло, чтобы к каждому торжеству вирши написать и пастораль сделать. И каждый раз, перед делом, недели на три запирали его ради трезвости на голубятню; бывало, как только вытрезвят, так и пойдет он вирши писать да пастораль строить.

Придет Титыч в гостиную, тоже напудренный, в шелковом кафтане, почнет поздравительные вирши сказывать. Гости слушают молча. А когда отчитает, подаст те вирши князю на бумаге, князь ручку даст ему поцеловать, денег пожалует и велит напоить Титыча до положения риз, только бы наблюдали, чтобы богу душу не отдал, для того, что человек был нужный, а пил без рассуждения. В старые годы пиитов было число невеликое, найти было их трудновато, оттого и берег князь Титыча. Таков был приказ: пииту беречь всякими мерами и ради потехи вреда ему не чинить.

Раз одного знакомца из благородного шляхетства так взодрал князь за Титыча, что небу стало жарко. Похрыснев Иван Тихоныч — было у него дворов тридцать своих крестьян, да разбежались, оттого и пошел на княжие харчи — с Титычем был приятель закадычный: пили, гуляли сообща. Насмотрелся Иван Тихоныч, каковы в Заборье забавы. И холопи и шляхетство так промеж себя забавлялись: кого на медведя насунут, кому подошвы медом намажут да дадут козлу лизать; козел-от лижет, а человеку щекотно, хохочет до тех пор, как глаза под лоб уйдут и дышать еле может. Насмотревшись таких потех, Иван Тихоныч подметил раз друга своего во пьяном образе лежаща и сшутил с ним шуточку, да и шутку-то небольно обидную: ежа за пазуху ему посадил. Вскочил пиита, заорал благим матом, спьяну да спросонок не может понять, что такое у него под рубахой возится да колет. Ровно угорелый на двор выбежал, «караул! режут!» — кричит. На грех сам князь тут случись; узнав причину, много смеяться изволил, а Ивана Тихоныча выпорол и целый день ежа за пазухой носить приказал.— «Ты, говорит, знай, с кем шутить: Титыч,

говорит, тебе не пара: он человек ученый, а ты свинья». Вот как ученых людей князь почитал.

А как в день княжих именин Семен Титыч из гостиной выйдет, неважные господа и знакомцы пойдут поздравлять, также и приказный народ. Подходят по чинам, и всякому, бывало, князь Алексей Юрьич жалует ручку свою целовать. Кто поцеловал, тот на галерею, а там от водок да от закусок столы ломятся.

Чай станут подавать, но только большим господам. В стары-то годы чай бывал за диковину, и пить-то его умели только большого рангу господа; мелочь не знала как и взяться... Давали иной раз мелкопоместному шляхетству аль приказного чина людям, ради потехи, позабавиться бы большим гостям, глядя, как тот с непривычки глотку станет жечь да рожи корчит. Шутов, бывало, призовут, передражнивать барина-то прикажут, чай у него отнимать, кипятком его ошпарить. Шуты с барином подерутся, обварят его, на пол повалят да мукой обсыплют. А как назабавится князь, в шею всех и велит вытолкать.

Пьют, бывало, чай в гостиной: губернатор почнет ведомости сказывать, что в курантах вычитал, аль из Питера что ему отписывали. Московские гости со своими ведомостями. Так и толкуют час-другой времени. Приезжал частенько на именины генерал-поручик Матвей Михайлыч Ситкин,— родня князю-то был; при дворе больше находился, к Разумовскому бывал вхож.

— Слышно,— говорит он однажды,— про тебя, князь Алексей, что матушка-государыня хочет тебя в цесарскую землю к венгерской королеве резидентом послать.

— И до меня такие ведомости, сиятельнейший князь, доходили,— промолвил губернатор,— а когда Матвей Михайлович из самого дворца матушки-государыни подлинные ведомости привез, значит, оне вероятия достойны.

И стали все поздравлять князя Алексея Юрьича. А у него лицо так и просияло. Помолчал он и молвил:

— Не еду.

— В уме ль ты, князь, али рехнулся? — ужаснулся даже генерал-поручик, родня-то.

— Сказано — не поеду, так значит и не поеду,— молвил князь Алексей Юрьич.— Пускай меня матушка-

государыня смертью казнит, пускай меня в дальни сибирски города сошлет, а в цесарскую землю я ни ногой.

А говорил он так ради того, что знал роденьку своего Матвея Михайлыча: любил генерал красным словцом речь поукрасить, любил и похвастаться перед людьми: я-де при государыне нахожусь, все великие и тайные дела до тонкости знаю.

— Да что ты, что ты? — стал он приставать к князю.— Есть ли резон человеку от фортуны отказываться?

Губернатор стал допытываться, драгунский генерал, воевода, из больших господ два-три человека. Другие не посмели.

— Как же мне возможно ехать в цесарскую землю? — молвил наконец князь Алексей Юрьич.— Без меня лысый черт всех русаков здесь затравит, а об красном звере лет пять после того и помину не будет.

А лысым чертом изволил звать Ивана Сергеича Опарина. Барин был большой, по соседству с Заборьем вотчина у него в две тысячи душ была, в старые годы после князя Алексея Юрьича по всей губернии был первый человек.

— Не взыщи, князь Алексей,— подхватил Иван Сергеич,— всех перетравлю. Ты там у венгерской королевы резидируй, а я тебе мышонка не покину.

Смеяться изволил князь. И все большие господа смеялись, а в других комнатах и на галерее знакомцы, шляхетство мелкоместное и приказные тоже на тот смех хохотали, хоть к чему тот смех — и не ведали.

— А ты лучше скажи-ка мне, честный отче, подобает ли нам вот это китайское зелье пить? Греха тут нет ли? — спросил князь Алексей Юрьич.

А это он тому же Ивану Сергеичу молвил. Звал его лысым чертом потому, что голова у него была наподобие рыбьего пузыря, а честным отче потому, что в старых уставах Опарин был сведущ. Хоть бороду и брил, а париков не надевал и табаку не курил, поставляя в том грех великий. Всю жизнь пробыл в нетях *, пятидесяти лет недорослем писался, и хоть при Петре Великом не раз был за то батогами бит нещадно, но обычай свой снес — на службу в Питер не явился. Спервоначалу и немецкого платья надеть на себя не хотел, да супруга обря-

* *Нетями* назывались не явившиеся на службу дворяне.

дила. Был женат на богатой, супруга на ассамблеях упражнялась, нраву была сварливого, родня у ней знатная, потому мужу бить себя не соизволила; и он у нее из рук смотрел. Хоть через великую силу, бородой и охабнем супружеской любви поступился. А родитель Ивана Сергеича, в прежни годы, с князьями Мышецкими заодно был, у раскольщиков в Выгорецком ските и жизнь скончал.

— Нет ли,— говорит ему князь Алексей Юрьич,— в этом пойле греха? Не опоганили ль мы с тобою, честный отче, душ своих?

— А что ж в чаю поганого? — отвечает Иван Сергеич.— Не табачище!.. Об чае и в Соловецкой челобитной не обозначено, стало быть, погани в нем нет никакой.

— А видишь ли, честный отче, вычел я в одной французской книге, что когда в Хинской земле чай собирают, так языческие тамошние жрецы богомерзкое свое служение на полях совершают и водой идоложертвенной чай на корню кропят. А по уставу идоложертвенное употреблять не подобает. Поведай же нам, честный отче, опоганили мы свои души аль нет?

— А может статься, на тот чай, что мы у тебя пьем, ого мерзкая-то вода и не попала? — молвил Иван Сергеич, накрывая чашку.— Вот тебе и сказ.

— Ох, ты, ответчик! — крикнул князь Алексей Юрьич, немножко прогневавшись.— Все-то у тебя ответы. Сказывают, что смолоду ты немало и раскольничьих ответов Неофиту писал... Правда, что ли? — молвил князь, подмигнув губернатору.— Сколько, лысый черт, на твою долю поморских ответов пришлось написать? Сочти-ка да скажи нам.

— Тебе бы, князь Алексей, цыплят по осени считать, а такого дела не ворошить. Не при тебе оно писано.

— Смотри, лысый черт, ты у меня молчи. Не то господина губернатора и владыку святого стану просить, чтоб тебя с раскольщиками в двойной оклад записали. Пощеголяешь ты у меня с желтым козырем да со значком на вороту.

Хоть и разгневался маленько князь Алексей Юрьич, но Иван Сергеич барин был большой, попросту с ним разделаться невозможно, сам сдачи даст, у самого во дворе шестьсот человек, а кошки да плети не хуже заборских.

На счастье, под самое то слово чихнул губернатор. Встали и поклон отдали. Привстал и князь Алексей Юрьич. И все в один голос сказали:

— Салфет вашей милости! *

А губернатор кланяется да приговаривает:

— Красота вашей чести!

На ту пору дверь распахнулась, четыре лакея, каждый в сажень ростом, закуску на подносах внесли и на столы поставили. Были тут сельди голландские, сыр немецкий, икра яикская с лимоном, икра стерляжья с перцем, балык донской, колбасы заморские, семга архангелогородская, ветчина вестфальская, сиги в уксусе из Питера, грибы отварные, огурцы подновские, рыжики вятские, пироги подового дела, оладьи и пряженцы с яйцами. А в графинах водка золотая, водка анисовая, водка зорная, водка кардамонная, водка тминная,— а все своего завода.

Закусывают час либо два, покамест все графины не опорожнят, все тарелки не очистят, тогда обедать пойдут.

А в столовой, на одном конце княгиня Марфа Петровна с барынями, на другом князь Алексей Юрьич с большими гостями. С правой руки губернатору место, с левой — генерал-поручику, за ними прочие, по роду и чинам. И всяк свое место знай, выше старшего не смей залезать, не то шутам велят стул из-под того выдернуть, аль прикажут лакеям кушаньем его обносить. Кто помельче, те на галерее едят. Там в именины человек пятьсот либо шестьсот обедывало, а в столовой человек восемьдесят либо сто — не больше.

Подле князя Алексея Юрьича, с одной стороны, двухгодовалого ручного медведя посадят, а с другой — юродивый Спиря на полу с чашкой сядет: босой, грязный, лохматый, в одной рубахе; в чашку ему всякого кушанья князь набросает, и перцу, и горчицы, и вина, и квасу, всего туда накладет, а Спиря ест с прибаутками. Мишку тоже из своих рук князь кормил, а после водкой, бывало, напоит его до того, что зверь и ходить не может.

В столовой на серебре подавали, а для князя, для княгини и для генеральства ставились золотые приборы.

---

* При дворе говорили *салют (salut)* вашей милости, в провинции *салют* переделали в *салфет*. В глухих городах *салфет* до сих пор водится.

За каждым стулом по два лакея, по углам шуты, немые, карлики и калмыки — все подачек ждут и промеж себя дерутся да ругаются.

Уху, бывало, в серебряной лохани подадут — стерляди такие, какие в нонешни годы и не ловятся: от глаза до пера два аршина и больше. Осетры — чудо морское. А там еще зад быка принесут, да ветчины окорока три-четыре, да баранов штуки три, а кур, индеек, гусей, уток, рябков, куропаток, зайцев — всей этой мелкоты без счету. Всех кушаний перемен тридцать и больше, а после каждой перемены чарки в ходе. Подавали вина ренские, аликантское, эрмитаж и разные другие, а больше домашние наливки и меда ставленные. В стары годы и такие господа, как князь Алексей Юрьич, заморских вин кушали понемногу, пили больше водку да наливки домашние и меды. Дорогие вина только в праздники подавались, и то не всем: подавать такие вина на галерею в заведении не было. А шампанское вино да венгерское только и пивали в именины...

Под конец обеда, бывало, станут заздравную пить. Пили ее в столовой шампанским, в галерее — вишневым медом... Начнут князя с ангелом поздравлять, «ура» ему закричат, певчие «многие лета» запоют, музыка грянет, трубы затрубят, на угоре из пушек палить зачнут, шуты вкруг князя кувыркаются, карлики пищат, немые мычат по-своему, большие господа за столом пойдут на счастье имениннику посуду бить, а медведь ревет, на задние лапы поднявшись.

Встанут из-за стола, княгиня с барынями на свою половину пойдет, князь Алексей Юрьич с большими господами в гостиную. Сядут. Оглядится князь, все ли гости уселись, лишних нет ли, помолчит маленько да, глядя на старшего дворецкого, вполголоса промолвит ему: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Дворецкий парень был наметанный, каждый взгляд князя понимал. Тотчас, бывало, смекнет, в чем дело. Было у князя в подвале старое венгерское — вино дорогое, страх какое дорогое! Когда еще князь Алексей Юрьич при государыне в Питере проживал, водил он дружбу с цесарским резидентом, и тот цесарский резидент из своего королевства бочек с пять того вина ему по дружбе вывез. Пахло ржаным хлебом, оттого князь и звал его хлебом насущным. А подавали то вино изредка.

Принесут гайдуки стопки серебряные, старший дворецкий разольет хлеб насущный. Возьмет князь Алексей Юрьич стопку, привстанет, к губернатору обернется: «будьте здоровы»,— скажет и хлебнет хлеба насущного. Потом опять привстанет, генерал-поручика тем же манером поздравствует и опять хлебнет хлеба насущного. И прочих также, все по роду и по чину. А кого князь здравствует, тому и прочие, привставая, кланяются и хлеба насущного прихлебывают. А певчие поют многолетие, в галерее «ура» кричат, на угоре из пушек палят, трубы, рога, музыка. И питаются, бывало, хлебом насущным, когда час времени, когда и больше.

— Ну,— скажет, вставая, князь Алексей Юрьич,— бог напитал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел. Не пора ль, господа, к Храповицкому? И птице вольной и зверю лесному, не токмо человеку разумному, присудил господь отдыхать в час полуденный.

И пойдут по своим местам, а князю Алексею Юрьичу на балконе кресло уж поставлено. И станет по Заборью тишина. Только храп слышно... отдыхают...

Соснув маленько, зачнут к вечернему балу снаряжаться, и весь дом станет вверх дном. Господа, барыни и барышни сидят в пудрамантах, девушки да камердинеры так и снуют: кто с робой, кто с утюгом, кто с фижмами, кто с камзолом глазетовым. В одном месте пряжки к башмакам прилаживают, в другом барышню две девки, что есть мочи стягивают, в третьем барыни мушки на лицо себе лепят... К семи часам все готовы и соберутся в дом. А там уж восковых свечей зажжены тысячи, перед домом и в саду плошки, по горе смоляные бочки горят, а за Волгой, на том берегу, костры разложены.

Выйдет князь Алексей Юрьич с княгиней Марфой Петровной во всем параде, и грянет музыка. Полонез заиграют: губернатор, в зеленом кафтане на красном стамеде, в алом камзоле, в большом парике, с кавалерией через плечо, к княгине подлетит, реверансы друг другу сделают и пойдут. После того другие господа, кто барыню, кто барышню поднимут и пойдут водить полонез по залам и галереям, и водят немалое время. А барынь поднимают и в полонез водят также по роду и по чинам. Находившись досыта, в боковую галерею пойдут «пастораль» смотреть. Там подмостки с декорацией сделаны, и как гости войдут, музыканты итальянские кантаты иг-

рать зачнут, и играют, покамест гости по местам рассядутся.

Тут занавеска на подмостках поднимется, сбоку выйдет Дуняшка, ткача Егора дочь, красавица была первая по Заборью. Волосы наверх подобраны, напудрены, цветами изукрашены, на щеках мушки налеплены, сама в помпадуре на фижмах, в руке посох пастушечий с алыми и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять, а писал те вирши Семен Титыч. И когда Дуня отчитает, Параша подойдет, псаря Данилы дочь.

Эта пастушком наряжена: в пудре, в штанах и в камзоле. И станут Параша с Дунькой виршами про любовь да про овечек разговаривать, сядут рядком и обнимутся... Недели по четыре девок, бывало, тем виршам с голосу Семен Титыч учил — были неграмотны. Долго, бывало, маются, сердечные, да как раз пяток их для понятия выдерут, выучат твердо.

Андрюшку-поваренка сверху на веревках спустят. Мальчишка был бойкий и проворный,— грамоте самоучкой обучился. Бога Феба он представлял, в алом кафтане, в голубых штанах с золотыми блестками. В руке доска прорезная, золотой бумагой оклеена, прозывается лирой, вкруг головы у Андрюшки золоченые проволоки натыканы, вроде сияния. С Андрюшкой девять девок на веревках, бывало, спустят: напудрены все, в белых робронах, у каждой в руках нужная вещь, у одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительна трубка. Под музыку стихи пропоют, князю венок подадут, а плели тот венок в оранжерее из лаврового дерева.

И такой пасторалью все утешены бывали. Велит иной раз князь Алексей Юрьич позвать к себе Семена Титыча, чтоб из своих княжих рук подарок ему пожаловать, но никогда его привести было невозможно, каждый раз не годился и в своей горнице за замком на привязи сидел. Неспокоен, царство ему небесное, во хмелю бывал.

Опять полонез заиграют, господа в большую залу пойдут. Тут Матвея Михайлыча — генерал-поручика — маршалом сделают, княгиня Марфа Петровна букет цветов пожаловать ему изволит. Приколет он те цветы к кафтану и зачнет танцами распоряжаться. Сперва менуэт танцуют, кланяются, реверансы делают, к сердцу руки прижимают, на разлет ими отмахивают, а барышни приседают, на сторонку перегибаются и веер тихонь-

ко поднимают. После менуэта манимаску начнут, а там матрадур, гавот и разные другие танцы. Чуть не до полночи, бывало, промаются.

Вперемежку танцев питье подавали: воду брусничную, грушевку, сливянку, квас яблочный, квас малиновый, питье миндальное. Заедки всякие, бывало, разносили: конфеты, марципаны, цукаты, сахары зеренчатые, варенье инбирное индейского дела; из овощей — виноград, яблоки да разные овощи полосами: полоса дынная, полоса арбузная да ананасная полоска невеликая. Дынную да арбузную всем подают, ананасную не всякому, потому что вещь редкостная, не всякому гостю по губам придется.

А в других комнатах столы расставлены, на них в фаро да в квинтич играют; червонцы из рук в руки так и переходят, а выигрывает, бывало, завсегда больше всех губернатор. Другие кости мечут, в шахматы играют — кому что больше с руки. А меж игрой пунши да взварцы пьют, а лакеи то и дело водку да закуски разносят.

Вечерний стол бывал не великий: кушаньев десять либо двадцать — не больше, зато напитков вдоволь. Пьют, друг от дружки не отставая, кто откажется, тому князь прикажет вино на голову лить. А как после ужина барыни да барышни за княгиней уйдут, а потом и из господ кто чином помельче аль годами помоложе по своим местам разойдутся, отправится князь Алексей Юрьич в павильон и с собой гостей человек пятнадцать возьмет. И пойдет там кутеж на всю ночь до утра. Только что войдут туда князь Алексей Юрьич, и кафтан и камзол долой, гости тоже. Спервоначалу кипрским вином серебряную дедовскую ендову нальют, «чарочку» запоют и пустят ендову вкруговую. Не то попарно, как гребцы в лодке, на пол усядутся. «Вниз по матушке по Волге» затянут и орут себе что есть мочи. А запевалой сам князь Алексей Юрьич.

— Нет, скучно так, ребята,— скажет, бывало,— богинь, богинь сюда с Парнаса!

И влетят богини: Дуняша, Параша, Настенька, Машенька, Грушенька, девять сестер, что в пасторали были, да еще сколько нужно на придачу по числу гостей. Все разряжены: которая в пудре и роброне, ровно барышня, которая в сарафане, а больше так, как в павильонах на стенах писано.

Красавицы-то были какие! Хоть бы Дуню взять. Беленькая, крепонькая, черные глазенки в душу так и смотрят. Пойдет плясать: старик растает, на нее глядя! Бубен в руку; вверх его над головой вскинет, обведет всех глазами, топнет ножкой да вольной птичкой так и запорхает, а сама вся, как змейка, изгибается, от сердечной истомы щеки пышут, глазки горят, а ротик раскрыт у голубушки... Настенька опять — девочка славная, кровь с молоком, голосок соловьиный. Войдет, в сарафане алого бархату, в кружевных рукавах, на голове золотая повязка, коса у Настеньки по колена,— на кого ни взглянет, рублем подарит, слово кому скажет, мурашки у того по всему телу забегают... Или Груша опять!.. Машенька!.. На подбор были собраны красавицы, а выбирались из целой вотчины. Все-то состарелось, а состарившись примерло!..

Заря в небе зарумянится, а в павильоне песни, пляс да попойка. Воевода, Матвей Михайлыч, драгунский, Иван Сергеич, губернатор и другие большие господа,— кто пляшет, кто поет, кто чару пьет, кто с богиней в уголку сидит... Сам князь Алексей Юрьич напоследок с Дуняшей казачка пойдет.

— Эй, вы, римляне! — крикнет под конец.— Похищай сабинянок, собаки!

Схватит каждый гость по девочке: кто посильней, тот на плечо красоточку взвалит, а кто в охапку ее... А князь Алексей Юрьич станет средь комнату, да ту, что приглянулась, перстиком к себе и поманит... И разойдутся.

Тем именины и кончатся.

V

В МОНАСТЫРЕ

Охоту больше на красного зверя князь Заборовский любил. Обложили медведя — готов на край света скакать. Леса были большие, лесничих в помине еще не было, оттого не бывало и порубок; в лесной гущине всякого зверя много водилось. Редкую зиму двух десятков медведей не поднимали.

Только станет зима, человек сорок пошлют берлоги искать. Опричь того мужики по всей окружности знали, какое жалованье за медведя князь Алексей Юрьич дает, оттого, бывало, каждый, кто про медведя ни проведа-

ет, вести приносит к нему. А сохрани, бывало, господи, ежели кто без него осмелится медведя поднять! Не родись на свет тот человек!..

Сам любил мишку повалить. Таков приказ у него был: «бей медведя, коли драть тебя станет аль под себя подберет,— до тех пор тронуть его не моги».

Из ружья редко бивал, не жаловал князь ружейной охоты, больше все с ножом да с рогатиной.— «Надобно ж, говорит, бывало, Михайле Иванычу, господину Топтыгину, перед смертным часом дать позабавиться: что толку пулей его свалить, из ружья бей сороку, бей ворону, а с мишенькой весело силкой помериться!»

Сорокового бил из ружья. Сороковой медведь — дело не простое, редкому счастливо сходит он с рук — любит сороковой человека без костяной шапки оставить.

А всего медведей сто, коль не больше, повалил князь Алексей Юрьич в приволжских краях, и все ножом да рогатиной. Не раз и мишка топтал его. Раз бедро чуть не выел совсем, в другой, подобрав под себя, так зачал ломать, что князь закричал неблагим матом, и как медведя порешили, так князя чуть живого подняли и до саней на шубе несли. Шесть недель хворал, думали, жизнь покончит, но бог помиловал.

Берлогу отыщут, зверя обложат. Станет князь против выхода. Правая рука ремнем окручена, ножик в ней, в левой — рогатина. В стороне станут охотники, кто с ружьем, кто с рогатиной. Подымут мишку, полезет косматый старец из затвора, а снег-от у него над головой так столбом и летит.

И примет князь лесного боярина по-холопски, рогатиной припрет его, куда следует, покрепче. Тот разозлится да на него, а князь сунет ему руку в раскрытую пасть да там ножом и пойдет работать. Тут-то вот любо, бывало, посмотреть на князя Алексея Юрьича — богатырь, прямой богатырь!..

А по осени, как в отъезжее поле соберутся, недель по шести, бывало, полюют, провинции по две объезжали. Выедет князь Алексей Юрьич, как солнце пресветлое: четыреста при нем псарей с борзыми, ста полтора с гончими, знакомцев да мелкопоместных человек восемьдесят, а большие господа — те со своими охотами. Один Иван Сергеевич Опарин приедет, бывало, так свор восемьдесят с собой приведет... Народу видимо-невиди-

мо. Двинутся, в рога тотчас, и такой трубный глас пойдет, что просто ума помраченье. А за охотой на подводах припасы везут, повара там, конюхи, шуты, девки, музыканты, арапы, калмыки и другой народ всякого звания!

Дадут поле — тотчас на привал. А у каждого человека фляжка с водкой через плечо, потому к привалу-то все маленько и наготове. Разложат на поле костры, пойдет стряпня рукава стряхня, а средь поля шатер раскинут, возле шатра бочонок с водкой, ведер в десять.

— С полем! — крикнет князь Алексей Юрьич, сядет верхом на бочонок, нацедит ковш, выпьет, сколько душа возьмет, да из того ж ковша и других почнет угощать, а сам все на бочонке верхом.

— С полем, честной отче! — крикнет Ивану Сергеичу. Подойдет Иван Сергеич, князь ему ковшик подаст.

— Будь здоров, князь Алексей, с чады, с домочадцы и со всеми твоими псами борзыми и гончими,— молвит Иван Сергеич и выпьет.

— Целуй меня, лысый черт.

И поцелуются. А князь все на бочонке верхом. По одному каждого барина к себе подзывает, с полем поздравляет, из ковша водкой поит и с каждым целуется. После больших господ мелкопоместное шляхетство подзывает, потом знакомцев, что у него на харчах проживали.

А для подлого народу в сторонке сорокоуша готова. Народу немало, а винцо всякому противно, как нищему гривна: по малом времени бочку опростают.

Ковры на поляне расстелют, господа обедать на них усядутся, князь Алексей Юрьич в середке. Сначала о поле речь ведут, каждый собакой своей похваляется, об лошадях спорят, про прежние случаи рассказывают. Один хорошо сморозит, другой лучше того, а как князь начнет, так всех за пояс заткнет... Иначе и быть нельзя; испокон веку заведено, что самый праведный человек на охоте что ни скажет, то соврет.

— Нет,— молвил князь Алексей Юрьич,— вот у меня лошадь была, так уж конь. Аргамак персидский, настоящий персидский. Кабинет-министр Волынский, когда еще в Астрахани губернатором был, в презент мне прислал. Видел ты у меня его, честный отче?

— А какой же это аргамак? Что-то не помню я у тебя, князь Алексей, такого.

— Э! нашел я спросить кого, точно не знаю, что ты до седых волос в недорослях состоишь и Питера, как черт ладану, боишься... Так вот аргамак был. Каковы были кони у герцога курляндского, и у того такого аргамака не бывало. Приставал не один раз курляндчик ко мне, подари да подари ему аргамака, а не то бери за него, сколь хочешь.

— Что же, продали, князь? — спросил Суматев, Сергей Осипыч, тоже барин большой.

— Эх, ты, голова с мозгом! Барышник, что ли, я конский, аль цыган какой, что стану лошадьми торговать? В курляндском герцогстве тридцать четыре мызы за аргамака мне владеющий герцог давал, да я и то не уступил. А когда регентом стал, фельмаршалом хотел меня за аргамака того сделать,— я не отдал.

— Ну уж и фельдмаршалом! — усмехнулся Иван Сергеич.

— Да ты молчи, лысый черт, коли тебя не спрашивают. Знаешь, что во многоглаголании несть спасения, потому и молчи... Просидел век свой в деревне, как таракан за печью, так все тебе в диковину... Что за невидаль такая фельдмаршал?.. Не бог знает что!.. Захотел бы фельдмаршалом быть, двадцать бы раз был. Не хочу да и все.

— Полно-ка ты, князь Алексей. Ну что городишь? Слушать даже тошно... Ну как бы ты стал полки-то водить, когда ни в единой баталии не был.

— Ври да не завирайся, честный отче! — крикнет на то князь Алексей Юрьич.— Как я в баталиях не бывал? А Очаков-от кто взял? А при Гданске кто викторию получил?.. Небось, Миних, по-твоему? Как же!.. Взять бы ему без меня две коклюшки с половиной!.. Принял только на себя, потому что хитер немец, везде умеет пролезть... А я человек простой, вязаться с ним не захотел. Ну, думаю себе, бог с тобой, обидел ты меня, да ведь господь терпел и нам повелел... И отлились же волку овечьи слезки! Теперь проклятый немец в Пелыме с ледяными сосульками воюет, а мы вот гуляем да красного зверя травим!.. Да!

И подвернись на грех Постромкин, Петр Филипыч, из мелкопоместных. Служил в полках, за ранами уволен от службы. Вступись он за Миниха — под командой у него прежде служил.

Как вскочит князь Алексей Юрьич, пена у рта.

— Ах, ты, шельмец! — закричал.— Смеешь рот поганый распускать... Эй, вы!.. Вздуть его!

Выпил ли чересчур Петр Филипыч, азарт ли такой нашел на него, только как кинется он на князя, цап за горло, под себя, да и ну валять на обе корки.

— Смеешь ты, говорит, честного офицера шельмецом обзывать!.. Похвальбишка ты паскудный!.. Да я сам, говорит, тебя вздую.

И вздул.

А князь:

— Полно, полно, Петр Филипыч... Больно ведь!.. Перестань... Лучше выпьем!.. Я ведь пошутил, ей-богу, пошутил.

И с той поры приятели сделались. Водой не разольешь.

Наедут, бывало, на вотчину Петра Алексеича Муранского. Барин богатый, дом полная чаша, но был человек невеселый, в болезни да в немощах все находился. А с молоду «скосырем» слыл и, живучи в Питере, на ассамблеях и банкетах так шпынял * больших господ, барынь и барышень, что все речей его пуще огня и чумы боялись. С Минихом под туркой был, под Очаковым его искалечили, негоден на службу стал и отпросился на покой. Приехал в деревню и ровно переродился. Был одинок, думали — женится, а он в святость пустился: духовные книги зачал читать, и хоть не монах, а жизнь не хуже чернорizца повел. Много добра творил, бедным при жизни его хорошо было: только все это узналось лишь после кончины его, для того, что милостыню творил тайную. И такой был мудреный человек, что всем на удивленье! Была псарня, на охоту не ездил; были музыканты, при нем не играли; ни пиров, ни банкетов не делал; сам никуда, кроме церкви, ни ногой и холопям никакого удовольствия не делал, не поил их, не бражничал с ними... И что же? И господа и холопи как отца родного любили его. Недаром князь Алексей Юрьич «чудотворцем» его называл. А другие колдуном считали Муранского.

К нему, бывало, охотой двинутся. Табор-от в поле останется, а князь Алексей Юрьич с большими господами, с шляхетством, с знакомцами, к Петру Алексеичу в Махалиху, а всего поедет человек двадцать, не больше.

* Шпынять — подсмеиваться, острить.

Петр Алексеич примет гостей благодушно, выйдет из дома на костылях и сядет с князем рядышком на крылечке. Другие одаль — и ни гу-гу.

— Ну, чудотворец,— скажет, бывало, князь Алексей Юрьич,— мы к тебе заехали потрапезовать: припасы свои, нынче ведь пятница, опричь луку да квасу у тебя, чай, нет ничего. Благослови на мясное ястие и хмельное питие!.. Эй, ты, честный отче!.. Лысый черт!.. Куда запропастился?

А Иван Сергеич чинным шагом выступает с задворка, ровно утка с боку на бок переваливается. Маленький был такой да пузатенький.

— Здравствуйте, говорит, государь мой, Петр Алексеич. Как вас господь бог милует? Что ты, князь Алексей, меня кликал! Аль заврался в чем-нибудь, так на выручку я тебе понадобился?

— Я-те заврусь! У меня, лысый черт, ухо востро держи. Проси-ка вот лучше у чудотворца на трапезу благословенья... Эх! да ведь у меня из памяти вон, что ты, честный отче, раскола держишься — сам сегодня ради пятницы, поди, на сухарях пробудешь? Нельзя скоромятины — выгорецкие отцы не благословили.

И пойдут перекоряться, а Петр Алексеич молчит, только ухмыляется.

— Пошпыняй ты его хорошенько, пошпыняй лысого-то черта,— скажет князь Алексей Юрьич,— вспомни старину, чудотворец!.. Помнишь, как, бывало, на банкетах у графа Вратиславского всех шпынял.

— Полно-ка, миленький князь,— ответит Петр Алексеич.— Мало ль чего бывало? Что было, голубчик, то былью поросло. А обед вам готов; ждал ведь я гостей-то... Еще третьего дня пали слухи, что ты с собаками ко мне в Махалиху едешь. Милости просим.

— Ну, вот за это спасибо, чудотворец. Погреба-то вели отпереть, не то ведь — народ у меня озорной, разбойник на разбойнике. Неровен час: сам двери вон — да без угощенья, что ни есть в погребу, и выхлебают. Не вводи бедных во грех — отдай ключи.

— Ох ты, проказник, проказник, миленький мой князинька! — с усмешкой промолвит Петр Алексеич.— Что с тобой делать!.. Пахомыч!

Подойдет ключник Пахомыч.

— Отдай княжим людям ключи от второго, что ли,

погреба. Пускай утешаются. Да молви дворецкому: гости, мол, есть хотят.

Из табора нагрянут и выпьют весь погреб. А в погребе сорокоуша пенного да ренское, наливки да меды. А погребов у Муранского было с десяток.

Посередь Заборья, в глубоком поросшем широколистным лопушником овраге, течет в Волгу речка Вишенка. Летом воды в ней немного, а весной, когда в верхотинах мельничные пруды спустят, бурлит та речонка не хуже горного потока, а если от осеннего паводка сорвет плотины на мельницах, тогда ни одного моста на ней не удержится, а на день или на два нет через нее ни перехода, ни переезда.

Раз, напировавшись у Муранского, взявши после того еще поля два либо три, князь Алексей Юрьич домой возвращался. Гонца наперед послал, было б в Заборье к ночи сготовлено все для приема больших господ, мелкого шляхетства и знакомцев, было б чем накормить, напоить и где спать положить псарей, доезжачих охотников.

Ветер так и рвет, косой холодный дождик так и хлещет, тьма — зги не видно. Подъезжают к Вишенке — плотины сорваны, мосты снесены, нет пути ни конному, ни пешему. А за речкой, на угоре, приветным светом блещут окна дворца Заборского, а налево, над полем, зарево стоит от разложенных костров. Вкруг тех костров псарям, доезжачим, охотникам пировать сготовлено.

Подъезжает стремянный, докладывает: «нет переезду!..»

— Броду! — крикнул князь.

Стали броду искать — трое потонуло. Докладывают...

— Броду!.. — крикнул князь зычным голосом,— Не то всех перепорю до единого!— И все присмирели. лишь вой ветра да шум разъяренного потока слышны были.

Еще двоих водой снесло, а броду нет.

— Бабы!..— кричит князь.— Так я же вам сам брод сыщу!

И поскакал к Вишенке. Нагоняет его Опарин, Иван Сергеич, говорит:

— Ты богатырь, то всем известно... Ты перескочишь, за тобой и другие... Кто не потонет, тот переедет... А со-

баки-то как же? Надо ведь всех погубить. Хоть Пальму свою пожалей.

А Пальма была любимая сука князя Алексея Юрьича — подаренье приятеля его, Дмитрия Петровича Палецкого.

— Правду сказал, лысый черт,— молвил князь, остановив коня.— Что ж молчал?.. Пятеро ведь потонуло!.. На твоей душе грех, а я тут ни при чем.

Поворотил коня, стегнул его изо всей мочи и крикнул:

— В монастырь!.

А монастырь рядом, на угоре. Был тот монастырь строенье князей Заборовских, тут они и хоронились; князь Алексей Юрьич в нем ктитором был, без воли его архимандрит пальцем двинуть не мог. Богатый был монастырь: от ярмонки большие доходы имел, от ктитора много денег и всякого добра получал. Церкви старинные, каменные, большие, иконостасы золоченой резьбы, иконы в серебряных окладах с драгоценными камнями и жемчугами, колокольня высокая, колоколов десятков до трех, большой — в две тысячи пуд, риз парчовых, глазетовых, бархатных, дородоровых множество, погреба полнехоньки винами и запасами, конюшни — конями доброезжими, скотный двор — коровами холмогорскими, птичный — курами, гусями, утками, цесарками.

А порядок в монастыре не столько архимандрит, сколько князь держал. Чуть кто из братии задурит, ктитор его на конюшню. Чинов не разбирал: будь послушник, будь рясофор, будь соборный старец — всяк ложись, всяк поделом принимай воздаянье. И было в Заборском монастыре благостроение, и славились старцы его велиим благочестием.

Только что решил князь в монастыре ночлег держать, трое вершников поскакали архимандрита повестить. Звон во все колокола поднялся...

Подъехали. Святые ворота настежь, келарь, казначей, соборные старцы в длинных мантиях по два в ряд. По сторонам послушники с фонарями. Взяли келарь с казначеем князя под руки, с пением и колокольным звоном в собор его повели. За ними большие господа, шляхетство, знакомцы. Псари, доезжачие, охотники по широким монастырским дворам, костры разложили — отец казначей бочку им выкатил. Греются — христос с ни-

ми— под кровом святой обители Воздвижения честного и животворящего креста господня... А собаки вкруг них тут же отдыхают, чуя монастырскую овсянку. Отец эконом первым делом распорядился насчет собачьего ужина... Знал старец преподобный, сколько милы были псы сердцу ктитора честныя обители... Оттого и заботился...

В церкви князя встретил архимандрит соборне, в ризах, с крестом и святою водою. Молебен отпели, к иконам приложились в трапезу пошли. И там далеко за полночь куликали.

Разместились гости, где кому следовало, а князь с архимандритом в его келье лег. Наступил час полуночный, ветер в трубе воет, железными ставнями хлопает, по крыше свистит. Говорит князь шепотом:

— Отче архимандрит... Отче архимандрит... Спишь аль нет?..

— Не сплю, ваше сиятельство. А вам что требуется?

— Страх что-то берет!.. Что это воет?..

— Ветер,— говорит архимандрит.

— Нет, отче преподобный, не ветер это, другое что-нибудь.

— Чему же другому-то быть? — отвечает архимандрит.— Помилуйте, ваше сиятельство! Что это вы?

— Нет, отче святый, это не ветер... Слышишь, слышишь?..

— Слышу... Собаки завыли.

— Цыц, долгогривый!.. Собак тут нашел!.. Слышишь?.. Душа Палецкого воет... Знал ты Палецкого Дмитрия Петровича?

— Разве могут души усопших выть? — молвил архимандрит.

— Это не говори... Не говори, отче преподобный... Мало ль что на свете бывает!.. Это Палецкий!.. Он воет!.. Слышишь? Упокой, господи, душу усопшего раба твоего Дмитрия... Страшно, отче святый!.. И лампадка-то у тебя тускло горит.. Зажги свечу!..

— Зажгу, пожалуй,— молвил архимандрит.— Да полноте, ваше сиятельство. Как это не стыдно и не грех?

— Толкуй тут, а я знаю... Это меня зовет Палецкий... Скоро, отче, придется тебе хоронить меня.

— Что это вам на ум пришло? — говорит архимандрит.— Конечно, памятование о смертном конце спаси-

тельно, да ведь и суеверие греховно... Уж если о смерти помышлять, так лучше бы вашему сиятельству о своих делах подумать.

— А что мои дела?.. Какие дела?.. Украл, что ли, я у кого?.. Позавидовал кому?.. Аль мало вкладов даю тебе на монастырь, подлая твоя душа, бестыжие поповские глаза!.. Нет, брат, шалишь! На этот счет я спокоен, надеюсь на божье милосердие... А все-таки страшно...

— То-то страшно: страшен-то грех, а не смерть... Так-то ваше сиятельство,— молвил архимандрит.

— Привязался, жеребячья порода, с грехами, что банный лист! И говорить-то с тобой нельзя. Тот час начнет городить черт знает что... Давай спать, я и свечку потушу.

— Спите с богом, почивайте, покойной ночи вашему сиятельству,— проговорил архимандрит.

Замолчали, и ветер маленько стих. А князь Алексей Юрьич все вздыхает, все на постели ворочается. Опять завыл ветер.

— Что это все воздыхаете, ваше сиятельство? — спросил архимандрит.

— О смертном часе, отче святый, воздыхаю. Слышишь?.. Слышишь?.. Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия!.. Его голос...

— Да это собака завыла.

— Собака?.. Да... Да... Собака, точно собака... Только постой!.. погоди!.. Пальма — ее голос... А Пальма Палецкого подаренье.. это — она его душу чует, ему завывает... А это?.. Да воскреснет бог и расточатся врази его!.. Это что? Собака, по-твоему, собака?

— Ветер в трубе.

— Ветер!.. Хорош ветер!.. Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия!.. Хороший был человек, славный был человек, любил я его, душа в душу мы с ним жили... Еще в Петербурге приятелями были, у князя Михайлы ознакомились, когда князь Михайла во времени был. Обоим нам за одно дело и в деревни велено... Все, бывало, вместе с ним... Ох, господи!.. Страшно, отче святый!..

— Полноте, ваше сиятельство, перестаньте... Вы бы перекрестились да молитву сотворили. От молитвы и страх и ночное мечтание яко дым исчезают... Так-то...

— Молюсь... молюсь, отче преподобне... Прости, господи, согрешения мои, вольные и невольные... Опять

Пальма!.. Чует, шельма, старого хозяина!.. Яже словом, яже делом, яже ведением и неведением!.. Видишь ли, отче, когда умирал Дмитрий Петрович, царство ему небесное, при нем я был... И он, голубчик, взял меня за руку, да и говорит: «нехорошо, князинька, мы с тобой жили на вольном свету, при смерти вспомнишь меня»... Да с этим словом застонал, потянулся, глядь — не дышит... Ох, господи!.. Чу!.. Поминает, что смерть подходит ко мне... Слышишь, отче?..

— Одно суеверие,— сказал архимандрит.— Предзнаменованиям веры давать не повелено... Кто им верит — духу тьмы верит... Пустяками вы себя пугаете.

— У тебя все пустяки!.. Нет, отче святый, разумею аз, грешный, близость кончины: предо мной стоит... Слышишь?.. Скоро предамся червям на съедение, а душу неведомо како устроит господь.

— Да отчего это вам в голову пришло?

— Мало ль отчего?.. И Палецкий воет, и Пальма воет, и сны такие вижу... Сказано в писании: «старцы в сониях видят». У пророка Иоиля сказано то! А мне седьмой десяток, стало быть, я старец... Старец ведь я, старец?..

— Дело не молодое,— молвил архимандрит.

— Так видишь ли: «старцы в сониях видят». А что я вечор во сне видел?.. С Машкой-скотницей венчался... Видеть во сне, что венчаешься — смерть.

— Полноте, греховодник вы этакий!

— Тебе все полно да полно! Не тебе, чернохвостнику, в гроб-от ложиться... А это, по-твоему, тоже «полно», что намедни Дианка тринадцатью ощенилась? Да еще одного трехпалого принесла, сам борзой, щипец ровно у гончей, и без правила. Это, по-твоему, тоже ничего?

— Не повелено, ваше сиятельство...

— Да ты молчи, коль я с тобою говорю, черт ты этакий!.. По-твоему и это ничего, что нынешнего года в самое мое рожденье зеркало в гостиной у меня лопнуло?..

— Слышал я, что сами же свечу под то зеркало подставили.

— Врешь, отче преподобный, ничего ты не смыслишь!.. Коли зеркало лопнуло — кончено дело. Тут уж, брат, как ни вертись — от смерти не отвертишься. А тебе все ничего... Ты, пожалуй, скажешь, и это ничего, что намедни ко мне воробей в кабинет залетел?.. По-твоему,

и это ничего, что на прошлой неделе нас ужинать село тринадцать?.. Отсчитал от себя тринадцатого — вышел Скорняков. Знаешь Скорнякова? В знакомцах у меня проживает — рыжий такой, губа сеченая... Думаю, пусть же над ним надо псом оборвется тринадцатый. Велел ему пить — жизнь бы свою тут же покончил, собака... С полведра вылакал, бестия, без памяти под стол свалился, ни духу, ни послушания. «Ну, думаю, слава тебе, господи — опился. Тринадцатый-то, значит, он...» Что ж ты думаешь?.. На другой день поутру глядь, а он в буфете похмеляется... Так меня варом и обдало!.. Кто ж, по-твоему, тринадцатый-то вышел?.. А?..

— Великий грех суевериям предаваться,— говорил архимандрит.

— А ты молчи, жеребячья порода!.. Видишь, к смертному часу готовлюсь, так ты молчи... Слышишь!.. Опять Палецкий!.. А вот и Пальма его учуяла!.. Страшно!.. Помолись обо мне, отче преподобный, не помяни моих озлоблений, помолись за меня, за грешного, простил бы господь прегрешения мои, вольная и невольная... Молись за меня, твое дело. Еще году не прошло, большой вклад тебе положил, колокол вылил — значит, не даром прошу святых молитв твоих... Духовную писал, душеприказчиком тебя сделал. Сам знаешь, опричь тебя такого дела поручить некому, народ все пьяный, забулдыжный... Так уж я тебя... Помру, положи ты меня в ногах у родителя моего, князя Юрия Никитича; сорок обеден соборне отслужи за меня, в синодик запиши в постенной и в литейной, чтобы братия по все годы молилась за меня беспереводно. А панихиды по мне петь: на день преставления моего да пятого октября, на день московских святителей Петра, Алексия, Ионы — ангела моего день,— и служить те панихиды каждый год беспереводно... И в те дни корм на братию и велие утешение... Так и вели записать в синодик, и те бы архимандриты, которые после тебя будут, ведали и чинили по моему завещанию каждый год безо всякия порухи. А душу свою тебе поручаю. Будь ты на покон моей души помянник, умоли ты господа бога об отпущеньи грехов моих, будь моим ходатаем, будь моим молитвенником, изведи из темницы душу мою...

И, заливаясь слезами, повалился в ноги архимандриту, ноги у него и срачицу целует, а сам так и рыдает.

Архимандрит утешает его, а князь так и разливается, плачет.

— Получишь ты по духовной большие деньги, сколько получишь, теперь не скажу: не добро хвалитися о делах своих... Четверть тех денег себе возьми, делай на них, что тебе господь на сердце положит; другой четвертью распорядись по совету с братиею, как устав велит... На соборе-то главы позолоти, совсем ведь облезли; говорил я тебе, и денег давал, и бранился с тобой, а тебе все неймется, только и слов от тебя: «лучше на иную потребу деньги изведу»... А владычице жемчужный убрус устрой, жемчуг княгиня Марфа Петровна выдаст, да выдаст она еще тебе пять пудов серебряного лому, из того лому ризы во второй ярус иконостаса устрой. В Москве закажи... Зубрилову серебрянику не сметь заказывать; я еще с ним, с подлецом, покамест жив, разделаюсь... Отведает, каналья, вкусны ль заборские кошки бывают... Представь ты себе, отец архимандрит, на ярмонке смел он, шельмец, до моего парадного выезду лавку открыть. Счастлив, что тотчас же уехал, а то б я ему штук пятьсот середь ярмонки-то влепил бы.

Под это слово ставень — хлоп! Побледнел князь, задрожал.

— Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия!.. За мной пришел. Слышал?..

— Ставень хлопнул,— ответил архимандрит.

— У тебя все ставень!.. У тебя все... А Пальма-то, Пальма-то так и завывает!

— Да полноте же, ваше сиятельство!.. Как это не стыдно?.. Ровно баба деревенская.

— Ругаться, черт этакий?..— во все горло закричал князь и кулаки стиснул.— Не больно ругайся, промозглая кутья!.. Кулак-от у меня бабий?.. Ну-ка, понюхай.

И поднес кулачище к архимандричьему носу.

— Ложитесь-ка лучше с богом на спокой... Давно уж пора,— кротко и спокойно промолвил архимандрит.

— Без тебя знают!.. «Баба»!.. Дам я тебе бабу, долгогривый черт!.. Ох, господи, помилуй, опять Пальма... Нет, отче святый, надо умирать, скоро во гроб положишь меня, скоро в склеп поставят меня, темно там... Сыро... Ох, господи, помилуй, господи, помилуй!.. Да!.. Ведь я не докончил тебе про духовную-то... Третью четверть денег раздай по всей епархии протопопам, попам,

дьякам, пономарям и иным, сколько их есть, причетникам по рукам, каждому дьякону против попа половину, каждому причетнику против дьякона половину. И закажи ты им, и попроси ты их, усердно бы молились всемилостивому спасу и пресвятой богородице о прощении грешной души раба божия князя Алексия, искупили бы святыми молитвами своими велия моя прегрешения... Кирчагинскому дьякону не смей ни копейки давать!.. Вздумал на меня в губернскую канцелярию челобитну подать?.. Поле, слышь, у него я вытоптал, корову застрелил!.. Там разве хотел я у него хлеб-от топтать? Виноват разве я, что заяц в овес к нему кинулся?.. Упускать русака-то ради дьяконского овсишка?.. А корову?.. Разве сам я стрелял?.. Со мной вон сколь всякой сволочи ездит, усмотришь разве за всеми?.. Усмотришь разве?.. Нет, ты скажи, отче преподобный, можно ль за этими дьяволами усмотреть?.. А?.. Можно?.. Да ты молчи, коли я говорю, губы-то не распускай: во многоглаголании несть спасения, так ты и молчи... Нечего тебе рассказывать: к духовному чину завсегда решпект имею, потому что вы наши пастыри и учители теплые об нас молитвенники, очищаете нас, окаянных, в бездне греховной валяющихся, ото всякие мерзости и нечистоты... Оттого даже ни один пономарь отродясь в Заборье на конюшне у меня не бывал... А кирчагинский помни!.. Помни, подлый кутейник, овес да корову... Еще доберусь до шельмеца!.. Останную четверть денег изведи на похороны... Покрова не покупай, в Париж к двоюродному брату, князь Владимиру, посланы деньги, самой бы наилучшей лионской парчи там купил. Боюсь только, не спустил бы мои денежки в фаро. В Версали большую игру ведет. Ему, шалопаю, и в голову не может прийти, что по его милости могу я на тот свет голышом пред богом предстать... Прошлого года просил его купить сочинения Вольтера да гобеленов в угольную. До сих пор не шлет... Шапку архимандричью устрой себе, у княгини Марфы Петровны жемчугов и камней спроси,— давно ей от меня приказано... А не княгиню, так капральшу крутихинскую спроси, она тоже знает... Да делай шапку-то поразвалистей, а то срам глядеть на тебя — в каких шапках ты служишь: ни фасону, ни красоты, нет ничего... На похороны все шляхетство созови, и столповых, и молодых, и мелкопоместных; хорошенько помянули бы меня

за упокой... Белавина Федьку не смей только звать... Он меня знать не хочет, и я его знать не хочу... Эка важна персона!.. А тоже сердце имеет!.. Поучил я его прошлого года маленько, так он и губу надул... Да это бы наплевать, я бы за это и вспороть его мог. В Петербург что-то писал про меня. До двора дошло; отписывали мне, будто по этому делу на куртаге говорили про меня немилостиво. А я ведь хоть не в опале, да и не во времени... Много ль надо меня уходить... Будь это при втором императоре, будь при владеющем курляндском герцоге — я бы Федьку в рудниках закопал,— а теперь я что?.. В подлости нахожусь — не хуже тебя долгогривого... Оттого и махнул я рукой на Белавина... Что с дураком связываться? наплевать да и все тут... А ведь поучил-то его за что?.. Ради его же души спасения... Видишь ли, как было дело: обедал Федька у меня в воскресенье, великим постом. Сам знаешь, большие посты я соблюдаю, устав тоже знаю... Подают кушанье как следует: вино, елей, злаки и от черепокожных. А Федька Белавин, когда подали стерляжью уху, при всех и кричит мне с другого конца стола: «вы, говорит, ваше сиятельство, сами-то постов не соблюдаете, да и гостей во грех вводите».— «Что заврался, говорю, в чем ты грех нашел?» — «А в этом»,— говорит да на стерлядь и показывает. Велел подать «Устав о христианском житии», подозвал Федьку Белавина: «Читай, говорю, коли грамоте знаешь». А он: «Тут писано про черепокожных, сиречь про устерсы, черепахи, раки и улитки, яже акридами нарицаются». Зло меня взяло, слыша такое ругательство над церковью божиею... Как?.. Чтобы нам святыми отцами заповедано было снедать такую гадость, как улитки?.. А Федька богомерзкий свое несет, говорит: «Стерлядь — рыба, черепа на ней нет». Поревновал я по «Уставе», взял стерлядку с тарелки да головой-то ему в рыло.— «Что, говорю, есть череп, иль нет?» Кровь пошла — рассадил ему рожу-то. Только всего и было... Не драл его, не колотил, волосом даже не тронул, об его же спасении поревновал, чтобы в самом деле, по глупости своей, не вздумал христианскую душу скверно улиткой поганить... Так поди ж ты с ним... В доносы пустился: дивлюсь еще, как *слово* и *дело* не гаркнул... Погубить бы мог, шельмец... Плюнул я на Федьку, знаться с дураком не хочу и на поминках моих кормить нечестивую

утробу его не желаю. Не зови его, отче святый, никак не зови... Позовешь, будем с тобой на том свете перед истинным спасом судиться. Помни же это... Мне что!.. Господь с ним, с Белавиным, меня, маленького человека, обидеть легко, а каково-то ему на том свете будет... Вот что!.. Ну, давай спать, старина.

Ветер затих. По малом времени и князь и архимандрит захрапели.

На заре проснулся князь Алексей Юрьич, говорит архимандриту:

— Надо мне, отче, на тот свет собираться. Надо, как ты ни мудри. Только заснул я, Палецкий в овраге стоит и Пальма с ним, а в овраге жупель огненный, серой пахнет... Стоит Палецкий да меня к себе манит, сердце даже захолонуло...

— Что ж такое? — спросил архимандрит.

— Говорит: «подь сюда; сколь вору ни воровать, виселицы не миновать»... Ужаснулся я, отче, пот холодный прошиб меня, проснулся, а он воет, и Пальма воет... Нет, отче преподобный, вижу что жить мне недолго: сегодня же князю Борису пишу, ехал бы в Заборье скорей, мать бы свою не оставил, отца бы предал честному погребенью... Шабаш охота!.. Поеду от тебя прямо домой — с женой проститься, долг христианский исполнить. Приезжай вечерком исповедать меня, причастить... На своих приезжай, мои-то кони в разгоне... Свадьбу сегодня у меня справляют... Устюшку-то замуж выдаю. Знаешь Устюшку-то мою? Маленькая такая, чернявенькая... ух, горячая девка какая!.. Так уж ты, отче святый, на своих приезжай, к непостыдной кончине готовить меня многогрешного...

— Слушаю, ваше сиятельство, слушаю, беспременно приеду, не премину,— говорит архимандрит.— А к княгине Марфе Петровне поезжайте, примиритесь с нею по-христиански: знаю ведь я, что вот уж шестой год как вы слова с ней не перемолвили... Замучилась она, бедная!

— Что княгиня?.. Баба!.. Бабе плеть...

— Эх, ваше сиятельство!.. Чем бы суевериям предаваться да сны растолковывать, лучше бы вам настоящим делом о смертном часе помыслить, укрощать бы себя помаленьку, с ближними бы мириться.

— Что мне с ними мириться-то!.. Обидел, что ли, я кого?.. Курица, и та на меня не пожалуется!.. А

страшно, отче преподобне!.. Ох, голова ты моя, головушка!.. Разума напиталась, к чему-то приклонишься?.. В монахи пойду.

— Княгиню-то куда же?

— Ну ее к бесу! Мне бы свою-то только душу спасти... А она как знает себе, черт с ней.

— Ах, ваше сиятельство, ваше сиятельство!.. Что с вами делать? Не знаю, что и придумать.

— «Что делать? Что делать?..» — передразнил князь архимандрита. — Ишь какой недогадливый!.. Да долго ль, в самом деле, мне просить молитв у тебя?.. Свят ты человек пред господом, доходна твоя молитва до царя небесного? Помолись же обо мне, пожалуйста, сделай милость, помолись хорошенько, замоли грехи мои... Страшен ведь час-от смертный!.. К дьяволам бы во ад не попасть!.. Ух, как прискорбна душа!.. Спаси ее, отче святый от огня негасимого...

И заплакал, и упал к ногам архимандрита... Ноги у него целует, говорить не может от душевного смирения, от сердечного умиления.

Вдруг за оградой гончие потянули по зрячему... Грянули рога на зверя на красного... Как вскочит князь!

— На-конь! — крикнул в окно зычным голосом.

И, кое-как одевшись, не простясь с архимандритом, метнулся на крыльцо и вскочил на лошадь...

Во весь опор помчалась за ним охота к оврагу Юрагинскому.

VI

КНЯГИНЯ МАРФА ПЕТРОВНА

Много горя натерпелась в свою жизнь княгиня Марфа Петровна, мало красных дней на долю ей выпало, — великая была мученица, — царство ей небесное!

Родитель ее, князь Петр Иваныч Тростенский, у первого императора в большой милости был. Ездил за море иностранным наукам обучаться, а воротясь на Русь, больше все при государе находился. В Полтавской баталии перед светлыми очами царскими многую храбрость оказал, и, когда супостата, свейского короля, побили, великий государь при всех генералах целовал князя Тростенского и послал его на Москву с отписками о дарованной богом виктории.

Отпуская в путь, дал ему государь письмо к старому боярину Карголомскому. А тот Карголомский жил по старым обычаям. И с бородой не пожелал было расстаться, но когда царь указал, волком взвыл, а бороды себя лишил. Зато в другом во всем крепко старинки держался. Был у него сын, да под Нарвой убили его, после него осталась у старика Карголомского внучка. Ни за ним, ни перед ним никого больше не было. А вотчин и в дому богатства — тьма тьмущая.

Отдает великий государь письмо князю Тростенскому, сам такой приказ ему сказывает:

— Будучи на Москве, изволь отдать письмо Карголомскому, и что в том письме писано, изволь, с своей стороны, чинить по нашему указу. В накладе не будешь... — Да поцеловавши князя в лоб, примолвил: — С богом.

Приехавши на Москву, подал князь Петр Иваныч царское письмо Карголомскому. Прочитал старик, охнул, затрясся, пот на лбу у него выступил. Положив три земных поклона перед спасовым образом, сказал князю Тростенскому:

— Воля государева, а мы все его да божьи.

А в государеве письме было писано:

«Понеже господин майор князь Тростенский в европейских христианских государствах науке воинских дел довольно обучался и у высоких потентатов при наших резидентах не малое время находился, ныне же во время преславной, богом дарованной нам над свейским королем виктории великую храбрость пред нашими очами показал, того ради изволь выдать за него в замужество свою внуку, и тем делом прошу поспешить. А дело то и вас всех поручаю в милость всевышнего».

Горька пришлась свадьба старику Карголомскому: видел он, что нареченный его внучек — как есть немец-немцем, только звание одно русское. Да ничего не поделаешь: царь указал. Даже горя-то не с кем было размыкать старику... О таком деле с кем говорить?.. Пришлось одному на старости лет тяжкую думушку думать. Не вытерпел долго старик — помер.

Молодые жили душа в душу. Великий государь и родные, глядя на них, не могли нарадоваться. Через год после Полтавской баталии даровал им господь княжну Марфу Петровну. Конца не было радостям. Сам го-

сударь княжну изволил от святой купели принимать и когда стала она подрастать, все, бывало, нет-нет, а у отца и наведается, чему крестница обучается и каково ей наука дается. Ливонскую немку сам приставил ходить за ней, пленного шведа пожаловал для обучения княжны всякой науке и на чужестранных языках говорить, француза для танцев сам князь от себя наймовал. Придет, бывало, великий государь к князю Тростенскому — а езжал к нему нередко,— анисовой спросит, кренделем закусит и велит княжну к себе привести, почнет ее расспрашивать чему дареный швед выучил, по-чужестранному заговорит с ней, менуэт заставит проплясать, а потом поцелует в лоб да примолвит: «Расти, крестница, да ума копи, вырастешь большая — мое будет дело жениха сыскать». Не сподобил царя господь при себе пристроить крестницу: пятнадцати годочков княжне не минуло, как взял к себе бог первого императора.

По восьмому годочку осталась княжна после матери, а родитель через полгода после великого государя жизнь скончал. Оставалась княжна сироточкой, кровных, близких, родных нет никого, одна, что хмелинка без тычинки, и нет руки доброй, ласковой, поддержал бы сиротство да малость ее... За опекой дело не стало — сирота богатая, не объест... Взяла княжну тетка ее внучатная — княгина Байтерекова. Стала с ней княжна во дворец на куртаги ездить, на ассамблеи к светлейшему Меншикову, к графу Головкину, к князю Куракину, а к иным знатным персонам на балы, на банкеты, и с визитою. И не было в Питере подобных красавиц и разумниц, как княжна Марфа Петровна Тростенская.

В коем дому невеста богатая, в том дому женихи, что комары на болоте толкутся. Так в старые годы бывало, так повелось и в нынешни дни... У княжны отбою от женихов не было, а были те женихи из самых знатных родов, а которы не родословны, иль родов захудалых, те знатные чины при дворе иль в гвардии имели. Однако княжна хоть и молоденька была, но честь свою наблюдала крепко, многие ею «заразились», а она благосклонности никому не показала.

Девьеров сын, Петр Антоныч, был счастливей других. На куртагах княжну на любовь склонил, через тетку Байтерекову присватался, через отца своего доложил государыне... Перед обрученьем Екатерина Алексеевна

изволила княжну иконой благословить, а свадьбу велела отложить, пока не пошлет ей господь облегченья. Была государыня нездорова, а крестницу первого императора сама хотела замуж отдать и тем обещанье Петра Великого выполнить.

Ждут жених с невестой месяц, ждут другой, третий, царице все хуже да хуже. Болезнь становилась прежестокая, стали тихомолком поговаривать, вряд ли поднимет царицу господь. А кому, отходя сего света, земное царство откажет, не ведал никто. И печальны все были... Не до пиров, не до свадеб... Государыня едва дух переводила, как женихова отца, графа Девьера, взяли под караул... Дом его опечатали, к княгине Байтерековой драгунский капитан приезжал: все вещи княжны Тростенской пересмотрел, какие письма от жениха к ней были, все отобрал, а самой впредь до указу никуда не велел из дома выезжать.

Перед вешним Николой, дня за три, по Питеру беготня пошла: знатные персоны в каретах скачут, приказный люд на своих на двоих бежит, все ко дворцу. Солдаты туда же маршируют, простой народ валит кучами... Что такое?.. Царицы не стало, бегут узнать, кто на русское царство сел, кому надо присягу давать. Услыхавши ту весть, княжна на пол так и покатилась... Ввечеру сказали: женихова отца кнутом бить, чести, чинов, имения лишить и послать в Сибирь, а жениха в дальнюю деревню вместе с его матерью. И родную сестру не пожалел светлейший Меншиков.

И проститься жениху с невестой не дали. Хотела было княжна с другом своим в несчастие ехать, да тетка Байтерекова и многие другие знатные персоны ее отговорили.

Год прошел; новый царь со всем двором в Москву переехал. Байтерекова с племянницей туда же... Там приглянись княжна князю Заборовскому. Человек был уже не молодой, лет под сорок, вдовец, хоть и бездетный. Княжна и слышать про него не хотела. А князь Алексей Юрьич с государевым фаворитом, князем Иваном Алексеичем Долгоруким, в ближней дружбе находился... Стал ему докучать про невесту, фаворит доложил государю... И сказано было княжне: «крестный твой отец, первый император, дал тебе обещанье, когда в возраст придешь, жениха сыскать, но не исполнил того обещания, волею

божиею от временного царствования в вечное отыде, того ради великий государь, его императорское величество, памятуя обещание деда своего, указал тебе, княжне, Марфе Петровой дочери Тростенского, быть замужем за князем Алексеем княж Юрьевичем Заборовским».

Только что стала зима, на Москве торжества и пиры пошли. Сам государь с сестрой фаворита обручался, фаворит с Шереметевой, князь Заборовский с княжной Тростенской. Ровно знал князь Алексей Юрьич, что скоро перемена последует: только святки минули и свадьбы играть стало невозбранно, он повенчался с княжной.

Невеселая свадьба была: шла невеста под венец, что на смертную казнь, бледней полотна в церкви стояла, едва на ногах держалась. Фаворит в дружках был... Опоздал он и вошел в церковь сумрачный. С кем ни пошепчется — у каждого праздничное лицо горестным станет; шепнул словечко новобрачному, и тот насупился. И стала свадьба грустней похорон. И пира свадебного не было: по скорости гости разъехались, тужа и горюя, а о чем — не говорит никто. Наутро спознала Москва,— второй император при смерти.

Княгиня Марфа Петровна и до свадьбы и после свадьбы ходила словно в воду опущенная; новобрачный тоже день ото дня больше да больше кручинился... Про великого государя вести недобрые: все тяжелей становилось ему. А была в ту пору «семибоярщина». С семью верховными боярами и с фаворитом князь Заборовский заодно находился и каждый божий день во дворец к больному царю езжал. Только что великий государь преставился, пропал князь Алексей Юрьич, найти не могут, девался куда. Ни молодой княгине, ни в дому ничего не известно: пропал без вести да все тут. Месяца через два на Москве объявился: с Бироном вместе из Митавы приехал.

У курляндца все время в чести пребывал, сама царица Анна Ивановна великим жалованьем его жаловала. Оттого и княгиня Марфа Петровна при дворе безотменно находилась, и даже когда, бывало, сам-от князь отпросится от службы в Заборье гулять, княгиню Марфу Петровну государыня с мужем отпускать не изволила, каждый раз указ объявляла быть ей при себе. Сына родила княгиня Марфа Петровна, князь Бориса Алек-

сеича. Государыня изволила его от купели принять и в конную гвардию вахмистром пожаловать.

Мало радостей видала дома княгиня Марфа Петровна. Горькая доля выпала ей, доставалось супружество скорбно. Князь крутенек был, каждый день в доме содом и гомор. А приедет хмелен да распалится не в меру, и кулакам волю даст... Княгиня тихая была, безответная; только, бывало, поплачет.

С первого же году стал князь от жены погуливать: ливонские девки у него на стороне жили да мамзель из француженок. По скорости и в дому завелись барские барыни. И тут никому княгиня не жалобилась, с одной подушкой горевала.

Покамест в Питере жили, княгиня частенько езжала во дворец и в дома знатных персон. Весело ль было ей, нет ли, про то никому не известно. Только, живучи в Питере, она ровно маков цвет цвела.

Получивши прощенье, приехал в Петербург Девьеров сын. Свиделись... И с того часу в конец разлютовался князь на жену свою. Зачахла она и локоны носить перестала... Князь редко и говорить с нею стал, с каждым днем лютей да лютей становился... Пока сын подрастал, княгиня с ним больше время проводила. Хоть учителей из французов и немцев приставлено было к маленькому князю вдоволь, однако ж княгиня Марфа Петровна сама больше учила его и много за то от князя терпела; боялся он, чтоб бабой княгиня сына не сделала... Отпустивши его уж из Заборья в Питер на царскую службу, стала княгиня ровно свеча таять и с той поры жила, как затворница. Только ее и видали, что в именины да в большие праздники, когда, по мужнину приказу, во всем параде к гостям выходила... И тут, бывало, мало кто от нее слово услышит, все, бывало, молчит. Сидя почти-что безвыходно в своей горнице, книги читала, богу молилась, церковные воздухи да пелены шила. Гостей, бывало, наедет множество, господа и барыни с барышнями пляшут до полночи, а княгиня молится. Там музыка гремит, танцы водят, шумное пиршество идет, а княгиня на коленях перед образом... Сколько раз и спать приходилось ложиться ей не ужинавши: девки круг нее были верченые — бросят, бывало, княгиню одну и пойдут глазеть, как господа в танцах забавляют-

ся... Начала княгиня глазами болеть, книги читать стало ей невозможно.

Жил у князя на хлебах из мелкопоместного шляхетства Кондратий Сергеич Белоусов. Деревню у него сосед оттягал, он и пошел на княжие харчи. Человек немолодой, совсем богом убитый: еле душа в нем держалась, кроткий был и смиренный, вина капли в рот не бирал, во святом писании силу знал, все, бывало, над божественными книгами сидит и ни единой службы господней не пропустит, прежде попа в церковь придет, после всех выйдет. И велела ему княгиня Марфа Петровна при себе быть, сама читать не могла, его заставляла.

Выехал князь на охоту, с самого выезда все не задавалось ему. За околицей поп навстречу; только что успел с попом расправиться, лошадь понесла, чуть до смерти не убила, русаков почти всех протравили, Пальма ногу перешибла. Распалился князь Алексей Юрьич: много арапником работал, но сердца не утолил. Воротился под вечер домой мрачен, грозен, ровно туча громовая.

Письмо подают. Взглянул, зарычал аки лев... Зеркала да окна звенят, двери да столы трещат. Никто не поймет, на кого гнев простирает. Все по углам да молитву творят...

— Княгиню сюда! — закричал.

Докладывает гайдук Дормедонт: княгиня сверху сойти не могут, больны, в постели лежат. Едва вымолвил те слова Дормедонт: пал аки сноп. Пяти зубов потом не досчитался.

Сам вломился к княгине, Кондратий Сергеич возле постели сидит, житие великомученицы Варвары княгине читает.

— А! — зарычал князь.— И сына до того развратила, что на шлюхе женился, и сама с любовниками полуночничаешь!..

И дал волю гневу...

На другой день Кондратий Сергеич без вести пропал, а княгиня Марфа Петровна на столе лежала.

Пышные были похороны: три архимандрита, священников человек сто. Хоть княгиню Марфу Петровну и мало кто знал, а все по ней плакали. А князь, стоя у гроба, хоть бы слезинку выронил, только похудел за по-

следние дни да часто вздрагивал. Шесть недель нищую братию в Заборье кормили, кажду субботу деньги им по рукам раздавали, на человека по денежке.

В сорочины весь обед с заборским архимандритом князь беседу вел от писания. Толковали, как душу спасать, как должно Христов закон исполнять.

— Вот хоть бы покойницу мою княгинюшку взять,— со смирением и слезами говорил князь Алексей Юрьич: — уж истинно уготовала себе место светло, место злачно, место покойно в селении праведных... Что за доброта была, что за покорность!.. Да, отцы святии, нелицемерно могу сказать, передал я господу на пречистые руки его велию праведницу... Не по делом наградил меня царь небесный столь многоценным сокровищем. Всему нашему роду красой была, аки лоза плодовитая; в моем дому процветала, всем была изукрашена: смирением, послушанием, молчанием, доброумием, пощением, нищелюбием, нескверноложием... Единая у меня радость была!.. Ох, господи, господи!.. Уж каково мне, отцы святии, прискорбно, уж каково-то мне горько, и поведать вам не могу... Как я без княгинюшки останную-то жизнь стану мыкать?.. Кто дом мой изобильем наполнит?.. Кто за меня бога умолит?

Утешают князя архимандриты и попы словами душеполезными, а он сидит, кручинится, да так и разливается, плачет.

— Нет, говорит, отцы преподобные, прискорбна душа моя даже до смерти! Не могу дольше жить в сем прелестном мире, давно алчу тихого пристанища от бурь житейских... Прими ты меня в число своей братии, отче святый, не отринь слезного моленья; причти мя к малому стаду избранных, облеки во ангельский образ.— Так говорил архимандриту монастыря Заборского.

— Намерение благое, сиятельнейший князь, но дело божие должно творить с рассуждением,— отвечал архимандрит.

— Чего еще рассуждать-то?.. В накладе не останешься: сорок тысяч вкладу. Мало — так сто, мало — так двести! Копить мне некому.

— Сын у вас есть,— заметил другой архимандрит.

— Князь-от Борька?.. Да коль хочет он, шельмец, живым быть, так не смей ко мне на глаза казаться!.. И меня погубил, злодей, и матери своей смерть причинил!..

Осрамил, злодей, нашу княжую фамилию!.. Честь нашу потерял, всему роду князей Заборовских бесчестье нанес!.. Без спросу, без родительского благословенья на мелкой шляхтенке женился!.. Да ей бы, канальe, за великую честь было у меня за свиньями ходить!.. Убил, шельмец, скаредным делом мою княгинюшку!.. Как услыхала, сердечная, про князь-Борькино злодейство, так и покатилась, тут же с ней кровяной удар и приключился...

И громко, навзрыд зарыдал князь Алексей Юрьич, поникнул головой на край стола.

— В несчастии смиряться должно, ваше сиятельство,— заметил один архимандрит.

— Не перед князем ли Борькой смиряться мне?..— вскрикнул князь Алексей Юрьич, быстро закинув назад голову и гневно засверкав очами.— Хоть ты и архимандрит, а выходишь дурак, да и тот дурак, кто тебя, болвана, архимандритом сделал!.. Мне перед щенком, перед скверным поросенком, князь-Борькой смириться!.. Нет, брат, жирно съешь!.. Ты кутейник, ты не можешь понять, что такое значит шляхетская честь!.. Да еще не просто шляхетская, а княжеская... Мы Гедиминово рожденье!.. Этого в пустую башку твою не влезет, хоть ты и в Киеве обучался!.. Все вы едино — одна жеребячья порода!.. Не понять вам чести дворянской!.. Смерды вы, в подлости рождены, в подлости и помрете, хоть патриархами делай вас!.. Перед князем Борькой смиряться мне!.. Эк что выдумал, долгогривый космач! Я еще его в бараний рог согну, покажу, как отца уважать надо... Полушки медной шельмецу не оставлю... Сам женюсь, я еще, слава богу, крепок. Другие дети будут; им все предоставлю. А князь Борька с своей подлой шляхтянкой броди себе под оконьем, кормись Христовым именем... За невестами у меня дело не станет: каждая барышня пойдет с удовольствием. Не пойдет, черт с ней,— на скотнице Машке женюсь!..

Под эти слова стали «тризну» * пить. Архидьякон Заборского монастыря «Во блаженном успении» возгласил, певчие «Вечную память» запели. Все встали из-за стола и зачали во свят угол креститься. Князь Алексей Юрьич снопом повалился перед образами и так зары-

* На похоронных обедах сливают вместе виноградное вино, ром, пиво, мед и пьют в конце стола. Это называется «тризной».

дал, что, глядя на него, все заплакали. Насилу архимандриты поднять его с полу могли.

На другой день много порол, и всех почти из своих рук. На кого ни взглянет, за каждым вину найдет, шляхетным знакомцам пришлось невтерпеж,— бежать из Заборья сбирались. В таком гневе с неделю времени был. Полютовал-полютовал, на медведя поехал. И с того часу, как свалил он мишку ножом да рогатиной и гнев и горе как рукой сняло.

Стареть стал, и грусть чаще и чаще на него находила. Сядет, бывало, в поле верхом на бочонок, зачнет, как водится, из ковша с охотой здравствоваться — вдруг помутится, и ковшик из рук вон. По полю смех, шум, гам — тут мигом все стихнет. Побудет этак мало времени — опять просияет князь.

— Напугал я вас,— скажет.— Эх, братцы, скоро умирать придется!.. Прощай, прощай, вольный свет... Прости, прощай, житье мое удалое...

Да вдруг и гаркнет:

Пей, гуляй, перва рота,
Втора рота на работу...

Тысяча голосов подхватит. И зачнутся пляс, крик, попойка до темной ночи...

VII

КНЯГИНЯ ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

Через год после кончины княгини Марфы Петровны привезли в Заборье письмо от князя Бориса Алексеича. Прочитал его князь Алексей Юрьич, призвал старшего дворецкого и бурмистра и дал им такой приказ:

— Завтра князь Борька с своей поскудной шляхтянкой в Заборье приедет. Никто б перед ними шапки не ломал, попадется кто навстречу, лай им всякую брань. Ко мне допустите, а коней не откладывать. Проучу скаредов да тем же моментом назад прогоню. Слышите?

— Слушаем, ваше сиятельство.

— Смотрите ж у меня! Ухо востро...

Чего не натерпелись князь Борис Алексеич с княгиней, ехавши по Заборью! Он, голову повеся, молча сидел, княгиня со слезами на глазах, кротко, приветно всем

улыбалась. На приветы ее встречные ругали ее ругательски. Мальчишек сотни полторы с села согнали: бегут за молодыми господами, «у-у!» кричат, языки им высовывают.

Князь в зале — арапник в руке, глаза, как у волка, горят, голова ходенем ходит, а сам всем телом трясется... Тайным образом на всяк случай священника с заднего крыльца провели: может, исповедать кого надо будет.

Вошли молодые. Гневно и грозно кинулся к ним князь Алексей Юрьич... Да, взглянув на сноху, так и остамел... Арапник из рук выпал, лицо лаской-радостью просияло.

Молодые в ноги. Не допустил сноху князь в землю пасть, одной рукой обнял ее, другой за подбородок взял.

— Да ты у меня плутовка! — сказал ей ласково.— Глянь-ка, какая пригожая!.. Поцелуй меня, доченька, познакомимся... Здравствуй, князь Борис,— молвил и сыну, ласково его обнимая.— Тебя бы за уши надо подрать, ну да уж бог с тобой... Что было — не сметь вспоминать!..

Все диву дались. И то надо сказать, что княгиня Варвара Михайловна такая была красавица, что дикого зверя взглядом бы своим усмирила...

Зашумели в Заборье, что пчелки в улье. Всем был тот день великого праздника радостней. Какие балы после того пошли, какие пиры! Никогда таких не бывало в Заборье. И те пиры не на прежнюю стать: ни медведя, ни юродивых, ни шутов за обедом; шума, гама не слышно; а когда один из больших господ заговорил было про ночной кутеж в Розовом павильоне, князь Алексей Юрьич так на него посмотрел, что тот хотел что-то сказать, да голосу не хватило.

А все было делом княгини Варвары Михайловны. Бывало, скажет только: «полноте, батюшка-князь, так не годится»,— и он все по ее слову. Миновались расправы на конюшне — кошки велел в кучу собрать и сжечь при себе... Барских барынь замуж повыдал, из мелкопоместного шляхетства, которые оченно до водки охочи были и во хмелю неспокойны, по другим деревням на житье разослал. В доме чистота завелась, во всем порядок. Даже на охоте не по-прежнему стало. Полно на бочонок садиться, полно пить через край; выпьет, бывало, чарку-другую, другим даст хлебнуть, а без меры пить

не велит. «Нехорошо, говорит, неравно доченька узнает, серчать станет».

И князя Бориса Алексеича полюбил, все на его руки сдал: и дом и вотчины. «Я, говорит, стар становлюсь; пора мне и на покое пожить. Ты, князь Борис, с доченькой заправляйте делами, а меня, старика, покойте да кормите. Немного мне надо, поживу с вами годочек-другой, внучка дождусь и пойду в монастырь богу молиться да к смертному часу готовиться».

Сына родила княгиня Варвара Михайловна. Сколько было радости! У всех на душе так легко, как будто светло воскресенье вдругорядь пришло, а князь Алексею Юрьичу ровно двадцать годов с костей скинуло. Возле княгининой спальни девятеро суток высидел, все наблюдал, чтоб кто не испугал ее. Носит, бывало, внучка по комнатам да тихонько колыбельные песенки ему напевает. Чуть пискнет младенец, тотчас бережно его в детскую, и там сядет дедушка у колыбельки, качает внучка. В крестины всей дворне по целковому рублю да по суконному кафтану пожаловал, двести отпускных выдал, барских барынь, которые замуж не угодили, со двора долой. Павильоны досками велел забить, не было б туда ни входу, ни выходу... Одну Дуняшку оставил, и то тайком от княгини Варвары Михайловны.

Шести недель не прожил маленький князь. С такого горя князь Алексей Юрьич в постелю слег, два дня маковой росинки во рту у него не бывало, слова ни с кем не вымолвил. Мало-помалу княгиня же Варвара Михайловна его утешала. Сама, бывало, плачет по сынке, а свекра утешает, французские песенки ему сквозь слезы тихонько поет...

Году не длилось такое житье. Ведомость пришла, что прусский король подымается, надо войне быть. Князь Борис Алексеич в полках служил, на войну ему следовало. Стал собираться, княгиня с мужем ехать захотела, да старый князь слезно молил сноху, не покидала б его в одиночестве, представлял ей резоны, не женскому де полу при войске быть: молодой князь жене то ж говорил. Послушалась княгиня Варвара Михайловна — осталась на горе в Заборье.

Слезное, умильное было прощанье!.. После молебна «в путь шествующих», благословил сына князь Алексей Юрьич святою иконой, обнял его и много поучал: сра-

жался бы храбро, себя не щадил бы в бою, а судит господь живот положить — радостно пролил бы кровь и принял светлый небесный венец. «Об жене,— князь говорил,— ты не кручинься: будет ей и тепло и покойно»... А когда княгиня Варвара Михайловна с мужем стала прощаться, господа, шляхетные знакомцы и дворня навзрыд зарыдали... Смотреть без слез не могли, как обвилась она, сердечная, вкруг мужа и без слов, без дыханья повисла на шее. Так без чувств и снесли ее в постелю. Перекрестил жену князь Борис Алексеич, поцеловал и в карету сел.

По отъезде заборовская жизнь еще тише пошла от того, что княгиня много грустила. Приезд бывал невеликий, праздников, обедов не стало. Князь Алексей Юрьич не отходил от снохи, всячески ее спокоил, всячески утешал. Письма стали доходить от молодого князя; про баталии писал, писал, что дальше в Прусскую землю идти ему не велено, указано оставаться при полках в городе Мемеле. Княгиня веселей стала, а она весела — и все весело. Опять стали гости в Заборье сбираться; опять пошли обеды да праздники. И все было добро, хорошо, тихо и стройно.

Позавидовал враг рода человеческого. Подосадовал треклятый, глядя на новые порядки в Заборье. И вложил в стихшую душу князя Алексея Юрьича помысл греховный, распалил старого сластолюбца бесовскою страстью... Стал князь сноху на нечистую любовь склонять. В ужас княгиня пришла, услыхавши от свекра гнусные речи... Хотела образумить, да где уж тут!.. Вывел окаянный князя на стару дорогу...

— А! еретица!.. Честью не хочешь, так я тебе покажу.

И велел кликнуть Ульяшку с Василисой: бабищи здоровенные, презлющие.

— Ну-ка,— говорит.— По старине!..

Закрутили бабы княгине руки назад и тихим обычаем пошли по своим местам. А князь гаркнул в окошко:

— Рога!

В двести рогов затрубили, собачий вой поднялся, и за тем содомом ничего не было слышно...

И пошла-поехала гульба прежняя, начались попойки денно-нощные, опять визг да пляску подняли барские барыни, опять стало в доме кабак-кабаком... По-прежнему

шумно, разгульно в Заборье... И кошки да плети попрежнему в честь вошли.

А про княгиню Варвару Михайловну слышно одно: больна да больна. Никто ее не видит, никто не слышит — ровно в воду канула. Болтали, к мужу-де в Мемель просилась, да свекор не пустил, оттого-де и захворала.

Был в княжеской дворне отпетый головорез Гришка Шатун. Смолоду десять годов в бегах находился: сказывали, в Муромском лесу, у Кузьмы Рощина в шайке он жил. Когда разбойника Рощина словили, Шатун воротился в Заборье охотой... И князь Алексей Юрьич мало-помалу его возлюбил, приблизил к себе и знал через него все, что где ни делается. Терпеть не могли Шатуна, ровно нечистой силы боялись его.

Перехватил окаянный письмо, что княгиня к мужу послала. Прочитал старый князь и насупился. Целый день взад да вперед ходил он по комнатам, сам руки назад, думу думает да посвистывает. Ночи темней — не смеет никто и взглянуть на него...

Из Зимогорска от губернаторского секретаря письмо подают. Пишет секретарь, держал бы князь ухо востро: губернатор-де с воеводой хоть и приятели вашего сиятельства, да забыли хлеб-соль; получивши жалобу княгини Варвары Михайловны, розыск в Заборье вздумали делать.

Опять молча, один-одинешенек, целый день ходил князь по комнатам дворца своего. Не ел, не пил, все думу какую-то думал... Вечером Гришку позвал. Держал его у себя чуть не до свету.

На другой день приказ — снаряжать в дорогу княгиню Варвару Михайловну. Отпускал к мужу в Мемель. Осенним вечером — а было темно, хоть глаз уколи — карету подали. Княгиня прощалась со всеми, подошел старый князь — вся затряслась, чуть не упала.

— С богом, с богом,— говорит он,— прощай, сношенька... Сажайте княгиню в карету.

Посадили. Сзади сели Ульяшка с Василисой, на козлах Шатун.

Ночью князь в саду пробыл немалое время... Своими руками Розовый павильон запер и ключ в Волгу бросил. Все двери в сад заколотили, и был отдан приказ близко к нему не подходить.

В ту же ночь без вести пропала Никифора конюха дочь. Чудное дело!.. Недели четыре девку лихоманка трепала — жизни никто в ней не чаял, и вдруг сбежала... С той поры об Аришке ни слуху, ни духу... Много чудились, а зря язык распускать никто не посмел...

Проводивши княгиню, Гришка Шатун с обеими бабами домой воротился. Докладывает, княгиня де Варвара Михайловна на дороге разнемоглась, приказала остановиться в таком-то городе, за лекарем послала; лекарь был у нее, да помочь уже было нельзя, через трое суток княгиня преставилась. Письма князю подал от воеводы того города, от лекаря, что лечил, от попа, что хоронил. Взял письма князь и, не читавши, сунул в карман.

По кончине князя Алексея Юрьича Василиса каялась, что княгиню Варвару Михайловну, только что из Заборья они выехали, задней дорогой подвезли к Розовому павильону, а наместо ее посадили в карету больную Аришку. Когда же дорогой Аришке смерть приключилась, заместо княгини ее схоронили.

Гришки с Ульяшкой скоро не стало. На другой либо на третий день после того, как они воротились, послал их князь по какому-то делу за Волгу. Осень была, по реке «сало» пошло. Поехал Шатун с Ульяшкой, стало их затирать, лодчонка плохая — пошли ко дну... Когда закричали в Заборье, наши-де гонут, на венце горы стал недвижим князь Алексей Юрьич, руки за спину заложивши. Ветер шляпу сорвал, а он стоит, глаз не сводит; зорко глядит на людскую погибель, седые волосы ветер так и развевает... Пошли ко дну, перекрестился и тотчас домой...

Василиса накануне того дня сбежала. Разлютовался князь: «Подавай Василису живую иль мертвую». Докладывают: пошла к свату в соседнюю деревню, захмелела, легла спать в овине, овин сгорел, и Василиса в нем.. Строгие розыски делал, сам на овинное пожарище ездил, обгорелые косточки тростью пошевырял. Уверился, стих... А те обгорелые кости были не Василисины, а некоего забеглого шатуна, что шел в Заборье на княжие харчи... Шел на волю да на пьяное житье, попал в овин, а оттуда в жизнь вековечную... И то дело Василисин деверь состряпал. Был он на ту пору велик человек у князя Алексея Юрьича.

«Концы в воду, басни в куст,— утешает себя князь.— Двадцать розысков наезжай — ничего не разыщут».

Запили, загуляли — чуть не все погреба опростали. Две недели все пьяны были без просыпу. А из города вести за вестями — розыск едет, а князю и горюшка нету — гуляет!.. Больших господ на ту пору уж не было, и мелкое шляхетство стало редеть, знакомцы и те кажду ночь по два да по три человека зачали бегать. Иные, помня княжую хлеб-соль, докладывали ему, поберегся бы маленько, ходят де слухи, розыск в Заборье готовят... У князя один ответ: «Это будет, когда черт умрет, а он еще и не хварывал. Приедет губернатор,— милости просим: плети готовы»... А шляхетство все тягу да тягу. Пришлось под конец князю с одними холопами бражничать. На что пиита — и тот сбежал.

Середь залы бочонки с вином. И пьют и льют, да тут же и спят вповалку. Девки — в чем мать на свет родила, волосы раскосмативши, по всему дому скачут да срамные песни поют. А князь немытый, небритый, нечесаный, в одной рубахе на ковре середь залы возле бочонка сидит да только покрикивает: «Эй, вы, черти, веселее!.. Головы не вешай, хозяина не печаль!..»

Что денег он тогда без пути разбросал... Девкам пригоршнями жемчуг делил, серьги, перстни, фермуары брильянтовые, материи всякие раздаривал, бархаты... Раз под утро узнают: розыск наехал... Стихла гульба.

— По местам! — сказал князь.— Были бы плети наготове. Я их разыщу!

Приходит майор, с ним двое чиновных. Князь в гостиной во всем параде: в пудре, в бархатном кафтане, в кавалерии. Вошли те, а он чуть привстал и на стулья им не показывает, говорит:

— Зачем пожаловать изволили?

— Велено нам строжайший розыск о твоих скаредных поступках с покойной княгиней Варварой Михайловной сделать.

— Что-о? — крикнул князь и ногами затопал.— Да как ты смел, пащенок, холопский свой нос ко мне совать?.. Не знаешь разве, кто я?.. От кого прислан?.. От воеводы-шельмеца аль от губернатора-мошенника?.. И они у меня в переделе побывают... А тебя!.. Плетей!..

— Уймись,— говорит майор.— Со мной шкадрон драгун, а прислан я не от воеводы, а из тайной канцелярии, по именному ее императорского величества указу...

Только вымолвил он это слово, всем телом затрясся князь. Схватился за голову да одно слово твердит:

— Ох, пропал... ох, пропал!..

Подошел к майору смирнехонько, божится, что знать ничего не знает и ни в чем не виноват, что если б жива была княгиня Варвара Михайловна, сама бы невинность его доказала.

— Покойница княгиня о твоих богомерзких делах своей рукой ее императорскому величеству челобитную писала. Гляди!

И показал княгинино челобитье.

— Прозевал, значит, Шатун!..— прошептал князь.— Счастлив, что на свете нет тебя.

— В силу данного нам указа,— говорит майор,— во все время розыска быть тебе, князь Алексей княжь Юрьев сын Заборский, в своем доме под жестоким караулом. Для того и драгуны ко всем дверям приставлены. Выхода отсель тебе нет.

Голосу у князя не хватает.

Столы раскладывают, бумаги кладут, за стол садятся, ничего князь не видит: стоит, глаза в угол уставивши, одно твердит:

— Ох, пропал, ох, пропал!..

А майор розыск зачинает. Говорит:

— Князь Алексей княжь Юрьев сын Заборский. По именному ее императорского величества указу из тайной канцелярии изволь нам по пунктам показать доподлинную и самую доточную правду по взведенному на тебя богомерзскому и скаредному делу...

— Не погуби!.. Смилуйся! Будьте отцы родные, не погубите старика!.. Ни впредь, ни после не буду... Будьте милостивы!..

И повалился князь в ноги майору.

Велик был человек, архимандритов в глаза дураками ругал, до губернатора с плетями добраться хотел, а как грянул царский гнев — майору в ножки поклонился.

— Не погубите!..— твердит.— В монастырь пойду, в затвор затворюсь, схиму надену... Не погубите, милостивцы!.. Золотом осыплю... Что ни есть в дому, все ваше, все берите, меня только не губите...

— Встань,— говорит майор.— Не стыдно ль тебе? Ведь ты дворянин, князь.

— Какой я дворянин!.. Что мое княжество!.. Холоп я твой вековечный: как же мне тебе не кланяться?.. Милости ведь прошу. Теперь ты велик человек, все в твоих руках, не погуби!.. Двадцать тысяч рублев сейчас выдам, только бы все в мою пользу пошло.

— Полно бездельные речи нести, давай ответ в силу данного нам указа.

Поднялся князь на ноги, скрепил себя, грозно нахмурился и глухо ответил:

— Знать ничего не знаю, ведать не ведаю.

— Смотри, не пришлось бы нам ту комнату застенком сделать. Не хочешь добром подлинной правды сказать — другие средства найдем: кнут не ангел — души не вынет, а правду скажет.

Опустился на кресло князь, побагровел весь, глаза закатились, еле дух переводит.

— Ой, пропал!..— твердит.— Ой, не снесу!..

Посмотрел на него майор... Остановил розыск до другого дня.

К князю никого не допускают. Ходит один-одинешенек по запустелому дому, волосы рвет на себе, воет в источный голос.

Идет по портретной галерее, взглянул на портрет княгини Варвары Михайловны — и стал как вкопанный.

Чудится ему, что лицо княгини ожило, и она со скорбью, с укором головкой качает ему.

Грянулся о пол... Язык отнялся, движенья не стало...

Подняли, в постель уложили. Что-то маячит, но понять невозможно, а глаза так и горят. Майор посмотрел, за лекарем послал, людей допустил.

Кинул лекарь руду. Маленько полегчало. Хоть косно, а стал кое-что говорить. Дворецкого подозвал.

— Замажь,— говорит,—лицо на портрете княгини Варвары Михайловны. Сию же минуту замажь.

Замазали. Докладывают.

— Ладно,— молвил.— Не скажет теперь майору.

Думали — бредит, взглянули — духу нет...

Так розыску и не было.

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Рассказ

В Зимогорской губернии есть уездный город Чубаров — глушь страшная.

Тому городу другого имени нет, как Медвежий Угол.

Что за дорога туда! Ровная, гладкая — ни горки, ни косогора, ни изволочка,— скатерть-скатертью. Места сыроваты, но грунт хрящевик: целое лето ливмя лей, грязи не будет.

Не пероюют чубаровску дорогу водороины, не наплывет на нее с боков текучей грязи и всякой мерзости, и в рабочую пору рассыльный не выгонит на нее мужика, с лопатой на плече да с краюхой хлеба на пестере, верст за двадцать от дому — чинить путь-дорогу ради благополучного проезда его превосходительства господина губернатора.

Благодарят создателя мужики чубаровские, не больно обидна по ихним местам повинность дорожная. Зато скорбят, плачутся и богу жалуются те, кому судьба даровала жребий заправлять натуральными повинностями. С какой завистью, с какой затаенной злобой смотрит исправник чубаровский на уезды соседние! Там и глинка размывистая, и горы с изволоками, и топи, и гати — и заготовка фашинника!.. Не столь поп великому посту да богатому покойнику рад, сколько рады в тех уездах исправники октябрю месяцу, когда расписание дорожных участков составляется. А в Чубаровке, в этом «чертовом болоте», не то что от расписания, от самого даже развода участков никакой поживы нет. «Плохой уезд, алтынный уезд!..» — говорят про него и в губернском правлении и в губернаторской канцелярии.

Пытался исправник чубаровский, Иван Алексеич Чирков, избыть беду неизбывную, пытался исправить беду непоправимую. Вздумал дело сотворить — и самому бы тепленько было, и кого после него дворянство в исправники выберет, помянул бы добром предместника, панихиду б отпел за упокой души его. Не удалось...

Получает от губернатора предписание. Требует он «для государственных соображений, подробного и тща-

тельного описания дорог почтовых, торговых, проселочных, как искусственных так и грунтовых, с показанием удобств и неудобств оных, как в видах административной коммуникации, так и в отношении к вящшему распространению местной торговли и промышленности, представив притом свои соображения о проложении новых, более удобных путей сообщения, в видах общей государственной пользы».

Иностранным языкам Иван Алексеич не обучался, потому «административной коммуникации» не разумел, но на «споспешествовании» придумал штуку разыграть.

Как дважды два доказал он губернскому начальнику, что народ обеднял и промыслы упали, и в торговле застой оказался, самое даже отечество бедствует единственно по той причине, что чубаровская почтовая дорога проложена не там, где следует быть. Для «вящшего преуспеяния и споспешествования к развитию» Иван Алексеич придумал новую дорогу там проложить, где сам леший подумавши ходит. Зато сколько мостов, сколько гатей!.. Все эти топи, мочажины, болота, теперь лежащие впусте, не принося никому пользы, уже представлялись ему богатой оброчной статьей в виде гатей, ежегодно перестилаемых, мостов, каждый год перекрашиваемых. Во сне и наяву мерещится ему, как из вонючих, никуда не годных болот прыгают в ка́рман золотенькие и сыплются пачки бумажек радужных. Прекрасным, благодатным месяцем стал для него холодный, дождливый октябрь!

Жид мессию иль концессию на железную дорогу так ждет, как ожидал Иван Алексеич разрешения на свое представление. И вдруг: «будет в виду ваш проект при общем соображении об устройстве грунтовых дорог в государстве».

Ждет Иван Алексеич общего соображения, ждет, ждет, и вдруг умирает, запарившись в бане: русский человек, по-русски и помер. Был оплакан семьей, секретарем и становыми. Почесала в затылке губернаторская канцелярия, сморщилось губернское правление; его превосходительство при всех изволил сказать: «Жаль — исправник был расторопный».

И приказал в губернских ведомостях некролог его напечатать.

Прошло немало времени и после блаженной кончины Ивана Алексеича, разрешения на представление не было. До сих пор благодарят создателя мужики чубаровские, что не обидна им повинность дорожная, до сих пор скорбят, плачутся, богу жалуются те, кто ведает в Чубаровском уезде натуральными повинностями.

Хороша дорога в Чубаров,— скатерть-скатертью.

Под самым городом вдруг стало меня немилосердно поталкивать. Чем дальше, тем хуже. Заметало тарантас во все стороны, того и гляди — набок. Во весь опор скакавшие лошади шагом пошли.

— Что за дорога? — вскрикнул я.

— Городская,— отвечал ямщик.

Такие плоды преуспеяния городского хозяйства обыкновенны. С терпением Иова ждал я минуты, когда подъеду к длинному, версты на полторы через болото построенному мосту. Другой конец его упирался в главную и единственную городскую улицу. Издали белелась и светлелась широкая гладь мостового полотна. «Ну, думаю, отдохнут мои косточки».

Не тут-то было: ямщик своротил направо и потащился тонким болотом; колеса вязли по ступицу, добрые кони едва дух переводили.

— Куда ты, куда ты? — крикнул я ямщику.— Ступай по мосту.

— По мосту? Заказан. Вон и шлахбан спущен.

В самом деле, возле развалившейся будки был спущен ветхий шлагбаум. Кроме ворон, сидевших на перилах, да квакавших в болоте лягушек, ничего живого вокруг не было, но никто не дерзал, подняв шлагбаум, проехать заповедным мостом. Столь свято исполняются в Зимогорской губернии начальственные распоряжения. Губерния благонадежная...

— Отчего ж по мосту нет езды?

— Заказано. Казенный стал, берегут,— ответил ямщик.

— Зачем же его строили?

— А губернатор наедет, либо из набольших кто.

— Давно ль такие порядки?

— Не так чтоб давно,— отвечал ямщик, помахивая кнутом над лошадьми...— Эх, вы, голубчики, ну, ну, ну-у!.. С самых с тех пор, как мосты да дороги на земство поворотили и начали ими алхитехтуры заправлять...

Эх, вы, ну, ну!.. А прежде дорога и здесь была знатная, и по мосту ездили все невозбранно... ну, ну, соколики!

— Отчего ж запретили по мосту ездить?

— Кто их знает?.. Такие порядки!.. Эх, ну, ну, вы!.. Кормиться тоже и алхитехтурам надо, без того нельзя!.. Эх вы, матушки, вывози, вывози, поштенные!.. Есть-пить всякому надо... Только нашему брату совсем беда!.. Глядь-ка, кака маята коням-то!.. Ну, тащи, тащи, соколики!.. А прежде алхитехтуров да анжинеров слыхом не слыхать!.. Эх, ну, ну, вы!

Мучимые комарами, что толклись над болотом, с полчаса промаялись мы. Проезжая мимо моста с тоненькими, старенькими стойками, понял я расчет строителей. Сделавшись с подлежащей властью, то ль еще творят они по глухим местам, такие ль еще беды строят народу божьему! А все больше поляки да немцы.

В Медвежьем Углу гостиниц нет. Привезли меня к Абрамовне, что содержит единственный в городе постоялый двор. По счастью, нашлась порожняя горенка; там кой-как я расположился. Об удобствах речи не было, и за то слава богу, что комнатка нашлась.

Не успел оглядеться, как услышал сильнейший храп. Кто-то рядом отдыхал в час полуденный. Богатырские звуки неслись из соседней горенки, куда вела растворчатая, сильно покоробленная и не очень плотно затворявшаяся дверь. Она была заперта черным, репчатым замком *, на двух кольцах. Вошла здоровенная девка в засаленном темно-синем, китаечном сарафане, пестром ситцевом переднике и сильно поношенном шелковом платке на голове.

— Самоварчик вашей милости не поставить ли?

— Какой теперь самовар!.. Кто это у вас так похрапывает?

— А Гаврила Матвеич,— отирая передником потное лицо, отвечала работница Абрамовны.

— Какой Гаврила Матвеич?

— А Уткин Гаврила Матвеич, подрядчик,— отвечала работница.— Острог строит, наезжает за работой приглядеть. Завсегда у Федосьи Абрамовны становится.

— Купец? — спросил я.

---

* Черный, то есть железный висячий замок. Репчатый — наподобие сплюснутого шара, репой.

— Как вашей милости сказать? Не больно разумею я ответить-то... Купец, надо быть,— молвила работница.— Пишется деревни Белавки удельным крестьянином, вот недалече отсель деревня Белавка есть. Там и дом у него, и крупчатка о четырех поставах, фабрику недавно полотняную поставил в Белавке-то. Сам-от больше в губернии * проживает. По всему как есть купец. По свидетельству что ль как-то торгует, не умею сказать доподлинно: наше дело женское — до всякой точности не доходим. Да вы дальний, видно?

— Дальний.

— То-то.

— А почем ты узнала, что дальний я?

— А Гаврилы-то Матвеича не знаете. Его все знают. И начальство и большие господа.

— Вот как!

— Да-а... Гаврилу Матвеича все знают... Так самоварчик не потребуется?

— Нет, не потребуется.

— Ну, ладно.

Ушла. А храп Гаврилы Матвеича громче да громче раздавался по моему «покойчику». Сил не стало, и хоть жар еще не свалил, хоть и устал я с дороги, но — не слыхать бы этого храпу, пошел смотреть на Медвежий Угол.

Город как город. Каменный собор на грязной, немощеной базарной площади, нескончаемые заборы, незатейливой наружности бревенчатые домики, дырявые тротуары, заваленные всякой гадостью и травой поросшие улицы, каменные присутственные места, развалившаяся больница, ветхий навес с пустыми рассохшимися бочками, с испорченными пожарными трубами,— словом, то, что каждый видал не в одном десятке русских городов. Не по торговым иль промышленным надобностям возникали наши Чубаровы... При учреждении губерний ткнули пальцем на карте, сказали: «быть городу», и стал город. Оттого тем городам и чужда городская жизнь. Сколь бы ни хлопотали о хозяйстве «медвежьих углов», какие б ни сочиняли инвентари их имуществ, какие б ни производили исследования, как бы затейливо ни составляли росписи доходов и расходов, по силе коих, без разрешения высшего начальства, лиш-

* В губернском городе.

ней метлы купить нельзя,— «медвежьи углы» на веки вечные останутся «медвежьими углами». Зато села, что на бойких, привольных местах построены, запросто, как бог послал — с каждым годом богатеют, каменные дома в тех селах что грибы растут, кипит торговля, заводятся училища, больницы, даже библиотеки. Иваново, Павлово, Лысково, Кукарка,— сравните с ними «медвежьи углы»... Где город, где деревня?..

В полчаса весь город узнал. Ни единой живой души, ни единого звука, ровно чума прошла, ровно вымер Чубаров... Спит, плотно пообедавши, Медвежий Угол. Из города, спящего сном временным, пошел я в город спящих непробудным сном. Там, средь простых крестов и голубцов, виднелись кое-где каменные памятники да обитые жестью столбики, строенные по правилам доморощенного зодчества... Читаю надгробные надписи. Кроме изречений из священного писания, встречаются другие.

«Под камнем сим лежит коллежский секретарь Кото́в,
«Рожден был от дворян, отечеству служить готов,
«Отец детей невинных и плачущей вдовы супруг,
«В жизнь добродетелен, он умер вдруг,
«Не могши избежать той горестной судьбины,
«Чтоб не вкусить грозящей нам кончины».

Вообще надписи длинноваты! С надлежащей подробностью означается, за сколько лет имел покойник беспорочную пряжку, сколько лет оставалось ему дослужиться до следующего чина, и что под судом и следствием не находился... Чубаровские покойники ранга невысокого: коллежские секретари, титулярные советники, есть майор... Однако нет! позвольте — вот памятник знатного человека:

«Под сим камнем погребено тело действительного тайного советника, Российского императорского двора обер-камергера, российских орденов святого апостола Андрея Первозванного, святого благоверного князя Александра Невского и святого равноапостольного князя Владимира I-го класса, прусского Черного орла, датского Слона и шведского Серафимов, князя Алексея княжь Михайловича (фамилия стерлась)... дворового его человека Полуехта Спиридонова».

Возвращаясь с кладбища, пошел я к острогу. Рабочие выспались и косно брались за работу. В яме с из-

весткой два парня без толку болтали веселками, работа не спорилась, известка сваривалась в комья. К неумелым подошел крепкий, коренастый, невысокого роста старик. Хоть и стояли июльские жары, на нем была надета поношенная, крытая синей крашениной шубенка, а на голове меховой малахай.

— Эх, вы, горе-ребята!..— молвил он, подойдя к известковой яме.— Замесить-то, пострелы, путем не умеете!.. А туда ж, каменщики!.. Эх, вы!.. Дайка веселко-то.

И, взявши веселко, старик так пошел работать, что молодому бы впору.

— Эх, ты, яма, матушка!..— он приговаривал.— Хозяина дождалась!.. Смотрите, горе-ребята, гляди, как месить следует. Вот как, вот как!.. А вы что?.. Кисельники!.. Гляди-ка ты!.. Вот как, вот как следует!.. А тоже, каменщики!.. Эх, вы, горе!..

Да сразу и замесил.

— Ванюха! Для че перекладину-то мало запущаешь?.. Какая тут прочность будет?.. Не на один год строится... Глубже пущай.

— Алхитехтур так велел, Гаврила Матвеич,— отозвался подмастерье, прилаживая перекладину над воротами.

— Знает плешивого беса твой алхитехтур!.. А лет через пять стена трещину даст, тогда твоего алхитехтура ищи да свищи, а мне от начальства остуда... Надо, Ванюха, всяко дело делать по-божески... Пущай, пущайка ты ее глубже. Пущай!..

И везде, во всех мелочах зоркий глаз Гаврилы Матвеича метко следил за работой. Во всех его распоряжениях виден был не такой подрядчик, к каким все привыкли. Не хотелось ему строить казенного дома на живую нитку: начальству в угоду, архитектору на подмогу, себе на разживу, а развалится после свидетельства, черт с ними: слабый грунт, значит, вышел,— вина не моя, была воля божия.

Заговорил я с Гаврилой Матвеичем. Сначала старик не больно распоясывался, кинет нехотя словечко и пойдет покрикивать на Ванек да на Гришек. Но когда я назвал себя старику, он спросил меня:

— Не про тебя ль, баринушка, слыхал я от нашего управляющего, от Ивана Владимирыча?

— Может статься. Знаком с ним.

— Так и есть... Слыхал про тебя. Знаю, что Иван Владимирычу ты приятель, значит, человек хороший, худого человека он не похвалит.

— Спасибо на добром слове, Гаврила Матвеич. Стало быть, довольны вы Иваном Владимирычем?

— Неча и говорить!.. На начальство-то не похож, вот каков человек!.. Одно слово: человек-душа. И всяку крестьянску нужду знает, ровно родился в бане, вырос на полатях. И говорит-то по-нашему, по-русски то есть, не как иные господа, что ихней речи и в толк не возьмешь. Всяко крестьянско дело знает, а закон дает по правде да по любви. Такой барин, что живи за ним, что за каменной стеной, сам только будь хорош да поступай по правде да по любви.

— Подрядами занимаешься?..— спросил я.

— И подрядами маленько займуюсь,— ответил Гаврила Матвеич.— Да пропадай они, эти подряды!.. Бедовое, барин, дело.

— А что?

— Да что!.. Обиды много, толку мало... Известно — дело казенное, каждому желательно руки погреть. И казну забижают, и нашего брата не забывают. Не приведи господи!

— Кто ж?

— У кого глаза во лбу да руки на плечах. Ленивый только обиды тебе не сделает... Слышь ты, Митрей! Клади кирпич-то ровней. Где у тя глаза-те? Эх, ты, голова с мозгом!

— А ведь мы с тобой, Гаврила Матвеич, соседи.

— Как так?

— Ведь ты на постоялом?

— У Абрамовны.

— И я там же. Рядом с тобой.

— Ой ли?

— Да.

— Так пойдем вместе ко дворам-то. По пути будет.

— Пойдем, Гаврила Матвеич.

Весь вечер просидел я со стариком. Сначала был он не очень разговорчив: хвалил Ивана Владимирыча, толковал про обиды, а в чем те обиды — не сказывал. Под конец разговорился.

— Казенное дело,— сказал он,— оттого дорого, что всяк человек глядит на казну, что на свою мошну: лапу запускает в нее по-хозяйски. Казной корыстоваться не в пример способней, чем взятки брать... С кого взял, тот, пожалуй, «караул» закричит, а у матушки казны нет языка... За то ее и грабят.

Завели счеты да поверки, думают руки связать!.. Как не так! С теми счетами казну грабить сподручнее, потому что по счетам концы схоронить ловчей, а на поверку не ангелов божьих посылают... Какой человек рыло отворотит, когда ему в зубы калачик суют?.. А?..

Постройку взять. Этой частью сызмальства займуюсь. Мальчишкой кирпич на леса таскал, потом в артели был, а по времени, бог благословил, хозяином стал... Эту статью знаю вдосталь. В прежние годы, баринушка, по этой части совести было больше. Нынче не то. В прежни-то годы на всю губернию алхитехтур один, а нынче гляди-ка что их развелось. А приезжает все голь и вся-то эта голь хочет скорей наживы... Анжинер хуже, для того, что анжинер форсистее. Он, видишь ты, с аполетами — значит, ему денег больше надо.

Смету составят. Городничий аль полицмейстер заодно. Дают справочны цены впятеро выше базарных, а урочное положение — дело широкое: карасей ловить можно. Нарочно так и писано!.. Такую состряпают смету, что на сметны-то деньги, заместо одного дома, два либо три выстроишь. После торгов, когда желающие обозначатся, анжинер и шлет за тобой, говорит: «Ты, борода, помни, что десять процентов мои: это уж так везде по казенным делам, да окромя тех десяти «казенных» давай еще десять процентов «строительных». Не дашь, в гроб законопачу, залоги твои пропадут».— «Как же, ваше благородие? — молвишь: — не сходно ведь?» —«Сходно, говорит, будет, черт ты этакий, для того, что сверхсметны работы тебе предоставлю. Исполнять их тебе не придется, а деньги, что получим за них, пополам. Своей половиной ты все наверстаешь. А контракт подпишешь, пять процентов тотчас неси, так дело будет верней». Как быть? Подрядчик завсегда у него в руках: может он тебя на первом же деле, на свидетельстве материалов, так прижать, что жизни не будешь рад. В разор разорит— сам-от чист выйдет, еще крест за сохранение казенного интереса возьмет, а ты со своим

усердием да дурацкой простотой купайся. Поэтому хошь на торгах и сносишь цену, да сносишь так, чтобы двадцать алхитехтурских процентов не из своего кошеля вынимать, да чтобы не из своих денег и полицмейстеру заплатить, потому что и он притеснение может сделать, потому и должон ты его задарить.

— Полицмейстера-то зачем же задаривать, Гаврила Матвеич? Не его дело.

— Подрядчик завсегда в его руках: всякий час может он ему пакости сделать. Рабочих со стройки сгонит: «табельный, дескать, день сегодня». Табели-то хоть и нет, да уж это его дело: какую табель захочет, таку и нагонит. Перо да бумага в его руках, а мы люди хоть мятые, а дело-то наше все-таки темное. И строительная комиссия для чего-нибудь да сделана... И в ней люди пить-есть хотят. Не ублаготворишь: изобидят за всяко просто, да так, что дома не скажешься. Поэтому на торгах и комиссию на памяти держишь, чтоб и ей не из своего кошеля вынимать. Да еще обеды: при закладке обед, при освященьи другой. Тут все начальство зови, губернаторского повара найми — без того нельзя: другого не смей нанимать. Полицмейстер с генеральской дворней завсегда друг-приятель, спокон веку ведется так. Потому и зови повара губернаторского, а торговаться не смей, не то полицмейстер такую тебе табель загнет, что после не вспомнишься... Обед же для такого случаю нужен зазвонистый, со всякими, значит, фруктами, с бакалеями и со всем, как оно есть... А благословясь за работу, алхитехтур на стройку к тебе пожалует. Пора летняя, жарко, упарится. «Мочи, говорит, нет; давай холодненького». А «холодненькое» означает шампанское, подавай бутылочку в три целковых. Наведет приятелей, и полдюжиной не управишься. Квартальному надо почесть сделать, хожалого уважить, будочников обдарить. Счетец-от и выйдет кругленький, оттого на торгах и нельзя сносить. Как ни вертись, тридцать пять процентов беспременно по рукам разойдется, себе барыша хоть двадцать процентов надо, вот тебе и пятьдесят пять. А кому на шею? Казне.

Про стройку тебе говорю, а еще лучше — земляны работы: землю то есть надо где срыть, аль набережную сделать, откос, либо дамбу. Урочно то положение, сказал я тебе, дело широкое, торгов на большую зем-

ляну работу в обрез сделать невозможно, для того, что сквозь землю не видно, на какой грунт попадешь: единому богу известно. А копать песчаный, примером, грунт — одна цена, глину — другая, каменистый — во много раз дороже. Попадешь на песчаный, а приставленный анжинер отписывает да деньги из казны берет за каменистый. Оно, значит, и можно деревеньку купить. Поверять пришлют ихнего же брата: в одном месте учились, однокашники — все на одном стоят. Напоит, накормит наезжего, барашка в бумажке сунет товарищу, песок за камень и пойдет. Да как и поверять-то? В одном месте землю вынут, в другом ее насыпят — не копать же стать сызнова. А что столбиками-то землю ради поверки оставляют, так не хитрое дело лицевой столбик из какого хошь грунта сделать. На это ихнего брата только и взять... Доточный народ, ученый народ.

А гордианы какие, не приведи господи!.. Самый то есть неподходящий народ... Был у меня летось подряд в Зимогорске, откос на Покровском съезде делали, работами распоряжался Николай Фомич, Линквист прозыватся: не то из немцев, не то из крещеных жидов, хорошенько сказать не умею. Надо быть, из выкрестов... Вот уж человечек!.. Так и норовит оборвать тебя всячески... Слова другого от него не услышишь, как «мошенник», да «борода», да «каналья». Сам взятку принимает, а мошенником обзывает тебя... Да то и дело твердит: «Стану я подлостями заниматься? Я ведь, говорит, не чернильная душа. Нас, говорит, аполетами да усами пожаловали, значит мундира марать нельзя». Да!.. У мундира-то языка нет, а то бы на весь народ закричал: «шили меня, братцы, на крадены денежки!»

Ославлены становые с квартальными, а те не в пример добрей, потому что, хоть бы Николай Фомич — и казну грабит и от взятки не прочь, только ворует да взятку берет с гордостью; и обругает тебя бравши, а под пьяну руку и поколотит. А те люди простые, поступают по-христиански: сорвать сорвут, да и доброе слово молвят, у тебя на душе-то и полегче.

Стоит, баринушка, посмотреть на Николая Фомича, оченно стоит... Посмотри, как будешь в Зимогорске. Ходит гоголем, смотрит зверем, ворует, как волк, перед набольшим лебезит, ровно поляк. А уж врет как, обма-

нывает!.. Ни на грош в том человеке правды нет. В самом деле посмотри, стоит поглядеть: забавный, право, забавный.

А на выдумки хитрый! Взял я однова̀ подряд: на шоссейну дорогу камень для ремонту выставить, разбить его, значит, и в саженки укласть. Двадцать тысяч подрядился выставить на целую, значит, дистанцию, а дистанцией заправлял Николай Фомич. Шлет за мной Юську, солдата-жиденка, что на вестях при нем был. Прихожу. Лежит мой Николай Фомич на диване, курит цигарку, кофей распивает: только завидел меня, накинулся аки бес и почал ругать-ругательски, за што про што — не знаю.

— Ты, говорит, чертова борода, подряд-от на камень взял?

— Точно так, говорю, ваше благородие, мы-с.

— А знаешь ли, говорит, что ты теперь весь в моих руках? Захочу — по миру пущу, на весь век несчастным сделаю. В Сибирь могу сослать!.. В остроге насидишься!.. Руду будешь копать, каналья ты этакая, спину на площади вздуют.

А сам подъезжает. Так и норовит в рожу, и кулаки наготове.

Это, он, знаешь, страху напущает. Такая уж у них поведенция.

А я:

— Да ты, говорю, ваше благородие, лучше скажи, что требуется... Для че по пустякам кричать!.. Кровь портишь. Печенка неравно лопнет...

— А того мне требуется, орет, чтоб знал ты, мошенник этакий, что я твое начальство, чтоб не смел ты, поганая бестия, из воли моей выходить ни на капельку.

— Как же, говорю, нашему брату из воли начальства выходить? Всякое начальство от бога, это мы знаем.

— То-то и есть,— говорит.— Ты у меня, чертова борода, гляди в оба да ходи по струнке, не то в бараний рог согну. Сколько, распротоканалья ты этакая, камню поставить взялся?

— Двадцать тысяч, ваше благородие.

— Две тысячи ставь, а за восемнадцать деньги мне подай.

— Как же так, говорю, ваше благородие? Приемка ведь будет.

— Сам, говорит, принимать стану. А умничать будешь, по миру, каналью, пущу да в придачу две шкуры спущу.

Что станешь делать? Человек хоша небольшой, а управы над ним нет. Поставил две тысячи, разбил. Николай Фомич жидятам саженок из глины наделать велел да битым камнем и обложил их. Жида на то взять, обрядит дело, иголки не подточишь. По времени из округа начальство наезжает: скачет по шоссе сломя голову, само саженки считает. Все налицо. Говорит начальство Николаю Фомичу: «спасибо за хлеб за соль, а шоссе у тебя исправно». Другое начальство скачет из самого Питера, тоже саженки считает: все налицо, чин Николаю Фомичу, крестик в петличку. По времени, стал он глиняны саженки раскидывать, а сам отписывать: на ремонт, дескать, камень весь изошел. А чтоб шоссе-то не больно портилось, круглый год у него полдороги бревнами заложено: чинят, дескать. Только и снимут бревна, как начальству проехать, а обозников в шею; да еще выпорют, коли вздумают артачиться... Здешний-от мост видел?..

— Видеть-то видел, а ездить не ездил.

— Заказан. Николай же Фомич заказал. Ему была та работа поручена, а подряд за мной оставался. Велел старый мостишко выстрогать, покрасить, да на старых же стойках и поставить. С городничим поладил... Вот теперь третий год ни конного ни пешего, опричь начальства, по мосту не пущают. На тот год думают, слышь, пускать, ради ремонта, значит: ну, тогда хоть и провалится кто, ничего, урочный срок вышел — значит, все в порядке... А по весне можно наводнение прописать: снесло, дескать, мост волею божиею. Бумага все терпит. А после того Николаю же Фомичу и новый-от мост строить дадут.

А с какой работы барышей нельзя получить, на ту Николай Фомич и не двинется. Гори, тони народ,— ухом не поведет. В здешней губернии город Мухин есть, стоит на горе над Волгой. Гора — страсть: стоймя стоит, а народ еще сыстари ухитрился налепить по ней домишек, живет в них, и горя ему мало. Случается, что иной дом в Волгу съедет, да мухинцам это нипочем: поохают, повздыхают, да на том же месте новы дома почнут лепить. А Мухин хоть на Волге, а город без воды. За

водой на Волгу ходить неспособно: гора крута, а родник во всем городу один. Еще в стары годы тот родник обрядили, а по улице, что под гору идет, деревянну трубу в земле заложили, да ключ-от в нее и пустили. Чан врыли ведер ста в три, вода-то в него и стекала, и никогда в том чану не переводилась. И на домашнюю потребу, и на случай божия наслания, в пожарное то есть время, всегда было ее довольно. Так и жили мухинцы лет сто, коли не больше, попросту, без затей. Мало-помалу труба засорилась: дело не мудреное. Видят мухинцы городску нужду, приговор составили, определили трубу починить и чан новый врыть на счет обывателей. Сделали смету всего-то в восемь с полтиной. А хотя, по закону, городское общество и само может такую дешевую постройку делать, только этого сделать невозможно, потому что начальство обижается, а обидевшись одним, на другом наверстает. Оттого, думаю, обо всякой постройке, хотя б она кусаного гроша не стоила, губернскому правлению рапортует. Так и в Мухине сделали. В губернском правлении ихнюю бумагу прочитал регистратор, да и то с налету. Видит, по строительной части, доложили, слушали, приказали: позаслать в строительную комиссию. Там свой журнал слушали и приказали капитану Линквисту, отправясь на место, освидетельствовать происшедшую в мухинском «городском водопроводе» порчу и представить свои соображения о лучшем устройстве того водопровода. Посмотрел на бумагу Николай Фомич, да как увидал, что всей-то благодати на восемь с полтиной, плюнул даже на нее, да еще промолвил: «не тому у нас в корпусе обучали, чтоб такой дрянью заниматься».

Проходит год, приезжает в губернию мухинский голова. Как водится — поклоны да подносы нужным людям. Завернул и к Николаю Фомичу. Христом богом просит его делом о чане поспешить: «Вода ведь совсем не бежит, ваше благородие, оборони господи — пожар, дотла сгорим». Как накинется на него Николай Фомич! Обругал на чем свет стоит и потребовал триста целковых благодарности. «Помилуйте,— говорит голова,— ведь это дело плевое, всего-то восемь с полтиной. Нельзя ль подешевле?» Как зарычит, как затопает Николай Фомич; насилу голова и ноги уплел... Еще год проходит, труба совсем засорилась, в чану, какова есть

капля воды, и той не стало... Еще год прошел — по улице вода стала землю пучить, а тут почтовый тракт пролегает. Изрыла вода дорогу так, что и способу нет. До губернатора жалобы от проезжающих стали доходить, городского голову за нерадение от службы удалили. Тот, известно дело, рад-радехонек для того, что служба торговому человеку хуже горькой редьки. Сто целковых Николаю Фомичу свез, думал, знаешь, что от него это произошло. Тот ничего, взял... Еще год, другой проходит. Мухинцы без воды волком воют, а ему наплевать. Сыскались охотники из мещан сами трубу вычистить, в Сибирь чуть не угодили: такую статью подвели, что еле-еле откупились. Приезжал в Мухин и губернатор, посмотрел и сказал: «надо починить».

Отыскался медведь поблизости Мухина. Пали слухи в губернии. А Николай Фомич на медведя охоч был ходить; как заслышал, так и поскакал «по делу о водопроводе». Медведя застрелил, водосточной трубы в глаза не видал, для того, что зима была, а из городских доходов прогоны взял туда и обратно. И медведя в губернию на городской счет в особых санях вез: ехал мишка под видом инструментов.

Донес Николай Фомич: так и так, «ездил в город Мухин «по делу о водопроводе», делал нивелировку, грунт нашел слабый, подземными ключами размываемый, рекою Волгой подмываемый, совсем ни на что не способный; потому деньги за сондировку и нивелировку, полтораста рублей, в уплату рабочим из моей собственности удержанные, покорнейше прошу возвратить откуда следует, а для благосостояния города Мухина и для безопасного и безостановочного следования по большой дороге казенных транспортов и арестантов, а равно проезжающих по казенной и частной надобностям, необходимо мухинскую гору предварительно укрепить и потом уже устроить водопровод для снабжения жителей водою».

Поваляли бумагу по разным местам, с год времени поваляли, полтораста рублей велели Линквисту из мухинских доходов выдать, а ему приказали смету составить на укрепление горы и на устройство водопровода.

Составил же Николай Фомич смету — чуть не миллион насчитал. Десяток-другой таких городов, каков

Мухин, со всеми их потрохами продать, таких денег не выручишь. А дело-то, помни, на первых порах было в восемь с полтиной. Хорошо, видно, планы да сметы сделал Николай Фомич, награда вышла ему... А мухинцы ни водопровода, ни чана с водой до сих пор и во сне не видали... Живи, как знаешь, чинить не смей. Дело заглохло, улицу совсем размыло, дома три повалило, а как летошный год на самый Петров день случился пожар: весь город и выдрало. Следствие сделали. Вышло, что загорелся Мухин от воли божией, а виновным никто не состоит. В пользу погоревших подписку сделали, и Николай Фомич чуть ли не первый два целковых подписал: губернаторша сбирала — нельзя...

Не могу сказать, как по другим местам, а в нашей губернии всякое казенно строение делается на живу нитку. Поживы-то хочется побольше, потому и железца поубавят, и кирпичик непережженный поставят, и балку положат покороче. Барыш двойной: и от стройки перепадет и ремонту по скорости потребуется.

Вот отчего казенная стройка в дорогую цену обходится и завсегда бывает непрочна. Про другие места не знаю, а у нас всем на виду, что случилось. Пятнадцати лет не прошло, как большие работы в губернии были; не один миллион в землю засадили, городска казна до сих пор кряхтит: город в долгу, как в шелку. А на все, что было в те поры построено — глядеть горько: губернаторский дом снизу доверху трещину дал, скоро под гору поедет, казармы развалились, откосы обсыпались, съезды завалило, от набережной следа не осталось. Две церкви старинного дела рассыпались, кремлевская стена свалилась, а стояла более трехсот годов... Надо бы было в горе родники отвести. Их не отвели, зато у строителей деревеньки явились: солдаты, что кирпич караулили, и те домишки себе построили.

А в стары годы не так строили. Видел ли, баринушка, собор у нас в губернии? Пятьсот годов стоит, хоть бы трещину дал; свод на нем хоть в замок сведен, да завершен осиновым колом. И держит тот кол церковный свод шестую сотню годов, и стоит тот свод ровно из меди вылитый. В старину-то ведь хитрости да уменья было поменьше, зато совести было побольше.

Так-то, баринушка...

НЕПРЕМЕННЫЙ

Рассказ

Живя в богоспасаемом граде Бобылеве, познакомился я со всеми его обывателями, от городничего и соборного протопопа до сапожника Абросима и коллежского секретаря Маурина, что состоял под надзором полиции «за некоторые дебоши в одном из столичных городов Российской империи», как он выражался.

Хаживал ко мне Андрей Тихоныч Подобедов — «непременный». Это значит, непременный заседатель земского суда. По уездам, с учреждения становых, вывелось старинное слово «заседатель», и непременного заседателя земского суда стали звать просто «непременным».

Это было плешивенькое, коренастое создание, вечно в форменном с гербовыми пуговицами сюртуке и в мухояровых панталонах. Добрейший был человек, всякому старался услужить, а к службе до того был усерден, что хворал только в табельные дни. Что всего замечательнее — не пил.

Он из старинных столбовых, но захудалых, мелкопоместных дворян. За отцом его по пятой ревизии в Д. губернии было записано двенадцать душ крестьян. С течением времени имение его «пропало без вести».

— Затерялось-с, затерялось,— с грустью и глубокими вздохами говаривал Андрей Тихоныч.— А теперь, пожалуй, душ двадцать пять народилось бы. Такое уж несчастье!.. следов отыскать не могу. Пропали души, да и все тут.

— А земля-то куда ж девалась, Андрей Тихоныч?

— И земля затерялась...

— А документы?..

— И документы затерялись... Так-таки все затерялось. Что станешь делать? Видно, уж на то воля божия.

— Что ж вы не хлопотали?

— Два раза пробовал, да толку не выходило. На гербовые только истратился. Еще, славу богу, по манифесту простили. Не то просто беда — разориться бы мог. Вот вы, Андрей Петрович, в Петербурге служите,

стало быть, все знаете... Скажите, бога ради, не предвидится ль по скорости милостивого манифестика?

— Кто ж это, кроме государя, может знать?.. А вам что?

— Да еще бы разок попробовал: авось вывезет. А не вывезет, так по крайности тем бы был спокоен, что гербовых не привелось бы платить.

Родитель Андрея Тихоныча служил, по выбору дворян, в земском войске 1807 года и потому носил золотую медаль на владимирской ленте, мундир с малиновым воротником и шляпу с зеленым пером. Служил в Бобылеве по выборам до смерти, а умер без гроша. В наследство Андрею Тихонычу, кроме без вести пропавших двенадцати душ, достался домашний скарб, турецкий кинжал, ружье Лебеды да ста полтора книг екатерининского времени, большею частью разрозненных. Тихон Алексеич Подобедов жалел народ, оттого и помер нищим. Зато крестьяне всего Бобылевского уезда служили по нем панихиды, записали имя его в своих поминаньях. Старики до сих пор добрым словом его поминают.

Единственный его сын, Андрей Тихоныч, чуть не босиком бегал в уездное училище, а научившись там писать скорописью, был взят родителем из храма Минервы и введен во храм Фемиды, говоря классически, а если попросту сказать — родитель поместил его в первое повытье * бобылевского уездного суда. Тихон Алексеич говаривал: «уездный суд — всему начало и всему голова: тут молодой человек всему навыкнет, тут и тяжебные дела и уголовные, тут всего лучше начинать службу».

Года через три Андрей Тихоныч получал уже по сороку пяти копеек в месяц жалованья. Каким богачом казался он товарищам! Те, получая такое же вознаграждение, были обязаны содержать кто мать-старуху, кто вдовую сестру с ребятишками, кто слепого отца, калеку. А Андрей Подобедов живет у отца на готовом! сыт, одет, обут, да еще сорок пять копеек в месяц... Богач!.. Шереметев!..

Еще при жизни родителя Андрей Тихоныч получил регистраторский чин и получал жалованья по девяноста

---

* Часть канцелярии, то же, что теперь называется «столом».

по восьми копеек в месяц, без вычета на госпитали и раненых. Он уж обзавелся тросточкой и важно ею помахивал, прогуливаясь по дырявым тротуарам Бобылева, обзавелся зелеными замшевыми перчатками и на кровные денежки справил суконную шинель горохового цвета «с семидесятью семью воротниками» — верх щегольства того времени.

Счастливый, довольный и собой и миром двадцатилетний Андрей Тихоныч стал помышлять о подруге жизни. На уездных вечеринках присосеживался к Оленьке, дочери магистраторского секретаря, говорил ей про свое сердце, и хоть она ему про свое ничего не сказывала, однако ж Андрей Тихоныч смекал, что и красненькую ленточку на груди Оленька для него прикалывает и височки колечком потому приглаживает, что ему так нравится...

Вдруг его родитель, Тихон Алексеич, скушавши за ужином шесть сковородок грибов в сметане, к утру лежал на том столе, где накануне кушал вкусные, сочные березовики. Он был первой жертвой первой холеры в Бобылеве... Остался Андрей Тихоныч один на своих руках. Еще слава богу, что ни за ним, ни перед ним никого не было: один как перст. А осталась бы обуза на руках — мать, например, аль сестры незамужние: не та б участь ему впереди была. Пустился б во вся тяжкая, спился бы с круга. Всегда так бывает.

Увидел, что на девяносто восемь копеек безо взяток жить нельзя. А взятки брать не выучился. Пробовал, да они мимо его к секретарю проскакивали. Ему работа. да на совесть гнет, а секретарю денежки. Горько стало Андрею Тихонычу. Об Оленьке и думать перестал, да и она, видя, что от него толку не будет, вышла за инвалидного поручика и зажила домком на счет солдатиков.

Тошно стало Андрею Тихонычу в Бобылеве. «Хоть землю, думает, буду копать, хоть воду стану носить, а перееду в губернию... Авось там другая мне линия выпадет».

«Экий я счастливец,— подумал он, когда совершенно неожиданно получил место в одном губернском присутственном месте.— Жалованье хорошее, и душа спокойна, оттого что взяток брать ни с кого не приходится. Знай, лупи, дери одну казну-матушку... А это разве грех...»

Служил-служил Андрей Тихоныч, пряжку беспорочную выслужил, титулярного получил. Человек смирный, покорный, безответный, каждое слово начальства, ровно слово из Неопалимой Купины, принимал. Оттого и начальство его возлюбило: каждый год Андрей Тихоныч получал наградные из остаточных сумм. От тех наград да от крупиц, что от казенной соли перепадали, составился у Андрея Тихоныча капитальчик тысяч в пять ассигнациями.

Однажды занимался он в кабинете его превосходительства, господина статского советника Александра Иваныча. И до сих пор в провинции статских советников зовут превосходительством, а это было еще в те времена, когда статским советникам давали станиславские звезды без ленты. Как же со звездой-то да не генерал? — Сановник!..

Таким звездоносцем-сановником был Александр Иваныч фон-Кабрейт. Правил он много лет казенной палатой — казенная соль, винокуренные заводы, откупщики, рекрутские наборы, торги на поставки и подряды, купеческие свидетельства, казенные леса, оброчные статьи, перечисление душ — все под его властной рукой... И статьи-то какие все жирные!.. На пять, на десять таких сановников разделить — все бы сыты были... И разделили по времени — государственные имущества в особую палату отвели и Василья Трофимыча над ними посадили. И Александр Иваныч доходов не лишился, и Василий Трофимыч разбогател. А приехал в губернию в одной шинелишке.

— А что,— сказал Александр Иваныч, когда Подобедов кончил работу.— Женат ты, Андрей Тихоныч?

Сроду впервые начальство по имени по отчеству его назвало. У Андрея Тихоныча в глазах зарябило: будто крестик в петличку подвесили. И то опять, о чем спрашивает его превосходительство, не по службе, а по делу, можно сказать, партикулярному.

— Никак нет, ваше превосходительство,— задыхаясь от душевного волнения, едва мог проговорить Андрей Тихоныч.

— Тебе бы, братец, жениться... Ты человек уж степенный.

Растаял Андрей Тихоныч.

— Как прикажете, ваше превосходительство,— чуть слышно пробормотал он.

— Приходи ко мне завтра вечерком... часу этак в восьмом... Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да, оденься почище... К невесте поедем.

— Слушаю, ваше превосходительство,— не веря ушам, молвил Андрей Тихоныч.

Какая милость низошла по благости божией! И на мысль не вспадало, во сне не грезилось!..

Ног не слышал под собой, когда в темную, дождливую осеннюю ночь крупно и спешно шагал он по липкой грязи, возвращаясь от его превосходительства в дальний конец города, где нанимал горенку у вдовой дьяконицы... «Какое счастье, какое вниманье начальства!» — думал он. Целую ночь заснуть не мог. Приходило в голову о невесте: «Кто бы такая была?..— раздумывал он.— И собой какова, молода ль, не ряба ли, иль какого изъяну не имеет ли?» Мысль о милости начальства вытесняла, однако, нескромные мысли о невесте. «Ну ее совсем! Милость его превосходительства, вот это дело!.. По имени по отчеству! Вместе, говорит, поедем!.. Вместе!.. Да этого он секретарю не скажет!»

На другой день разодетый, распомаженный Андрей Тихоныч явился в назначенное время. Тотчас позвали его в кабинет. Александр Иваныч одевался.

— Ты куришь? — спросил его превосходительство.— Гришка, трубку Андрею Тихонычу.

Если б коленопреклоненное королевство, долго и тщетно отыскивая себе властителя,— как, например, Испания, а в былые времена Польша,— со слезами и с рыданьями сказало д-ской казенной палаты столоначальнику: «Андрей Тихоныч, бери корону, царствуй над нами!» — едва ли б слова будущих верноподданных настолько смутили его душу, насколько смутили ее слова Александра Иваныча. Его превосходительство трубку табаку изволит предлагать!.. Сам изволит предлагать!.. Не сонное ль видение?.. Нет. Гришка сует ему в руку длинный черешневый чубук с громадным янтарем... Дрожат руки у Андрея Тихоныча, от умиленья и слезы в глазах и зелень туманом.

— Да ты садись,— молвил его превосходительство, застегивая помочи.— Садись вот здесь на диване. Покойнее будет.

Язык отнялся у бедного. Хотел что-то сказать, не смог. В блаженстве таял.

«Батюшка, батюшка! — думал он.— Видишь ли?.. Видишь ли ты, до какой чести дожил твой Андрюшенька?»

Слезы градом лились у Андрея Тихоныча.

— Что с тобой? — спросил Александр Иваныч.

— Так-с, ничего, ваше превосходительство. Покойника батюшку вспомнил...

— Похвально, молодой человек (а молодому человеку было за тридцать за пять). Действительно, в столь важную минуту жизни должно призвать благословение родителей... Хорошо, мой друг, хорошо!.. Похвально!..— прибавил Александр Иваныч, целуя Андрея Тихоныча.

От полноты чувств коровой заревел Андрей Тихоныч. Насилу отпоил его Гришка холодной водой.

— Садись,— сказал Александр Иваныч, когда Андрей Тихоныч, как столб, стоял на крыльце перед каретой его превосходительства.

«На козлы аль на запятки?» — пришло на ум Андрею Тихонычу. Лакей втолкнул его в карету.

«Батюшка, батюшка! — чуть не вслух сказал Андрей Тихоныч.— В-и-д-ишь ли?»

В первый раз в жизни он ехал в карете. И с кем?..

Приехали на «дачу». Так в губернском городе Д... у великих людей звались домики, где цвели роскошные цветочки... Цветочек Александра Иваныча — одна из многочисленных сестер Стрельских, что, служа по крепостному праву князю Кошавскому, служили с тем вместе кто Талии, кто Мельпомене, кто Терпсихоре в дощатом ветхом балагане. По святцам Пелагея, по театру Полина Ивановна, служила Терпсихоре, но, отбив об неровный пол театра резвые свои ноженьки, пятый год верно, нелицемерно служила Александру Иванычу. А он ее за то на волю откупил...

Видел Андрей Тихоныч ярко освещенные комнаты... Видел, как его превосходительство, с словами: «вот твой жених, Поленька», подвел его к грузной барыне в распашном капоте. Видел, как она сунула ему в губы жирную руку. Видел, как подали шампанское...

Как во сне. И как он с ума не сошел?.. Золотые часы, серебряная табакерка, енотовая шуба, а главное — милость начальства, и супруга, кажется, не строгая!..

Сыграли свадьбу, и зажили домком Андрей Тихоныч с Полиной Ивановной... И к Александру Иванычу попривык Андрей Тихоныч, не с прежней робостью говорил с ним. А говорил нередко, потому что господин фон-Кабрейт, хотя свою Полину замуж и выдал, однако ж нет-нет, да, бывало, и завернет к ней вечером посидеть. О том, о сем покалякают, потом его превосходительство и скажет Андрею Тихонычу: «Что ты, братец мой, все дома сидишь? Съездил бы хоть в театр, что ли, аль к кому из знакомых. Отъезжай на моих дрожках, если хочешь». И поедет, бывало, в гости Андрей Тихоныч...

Месяца через три после свадьбы Полина Ивановна сынка принесла. В тот же день навестил молодых Александр Иваныч: родильнице билет в тысячу целковых «на зубок» положил, Андрея Тихоныча крепко обнял и раз пять поцеловал.

— Ты ведь дворянин? — спросил его превосходительство Андрея Тихоныча.

— Так точно,— робко ответил Андрей Тихоныч.

— В родословную записан?

— Так точно, ваше превосходительство...

— Отец твой дослужился до дворянства?

— Никак нет, ваше превосходительство. Наш род старинный, столбовой, в шестой части родословной книги. И в бархатной книге записан, при Симеоне Гордом наши предки на Москву выехали. Так в нашей грамоте прописано...

— Очень рад, очень рад! — сказал Александр Иваныч.— Стало быть, новорожденному не нужно, чтоб у тебя Станиславчик в петличке висел, или чтоб ты коллежским асессором был. Очень рад!.. А то в нынешнее время это немножко затруднительно... О сыне не беспокойся — бог даст, подрастет, дорога ему будет.

Сунул в руку Андрею Тихонычу ломбардный билет в десять тысяч ассигнациями, еще поцеловал его со щеки на щеку и уехал, говоря на крыльце счастливому супругу:

— Очень рад, что сын твой старинный дворянин, очень рад...

Подарил его превосходительство Полине Ивановне домик в Бобылеве. Ни на что он ему не пригоден был, и

достался-то поневоле: за долг ли оставил его за собой Александр Иваныч, другое ль что-то в этаком роде было.

Подоспели дворянские выборы, его превосходительство говорит Андрею Тихонычу:

— Хочешь в Бобылев в непременные?

Света не взвидел Андрей Тихоныч... Место, на котором отец его помер, про которое и мечтать не смел.

— Ваше превосходительство!.. ваше превосходительство!..— только и мог он выговорить, всхлипывая от подступавших рыданий...

— Я тебя выберу.

И выбрал.

В Бобылевском уезде Александр Иваныч сам-друг заправлял всем на выборах. Других крупных помещиков не было.

Бобылевский уезд обыкновенно присоединяли к Чернолесскому. Его превосходительство каждый раз, бывало, и говорит чернолесским дворянам: «По вашему уезду я буду класть, кому куда прикажете, а по «моему уезду» по-моему делайте. Ведь мне, а не вам с выбранными чиновниками придется три года возиться. Так уж вы сделайте милость».

Чернолесские по его и делали. Оттого в Бобылеве губернатора не столько трусили, сколько Александра Иваныча.

Таким образом его превосходительство и сделал Андрея Тихоныча непременным.

И как был ему он благодарен... Того ему и в голову прийти не могло, что Полина Ивановна поизмялась, и его превосходительству свеженькой захотелось, ради чего и выбрал он Андрея Тихоныча в непременные.

В первое наше свиданье спрашивает Андрей Тихоныч меня, привставая со стула:

— Как в своем здоровье его превосходительство Александр Иваныч, осмелюсь вас спросить?

— Какой Александр Иваныч?

— Его превосходительства Александра Иваныча не знаете? — с удивлением вскликнул Андрей Тихоныч. Не могло у него сложиться мысли, чтоб кто-нибудь мог не знать его превосходительства.— Напрасно, напрасно,— говорил он, озадаченный моим вопросом,— чело-

век известный. Да вы его в Петербурге должны были знать. Ведь он туда каждый год ездит,— прибавил Андрей Тихоныч.

— Петербург не Бобылев, Андрей Тихоныч. Мало ль там народу? Всех не узнаешь,— сказал я.

— Не имел счастия бывать в Петербурге, а надо полагать, что таких людей, как его превосходительство Александр Иваныч, и там не очень много,— возразил Андрей Тихоныч.— Пятьсот душ отличнейшего имения, статский советник, звезда!.. От самих господ министров почтен!.. Таких людей немного, очень даже немного... Это уж позвольте вам доложить... Не может быть, чтоб по всей Российской империи много было таких людей. Если бы его превосходительство продолжали службу, могли бы губернатором быть, даже министром, потому что ум необыкновенный.

— Отчего ж он не служит?

— Н-н-нельзя-с,— немножко помявшись, ответил Андрей Тихоныч.

— А что?

— Неприятность в некотором роде — подсудность небольшая.

— А!

— Не подумайте, что за небрежение по службе. Нет-с. По злобе, единственно по злобе врагов. У кого их нет, Андрей Петрович?.. У всякого есть!.. А дело его превосходительства, можно сказать, самое простое: о казенной поставке.

— А! о поставке! Что ж, видно, поставка-то не поставилась?

— Правильно изволили сказать, но сами согласитесь, ведь соль — материал сырой. Мало-мальски водой ее хватит, тотчас наутек и превращается, можно сказать, в ничтожество. Его превосходительство Александр Иваныч об этом своевременно доносили по начальству: буря, дескать, и разлитие рек, и крушение судов. Следствие было произведено, и решение воспоследовало предать дело воле божией. А враги назначили переисследование. Тут воли-то божией и не оказалось. Понимаете?

— Что ж теперь поделывает ваш Александр Иваныч?

— Четвертый год старается, нельзя ли третьего следствия выхлопотать. Авось бы опять на волю божию поворотили...

И в своих и в казенных делах Андрей Тихоныч точен до самых последних мелочей. Любил порядок.

Верстах в двенадцати от Бобылева проживал в своей деревушке мелкопоместный помещик Чоботов Михайла Алексеич. Раз в сентябре приезжает к нему Андрей Тихоныч. Помещик рад: Андрея Тихоныча все любили. А все-таки член земской полиции, спрашивает хозяин: не по делу ль.

— Я ничего, сударь мой Михайла Алексеич. По соседству от вас был — у Лизаветы Ивановны; и к вам завернул «освидетельствовать» почтение.

Лизавета Ивановна, тоже мелкопоместная, жила в усадебке верстах в трех от Чоботова.

— Ну, так милости просим. Как, по-вашему, за чаек аль прямо за водочку? — спрашивает Чоботов.

— Благодарю покорно, Михайла Алексеич, я ведь на минуточку. Развяжите вы меня Христа ради с Лизаветой Ивановной... Будьте милостивы.

— Что такое, Андрей Тихоныч?

— Да вот какое дело, сударь ты мой. Год нынче вышел такой: гусей нелегкая больно много уродила. Кто, бывало, прежде цыплятами снабжал, нынче все гуся шлет, кто прежде свинью привозил, и тот нынче с гусями лезет. Такое, сударь мой, окаянство — просто беда. Гуся не охаешь, птица добрая, да расходу много проклятая требует, обжорлива очень. Колоть теперь рано: и перо слабо, и потроха не жирны, и сала немного... Откормить к Казанской да свезти в губернию, можно будет барыши иметь, да кормить-то, сударь ты мой, чем станешь?.. Самим вам, Михайла Алексеич, известно, какой нынче на овсы-то урожай. Вовсе их нет. И прежде-то ко мне немного овса подвозили, а нынче, поверите ли вы богу, воза порядочного не собрал. Ей-богу, право, не лгу... Что мне лгать-то?.. Я человек простой.

— Так что же вам, Андрей Тихоныч?.. Овса, что ли, велеть насыпать? — спросил Чоботов.

— Какой с вас овес! — с негодованием воскликнул Андрей Тихоныч.— Сохрани господи и помилуй овсом от вас взять!.. Как это можно!.. А вот мучки ржаной так пора бы прислать, Михайла Алексеич. Чать, уж обмолотились.

— Не намололи еще, Андрей Тихоныч.

— Ну ладно, дело не к спеху... Так вот я об Лиза-

вете-то Ивановне. Вся у меня на нее надежда была, думаю, даст возик овсеца, гуси-то у меня и откормятся. Приехал к ней в Трегубово: «Так и так, мол, сударыня, не погуби гусей, дай овсеца». А она: «Рада бы радешенька, говорит, Андрей Тихоныч, не пожалела бы для тебя, да ведь грех-от, говорит, какой у меня случился, овсы-то еще в бабках на поле, хоть сам погляди».— «Как же, говорю, Лизавета Ивановна, околевать, что ли, гусям-то? Помилуйте, говорю, матушка, колоть, что ли, мне их спозаранок-то? Изубытчусь ведь. Пожалей...» А Лизавета Ивановна: «Поезжай, говорит, к Михайле Алексеичу, у него овсы смолочены, он тебе не откажет».— Я ей и так и сяк... Нет, сударь, уперлась баба: поезжай да поезжай к Михайле Алексеичу, да и все тут. Уж я ей толковал-толковал, никак, сударь, под лад не дается. Баба так баба и есть, хозяйства понимать не может.

— Что ж,— сказал Чоботов,— коли надо, так я дам овса.

— Помилуйте, Михайла Алексеич... Да как же это возможно? Как же такие непорядки вводить? — с сердцем вскрикнул Андрей Тихоныч, с места даже вскочил.

— Какие же непорядки, Андрей Тихоныч?.. Не понимаю я вас, растолкуйте, пожалуйста.

— Сделать по-вашему — поля перемешать, хозяйство, значит, спутать. Разве это порядки? Скажите на милость, порядки это аль нет?

— Хоть убейте, не могу понять.

— Да разве вы не знаете, как у меня уезд-от поделен? У меня вот как заведено, сударь ты мой,— важно и серьезно начал Андрей Тихоныч.— По сю сторону речки Синюхи все господа помещики на ржаном стоят, а по ту сторону на яровом. С вас, с Петра Егорыча, с Анны Никитичны беру ржаной мукой, а с Лизаветы Ивановны, с Егора Пантелеича — овсом, гречей, горохом. Как же мне с вас овсом-то взять, когда вы во ржаном поле стоите? Этак, батюшка, и концов не сведешь... Поля перепутать — хозяйство сбить.

Как Михайла Алексеич ни ублажал Андрея Тихоныча взять с него овсом, не согласился. Уперся, как баран в стену рогами, никаких резонов не принял. «Не спутаю хозяйства»,— да и полно...

Покончили на том, что Михайла Алексеич послал Лизавете Ивановне овса взаймы, и она, как помещица яро-

вая, отдала этот овес Андрею Тихонычу. Когда же, уладив дело, Михайла Алексеич хотел послать овес на своих лошадях в город к Андрею Тихонычу, тот не согласился и на том настоял, чтоб овес был отвезен к Лизавете Ивановне, а она бы уж его в город отправила.

Вот какой точный был человек Андрей Тихоныч.

И все в Бобылеве любили его, и он всех любил. Душа была у него самая мягкая, каждому был рад услужить, чем только мог. Чиновники, бывало, о нем: «А наш-от блаженный! Он ничего. Пороху не выдумает, а человек тихий». Мужички в один голос: «Такого барина, как Андрей Тихоныч, ввек не нажить. И родитель был душа-человек, а этот и того лучше; всякому доступен, всякого по силе-возможности милует. Много за него господа молим».

А был же и у него враг. При всем благодушии, при всей кротости не мог Андрей Тихоныч говорить про него равнодушно. Это был бобылевский почтмейстер Егоров.

— Отчего вы не любите Ивана Петровича? — спросил я однажды Андрея Тихоныча.

— Нельзя мне любить его, Андрей Петрович... Он — злодей мой... Такую беду надо мной сделал, что представить себе не можете. Такая по милости этого подлеца со мной конфузия случилась... что вспомнить страшно!.. Ехидный человек! Самый злющий, самый жадный!..

Служение свое первоначально имел он в гусарском полку, по скорости исключен за пьянство. И как же теперь он злословит ихнюю гусарскую службу, даже вчуже обидно. Уверяет, якобы гусары не кутят и что у них чуть кто выпьет да маленько пошутит, тотчас его вон из полка. «Хоть меня, говорит, взять — ну что такое я сделал? Выпивши, голый я по базару прошелся, и за это — хлоп! — из полка вон». Всячески злословит. «Какие, говорит, они кутилы, они, говорит, наперсточные кутилы, бабьими наперстками пьют». И здесь каждого человека обидеть готов.

На что я? На весь уезд пошлюсь, никто меня ни в чем не приметил. Так нет, и меня оскорбил по азартной своей нравственности. Да оскорбил-то как! Без ножа голову снял.

Покамест я по милости его превосходительства Александра Иваныча на сем месте «приуставлен» не был, проживание имел в губернии, а домик, что его превосходительство Полине Ивановне пожертвовали, отдавал под почтовую контору. Когда ж переехал в Бобылев, домуто срок не вышел еще. Делать нечего, и от своего угла без малого два года в наемной квартире пришлось проживать, потому контракт, можно сказать, вещь священная.

А я, осмелюсь вам доложить, хоть на медные деньги обучен, но старших уважаю и долг почтения не забываю, для того что воспитан в страхе божием. Душу имею памятную, к благодарности склонную, для того, по христианскому обычаю, перед каждым праздником, не имея возможности, за отдаленностью расстояния, лично поздравлять его превосходительство Александра Иваныча письменно свой долг исполняю. Придешь, бывало, на почту: Иван Петрович письмо примет, гривенник получит — я и спокоен. И шло таким манером дело без мала два года.

Зачал меня «оброчным» звать. Встретится где, во все горло орет — через улицу, через площадь ли — все ровно: «Здравствуй, оброчный! Красна пасха на дворе, оброк неси». А иной раз даже попрекнет: «Эй, ты, оброчный, к вознесенью-то опоздал, смотри, брат, в недоимку со штрафом впишу».

А мне невдомек, что такое слова его означают. Какой, думаю, я ему оброчный? Под начальством не состою, зависимости не имею: какой же я ему оброчный? Раз даже в церкви, после обедни, таким прозвищем меня обозвал. Стали ко кресту подходить... Я, исправляя долг почтения, благородных с праздником поздравляю и ему, подлецу, свидетельствую почтение... А он поклониться-то поклонился, да, осклабившись, при всех и бухнул: «Спасибо, оброчный, за поздравленье и за оброк спасибо, что не запоздал»... Сердце меня взяло! Как же это в самом деле?.. В храме господнем, при городничем, при исправнике, при дамах, при всех благородных, вдруг меня таким манером хватил!.. Не вытерпел, сказал ему: «Милостивый государь мой, говорю, я столповой дворянин и потому у вас на оброке состоять не могу, а ваши слова, милостивый государь мой, для меня бесчестны». Вспылил тут я сам немножко, обидел его при всех: «ми-

лостивый государь мой» назвал. А он хоть бы что, нисколько не обиделся, точно не ему сказано. Да еще говорит: «Хоша ты и столповой дворянин, а все ж мой оброчный...» Я от него в сторону пошел, думаю: «господь с тобой, наругатель ты этакой».

Под конец контракта слышим — Иван Петрович у Спиридонова дом покупает и контору к себе переводит, чтобы, знаете, и наймом квартиры не харчиться и с казны за контору деньги получать. Меня не прижимал, съехал даже до сроку.

Уж и отделал же он дом-от. Хуже харчевни сделал его: стены сургучом измазал, полы перегноил. Просто, с позволения вашего сказать, такая была гадость, что уму непостижимо!

Вижу, надо поновить. Тут, благодаря бога, его превосходительство Александр Иваныч в свою вотчину проезжать изволили и по душевному своему расположению леску мне пожаловали, плотников прислали, конопатки, гвоздочков и другого железца, сколько требовалось. Поисчинил я крышу, стены поисправил; думаю, кстати уж и полы-то перестелю — плотники даровые. Тронули полы в большой комнате, где «приемная» была, гляжу: половицы-то еще хороши, поосели только, щели в палец шириной и больше. Оно, конечно, можно бы их и сколотить, да уж видно мне божеское напоминание было. Заколодило в голове: перестели да перестели. Что ж, думаю, перестелю, теплее будет, да и черный-от пол заодно поисправлю, золой его забью, чтоб не дуло.

— Сымай, братцы, полы,— говорю плотникам, а сам точно под каким-нибудь предчувствием состою...

Как принялись за топоры, как запустили их под половицы, как пошла у них работа, поверите ли?.. у меня мурашки по спине. И сердце-то болеет и в голове-то ровно туман... Точно как будто сейчас растворится дверь и войдет губернатор. «А сколько дел? А покажи-ка, распорядительный!..»

Вышел на двор освежиться. Слышу, плотники про бумаги толкуют. «Брось,— говорит старшой,— опосля все спалим».

Я к окну.

— Что, мол у вас тут такое?

— Да вот, говорят, больно много бумаги под полом-то насовано... Надо быть, в эту щель совали.

— Давай, говорю, сюда. Что такое?

Высыпали они мне за окошко ворох страшенный... Угодники преподобные!.. Все-то письма, все-то письма!..

Которы распечатаны, у которых и печати целы. Одна печать — письмо не тронуто, пять — вскрыто. На адресах куши не великие: целковый, два, три, к солдатикам больше, в полки.

А плотники подкидывают да подкидывают. Сот пять накидали... Господи боже мой!.. Нет же у человека совести, и начальства не боится.

Стал я ворох разбирать, а самого как лихоманка треплет. Думаю: «Злодей-от ведь без разбора письма под пол сажал... Ну как я на государственный секрет наткнусь... Червь какой-нибудь, нуль этакой, какой-нибудь непременный, да вдруг в высшие соображения проникнет!.. Что тогда?.. Пропал аки швед под Полтавой! Ох, ты, господи, господи!..»

А ведь не кто, как бог. Сказано: «На кого воззрю? Токмо на смиренного». Так иное дело. Государственных-то секретов и не было!

Батюшки!.. Мое письмо!.. К его превосходительству!.. Варом меня так и обдало!.. Лучше б государственный секрет узнал!.. Злодей, злодей!

Раз, два, три, четыре... все шестьдесят восемь, все до единого! Ирод ты этакой!..

Хоть бы одно распечатал! Любопытства-то даже не было. Бесчувствие-то какое ведь!.. Слеза меня прошибла. Вот оно «оброчный»-от!.. Гривенники-то брал, а письма под пол да под пол... Значит, я ему в самом деле перед каждым праздником по гривеннику оброку носил.

Пропадай они, гривенники!.. Его-то превосходительство, Александр-от Иваныч, что могут про меня сказать! «Неблагодарное животное», вот что могут сказать!.. Как же это в самом деле?.. Без малого два года и ни одного почтения!.. господи, господи!..

Собрал я письма, связал в узелок: марш в нову контору... Иван Петрович в засаленном, сургучом залитом халате письма принимает — день-от почтовый был... Он было мне: «здравствуй, оброчный!»

— Свинья ты, свинья, Иван Петрович! Бога не боишься и стыд забыл.

А он:

— Чем ты, оброчный, обиделся?

Я письма-то на стол, и говорю:

— Это что?

А он и в конфузию не пришел, только спросил:

— Аль полы перестилаешь?..

— Просьбу, говорю, подам, под закон подведу тебя. Зло-то меня, знаете, очень уж взяло.

А он хоть бы бровью моргнул.

По малом времени, однако, заговорил:

— А я, говорит, допрежде тебя рапорт пошлю, что, мол, оставил я, при переезде на квартире, в доме титулярного советника Подобедова пост-пакет с донесениями к разным министрам, пакеты с надписью «секретно» да сто тысяч казенных денег... И он-де, титулярный советник Подобедов, тот пост-пакет похитил... Что тогда скажешь? А?

Я так и обомлел. Вижу, дело-то хуже секретов.

Хотел изловчиться: «У меня, говорю, свидетели есть».

А он:

— Плотники, что ли? Так я, говорит, их отстраню, потому что они у тебя в услужении. На это, брат, статья есть.

Вижу, нет у человека стыда в глазах... Плюнул, пошел вон.

— Как же теперь поздравляете Александра Иваныча-то? — спросил я.

— Сотских из суда гоняю.

ИМЕНИННЫЙ ПИРОГ

Рассказ

Это было еще задолго до крымской войны...

В одной из степных губерний, в захолустном городке Рожнове, пришлось мне прожить по одному делу больше месяца.

Однажды в воскресный день после обедни, когда «благородные» обыватели богоспасаемого града Рожнова, приложась ко кресту, поздравляли друг друга с праздником, уездный стряпчий Иван Семеныч Хоринский подошел ко мне.

— Сделайте такое одолжение,— говорил он с какими-то торжественными ужимками,— удостойте чести мой пирожок; Антон Михайлыч будут, Степан Васильич, Михайла Сергеич. Сделайте одолжение, удостойте!.. Сегодня я именинник.

Поздравив именинника, я обещался быть у него непременно.

— Только уж нельзя ли пораньше, Андрей Петрович: мы ведь люди простые, не столичные, привыкли рано. Сделайте милость, теперь же, прямо из церкви.

Затем, посуетившись среди «благородных», Иван Семеныч в алтарь пошел приглашать духовника своего, рожновского протопопа, отца Симеона. Мимоходом тронул за плечо купца Дерюгина, торговавшего бакалеями, вином и другими жизненными потребностями и занимавшего в ту пору должность городского головы. Дерюгин оглянулся, именинник что-то шепнул ему, и голова с сияющим лицом поклонился стряпчему в пояс.

Погода была прекрасная. «Благородные» пешком пошли к Ивану Семенычу. Шел городничий Антон Михайлыч, шел исправник Степан Васильич, шел судья Михайла Сергеич, шел «непременный» Егор Матвеич, шел почтмейстер Иван Павлыч, шли и другие обоего пола «благородные». Две бородки примкнули к бритому сонму чиновных людей: одна украшала красное, широкое лицо Дерюгина, другая густым лесом разрослась по румяному лицу касимовского купеческого брата Масляникова, бывшего прежде целовальником, а теперь управляющего рожновским винным откупом.

Расходившиеся из церкви мещане и разночинцы почтительно снимали шапки и низко кланялись шествующему сонму властей, но никто не удостоился ответного поклона. Не гордость, не чванство причиной тому. Попадись благородный один на один любому мещанину, непременно б ответил ему поклоном и дружелюбно поговорил бы. Но, шествуя в сонме властей, как поклониться?.. Нельзя!..

Именинник встречал гостей на крылечке. Шумной толпой ввалили они в залу, а там столы уж уставлены яствами и питиями, задорно подстрекавшими зрение, обоняние и вкус нахлынувших гостей.

Люди мелкой сошки: столоначальники, или, как звали их по старине, «повытчики», городской голова, ма-

гистратский и думский секретари, учителя со штатным смотрителем, отец дьякон, остались в зале. Чинно рассевшись по стульям, скромно, вполголоса вели они беседу о новейших происшествиях в городе Рожнове: о том, как в ушате с помоями затонула хохлатенькая курочка матушки-протопопицы, как бабушка-повитуха Терентьевна, середь бела дня заглянув в нетопленную баню, увидала на полке кикимору, как повытчика духовного правления глорианского кладбищенский дьякон Гервасий застал в самую полночь в своем огороде, купно с девицей Капитолиной Гервасиевной. Говорили, обсуждали, а сами с жадностью поглядывали на предстоявшую тра́пезу.

Гости первой статьи, ранга высокого: городничий, исправник, протопоп, управляющий откупом, судья, «непременный», заседатели уездного суда, почтмейстер, два секретаря из судов земского и уездного, казначей, винный пристав, продолжали шествие в гостиную, а там на диване сидела разряженная Катерина Васильевна, супруга Ивана Семеныча, с Анной Алексеевной городничихой да с Марьей Васильевной исправницей. У дивана возле матери стояли два сынка Ивана Семеныча, один лет девяти, другой восьми, оба в красных рубашечках, обшитых белыми снурками. Дико смотрели мальчишки: старший мрачно ковырял пальцем в носу, а младший, увидя издали протопопову бороду, разинул рот, собираясь задать исправную ревку. Он не замедлил, братишка завторил ему, и Катерина Васильевна, схватив сыновей за руку, увлекла их в детскую и минут через пять воротилась к гостям, оправляя помятое платье.

Чай подали. Хоть русский человек до чаю охоч, но, в ожидании будущих благ, гости пили его не до поту лица. Вскоре хозяин пригласил сидевших в гостиной перейти в залу — водочки выкушать.

— Да ты бы сюда велел тащить,— молвил Иван Павлыч, почтмейстер, хвалившийся перед тем, что он всего Во́лтера наизусть вытвердил. Почтмейстер всем говорил «ты», и оттого все думали, что он вольнодумец и верует не в бога, а в Во́лтера. Иван Павлыч гордился тем.

— Помилуйте, Иван Павлыч,— с явным замешательством ответил ему именинник, ткнув пальцем по направлению к дивану.

Над диваном висел писанный масляными красками

портрет пожилого господина в мундире, с красной лентой через левое плечо и с двумя звездами. Длинный, горбатый нос и глаза навыкате под наморщенными, щетинистыми бровями сурово глядели из ярко позолоченной рамы.

— Эк чего струсил! — захохотал почтмейстер.— Не живой, авось не укусит!..

— Все-таки подобие,— сдержанно молвил именинник.— Вам что?.. Вы ведь Вóлтер, а мы христиане.

— Да-с, могу сказать!..— самодовольно ответил, поглядывая на меня, Иван Павлыч.— Могу сказать, что Вóлтера знаю... Ты бы, Иван Семеныч, хоть «Оду на разрушение Лиссабона» раскусил, так и не стал бы призраков бояться... Ведь это призрак? — продолжал он, указывая на портрет.— Призрак ведь?.. А?

— Полноте вам!..— неспокойно проговорил именинник, увлекая нечесаного Вóлтера к столу с графинами и графинчиками.— Вы бы лучше вот выкушали.

— Можно! — ответил почтмейстер и прошелся по водочке.

— Славная икорка! — заметил городничий, набивая рот хлебом, вплотную намазанным свежей зернистой икрой.— Из Саратова?

— Из Саратова,— ответил именинник.

— Хорошая икра. Что бы тебе, Маркелыч, такую держать? — сказал Антон Михайлыч стоявшему у притолки городскому голове.

Почтительно подойдя к «хозяину города», голова с низким поклоном и плутовской усмешкой промолвил:

— Несходно будет, ваше высокородие. Сами изволите знать, какой здесь расход.

— Мы бы стали брать, вот Степан Васильич, Алексей Петрович, Иван Семеныч, все...

— Нет, уж увольте, ваше высокородие. Ей-богу, несходно.

Прав был голова: несходно ему было хорошую вещь в лавке держать. Икра за прилавком не залежалась бы, в день либо в два расхватали б ее «благородные» — на книжку. А это значит: «пиши долг на двери, а получка в Твери».

— Пирог подан!..— возгласил именинник.— Андрей Петрович, Антон Михайлыч, милости просим. Иван Павлыч, а повторить?

— Можно,— ответил почтмейстер и повторил в пятый либо в шестой раз. Ученик Вóлтера придерживался российского, о виноградном отзывался презрительно, называя его свекольником.

Гости первого сорта вокруг стола уселись, мелкая сошка пили и ели стоя, барыни с Катериной Васильевной удалились в ее комнаты. Нельзя ж при кавалерах прихлебывать настоечки да наливочки.

Зашла беседа о железных дорогах. Стоявший за стульями штатный смотритель с приличной осторожностью осмелился доложить, что было б хорошо и даже необходимо для отечественного просвещения провести железную дорогу в Рожнов. Городничий закинул назад голову и, с презрением взглянув на смотрителя, молвил:

— Ишь чего захотел!

Штатный смотритель поперхнулся куском пирога и, с глухим кашлем наклоняясь и закрывая рот салфеткой, торопливо вышел в переднюю.

— А что ж?.. Недурно бы было,— сказал исправник.— С Волги живых стерлядей сюда бы возили.

Исправник, по собственному его выражению, имея «характер гастрономический», держал повара, привезенного из Москвы, и смотрел на обед как на цель человеческой жизни.

— Часты будут наезды из губернии,— ответил городничий.— Из мундира не вылезай. Да и накладно.

— Правда,— подтвердил сонм благородных. Согласился и гастроном-исправник.

По углам разговоры шли деловые. Только и слышно было:

— К вам послано было отношение, на это отношение вы отвечали...

— А по указу губернского правления...

— Недоимка наросла страшная, хоть ты тут тресни, ничего не поделаешь...

— А казенная палата и посылает указ...

— Ну, и заключить его в тюремный зáмок!

И за столом разговор с железных дорог на дела перешел.

— Деятельностью могу похвалиться,— говорил исправник.— Загляните когда-нибудь к нам в земский суд,

Андрей Петрович,— посмотрите... Тридцать шесть тысяч исходящих!.. И до этакого числа, могу сказать, я довел. При покойнике Алексее Алексеиче редкий год двадцать тысяч набиралось. При моей бытности, значит, в полтора раза деятельность умножилась. Дел теперь у меня... Ардалион Петрович! — крикнул он через стол секретарю земского суда.— Сколько у нас дел?

— По суду? — басом спросил секретарь.

— И по суду и у становых, всего сколько?

— Тысяча восемьсот шестьдесят девять дел к первому числу показано,— пробасил Ардалион Петрович и хлопнул на-лоб рюмку хересу.

— Возьмите вы это, Андрей Петрович, тысяча восемьсот шестьдесят девять дел. Средним числом хоть по двадцать листов на дело положить... ведь это... двадцать да шестнадцать... семнадцать... ведь это тридцать семь тысяч листов без малого. Да еще мало я кладу по двадцати листов на дело. Так изволите ли видеть, какова у нас деятельность...

Слова исправника просьбицу означали: когда, дескать, увидите министра, скажите ему: «есть, мол, ваше высокопревосходительство, в Рожнове исправник, Степан Васильич, отличный исправник, деятельный, привел уезд в цветущее, можно сказать, положение».

А вечерком на сон грядущий так исправник мечтал: «Скачет от губернатора нарочный, скачет, скачет, прямо ко мне. «Пожалуйте, говорит, к губернатору для объяснения по делам службы». Еду, разумеется, немедленно, являюсь... А губернатор на шею ко мне. «Поздравляю, говорит, поздравляю, Степан Васильич, поздравляю!» А сам крестик из пакета вынимает, к мундиру пришпиливает. Я, разумеется, в плечо его превосходительство, руку ловлю... Не дают. «Лучше, говорит, я тебя в губы»... Заманчиво, черт возьми! ей-богу, заманчиво!.. Какой бы обедище задал!.. Как свиней кормят пареной репой, так бы всех закормил я трюфелями!.. Пирогов бы страсбургских выписал, омаров... На каждого по пирогу да по цельному омару!.. Такими бы дюшесами стол изукрасил, что кто б ни взглянул, так бы и обомлел».

Пиршество меж тем продолжалось. Именинник торопливо перебегал от гостя к гостю, упрашивая ровно бог знает о какой милости побольше покушать. Напрасно он хлопотал, и без того гости охулки на руку не клали. Ис-

чезло со столов пять кулебяк с визигой да с семгой, исчез чудовищный осетр, достойный украсить обеденный стол любого откупщика; исчезли бараньи котлеты с зеленым горошком и даровые рябчики, нашпигованные не вполне свежим домашним салом. Все исчезло в бездне «благородных» утроб... Со славой те утробы поспорили бы с утробами поповскими... Про них, к общему удовольствию гостей, рожновский Во́лтер, обращаясь к отцу протопопу, сказал: «Сидит поп над псалтырью, другой поп с ним рядом. «Что б означало,— спросил один: — бездна бездну призывает?» Другой отвечает: «Это, говорит, значит: поп попа в гости зовет».

Из-за стола встали грузны. Во́лтер хотел было домой идти, но, отыскивая картуз, сел нечаянно на стул у окошка и тотчас заснул. Духовенство ушло, вслед за ним и мелкая сошка.

Оставшиеся завели речь про губернаторскую ревизию, потом заговорили о портрете, висевшем в гостиной именинника.

— Расскажи, Иван Семеныч, про́ портрет-от,— сказал городничий.

— Да вы ведь уж знаете, Антон Михайлыч,— несмело отозвался Иван Семеныч.— Зачем же повторять?

— Да вот наш гость дорогой, Андрей Петрович, не знает.

— Эх,— воскликнул Иван Семеныч, махнув рукой.— Не понять Андрею Петровичу!.. Мы ведь люди простые, степняки, не петербургские... Нет уж, Антон Михайлыч,— пущай его висит!.. Бог с ним!.. Мы ж теперь маленько подгуляли... Нехорошо в таком виде про такие дела говорить.

Неотступные просьбы поколебали именинника. Тихо подошел он к гостиной, осторожно притворил дверь и уселся в кружок. На лице его заметно было душевное волнение. Положил он широкие ладони на колени, свесил немного голову и, помолчавши, вполголоса начал рассказывать:

— Его превосходительство Алексей Михайлыч Оболдуев, наш губернский предводитель,— его, Андрей Петрович, вы, конечно, имеете честь знать,— изволили лет пять тому назад в Рожновском уезде с аукциона купить заложенное и просроченное имение гвардии поручика Княжегорского, село Княжово с деревнями... В том се-



«СТАРЫЕ ГОДЫ»



«ПОЯРКОВ»

ле дом был старый-престарый, комнаты-сараи, потолки со сводами, стены толстые, ровно московский Кремль. В стары-то годы, знаете, любили строиться прочно, чтоб строенью веку не было. Толсто, несуразно, зато прочно выходило.

Дом у Княжегорского был запакощен хуже не знай чего. Когда в нашей губернии вторая бригада восьмой дивизии стояла, он его под военный пост отдал. И стены, и полы, и потолки в таком виде после христолюбивого воинства остались, что самому небрезгливому человеку стоило только взглянуть, так, бывало, целый день тошнит... И в таком-то доме — слышим — его превосходительство Алексей Михайлыч желает по летам проживать. Оченно ему понравилось местоположенье Княжова.

С диву пали. «Как же это, думаем, его превосходительство Алексей Михайлыч, особа обращения деликатного, воспитания тонкого, в вертепе станет жить?» Однако ж года через полтора его превосходительство, можно сказать, восьмое чудо сотворили: из запакощенного дома такой, могу вам доложить, соорудили, что хоть бы в Петербург возле государева дворца поставить. Зимние сады, цветные стекла, бронзовые решетки, карнизы, из белого камня сеченные. Не дом — чертоги.

Так и ахают все, а его превосходительство Алексей Михайлыч изволят говорить: «подождите, то ли еще будет». И выписали они из Риги немца — Карла Иваныча, чтобы он княжовский дом живописью украсил. Приехал Карл Иваныч, а был он немец настоящий, ни единого то есть слова по-русски не разумел. После наторел, а на первых порах ровно полоумный был: ты ему говоришь дело, а он выпучит глаза да головой мотает. Смешной был немец!

Чего только он не натворил: потолки расписал, нагих Венер, Купидонов и других языческих богов намалевал, и все-то они вышли у него народ здоровенный, матерóй, любо-дорого посмотреть!

Живучи в Княжове, Карл Иваныч в Рожнове частенько бывал.

Подружился я с ним, когда он по-русски стал понимать. Мастер наливки делать и все по рецептам. И меня теми рецептами снабдил. Наливочки, смею полагать, изряднехоньки. Андрей Петрович, сливяночки не прика-

жете ли, али вот поляниковки!.. Деликатес, могу доложить!..

Однажды приезжает немец в город прямо ко мне.

— Что, говорю, Карл Иваныч, зачем бог принес?

— Дельце, говорит, Ифан Симонишь, есть.

— Какое дельце?

Пошел немец рассказывать.

Дело вот какое было. В ихней Немечине, в самой то есть настоящей Немечине, в Ревеле, сродник помер у Карла Иваныча, и ему доводилось наследство получить. А как получить — не знает. По дружбе взялся я ходатайствовать, доверенность взял у него и пошел в Немечину бумаги писать. Возни много было, немцы — народ ремесленный: законов не разумеют... И присутственны-то места у них не как у людей: «обергерихты» да «гутманы», сам черт не разберет!.. А Карл Иваныч горячка: ему б в один день наследство взять безо всякой переписки. «Нет, говорю, брат, шалишь, не в порядке будет, ты повремени, а я стану писать, как следует». Насилу мог урезонить. Наставивши его на должный порядок, без малого полтора года вел его дела. Выслали напоследок Карлу Иванычу из ревельской Немечины шестьсот целковых.

Зарадовался. На козьих своих ножках так и подпрыгивает, ручонки так и потирает...

— Сколько, говорит, надо, Ифан Симонишь, благодарности?

А я ему:

— Бог с тобой, Карл Иваныч! С ума ты, что ли, спятил... Я хлопотал по дружбе, денег не возьму.

А он:

— Да мне, говорит, совестно, Ифан Симонишь.

Хороший был человек, даром что немец, совесть знал.

— А коли, говорю, совестно, так подари картинку своего писанья.

Так и запрыгал... Руку мне пожимает, меня же благодарит, что картину у него потребовал... Слезы даже на глазах выступили. А не тому рад, что деньгами мне не поплатился. «Мне, говорит, то дорого, что вы, Ифан Симонишь, искусство любите».

А я ему:

— Уж там, брат, люблю ли я, нет ли, а картинку-то мне подай.

— Есть, говорит, у меня «Разбойник венецианский», младенца режет, да есть, говорит, «Итальянское утро», да есть, говорит, губернаторский портрет.

Разбойника взять поопасился. По должности неприлично... Стряпчий... У царского-то ока да вдруг разбойник в доме заведется?.. Хоть и не русский, а все нехорошо... Опять же супруга каждый год тяжела бывает, неравно на последних часах взглянет на «Разбойника» да испужается... Портрет взять, думаю, будет не по чину, смеяться бы не стали: «Какая-нибудь, дескать, пигалица, уездный стряпчий, а тоже подобие его превосходительства у себя имеет». Давай, говорю, «Итальянское утро». На том и решили.

Добрая неделя прошла, а «Утра» нет как нет... Стал я подумывать, не надул ли меня немец, по губам только не помазал ли? Однако ж нет, везут из Княжова ящик аршина два длины, полтора ширины. Вот оно «Утро»-то!.. Честный человек, не надул.

Жену кликнул... Гляди, мол, «Утро» привезли. Дети прибежали.

— Папася, папася,— голосят,— это пастила, что ли?

— Нишкните, говорю, какая тут пастила! Тут «Итальянское утро»: солнышко восходит, коровки идут, пастушок на свирелке играет.

Ребятишки так и запрыгали: один кричит: «папася, мне коловку!», другой голосит: «папася, патуська!»

Как вскрыл да поставил я картину на стол, так даже ахнул... Этакой ты бесстыжий, Карл Иваныч! К женатому человеку да такую пакость!.. Утра-то на картине вовсе нет: стоит молодая девка в одной рубахе, руки моет, рубашонка с плеч спущена, все наружи, рядом постель измятая... И другое житейское — все тут же!

Жена как взвизгнет да всплеснет руками. Плюнула на картину, говорит:

— Срамник ты, срамник этакой, Иван Семеныч!.. На старости лет пакостями вздумал заниматься!.. Я, говорит, отцу Симеону пожалуюсь, задал бы тебе на духу хорошенького нагоняя, епитимью наложил бы. А меня, покаместь эта мерзость в доме, ты и не знай.

Ушла и дверью хлопнула.

А ребятишки пальцами в картину тычут, кричат: «кормилка! кормилка!» А кучер Гришка, что ящик в

комнаты вносил, сзади стоит, ухмыляется да бормочет себе под нос: «ровно кума Степанида».

— Вон все пошли! — крикнул я.

Остался один перед «Утром», разглядывать стал... Бес и ну смущать... Глаза масленые, с поволокой, зубы белые, сама дородная; смугла, зато грудиста, а волосы смоль, как есть смоль черные.

Гляжу-гляжу, а сам чувствую, как грех-от на душу лезет. Мурашки по спине... Дышишь — задыхаешься, в сердце ровно горячей иглой кольнуло тебя. Разбежались глаза... Хорошо намалевано!.. Да где ж «Утро-то итальянское»?

Вспомнил, что в законе, в браке то есть состою — нечего, значит, на чужую красоту глаза пялить... Какую бог послал — той и держись, а на чужую не смей зариться, грешных мыслей не умножай!.. Так господь повелел... «Греховодник ты, греховодник, Карл Иваныч! Вот оно в тихом-то болоте черти живут. Тихоня, скромник, бывало на курносую, рябую стряпку взглянет, так весь зардеет, а вот чем занимается!..»

Жену кой-как усовестил, резоны ей представлял всякие: даровому-де коню, матушка, в зубы не смотрят, а тебе, говорю, опасаться нечего, девка не живая.

Степанидой попрекнула. А я ей:

— Степанида, говорю, матушка, вещь живая, и ты сама знаешь, что я теперь — ни-ни. А это, говорю, картина, вещь бездушная, греха от нее случиться не может.

Так да этак, уговорил Катерину Васильевну повесить картину в гостиной.

Повесили. Только стал я замечать, что моя Катерина Васильевна невесела ходит; каждый раз, что ни пройдет через гостиную, плюнет. Иной раз всплакнет даже. Станешь что-нибудь говорить с лаской, она: «Ступай, говорит, в гостиную, там у тебя «Итальянское утро».

Раздор семейный, несогласие!.. Ах, ты, немец окаянный!

Рождество Христово подошло, с визитами все. Мужчины приедут — с «Утра» глаз не сводят, а барыни — хоть святых вон неси. «Человек вы немолодой, Иван Семеныч,— корят меня,— малых детей имеете, а такой соблазн в честной дом внесли... бога не боитесь!..» И ни одна, бывало, мимо картины не пройдет, чтобы не плюнуть!.. А небось, как у его превосходительства Алексея

Михайлыча в Княжове балы бывают, так из угольной от Аполлоновой статуи наших барынь плетью не отгонишь.

Житья не стало от окаянного «Утра». Отец Симеон началить стал: «Грех, говорит, в одной комнате со святыми иконами богомерзкое изображение держать».

Жаль было картинки. Не бросить же!.. Ежели в гостиной нельзя держать, перенесу ее в заднюю,— маленькая там у меня горенка есть, для прохлады...

Хуже стало. Весь Рожнов заговорил, что царское око в потаенный разврат ударился! Отец протопоп заходил, строго выговаривал.

Провались ты, думаю, окаянный немец, со своим «Итальянским утром»! — Заколотил его в ящик, и назад в Княжово. «Давай,— пишу Карлу Иванычу,— губернатора».

О ту пору, как я «Утро» отправлял, его превосходительство господин губернатор у нас в Рожнове на ревизии был. Приехал грозный и уехал грозный. Такой робости задал, так всех понастроил, что только господи ты боже... Во все сам входил: и сукно на столах охаял, и ковер, говорит, по закону должен быть... Заметил, что законы не за замком лежат, что стулья поломаны, на заднюю лестницу даже ходил. Всем досталось, а мне изволил сказать: «Ты ни за чем не смотришь, ничего не видишь!» Так и сказал... Ей-богу!

Думаю: «Ну как немца да продернет на портрете... Как угораздит его, чертова сына, без орденов изобразить. Повесить нельзя будет его превосходительство. Хуже «Итальянского утра» выйдет».

Везут ящик. Тут я ни жену, ни детей не позвал, вдвоем с Гришкой ящик вскрывали... Ах, ты, немец окаянный... Звезду намалевал, а ленты нет... Да еще во фраке изобразил начальника-то губернии!.. А у фрака-то, можете себе вообразить, лацкан больше чем пол-звезды закрывает.

А сходствия много: и смотрит грозно и руку за жилет. Так вот, кажется, сейчас и скажет: «а ты чего смотришь, дурак?»

Повесил я портрет в гостиной над диваном. Спервоначалу у нас в доме все посмирней пошло, и жена меньше ругается и развратом не попрекает. Кто ни придет, всякий, бывало, с почтением взирает. Один Иван Павлыч, ну да он что?.. Во́лтер, так Во́лтер и есть.

Заварилось той порой казусное дело. Окружной с откупщиком не поладил, каши ему наварил. Из-за выставок дело пошло. Знаете, выставка пятидесятидневная, а сидят с вином круглый год. Окружной взъерошился, дело поднял. Произвели следствие, в уездный суд представили, плохо откупщику. Сам прискакал... Заметался во все стороны: «отцы, говорит, родные, выручайте». С окружным на мировую, с нами тоже.

Только что уехал он от меня, стою в гостиной, считаю благостыню. Поднял глаза, варом меня обдало! Его превосходительство глаза так и выпучил. «А! мошенник, попался!.. В моем виду берешь!.. А по Владимирке хочешь?.. А?..» Руки с деньгами я за себя, сам думаю: «А в самом деле, неловко в присутствии его превосходительства якобы благодарность получать. Оно, конечно, не в самоличности, однако же подобие».

Да сыскоса и глянул на портрет... диво, ей-богу!.. Не страшно.

«Однако же, думаю, что ж это за оказия? Стал замечать: никто не боится портрета, даже и ребятишки. Старший-от у меня побойчее, без робости в гостиную ходит, запрыгает на одной ножке перед портретом, спустит рукава с ручонок да и кричит во все горло: «Альмянин, альмянин, больсеносой альмянин!»

— Какой,— крикну ему,—армянин? Это начальник, ты должен иметь к нему уважение.

А он прыгает да твердит: «Не нацяльник — альмянин!.. Не нацяльник — альмянин»... Да все на одной ножке. Сек два раза — неймется.

Цесарцы * в Рожнов приехали, моя Катерина Васильевна и кликни их... Бабье дело, им бы хоть поглазеть на нарядные вещицы. Разложили цесарцы товары в зале. Жена и ну приставать: купи да купи ей браслетку да брошку. Я сначала будто не слышу, а как надоела, вызвал ее в гостиную, стал урезонивать.

— Образумься, говорю, матушка! Пристало ль тебе, говорю, браслеты да брошки носить? Ведь ты уже не молоденькая!..

Как ругнет меня!.. Да раз, да другой, и пошла и пошла.

---

* Цесарцами назывались мелкие торговцы, развозившие по городам и помещичьим деревням товары и лекарства. Они назывались и «венгерцами».

— Что ты, говорю, матушка, раскудахталась? Хоть бы его превосходительства постыдилась!

А Катерина Васильевна как захохочет, так даже и покатилась.

— Дурак, говорит, ты, дурак... Какое это начальство? Это, говорит, тряпка малеванная! Это, говорит, вот что...

Да как харкнет прямо в нос его превосходительства.

Я так и ахнул... А как прошло время, думаю, что ж это в самом деле? Не похоже разве?

Стал больше замечания держать. Что за шут, прости господи... Никакой робости перед портретом... Что такое?.. До того дошло, что иной раз после пирушки голова развинтится,— тряпку с уксусом приложишь, травничком опохмелишься да, принеся подушку в гостиную, положишь ее на диван, да в халате под портретом и ляжешь. Лежишь да посматриваешь, иной раз даже скажешь мысленно: «Ну что? Ну вот я и пьян, и в суд не пошел, а ты ничего не можешь сделать, даром что губернатор». То есть, я вам доложу, ни малейшей робости. Тут только я догадался, что портрет-от был привезен на другой день после того, как его превосходительство нам копоти задал. Со страха-то на первое время он грозно смотрел и уважение к себе вселял, а как дело-то поулеглось и портрет-от пригляделся, робости и не стало.

Не ловко дело. Ребятишки подрастают, и ежели мальчишки с малолетства не будут уважать начальство, что выйдет из них, как вырастут?.. Сохрани господь и помилуй от такого несчастия! Взял я отпуск дён на четырнадцать, в губернию поехал. Портрет с собой.

Там узнаю, что его превосходительство новой монаршей милостию взыскан, Владимира второй степени большого креста получить удостоился. Портрет-от, значит, я и кстати привез, другую звезду надо пририсовать.

Живет у нас в губернии Иван Лазарев, цараповский отпущенник. Живописью кормится: вывески по городу пишет и божьим милосердием отчасти промышляет, иконы то есть пишет, и хоша запивает, однако богомаз из наилучших. Портреты, окроме царских да его превосходительства, теперь перестал писать; портретная-де работа совсем подошла и совсем, почитай, перевелась с тех пор, как угораздило немца какого-то штуку выдумать: посадить человека перед ящиком, портрет в ящике

сам готов. Ни дать ни взять, как камедиянты яичницу в шляпе стряпают. Нечистая ль сила тут малюет, другое ль что, только эти ящики,— говорит Иван Лазарев,— насущный хлеб у нашего брата отбили... Ведь на вывесках да на божьем милосердии далеко, говорит, не уедешь.

Я к нему, к Ивану Лазареву. Приятеля-то, Карла Иваныча, в нашей губернии тогда уж не было, в Немечину уехал. Говорю Лазареву: «Вот, братец ты мой, портрет его превосходительства, припиши ты другую звезду, в мундир наряди и в ленту, да в лице величия и строгости подпусти. Заодно уж и золотую раму спроворь».

Поладили за тридцать целковых кругом.

— Смотри же, говорю, не попорти; работа немецкая.

— Помилуйте, говорит, батюшка Иван Семеныч. Нам немецка работа нипочем. Бывала в наших руках самая даже итальянская. Не самоучкой дошли до искусства, покойником барином из годов Ступину в академическую школу был отдан. Десять лет, сударь, в Арзамасе выжил! Рафаэля можем писать.

— К тому я тебе говорю, Иван Лазарев, что руки-то у тебя больно трясутся.

— Это, говорит, ваше благородие, от пьянства. Запоем пью. А вы не сумлевайтесь; хоша рука и дрожит, однако ж на губернаторских портретах шибко набита. Так я ее, сударь, набил, что вот хоть сейчас в вашем виду зажмурюсь и портрет напишу: в рост — так в рост; поясной — так поясной. Оченно много заказывают.

Ждал я недолго. Несет Лазарев портрет. Переделал на диво. Своим добром хвалиться не велят, а тут уж просим извинения... Хорош! утаить нельзя.

Как принес его Иван Лазарев — взглянул я и глаза опустил.

— Спасибо, говорю. Вот твои деньги, вот еще полтинник на водку. Одолжил!..

— Питер, не губернатор,— говорит Иван Лазарев, отступив шага на три и закинувши голову.

— Именно, говорю, хоть в Питер такой портрет.

— Громы, говорит, мещет грозный зев *.

---

* Иван Лазарев в Арзамасе у Ступина учился мифологии, знал про Зевса и Юпитера. Иван Семеныч, не получив классического образования, полагал, что ему он про Петербург да про губернаторский зев говорит.

— Грозён, говорю, действительно. И зев, говорю, у его превосходительства очень грозён. Зарычит на ревизии — душа в пятки уйдет. Ну, говорю, можно тебе чести приписать, Иван Лазарев, руки у тебя золотые. Жаль только, что руки-то золотые, да рыло поганое. Зачем не в меру пьешь?

— Эх, завей горе веревочкой!.. Прощайте, батюшка, Иван Семеныч. Теперь за ваше здоровье запил Ванька, загулял.

Что ни знаю живописцев, до вина очень охочи. Хоть и Карла Иваныча взять: бывало, так нарежется, что и русскому не суметь! А из господских, что отдают в ученье живописному, все да́вятся побольше; барин учит-учит человека, а как только выученный малый поступит в барский дом, тотчас и задавится. Ну и убыток.

Привожу домой обновленный портрет, вешаю на прежнее место. Тишина райская пошла. Жена ни гугу, а дети разревутся — нянька прямо их в гостиную. Покажет на портрет, скажет: «а вон бука-то!». Ребенок и стихнет.

Сами изволите видеть: и величие, и строгость, и важность, все. И две звезды и лента через плечо.

Случится в суд опоздать, так я из спальной через кухню, а мимо портрета не могу. Не вынесу, ей-богу, не вынесу!

Да не я один... Помните, Антон Михайлыч, как в прошлом году я получение беспорочной пряжки праздновал. Этак же вот собрались все у меня, Андрей Петрович, только вечером. После ужина затеяли жженку варить. Середь гостиной стол поставили, свечи вынесли, зажгли жженку. Только вдруг вот Антон Михайлыч как закричит: «Убери, Иван Семеныч, убери поскорей!..». Взглянули, а от пламени-то личико его превосходительства так и морщится, так и хмурится. Пошел я к Катерине Васильевне, взял драдедамовый платок и с благоговением завесил портрет».

— Да, сходствие большое,— заметил, затягиваясь «жуковым», Антон Михайлыч.

— Мечта! — заметил исправник.

— Хороша мечта,— возразил городничий.— А в прошлую ревизию как за мосты да за гати кого-то пудрили? Тоже мечта была?

— Нет, Степан Васильич,— подхватил именинник,— тут не мечта. На что Иван Павлыч, и тот перед портретом горла зря не распускает. Да где он?

Оглянулись: Во́лтер, сидя на стуле и склонив на окно буйную голову, спал богатырским сном. Пять экстр приди, десятка два эстафет приезжай,— не добудятся.

— Свалило,— мотнув головой, заметил городничий.

БАБУШКИНЫ РОССКАЗНИ

Рассказ

Бабушка Прасковья Петровна Печерская кончила жизнь далеко за сотню годов от роду. На старости лет хватила старушка греха на душу — молодилась. Бывало, бабушке все восьмой десяток в доходе. Лет двадцать пять доходил — так и не дошел.

Бабушка Прасковья Петровна на самом-то деле была мне прапрабабушкой, да мы все ее бабушкой звали. И это старушке нравилось.

Спросишь, бывало:

— В котором году родились вы, бабушка?

— А вот уж го́да-то, mon coeur [1], и не упомню,— ответит.— Да ты считай: покойница матушка принесла меня в самый тот день, как на Охте попа жгли. Привозил того попа в Петербург князь Дундук, а князь Дундук в ту пору был еще некрещеный, а тот поп был у него самый набольший: по-нашему архиерей, по-ихнему, по-калмыцки, чурлама. Он в Петербурге возьми да и помри, а по калмыцкому закону мертвого попа надо жечь. Ну и сожгли. Весь Петербург тогда на Охту высыпал: всякому лестно было поглядеть, как попов жгут. И батюшка с матушкой, дай бог им царство небесное, ездили. Матушку-то в народе и помяли: как приехала домой, так

[1] Душа моя (*франц.*).

меня и принесла... Так-то, Андрюша!.. Ты знал ли, голубчик, что я недоносок?

— Бабушка! да ведь этому больше ста лет *.

— Полно-ка ты,— заворчит бабушка,— молод еще надо мной смеяться!.. Сто лет!.. Эк что сморозил!.. Перекрести лоб-от, опомнись... Семьдесят восемь либо семьдесят семь — это может статься, а ты уж гляди-ка что махнул!.. Сто годов!.. Прошу покорно!..

И пойдет, бывало, ворчать бабушка, но не надолго: добрая была старушка и меня очень любила. С малолетства был я ее баловнем. Меня, бывало, так и звали: бабушкин внучек да бабушкин внучек. И она очень это любила.

Глуха под старость стала и видела плохо, но память сохранила редкую. И, как часто бывает с людьми преклонных лет, хорошо помнила только время молодости. Как начнет, бывало, свои россказни про времена елизаветинские да екатерининские — все до подробности расскажет, а французского погрому не помнила, хоть и вывезли ее из Москвы за пять часов до вступления Наполеона и она, крестясь и глухо рыдая, всю ночь проглядела из подмосковной на страшное зарево славного пожара.

— Как же это вы забыли, бабушка, как Наполеон-от в Москву приходил? — спросишь, бывало, ее.

— Нет, милый Андрюша, не припомню. Не припомню, родной... И долго жила на Москве, а такого не помню... Да кто он такой был? По прозвищу из чужестранцев, должно быть?

— Француз, бабушка.

— Француз!.. Нет, моя радость, такого не помню. И хвастать не хочу. Много ведь французов-то тогда на Москве проживало... Да он кто таков? Танцовщик аль гувернер, может статься?

— Император, бабушка.

— Император!?. Как так император?.. Какой?

— Император французов, бабушка.

— Перестань, Андрей!.. Грех над бабушкой смеяться. Господь счастье отнимет... Смотри-ка, что вздумал. Нашел у французов императора!.. А еще учишься!.. Нехорошо... Императоров, mon coeur, во всем свете только

---

* Сожжение чурламы было в мае 1736 года.

двое — наш да еще римский; салтан турецкий тоже в ранге императора состоит, только не совсем, для того, что некрещеный. А у французов, mon couer, король, roi de France et de Navarre[1]. Да... Как нынешнего-то зовут? Louis seize все еще царствует, аль дофин воцарился?

— Эх, бабушка, чего хватилась! Да теперь уж лет пятьдесят, как Людовику головку срубили.

— Жалею, очень жалею. Бесподобный был король и к нам всегда был расположен. Mon cousin, князь Свиблов, при нашем резиденте в Париже находился и рассказывал про Louis seize очень много хорошего. «Il ne parle jamais de notre impératrice,— говаривал mon cousin,— que dans les termes du plus profond respect et de la plus haute estime»[2]. Потому и жалею его. Только ведь он был такой миролюбивый; с кем же это он воевал? С гишпанским, полагаю.

— Ни с кем, бабушка, не воевал.

— Il est tué[3],— ты сказал.

— Tué-то tué. Да не на войне, а на эшафоте.

— Послушай, Андрей! Ты, должно быть, мартинист... Нехорошо, милый, очень нехорошо! Уж ты с Лопухиным не знаешься-ли?.. Смотри, mon coeur, не опечаливай бабушку: мало-ль что может случиться! Долго-ль к Шешковскому в лапы попасть?.. А у него, mon pigeonneau[4], еще милость божия, как только посекут — это еще ничего, примочил арникой и вся недолга,— а неровен час... хуже бывает... Нет, Андрюша, береги ты себя и бабушку не огорчи!.. И об чужестранных королях всегда говори с уважением... И какие ведь ты, в самом деле, несодеянные вещи говоришь: и король-от на эшафоте, и французский-то император в Москву приезжал... Стыдно, mon coeur, беспримерно как стыдно... Постой... постой, Андрюша! Вспомнила, вспомнила... Ты перепутал, радость моя!.. Точно, был на Москве император, только не французский, а римский! Жозефом звали. Видала его, голубчик, видала... На бале у главнокомандующего видела, в Нескучном — у графа Алексея Григорьича Орлова, в Кускове — у Шереметева на празднике... Как теперь

---

[1] Король Франции и Наварры *(франц.)*.

[2] Он всегда говорил о нашей императрице в выражениях глубокого почтения и уважения *(франц.)*.

[3] Он убит *(франц.)*.

[4] Голубчик *(франц.)*.

на него гляжу: черты такие тонкие, нежные. Только он сохранял самое строгое incognito и завсегда в трактирах да на постоялых дворах приставал. А когда у государыни в Царском Селе находился, проживал в бане. Над баней-то государыня трактирную вывеску велела повесить. Он и поверил, да так и прожил все время в бане и тем свое incognito сохранил... Графом Фалькенштейном прозывался, а ты и прозвище-то ему какое-то несообразное придумал... Наполеон! Что такое Наполеон?.. Таких святых и у католиков нет, не то что у нас, правоверных... Собачья кличка какая-то!.. Нехорошо, мой дружок!.. Будь умник, mon bijou[1], таких слов не говори, особенно при чужих людях... осудят... Нехорошо... Да...

Много испытала в своей жизни покойница-бабушка. До замужества жила в Петербурге, а выходила замуж не очень стара: лет четырнадцати. Была при дворе Елизаветы Петровны и Екатерины второй, жила в Москве во время чумной заразы, в Казани перед пугачевским разгромом, в Нижнем, в Архангельске, в Ярославле, в Киеве и опять по нескольку раз в Москве и Петербурге. Много видела, много слышала, больше того испытала... Что греха таить — смолоду бабушка пошаливала... Да какая-ж молодая, светская женщина в тот век не пошаливала?.. Время было такое... А вот что странно: каждая женщина, в стары ли годы, в нынешнем ли веку, ежели смолоду пошаливает, под старость непременно в ханжество пустится, молебнами да постами молодые грешки поправить бы... За бабушкой не водилось этого.

Печать восемнадцатого века неизгладимо сохранилась на ней до самой кончины... Бывало, с грустью, со слезами на тусклых очах глядит на свою иссохшую, желтую руку, вспоминая то время, когда напудренная молодежь любовалась ее прекрасной, пухленькой, белоснежной ручкой... Лет с пятидесяти в зеркало перестала смотреться... Страшно стало постаревшей красавице взглянуть на себя. Но никогда нимало не ханжила. Напротив, от нее от первой узнал я про Вольтерову le sermon des cinquante, про Фобласа, про la guerre des dieux[2].

Впрочем, в последние годы жизни своей бабушка каждый день до обмороков замаливалась. Сотни по пол-

---

[1] Мое сокровище *(франц.)*.

[2] Пятнадцатую проповедь... войну богов *(франц.)*.

торы, по две земных поклонов по вечерам на сон грядущий клала... Разыгрывалось тогда в лотерею головинское именье, бабушка взяла три билета, и ей очень хотелось выиграть Воротынец. Об этом-то она и молилась, да так усердно, что каждый раз, бывало, ее без чувств в постель уложат... Лотерея была разыграна, бабушке вынулись пустые, но она верить тому не хотела и по-прежнему молилась до обмороков о богатом Воротынце, об его садах, пристанях, картинных галереях и других богатствах диковинного имения.

Много воды утекло с тех пор, как пришлось мне бросить горсть сырого желтого песку на бархатный гроб нежно любившей меня старушки... Я был очень еще молод, когда, бывало, сидя у изразцовой лежанки, где любила греть свои косточки покойница-бабушка, слушал рассказы ее про старые годы. Не мог тогда оценить их: мимо ушей они пролетали, другие тотчас забывались.

Но теперь, когда стихли порывы легкомысленной молодости и седина начинает в бороде пробиваться, добрая бабушка, с ее сказаньями, воскресает в памяти, и люди восемнадцатого века встают передо мной, как образы какой-то знакомой, хоть и не прожитой жизни. Блеск протекшей эпохи ослепительно бьет в глаза... Все так величаво, так пышно, широко и обаятельно...

Но этот блеск — случайный, внешний.

Поднимая заповедную пышную завесу, за которую от пытливых взоров грядущих поколений хоронится восемнадцатый век, видишь душевную пустоту, царствующую над ветреным поколением, что, прыгая, танцуя, шутя и смеясь, с триолетом буриме на устах, врасплох застигнутое смертью, нежданно для него и негаданно вдруг очутилось в сырых и темных могилах... Когда оживают в памяти рассказы милой бабушки и восстают перед душевными очами образы давно почивших дедов, слышатся: и наглый крик временщиков, и таинственный лепет юродивых, и подобострастные речи блюдолизов, и голос вечно живущей правды из-под дурацких колпаков. Слышатся амурный шепот петиметров и метресс, громкие, сочные лобзанья дворовых красавиц, рев медведей, глухие удары арапника, вой собак и сладостные созвучья итальянской музыки. Чудятся баснословные праздники, ледяной дворец Анны Ивановны, маскарад на московских улицах, екатерининский карусель, потемкинский бал,

плаванье по Волге с переводом Мармонтеля, блестящая поездка в Тавриду...

Все ликовало в тот век!.. И как было не ликовать? То был век богатырей, век, когда юная Россия поборола двух королей-полководцев, две первостепенные державы низвела на степень второклассных, а третью — поделила с соседями... Полтава, Берлин и Чесма, Миних в Турции, Суворов на Альпах, Орлов в Архипелаге и гениальный, неподражаемый, великолепный князь Тавриды, создающий новую Россию из ничего!.. Что за величавые образы, что за блеск, что за слава!

Но с этим блеском, с этой славой об руку идут высокомерное полуобразование, раболепство, слитое воедино с наглым чванством, корыстные заботы о кармане, наглая неправда и грубое презрение к простонародью...

Но мир вам, деды! Спите покойно до трубы архангельской, спите до дня оправдания!.. Не посмеемся над вашими могилами, как смеялись вы над своими бородатыми дедами!..

I

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

— Куда как просто живали мы в старину-то, Андрюша. Сравнения нет никакого с нынешними поведениями... Затейное было времечко, раздольное да привольное.

Не ломали твои дедушки дворянские головы над всякими науками, зато выхрапку такую задавали по ночам да пообедавши!.. Немного думали, mon pigeonneau, зато много кушали, и оттого здравы и долголетны бывали.

А теперь пошли люди тщедушные, и живут не подолгу. А отчего? Мало едят, много думают... Да... Ведь крепкая-то дума кровь портит, mon coeur... Да...

А какие здоровенные люди в наше-то время бывали! Генерал-аншефа Михайлу Васильича Пильнева взять... Помнишь, в Ярославле государевым наместником был?.. Он тебя очень ласкать изволил... Как, бывало, ни приедет к нам, тебя на коленки посадит и жалованну табакерку с алмазами даст поиграть... А ты ее один раз и раскокал... Папенька твой за это наместнику серого аргамака отвел, а тебя высек... Нет, постой, mon coeur,— пере-

путала я, это папеньку твоего за табакерку-то высекли... Так... Точно так — Петрушу, не тебя: ты еще тогда не родился... Так вот Михайла-то Васильич ...Истинно был человек, можно чести приписать. Бык, сударь мой, быком... Иначе как на софе не садился, а ежели в бальной зале случится ему сесть, так на трех стульях — меньше нельзя... Породист уж очень был... А когда помер, гробовщик так и ахнул. «Этого барина, говорит, в одном гробе не похоронишь». Косяки в наместничьем доме из дверей выламывали, гроб-от чтоб возможно было вынести... А нынче что за люди?.. Мозгляк на мозгляке — смотреть даже неприятно.

А уж простота какая была, Андрюша!.. По чести сказать, ужесть какая простота!.. Хоть бы того же Михайлу Васильича взять! В летнюю пору, бывало, сберутся молодые, иной раз старички, да всю ноченьку напролет и прокуликают. А пили в стары годы, mon coeur, беспримерно — не по-нынешнему. Пропивши ночь, под утро с песнями да с музыкой по улицам — да прямо в рубленый Город. Там у Ильи пророка перед наместничьим домом станут да какой-нибудь полонез и грянут. Разбудят, конечно, Михайлу Васильича, он без парика, в одном шлафроке на балкон и выйдет.

— Что вы, пострелы,— крикнет,— с пьяных-то глаз у меня весь Ярославль перебулгачили? Аль под караул захотели?

А те ему:

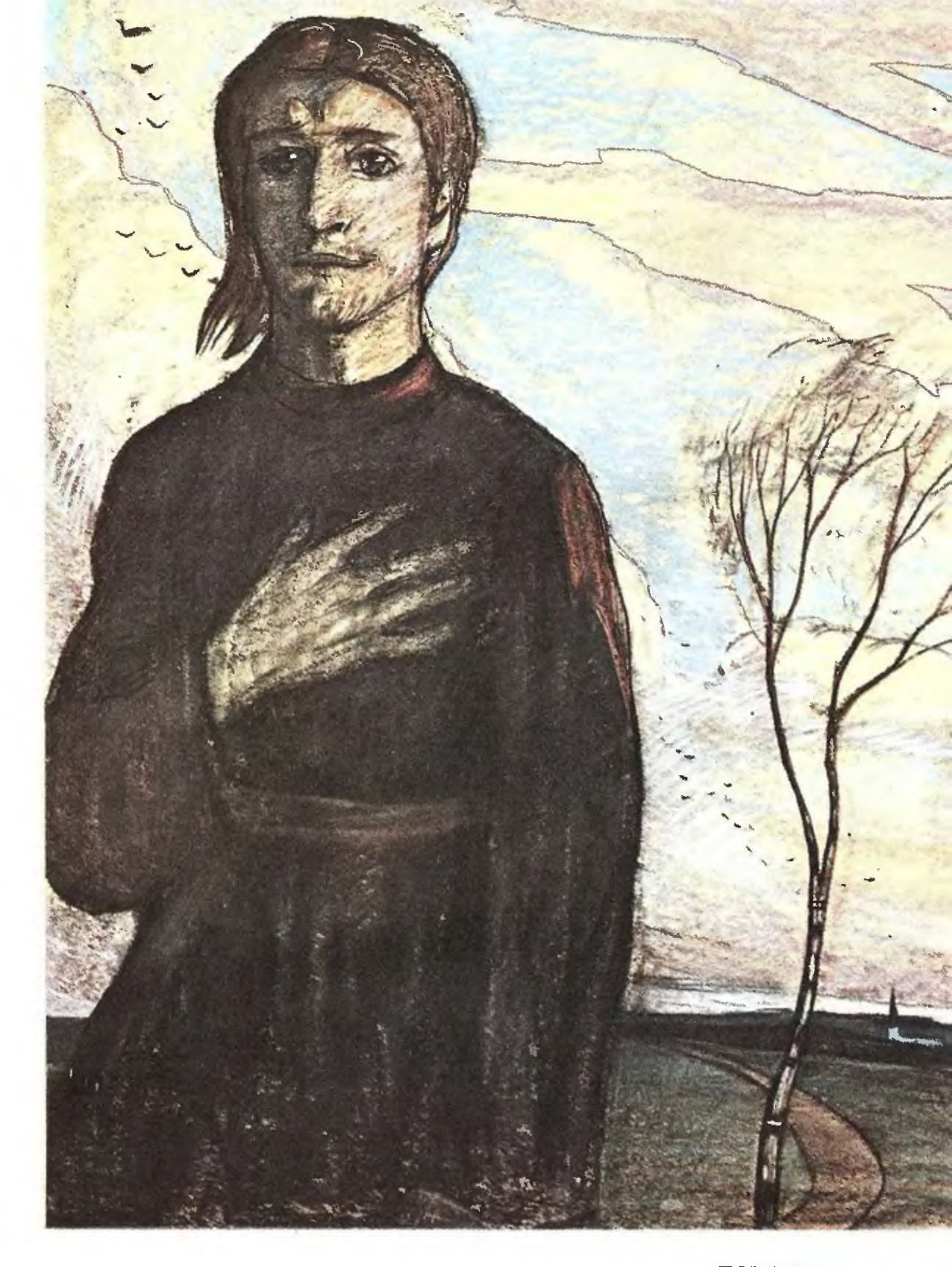
Мы тебя любим сердечно,
Будь ты наместником вечно!
Наши зажег ты сердца —
Мы в тебе видим отца!

И велит Михайла Васильич ключнику наливок корзинку-другую на площадь вынести... И сам выйдет к гулякам, усядется с ними на краю горы, что над Которостью, да до позднего утра и прогуляют.

Вот ведь и наместник был и генерал-аншеф, а изрядными людьми не брезговал, как теперь попович какой-нибудь в люди выскочивши... Parvenu [1], знаешь, этакой, выскочка из подлости... Ух, какой бесподобный был человек Михайла Васильич!.. Ужесть!.. Попробуй-ка нынче,

---

[1] Выскочка *(франц.)*.



«ГРИША»



«БАБУШКИНЫ РОССКАЗНИ»

mon bijou, так сделать — в самом деле, пожалуй, под караул угодишь... Как можно сравнивать старые годы с нынешними!.. Гораздо было проще.

Опять Сергея Михайлыча взять — Чурилина. Беспримерный был человек, даром что из солдатских детей. Штатский действительный советник, отставной красногорский губернатор, аннинская лента через плечо — персона, значит, немаловажная. Взявши абшид, доживал свой век у нас в Зимогорске... Покойник твой дедушка с драгунами когда в Зимогорске на винтерквартирах стоял, там и жизнь-то свою скончал, в синодальном Благовещенском монастыре и погребен... Я уж вдовела, у Ванюши жила, когда Сергей-от Михайлыч в Зимогорск на житье переехал... Изрядный был господин, отменного ума, все уважали его и боялись. У кого дело какое случится — ссора ль домашняя, другое ли что — первым долгом к Сергею Михайлычу. И совет даст и помирит, а ежели кто виноват, и пожурит, да, глядя по вине и по человеку, иного и тросточкой... Всякое дело устроить умел... И за то Сергея Михайлыча все как родного отца любили, «дедушкой» звали, а он всем говорил «ты» и каждого «собакой» звал — не из брани, а любя. Все ручку у него целовали, и дамы, даже et demoiselles [1], а он руку целовал только у преосвященного, с попами в губы целовался. Без спроса Сергея Михайлыча ни единой дворянской свадьбы не бывало, сын ли у кого родится, дочь ли — имени младенцу отец с матерью наречь не смели, спрашивали, какое будет угодно Сергею Михайлычу. И всех сам крестил — любил крестить, дай бог ему царство небесное. Бывало, и у дворян, и у купцов, и у попов — у всех в кумовьях.

И что ж ты думаешь, mon coeur, какая из этого неприятность вышла... Подросли крестники да крестницы, хвать — ан по всей Зимогорской губернии ни одной дворянской свадьбы сыграть невозможно: все в духовном родстве, все одного крестного отца дети. Теперь, слыхала я, такого закона уж нет, а тогда очень строго было... Ну, известно которые и повлюблялись друг в дружку, а венчаться не могут. Досталось же тогда крестному батюшке на орехи! Такие поминки сердечному Сергею Михайлычу загибали, что не один, чать, раз ик-

---

[1] Девицы (*франц.*).

нулось ему на том свете. Делать нечего: стали невест из других губерний брать, а барышень в Москву для замужества возили. С десяток однако ж до того крестными братцами заразились, что с горя да с печали в монастырь пошли... Дуры они были, mon pigeonneau... По моему рассужденью сущие дуры!.. Не могли разве просто любиться?.. Не правда ль, mon bijou?.. А один из крестников с любви али с горя, а думаю, оттого, что в голове сквозная пустота была, в Волге утопился, другой из мушкетона застрелился... Вот что значит крестить-то без пути, Андрюша!.. Поэтому я и не крещу никого... Сохрани господи!..

А все-таки Сергей Михайлыч отменный был человек. Таких людей, радость моя, в нынешнее время сыскать невозможно. В старину-то ведь, mon petit[1], люди бывали беспримерно лучше, чем теперь... Как можно!.. Что теперь!.. Важности нет. Ужесть как неловко все выделаны, и так темны в свете, такая у всех теснота в голове, что просто умора... Ужесть, просто ужесть!.. Разночинцами какими-то все глядят... Право!.. Беспримерно, как смешны!..

Не так, mon coeur, в наше время живали. Бывало, ни один дворянин лицом в грязь себя не ударит, всяк свою честь бережет строго и с подлой сволочью якшаться — ни за что, бывало, не станет, а теперь... Ох-ох-ох-охо!.. Нынче барин из знатного, родословного рода с мещанином аль с кутейником на одной ноге себя ставит — он, дескать, ученый. Да коли он ученый, так ученость его пущай при нем и остается, никто у него ее не отнимет,— да в дворянский-то круг ему подло рожденному зачем лезть?.. Место, что ли, ему там?.. Поверь ты мне, mon coeur, ежели какой человек рожден в подлости, будь у него ума палата, с неба звезды хватай, все-таки dans la société des gentilshommes[2] быть ему не следует. Дворянство тем роняется, mon cher, l'aristocratie se tombe... Ты это пойми, mon pigeonneau... Нельзя же, mon ami, об этом не подумать. На этом все держится.

— Бабушка, да ведь сами вы говорите, что Сергей-от Михайлыч из солдатских детей был... Как же вы у него ручку-то целовали?

---

[1] Дитя мое *(франц.)*.
[2] В обществе дворян *(франц.)*.

— Ах, Андрюша, Андрюша! Как ты этого, дружок мой, сообразить не можешь? Тут совсем иное... Сергей Михайлыч — штатский действительный советник, отставной губернатор, аннинская лента через плечо, две тысячи душ. Тут уж une autre position dans le monde[1]. Мало ли что! И Меншиков оладьями торговал, и Шафиров в лавке сидел, и Разумовский на клиросе пел, однако ж какими вельможами стали... Тут, mon cher милость божия, а больше того — la faveur de la cour[2]... Кто взыскан и вознесен, к тому, в какой бы подлости он ни родился, хоть бы от самого последнего холопа,— подлость льнуть не может... Навсегда омыт такой человек от первородного греха подлости рождения... Да... Сергей Михайлыч роду хотя был не шляхетного, однако ж в люди вышел, на службе разбогател, выгодно женился, дослужился до генеральства... А все умом. Отменно умный был человек: во всяком умном человеке умел сыскать себе милостивца. Сначала сам ручки у всех целовал, потом у него стали целовать... Вот это и называется ум... Да, mon coeur, это настоящий ум, не такой, что у нынешних умников проявился... Посмотришь теперь: сам-от медной полушки не стоит, а рыло кверху гнет по-рублевому... Плеточкой бы их, mon petit,— по-старинному, либо кнутиком... На истинную дорогу беспременно бы вышли. А то смотреть даже неприятно.

А стал Сергей Михайлыч в люди выходить после женитьбы. А женился в пугачовское замешательство, он в ту пору был в Чернорецке воеводой... Когда злодеи на его город нагрянули, задал он, сердечный, тягу... В лесу схоронился и царску казну с собой захватил, опричь медных гривен да пятаков сибирского дела — большущие были монеты — из гривны-то порядочную кастрюлечку можно было сделать... А нынче — поневоле вздохнешь да поропщешь иной раз — и денег-то таких не стало — перевелись... Все-то измельчало, все-то mon coeur, измалодушествовалось... Прежние-то люди какие здоровенные были — пни дубовые, а нонешни — хлысты вербовые... Да... Ну так вот, Сергей-от Михайлыч тяжелу-то казну с собой и не взял — захватить-то ее было не под силу, серебряную казну зарыл в землю, и

---

[1] Другое положение в свете (*франц.*).
[2] Придворное счастье (*франц.*).

в лесу от сущих злодеев отсиделся. А не уйти из города ему было никак невозможно, для того, что сила у него была невеликая, да и не больно надежная, а у государственного злодея ратной силы было видимо-невидимо. Пугач в Чернорецке недолго канальствовал, царицына сила по пятам за ним шла, для того и навострил он лыжи за Волгу. Только что из Чернорецка злодей вышел, Сергей Михайлыч в город... Сызнова на воеводство сел, чтоб, знаешь, настоящие порядки вести... Тут его сердечного плетьми взодрали.

— Как так, бабушка?

— Да так, mon coeur, выдрали да и все тут... По ошибке... Такое сумятное время было.— То ли еще по ошибке-то случается, mon enfant!.. А с Сергеем Михайлычем видишь как это приключилось. Только что он на воеводство-то сызнова сел, глядь, ан с Караульной горы конница, да все казаки. Переполох в городу поднялся, думают, Пугач воротился, бегут кто куда, сломя голову, Сергей Михайлыч в огород да в горохе и схоронился. Однако ж его отыскали и к казацкому начальнику сердечного приволокли. А начальник-то еле на коне держится — пьянехонек. Спрашивает Сергея Михайлыча

— Кому служишь?

А Сергей Михайлыч поглядел-поглядел на его пьяную рожу, думает себе: «Гусь-от не кто другой, как пугачовец. Дай надую шельмеца, а то еще с пьяных-то глаз повесит, пожалуй». Да и брякнул:

— Служу великому государю Петру Феодоровичу.

Только что молвил он это слово, на кобылу его да в плети. Ста полтора вкатили да в тюрьму посадили. А тот казацкий начальник вовсе был не пугачовец, а царицын — из Михельсоновых полков. И как он к утру-то проспался да узнал, что во хмелю царицына воеводу выпорол,— пошел к нему в тюрьму alléguer pour excuse [1]... А это он родного дядю плетьми-то вздул... Слово за слово, разговорились... и вышло, что казацкий-от начальник племянником родным Сергею Михайлычу доводился... Да...

Зато после, когда Сергей Михайлыч при уголовных делах находился и когда губернатором был, как ни подадут приговор о кнуте аль о плетях, завсегда на по-

---

[1] Приносить извинения (*франц.*).

ловинку сбавит, да тому, кто подает, беспременно примолвит: «Тебе, собака, легко приговор-от пером на бумаге писать, а как станут его на спине кнутом подписывать, так не тебе небо-то с овчинку покажется. Ты, собака, не можешь понимать, что такое кнут да плети, а я, по милости родного племянничка, отведал, каково они вкусны... Не роди на свет мать сыра земля!»

После того, как его высекли, женился он по скорости. Пали ему слухи, что недалеко от Чернорецка, в селе Княжухе, молодая вдова бедствует, Марья Семеновна Жилина, а родом Болтиных была. Мужа-то у нее злодеи повесили в ихнем селе Енгалычеве, а сама она с четверыми детьми, мал мала меньше, в овине как-то ухоронилась. Жилинская вотчина была немалая,— дворов под тысячу, а жить Марье Семеновне негде: барский-от дом Пугач спалил, а у мужиков жить побаивалась. Оченно были они тогда неспокойны... Сергей Михайлыч послал к ней для береженья капрала с солдатами и звал ее на житье в город. Приехала Марья Семеновна не в глазетах, не в бархатах, а в бабьей поняве да в кичке, детки-то — Захар Михайлыч, Дмитрий Михайлыч, Сергей Михайлыч, да еще, кажись, Петр Михайлыч — все в пестрядиных рубашонках. Отвел воевода Марье Семеновне с детьми квартиру самую лучшую, одел ее с ребятишками, поил, кормил на свой кошт, покуда не затихло замешательство. А потом — женился на ней и зажил барином. У нее и достатки хорошие и родство хорошее; а у него место доходное, стало-быть; и можно было жить складно.

Взявши абшид, Сергей Михайлыч стал в Зимогорске жить. Тогда уж он овдовел. Жил один, а в доме завсегда было ладно... Каждый божий день открытый стол для званых и незваных и какой есть час, какая минута — без гостей Сергей Михайлыч не обходился. Очень его любили... и побаивались. И нельзя было его не любить, нельзя и не бояться,— в Петербурге рука была сила сильна — с самими Орловыми смолоду в приятельстве был. Прежде чем фортуну они себе сделали, по трактирам с ними куликал да на кулачных боях забавлялся.

Дом у Сергея Михайлыча в Зимогорске ужесть какой большой был, ровно дворец какой... Как-бишь, улица-то прозывается?.. Да ты должен помнить, Андрю-

ша... Тут еще неподалеку архиерейский дом, у Тихона-чудотворца в приходе, помнится мне.

— Да ведь я, бабушка, в Зимогорске-то никогда и не бывал.

— Что ты дурачишься, mon petit... Как это ты в Зимогорске не бывал?.. А забыл, как у Сергея Михайлыча на именинах либо на его рожденьи, хорошенько не запомню теперь, ты с Лизаветой Соболевой вальс-казак танцевал да из озорства робу ей разорвал? Тебя, раба божия, тут же в угольную свели да и высекли... Что?.. Этого, видно, не помнишь?.

— Да когда ж это было, бабушка?.. Что вы?

— Давно, mon coeur... Полагаю, не в том ли году, как граф Калиостро в Петербург приезжал.

— Да ведь этому больше пятидесяти лет, бабушка, а мне и двадцати нет...

— И в самом деле, mon pigeonneau,— удивилась бабушка.— Правду ты сказал... Так знаешь ли что?

— Что, бабушка?

— Это твоего папеньку высекли, Петрушку... Так, точно; вспомнила я теперь — доподлинно Петрушу... Какая однако ж память-то у меня стала, дружок,— все-то я забываю... А кажись бы, какие еще мои годы?.. Про что, бишь, я говорила, Андрюша?

— Да, про Сергея Михайлыча. Бесподобный был мужчина,— во всем изрядный господин. Старехонек был, а любил с дамами поферлякурничать,— не ставил того во грех, царство ему небесное!.. Ужесть какие, бывало, гнилые взгляды кидает да томные вздохи пущает... Право, если б маленько был помоложе, каждой бы из нашей сестры, до кого ни доведись, можно бы было с ним досмерти залюбоваться... По чести, все мы были до Сергея Михайлыча охотницы... Je vous assure[1], даром что седой, а les grands succès[2] между нами имел... И как славен был, когда, бывало, зачнет с дамами дурачиться... Ух! как славен!.. Беспримерно... С les demoiselles не любил — визгу, говорит, от них очень много — все, бывало, с дамами, с замужними... Из нашей сестры каждая тотчас готова была падать и задурачиться с ним до безумия... Старенек только был: бывало, и толку всего,

---

[1] Я вас уверяю (*франц.*).
[2] Большой успех (*франц.*).

что языком поболтает; да разве-разве когда рукам волю даст... Уж, как, бывало, любил он нашу сестру, tête-à-tête [1], конечно, de tater, de toucher sonder [2]... Ах, как было утешно!.. Помнишь, mon coeur? И на чужие амуры любил посмотреть и много помогал... Ах, как любил покойник об амурах козировать *, ах, как любил!.. Бывало не токма у мужчин, у дам у каждой до единой переспросит — кто с кем «махается», каким веером, как и куда прелестная нимфа свой веер держит **... Будь молодая, будь старая, в девках сиди, замуж выдь — ему все одно... Игуменью увидит — и ту расспросит; с кем и как... Dans la haute société [3] все благородные интрижки знал до тонкости... Очень это было занятно Сергею Михайлычу.

А радушный какой был, гостеприимный. Летним вечерком, бывало, выспавшись после обеда, наденет белый камчатный шлафрок, звезду к нему пришпилит, кавалерственную ленту через плечо, да за ворота на улицу и выйдет. Там на лавочке, что у калитки, усядется... И тросточка при нем, никогда с ней не разлучался, потому что на всяком месте приводилось поучить того, кто в уме развязен ***. Сам знаешь, mon coeur, дураку и в алтаре не велено спускать.

Идет, бывало, по улице кто-нибудь de la noblesse [4], променад, понимаешь ты, делает. Еще издали Сергею Михайлычу решпект, потом шляпу под мышку и подойдет к нему. Сергей Михайлыч весело, приветно комплимент ему скажет:

— Здорово, собака!.. Сядем рядком, потолкуем ладком.

Тот, разумеется, к ручке и рядышком с Сергеем Михайлычем на лавочке усядется... Сам посуди, mon plaisir, до кого ни доведись — всякому честь с генералом бок-

---

[1] Наедине *(франц.)*.

[2] Гладил, обнимал *(франц.)*.

* Causer.

** Махаться с кем в XVIII стол. употреблялось вместо нынешнего волочиться за кем. Перевод — обмахиваться веером. Веер, как и мушки, прилепленные на лице, играли важную роль в волокитствах наших прадедов и прабабушек. Куда прилеплена мушка, как и куда махнула красавица веером — это была целая наука.

[3] В высшем обществе *(франц.)*.

*** Глупый.

[4] Из аристократов *(франц.)*.

о-бок посидеть!.. Хотя б и не долгое время — а все-таки честь. Малочиновные дворяне и недоросли нарочно по углам улицы из своих холопей вершников ставили — и только те вершники завидят, бывало, Сергея Михайлыча у калиточки, тотчас сломя голову к своим господам и скачут. Сел, дескать. Те в перегонышки к Тихону-чудотворцу в приход. За углом из карет выйдут, да пешечком, будто для-ради променада, к генеральской калиточке и пробираются... А друг друга для того упреждали, чтобы прежде чиновных поспеть и хоть один бы момент с Сергеем Михайлычем рядышком посидеть. Случалось, mon coeur, что за углом-то и до кулаков дело доходило, потому что каждому желательно было первому у Сергея Михайлыча ручку поцеловать. А на глазах у него браниться не смели: бывало и тросточкой...

Кто сядет рядком с Сергеем Михайлычем, тому он, вынувши из кармана табатерочку, понюхать поднесет. Гость возьмет с благодарностью понюшечку виолэ. В наше время, mon pigeonneau, все люди de la société[1] беспременно нюхали; иной, ежели табак очень уж противен, едучи в гости нарочно кружевную манишку и манжеты табаком посыпал сидючи в гостях то и дело, бывало, в руках табатерку вертит, чтоб зазору от других не принять — он-де не нюхает... И дамы нюхали et demoiselles при табатерочках ходили. Маленькие такие табатерочки у них были, voiture de l'amour[2] прозывались, для того что из них беспримерно как способно было аматерам les billets doux[3] передавать. А нынче и табатерки, mon enfant, переводятся,— на курево бросились все... Нехорошо!..

Снабдивши себя генеральским виолэ, пойдет дворянчик Сергею Михайлычу комплиментировать с должной политикой и с отменным учтивством.

«— Удостойте, дескать сказать, ваше превосходительство, в какой позиции драгоценное ваше здоровье находить изволите?

— Ничего,— молвит Сергей Михайлыч,— живем да хлеб жуем твоими святыми молитвами. А ты, собака, как себя перевертываешь?

— Досконально доложу вашему превосходительству, что такая ваша атенция раскрывает все мои сентименты

---

[1] Из общества (*франц.*).
[2] Колясочки любви (*франц.*).
[3] Любовные записочки (*франц.*).

и объявляет нелестную преданность к персоне вашего превосходительства.

— Загаланил, пустил в ход мельницу!.. Полно-ка ты, собака, попусту чепухи у меня не мели, а изволь по всей откровенности рассказывать, с кем махаешься, на кого гнилые взгляды кидаешь?

Не успеет дворянчик Сергею Михайлычу про свои амурные цепи путем доложить, как из-за угла другой господчик вывернется, починовнее. Подойдет к калиточке, отдаст решпект Сергею Михайлычу, ручку у него поцелует, Сергей Михайлыч и скажет ему:

— Здорово, собака, здорово... Садись поближе... А ты долой, по тому резону, что этот постарше тебя.

И велит первому сесть на тротуарную надолбу, либо холопам прикажет стул ему из хором принести.

Таким манером, один по одному, да весь le grand monde зимогорский к калиточке Сергея Михайлыча, бывало, и соберется: старые, молодые, женатые, холостые, дамы, барышни — все тут. И драгунский генерал, и комендант, и наместник с наместничихой, заслышав, что у Сергея Михайлыча гости на улице, все туда же. Иной раз по соседству и владыка пешечком придет — очень был дружен он с Сергеем-то Михайлычем. Из дома все стулья, все канапе повытаскают, а по углам улицы полиция,— подлым людям езду воспрещает по той причине, что la haute société забавляется.

Горячее вынесут, подают, что кому на потребу: пунш, взварцы, глинтвейны, а дамскому полу — чай, оршад, фрукты, заедки и всякие закуски... Втихомолочку, mon pigeonneau, потчевали нашу сестру и наливочкой, только не при людях, а в задних горницах либо в кладовой... Марья Михайловна — арапка крещеная — тем делом у Сергея Михайловича заправляла. Славная девка была, даром, что раба... Ежели погода тихая, на тротуарах столы поставят, за карты сядут. Кто постепенней да поскупее — в ломбер, в ламушь, в тентере, а кто помоложе да потароватее — в фараон *, в квинтич и в рокамболь. Дамы et demoiselles в наше время тоже охотницы были в картишки-то перекинуться, иные фараон даже метали... А молоденькие девицы — больше в марьяж, в тресет, в басет да в никитишны.

---

* Банк.

Разгуляются очень, велит Сергей Михайлыч музыкантам играть да архиерейским певчим петь. Тогда в Зимогорске публичный театр уж был: князь Кошавской, тамошний помещик, целу деревню во сто дворов в актеры поворотил, музыке обучал их, танцам и всему другому. Пятнадцать лет бился с сиволапыми, а на своем поставил-таки: всякие пьесы мужики да девки стали у него бесподобно разыгрывать... Музыканты у Сергея Михайлыча бывали театральные, князя Кошавского: арии и рондо всласть разыгрывали — из «Дидоны», из «Редкой вещи», из «Дианина древа», а певчие духовные канты, бывало, поют да хохлацкие песни... Сам владыка, с пуншиком в руках, иной раз, бывало, им подтягивает... Ужесть как было весело!.. И то случалось, что на улице-то полонез почнут водить да менуэты танцевать. Хоть не больно гладко, да не беда — весело-то зато как, смеху-то что!.. Ах, как утешно живали мы в старые годы, mon coeur... Беспримерно, как утешно!.. Можно чести приписать, уж истинно можно...

Ужину, бывало, подадут тоже на вольном воздухе. На дворе у Сергея Михайлыча, возле кухни, нарочно для этого случая палатку разбивали. Поужинавши, кто постарше, в палатке останутся и пьют там мертвую вплоть до утра, а молодые в сад, с дамами да с барышнями променад пойдут делать. Садище у Сергея Михайлыча десятинах на пяти был — отделан незатейно, зато для утех и веселья очень был способен: аллеи темные, деревья высокие, шпалеры из акации да из сирени густые, а за шпалерами куртины с вишеньем, с малинником да с смородиной... Бывало, после ужина парочки по саду разбредутся... Там шепчутся, тут вздыхают, да то и дело чмок да чмок, чмок да чмок... Всего бывало, mon pigeonneau!.. Ух, чего не бывало, mon coeur!.. И все-то прошло, все-то миновалось!..

А дамы тогдашние и барышни не того калибра были, что нынешние. Что нынче? Дрянь! Очень уж не в меру лебедки рассентиментальничались. Такими innocentes[1] хотят себя казать, что смотреть даже гадко... А все притворство одно, лицемерие.. Ей-богу! Не верю я им, mon coeur, и ты верь — это они так только, дурь одну на себя накладывают. Вся эта ихняя modestie[2], вся эта их-

---

[1] Невинными (*франц.*).
[2] Скромность (*франц.*).

няя pudicité[1] — одна только умора,— они один только вздор посадили себе в голову. Поверь, mon petit, что никакая женщина без мужчины дня одного прожить не может... Совсем напрасно они жеманятся и кажут себя inaccessibles[2]... Мы это понимали, и оттого в наше время все было просто, к натуре ближе... А теперь?.. Не переродились же они, наши же внучки,— от нас же родились!.. Притворство одно, лицемерие!.. То же самое творят, что и мы в свои годы, втихомолочку только... А это, по-моему, уж гадко... N'est-ce pas, mon petit?..[3] Опять теперь эта la sensibilité[4] — один вздор, mon petit, безотменно один вздор.... Ну на что это похоже? Иная словно по кровном покойнике разрюмится, как ходя по лугу цветочек помнет аль бабочку раздавит... Фу, ты, пропасть, какие сентименты!.. Да нас, бывало, мужчины-то самих мяли да давили, а ведь не плакали же мы... А это что за мода такая?.. Одно только безумие, mon petit... Об чем, бишь, я говорила, Андрюша?

— Об вашем кумире, бабушка, об Сергее Михайлыче.

— Oui, mon cher, c'est vrai... Certainement il était notre idole, il était idole de nos âmes...[5] Ух, какой бесподобный был!..

— Однако, скажите, бабушка, неужели все до единого перед ним так низкопоклонничали?..

— Ах, mon coeur, как ты говоришь! Тебя даже слушать неприятно... Ты мартинист — я это вижу... Ах, Андрюша, Андрюша,— не опечаль бабушку-старуху!.. Долго ли, mon petit, к Шешковскому угодить?.. Низкопоклонство, говоришь... Да разве можно так называть это... уважение, это... это... высокопочитание, это... cette considération et deference que nous avions à[6] Сергей Михайлыч... Стыдно, mon petit, нехорошо... Ты-то не забудь, что Сергей Михайлыч был штатский действительный советник, а ведь это не quelque chose des vétilles,

---

[1] Стыдливость *(франц.)*.
[2] Неприступными *(франц.)*.
[3] Не правда ли, дитя мое? *(франц.)*.
[4] Чувствительность *(франц.)*.
[5] Да, мой дорогой, это правда... Он действительно был нашим кумиром, он был кумиром наших душ... *(франц.)*.
[6] ...это уважение и почтительность, которую мы имели к... *(франц.)*.

mon coeur[1]. Тогда же генералы-то не то, что теперь — в диковинку бывали... А главное, то вспомни, mon bijou, что Сергей Михайлыч большую фортуну имел и у него при самом дворе были сильные милостивцы... Сам князь Григорий Александрыч с руки ему был, не раз из Молдавии за солеными огурцами адъютантов к нему присылал!.. А ты — низкопоклонство!.. Стыдись, радость моя!..

— Да как же, бабушка? И ручку-то у него, точно у архиерея, целовали, и палкой-то он всякого бил...

— А зато, mon cher, кроме пользы ничего нельзя было и получить от Сергея Михайлыча. Везде у него были благоприятели, все мог сделать, что только душе его угодно. К местечку ль доходному кого пристроить, тяжба ль у кого, под суд ли кто угодит — всякого Сергей Михайлыч выручит, из глубины морской сухим вытащит, умей только подойти к нему. Надежней его заступы и быть не могло; захочет, говорю, со дна моря вытащит... Ему, бывало, стоит только пером черкануть — все в твое удовольствие будет. В коллегиях ли дело, в сенате ли — ему все равно, потому что везде рука... А уж, бывало, кто под гнев к нему попадет, тот лучше ложись да помирай .. Бывали случаи...

— Какие ж это случаи, бабушка?

— Каких ни было, радость моя! Всяких бывало, mon coeur... И всегда так выходило, что кто ни вздумает супротивничать Сергею Михайлычу, к нему же потом с повинной придет, у него же заступы да милостей станет просить. Человек был — сила. Да помнишь, я думаю, как он смирил Боровкова Ивана Никитича, когда тот за наследством Настасьи Петровны в Зимогорск приезжал?..

— Как же мне помнить, бабушка? Я тогда еще не родился.

— Точно, точно, родной, правду ты говоришь. Да, правду. Так видишь ли, mon petit. Боровков и сам не мелкой руки дворянин: четыреста дворов крестьян у него, век свой в Питере жил, ко двору приезд имел, даже по воскресеньям на куртагах бывал... А как вздумал не уважить Сергея Михайлыча, так он его в бараний рог

[1] Какие-нибудь пустяки, душа моя (*франц.*).

согнул... Иван Никитич после того ползал-ползал перед ним, прощенье просивши...

А зла не помнил; добрый был человек, незлобивый... Боровкову все вины отдал и все к его удовольствию сделал... Да. ...Кроме должного, Сергей Михайлыч ничего от других не требовал: отдай ему аттенцию да поцелуй ручку, так он удавиться готов за тебя.

— Что ж такое с Боровковым-то он сделал?..

— А видишь ли, радость моя, Боровков, Иван Никитич, родным племянником доводился кеславской помещице, вдове премьер-майора, Настасье Петровне Соколовой... Да постой, Андрюша, я лучше тебе про Настасью-то Петровну про самое расскажу... C'était une femme remarquable, mon coeur [1]. Много говорить о себе заставила... Только вот что, не пора ли тебе баиньки, ангел мой?.. И у меня глаза что-то слипаются... Лучше завтра про Настеньку-то я расскажу тебе... А теперь поди-ка с богом — усни со Христом, mon enfant... Дай-ка я тебя перекрещу... Христос с тобой, приятный сон!.. А мне еще помолиться надо... Молчи ты у меня, Андрюша, будешь богат, mon coeur вымолю тебе Воротынец.

II

НАСТЕНЬКА БОРОВКОВА

— Бабушка!

— Что, голубчик?

— А что ж вчерашнее-то обещание?

— Какое обещание, mon petit?

— А про Настасью-то Петровну рассказать.

— Про Настеньку-то? Да разве я тебе обещала, Андрюша?

— А разве вы забыли, бабушка?

— Не помню, голубчик. Хоть убей — не помню. Память-то у меня, не знаю с чего, какая-то стала короткая. От чего бы это, mon petit?

— От старости, бабушка.

— Полно-ка ты... Озорник этакой... Все бы над бабушкой ему потешаться. Молод еще — материно молоко на губах не обсохло... От старости!.. Разве годы мои великие?.. Шестьдесят восемь либо шестьдесят семь —

[1] Это была замечательная женщина, душа моя *(франц.)*.

разве это большие годы?.. Вот бабушка моя покойница, княгиня Марья Юрьевна Свиблова, царство ей небесное, жила — так уж можно сказать, что жила... Большие годы имела! Ста десяти годов померла,— царя Алексея Михайловича помнила... Когда великий государь овдовел, по скорости зачал он вдовством своим скучать и указал со всего царства шляхетских девок в Москву свозить, которы были покрасовитее. И выбирал царское величество из тех девок себе в царицы. И бабушку на смотр привозили, а смотрел ее великий государь в постели сонную — на Спиридона-поворота, двенадцатого, значит, декабря. А была бабушка-то из роду князей Сонцевых... И великому государю угодна не явилась — сталась царицей Наталья Кирилловна Нарышкиных... В молодых своих годах сидела бабушка у царицы Агафьи Семеновны в верховых боярынях, а когда царица от временного царствия в вечный покой преставилась, старая царевна Татьяна Михайловна бабушку в мастерскую свою палату взяла и к шитью архиерейских шапок приставила... Чего-то, бывало, не порасскажет покойница! И про стрельцов, как они Москвой мутили, и про капитонов *, и про немцев, что на Кокуе ** проживали... Не жаловала их бабушка,— ух, как не жаловала: плуты, говорит, были большие и все сплошь урезные пьяницы... Франц Яковлич Лефорт в те поры у них на Кокуе-то жил, и такие он там пиры задавал, такие «кумпанства» строил, что на Москве только крестились да шепотком молитву творили... А больше все у винного погребщика Монса эти «кумпанства» бывали — для того, что с дочерью его с Анной Франц Яковлич в открытом амуре находился... Самолично покойница-бабушка княгиня Марья Юрьевна ту Монсову дочь знавала.— «Что это, говорит, за красота такая была, даром, что девка гулящая. Такая, говорит, красота, что и рассказать не можно...» А девка та, Монсова дочь, и сама фортуну сделала и родных всех в люди вывела. Сестра в штатс-дамах была, меньшой брат, Васильем звали, в шамбеляны попал, только что перед самой кончиной первого императора ему за скаредные дела головку перед сенатом срубили... Долго торчала его голова на высоком шесту... Молчи, Андрюша,

---

* Капитонами называли раскольников.

** Кокуем называлась немецкая слобода в Москве.

будь умник, а я тебе когда-нибудь на досуге все расскажу, что бабушка-покойница про эти дела мне рассказывала... Затейные истории, mon pigeonneau, оченно затейные — есть чего порассказать, есть чего и послушать... А теперь-то про что бишь я говорила?

— Про Настасью Петровну хотели, бабушка, говорить...

— Так, точно так, mon bijou, про Настасью Петровну, про Соколиху то есть — а по батюшке-то она Боровкова — генерал-поручика Петра Андреича Боровкова дочь... Знавала я ее, mon coeur, до тонкости знала с самого ее малолетства. Помоложе меня была... Годами, я полагаю, шестью либо — семью, однако ж в куклы вместе игрывали. Я-то, признаться, уж замужем в те поры была, а Настеньке седьмой либо восьмой годок пошел... Молодехонька ведь я замуж-от шла, Андрюша, всего по четырнадцатому годочку, и для того, года три замужем живши; все еще ребячье в разуме-то держала... Покойник твой прадедушка Федор Андреич, дай бог ему царство небесное, к каждому, бывало, божьему празднику безотменно куколку мне купит... «На-ка, молвит, женушка-неженушка, побалуй, позабавься...» Дай бог ему царство небесное — любил меня покойник... И какие куклы-то покупал он, Андрюша!.. Нюрембергские!.. Такие были затейные, такие утешные, что, кажись бы, век в них играла... Беспримерные куклы!.. А нынче, mon coeur, и их уж не видно — нюрембергских-то... Все, что ни было в старые годы хорошего,— все перевелось!.. О, ох, ох, ох!.. Про что бишь я говорила, Андрюша?

— Про Настасью Петровну, про Боровкову, бабушка.

— Да... да... Про Настеньку... Знала ее, mon coeur, самым коротким манером знала... И в малолетстве знала, и при дворе государыни Екатерины Алексеевны, в ту пору, как самые первые царедворцы, ровно огня, ее язычка стали бояться...

Спервоначалу редкостная и премилая особа была: генеральская дочь, с немалым достатком, а из себя столь пригожа, что, бывало, какой ни на есть петиметр только взглянет на нее, так и заразится до безумия... Ух, как много от нее господчиков терзалось! По чести красавица была отменная... Одевалась, как надо быть щеголихе первой руки... Как теперь гляжу на нее, когда ее в пер-

вый раз в свет вывезли... Было это на бале у принцессы курляндской, у той, что от отца с матерью из Ярославля сбежала, и в нашу веру перекрестилась. Государыня Елизавета Петровна за это за самое замуж ее за барона Черкасова выдала... Горбатенька была и с лица не больно казиста... Ух, как славна была в тот вечер Настенька!.. Диковинно как пригожа... Сама государыня в тот вечер изволила ей первую свою аттенцию сделать — к ручке пожаловала... Было тогда на Настеньке фурроферме из бланжевого транценеля с черными брабантскими кружевами, фижмы с крылышками, на голове пудра, конечно, и прическа à la crochet, с локонами по плечам. Личико беленькое, нежное, улыбочка умильная, брови — соболь сибирский, и мушки. Одна мушка над левой бровью налеплена, другая на лбу у самого виска. Петиметры от тех мушек в дезеспуар [1] были, для того, что мушка над левой бровью непреклонность означает, а на лбу, у виска — sang-froid [2].

Танцевала Настенька прелестно и, по чести сказать, всем на удивленье. В полонезе павой, бывало, так и выплывает, талию маленько набок перегнет, веер к губам приложит... Прелесть!.. Рост опять какой!.. Стройность какая!.. Одно слово... une taille svelte et bien proportionnée [3]. Королева, по чести — королева!.. У Ланде первой ученицей была... Ах, нет — постой, Андрюша, постой,— это у Ланде-то я училась. Первый был maitre de ballet [4] при государыне Елизавете Петровне — у него и государь Петр Федорыч обучался и государыня Екатерина Алексеевна, когда еще на Москве в невестах проживала... Настенька к Ланде не попала для того, что он на ту пору, как ей танцам пришла пора обучаться,— помер... Значит, она училась у Гранже — тоже знатный был maitre de ballet... Изрядные балеты строил в эрмитажном театре: le Faune jaloux, Apollon et Daphnys [5]. Беспримерно, как прекрасно!.. И танцевать Гранже обучал отменно, ну, то возьми, что Панин к государю Павлу Петровичу для выучки танцам его приставил, значит, хороший maitre de ballet был... У него-то Настенька и

[1] В отчаянии (*франц.*).
[2] Холодность (*франц.*).
[3] Изящная, стройная (*франц.*).
[4] Учитель танцев (*франц.*).
[5] «Ревнивый фавн», «Аполлон и Дафния» (*франц.*).

училась, и так изрядно ее Гранже обучил, что не раз ее на шляхетный театр в Зимнем дворце Галатею представлять наряжали... Ух, как славна была Настенька, как, бывало, Галатею представляет!.. С золотым papillon[1] в руке pas de trois с графинями Чернышевыми пойдет... Да вот тебе, Андрюша, одно слово — уж как беспримерно танцевала Глебова падчерица — Софья Николаевна Чоглокова, знаешь, которую государь Петр Федорыч la fraile de la coeure[2] сделал. Хоть и кривобока маленько была, а весь свет собой восхищала, однако ж Настенька Боровкова и ее, бывало, за пояс заткнет. Манимаску да матрадуры невпример лучше Чоглоковой она танцевала. Та, бывало, чуть не лопнет с досады, на нее глядя. И в менуэтах Настенька ни разу в грязь лицом себя не ударила... Да...

И такая была скромница, такая добрая, кроткая, безответная... По чести, mon coeur, когда было ей шестнадцать либо семнадцать лет — ангелом небесным все ее почитали. Да... c'était une personne compatissante et sensible[3].

«Отец с матерью души в ней не чаяли: была у них Настенька одна-единственная дочь — детище моленое, прошеное. Так в глаза и глядели ей... Тем девку и попортили, что смолоду полную волю ей дали во всем. Не знавала Настенька грозного слова родительского, не слыхивала слова запретного — на воле да в холе жила, как хотела... Ну и сдурилась... Совсем сбилась с похвей!.. Так сдурилась, mon petit, что в двадцать лет ее узнать было невозможно...

А все книги... Книг зачиталась — и зашел у ней ум за разум. Читала все, что ни попало, без толку, без разбору — а отец с матерью не запрещали: «читай, мол, все, что полюбится». И набралась Настенька дури да чепухи,— тем и себя погубила...

Еще в ребячьих годах много была начитана — в нюрембергские, бывало, забавляется, а сама наизусть Расиновы трагедии да «Генриаду» так и чешет... Расставит куклы на столе да и почнет из «Медеи» декламировать...

Это бы ничего — книги хорошие... А как было ей лет шестнадцать либо семнадцать, попадись ей Лашоссеева

---

[1] бабочкой (*франц.*).
[2] Придворной дамой (*франц.*).
[3] Чувствительная и добрая по натуре (*франц.*).

книга «L'Enfant prodigue»[1]. Прочитала ее Настенька да в cémedie larmoyantes[2] и втянулась... Иссентиментальничалась, конечно, а потом к Жан-Жаку Руссо пристрастилась. Натура, видишь, больно ей по нутру пришлась, да еще не знай какие-то там les droits de l'humanité... и зачала дурить.

По-моему, mon bijou, уж если разобрала ее охота книги читать, романы читала бы... Невпример приятнее, и сдуриться никак невозможно... А в стары-то годы, Андрюша, какие бесподобные романы печатали... Ужесть какие затейные! Теперь, я так полагаю, mon pigeonneau, что так и печатать не умеют. Лесажевы романы взять на приклад — «Жильблаз-де-Сантильян» или «Хромоногого беса»... Ух, какие знатные романы!.. Читал ли ты их, Андрюша?

— Читал, бабушка.

— Очень хорошие романы. Ты мне почитай их когда-нибудь. Мне бы это очень приятно было, потому что эти романы беспримерные... А то еще в другом роде были у нас книжечки — это уж самые затейные... Читал ли, голубчик, Боккаччио?.. А?..

— Читал, бабушка.

— А сказочки Лафонтеновы читал? Le Fables de Lafontaine, а сказочки, сказочки?

— Читывал и сказочки, бабушка.

— Э!.. плутишка!.. Уж успел!.. А, небось, мне никогда не почитает!.. Лень, видно, бабушку-то старуху потешить?.. А не правда ли, mon coeur, какие утешные сказочки?.. Самые затейные!.. По чести, все мы были до них охотницы... А Настенька их не читала и ни до каких романов склонности никогда не имела... К философии, видишь ли, пристрастилась — все бы ей Монтескье, да Дидро, да Жан-Жака... Оно, правда, в ту пору и при дворе это в моде было: сама государыня с Вольтером в переписке была, оттого и метнулись все в философию, только не надолго, для того, что философия-то нам не к лицу пришлась... В самую ту пору и сдурилась моя девка. «Теперь, говорит, пришел золотой век Астреи — свободным языком можно обо всякой пользе говорить»... И пошла и пошла, да по скорости и договорилась до сибирских городов... Вот тебе и Астрея!..

---

[1] «Блудный сын» *(франц.)*.

[2] Слезная комедия *(франц.)*.

— Что ж с ней сделалось, бабушка?

— Известно что — с ума спятила. Перво-наперво за то всех начала шпынять, что дурок да шутов при себе держат. Это, говорит, зверский обычай, варварам подобный... Поди вот ты с ней...

— Да разве не правда, бабушка?..

— Правда?.. Хороша правда!.. Признаюсь!.. А почему это, позвольте вас спросить, не держать дворянину при себе дурака?.. Это очень забавно!.. Ты то вспомни, mon pigeonneau, что не только у знатного шляхетства, а при всех даже королевских дворах шуты и дураки не переводились... И у нас, в Питере, при дворе императрицы Анны Иоанновны бывали шуты, да еще какие!.. При государыниной собачке князь Волконский в няньках состоял, князю Кваснику-Голицыну в жены не то калмычку, не то камчадалку дали и в ледяном дворце их пристроили... И у первого императора шутом был Балакирев — человек тоже родословный, да еще целая коллекция кардиналов, а при них князь-папа, а князем-папой спервоначалу учитель государев Зотов был, а после него Бутурлин... Вон какие люди!.. Да и сама государыня Екатерина Алексеевна дурку держать при себе изволила — Матрену-то Даниловну. Дурка та городские слухи ей приносила... Все знатные очень боялись ее. Помню я, как на моих глазах в ней заискивали. Рылеев, обер-полицмейстер, к каждому, бывало, празднику Матрене Даниловне и кур, и уток, и гусей шлет, чтобы язычок-то на его счет покороче держала... Знала я и Матрену Даниловну, самолично знала.

Опять-то не по нутру Настеньке пришлось, что у знатных персон блюдолизы приживали. Паразитами их называли тогда... У всякого человека по десяти таких бывало, а у иных и больше. Всякими манерами они милостивцев своих потешали: кто плясать горазд — пляши, кто стихи мастак сочинять — оды пиши, а кто во хмелю забавен — поят, бывало, того винищем, каждый божий день, ровно свинью... А за то, что они знатного человека тешат, каждый день им стол открытый и ко всякому празднику кафтан с плеча... Что ж тут дурного, mon petit?.. Христианское братолюбие — больше ничего... Да... любили тогдашние вельможи бедным людям помощь оказывать. И сами жили и другим давали жить. А что иной раз, не разбирая ранга, вспороть велят паразита —

так спина-то у него ведь не купленная — остались бы кости, а тело — наживное дело — нарастет.. Отчего ж знатному и не потешить себя?.. Ну, а Настенька не в ту сторону гнула — все это, говорит, татарское рабство... Вон куда метнула!.. Беспримерно как дурила!..

Да пущай бы еще у себя дома, в четырех стенах такую чепуху городила — так нет, все, бывало, норовит при людях дичь нести. Не разбирая никого, так, бывало, и режет: и на куртагах, и у Локателлия*, и на банкетах... И горюшка ей мало, хоть сам князь Григорий Григорьич тут сидит. Да что Григорий Григорьич! Он и сам подчас любил так же поговорить, как и Настенька — за подлый народ всегда заступу держал... А другие-то, другие-то! Люди почтенные, сановники — обижались ведь!.. А петиметры, заразившись Настенькиной красотой, бегут, бывало, к ней, ровно овцы к соли, а она и почнет им свои рацеи распевать, а те слушают, развеся уши-то, да еще поддакивают... Иной, в угоду Настеньке, и сам гденибудь на стороне такую же чепуху почнет городить... Всю молодежь девка перепортила — такая зловредная стала... И посты и все отбросила... Раз посоветовала ей на кофею судьбу узнать — и кофею не верит, mon petit... Вот что значат философские-то книги!.. Ты их не читай, Андрюша!..

Потом на воспитанниц накинулась. Что они ей сделали — до сих пор ума приложить не могу. В стары годы, дружок, во всяком почти шляхетском доме, маломальски достаточном, воспитанниц держали. Особливо охочи были до них бездетные барыни да старые девки. В Питере еще не так, а на Москве так счету этим воспитанницам не было. Набирали нищих девчонок в подьяческом ранге либо у шляхетства мелкопоместного. Которая барыня штуки две держит, которая пяток, а очень знатная — и десяток либо полтора. Учат девчонок, воспитывают себе на утеху, а им на счастье...

А старые девки да барыни бывали охочи до воспитанниц для того, что с ними в доме людней и от того веселее. К старью-то петиметры не больно охотно ездили: с праздничной визитой, аль в именины поздравить, да на званый обед, а запросто никто ни ногой... А привыкши смолоду в большом свете с аматерами возиться, ста-

* Локателли прежде балетмейстер был, а потом содержатель дома для балов и маскарадов.

рушкам-то и скучненько... Вот они для приманки щегольков молодых-то девок, бывало, и держат... Коли воспитанницы из себя пригожи, отбою от петиметров нет — так и льнут, как мухи к меду... А старушке-то весело: глядит на молодежь да свою молодость и вспоминает...

Настенька и супротив этого во всю ивановскую кричать зачала: это, говорит, рабство, это, говорит, татарское иго, разврат, говорит, один, а не доброе дело. Воспитанниц, говорит, к себе набирать — все едино, что вольных людей в холопство закреплять... Так при всех этими самыми словами, бывало, и ляпнет... И уж как на нее старые-то злились. Брякнет, бывало, Настенька такое слово где-нибудь в большом societé, а старые девки, сидя в углу либо за картами, таково злобно на нее взглянут да и за табачок. И промывали ж они ей косточки: каких сплеток ни выдумывали, чего про Настеньку ни рассказывали — да все ведь норовили, чтоб как-нибудь доброе имя ее опорочить... Злы ведь старые-то девки бывают, голубчик мой!..

Станешь, бывало, говорить Настеньке:

— Помилуй, мать моя, что это ты себе в голову посадила? Как же это возможно сказать, что воспитанниц нехорошо в знатном доме держать? Сироту сам бог призреть повелел...

А она:

— Хорошо, говорит, призрение!.. Нечего сказать!.. Наберут бедных девочек да тиранят их век свой.

— Да какое ж, говорю, тиранство, mon ange? Разве не фортуна для какой-нибудь голопятой дворяночки, что она и танцам у придворного maitre de ballet учится, и по-французски у выписной мадамы, и всему другому, что нужно? Разве это не фортуна, что какая-нибудь голь перекатная — с княжнами, с графинями вместе учится, и после того les dames de la cour ее своей подругой называют? Разве это не фортуна, говорю, что подьяческому отродью либо мелкопоместной дряни такие петиметры, что еще в колыбели гвардии сержантами служат,— декларасьоны в амурах объявляют?.. Помилуй, говорю, Настенька, ведь это умора... С ума ты спятила, радость моя!.. Не по-дворянски рассуждаешь, ma délicieuse [1].

---

[1] Прелесть моя (*франц.*).

А она:

— Не в том говорит, мать моя, фортуна человеческая. Хороша, говорит, фортуна выпала воспитанницам княжны Дуденевой!.. Одна за моськами нянькой ходит, другая с утра до вечера по гостиному двору да по мадамам рыщет, а вечером на кофее ворожит либо четьиминею вслух читает. Сегодня, завтра — весь век одно да одно... Да все капризы княжны переноси, все брани ее и ругательства слушай: она беситься начинает, а ты ручку целуй у нее... Не рабство это, не кабала по-твоему?.. А тут еще племянничек какой-нибудь станет подъезжать с своей гнусной любовью — и сохрани тогда бог девочку, ежели она не дозволит ему далеко забираться — нагишом со двора сгонит.

А это точно было, Андрюша. Случилось это у старой у девки, у графини Тумавской. Ее племянник, голштинской армии поручик барон фон-Ледерлейхер, примазываться стал к тетушкиной воспитаннице. Отец-от ее, майор, в прусской войне был убит, а мать с горя да от бедности померла, потому графиня из христианского милосердия и взяла сироту, ихнюю дочку, к себе на воспитанье... Как зачал барон к майорской дочери примазываться, она супротив его на дыбы — не хочу, говорит... Он и так и сяк — не поддается девка. К тетушке,— а графиня души не чаяла в племяннике, баловень ее был. Стала и она майорскую дочь усовещевать — покорилась бы барону, а та и слышать не хочет — пущай, говорит, женится... Губа-то не дура — в баронессы захотела... Много билась с ней бедная графинюшка: и лаской, и грозой, и косу резала, и в подвале голодом маленько поморила,— ничем взять не могла — такая была упрямица... Нечего делать — сослала со двора с тем именьем, что после родителей осталось. А родительского-то благословения — тельной крест да материно кольцо обручальное...

По времени сказывали, что во вся тяжкáя пустилась, в вольном доме даже проживала... Ну не дура ли, mon pigeonneau? Не в пример бы ей пристойнее бароновой метреской быть, чем таким манером графиню срамить — ведь все знали, что она ее воспитанница... Вот как за хлеб-от да за соль заплатила!.. Много слез пролила бедная графиня от такого сраму...

— На ней взыщется грех майорской дочери, бабушка...

— Слышите!.. Слышите!.. Распутную девку к графине приравнял!.. Как не стыдно тебе, mon cœur!.. Стыдно, mon petit, беспримерно стыдно так непочтительно о знатных персонах говорить... Не тебе об них судить: ты еще молод и не столь знатен — это завсегда ты должен помнить... Вот этак же, бывало, Настенька... Что же вышло?.. Сгибла сударка — след простыл... За такие неподобные речи часто я ее бранивала — как тебя вот теперь браню... Дуришь, бывало, говорю, ma délicieuse: вздор один сажаешь себе в голову... Держать, говорю, воспитанниц — дело христианское. А она: ты, говорит, мой свет, хоть и замужем, хоть и постарше меня, а этого тебе не понять. А чего не понять-то?.. Дурила голубка, просто дурила...

Отцу с матерью так-таки и не попустила держать воспитанниц. Покамест росла, были у Боровковых три: секретарская дочь да две мелкопоместные дворяночки... А коль скоро Настенька в годы вошла, родительский дом на свои руки приняла, для того, что с матерью с ее кровяной удар приключился — ни рукой ни ногой двинуть не могла. И как стала хозяйкой, скоро пошла докучать, не держали б родители воспитанниц. Так ведь и выжила их из дома.

И не разобрать: со зла ли так поступала Настенька, аль прямым делом девкам хотела добра. Да вот какой случай выпал. В самое то время, как она докучала отцу с матерью, чтоб из дому всех трех воспитанниц вон, одна из них возьми да оспой и захворай... Болезнь страшная: либо помрешь, либо навек рябой останешься, к тому же болезнь прилипчивая... Доктор приказал положить больную в особом флигеле и тем, у кого оспы не было, близко к тому флигелю не подходить... Что ж ты думаешь?.. Истинно ума лишилась,— сама за больною ходить вздумала... За оспенной-то!.. Отец с матерью ей и так и сяк, не дается девка под лад. Однако ж Петр Андреич на своем поставил. Стихла моя Настасья Петровна!..

Что ж? Ночью, бывало, только что в доме все улягутся, она тихонько башмачки на босу ногу, кунтыш * на плечи да через двор à petit bruit [1] во флигель, да

* В роде нынешних салопов.

[1] Неслышными шагами (*франц.*).

там за воспитанницей и почнет ухаживать... И представь ты себе, Андрюша,— оспа-то ведь к ней не пристала... Зато, когда дошло до княжны Дуденевой,— расцыганила ж она Настеньку. Всеми богами божилась, что не к больной, а к любовникам во флигель она бегала...

Гораздо спустя, говорит Боровков Настеньке, отец-от ее:

— Скучно тебе, светик мой, одна ты у нас одинешенька, а дело твое девичье, подругу бы надо тебе. Вот вчерась у Локателлия на вольном бале довелось мне про одного армейского капитана слышать... Заехал сюда в Питер с кучей ребятишек да в одночасье и помер. Шестеро сирот мал мала меньше, ни отца, ни матери, ни роду, ни племени, пить-есть нечего... Разбирают теперь сироток по знатным домам. Не взять ли и нам хоть одну капитанскую дочку? Сказывают, есть одна годков в пятнадцать — девка-то была бы к тебе подходящая...

А Настенька:

— Нет, говорит, батюшка, не берите в дом... Горька жизнь сироты, а горше всего в ее жизни — чужой хлеб. Нет, батюшка, ради господа, не делайте этого. А вот что: поезжайте-ка вы к Бецкому, к Ивану Иванычу, попросите, чтоб он в Смольный сироток пристроил, а коль комплекту нет, продайте мои брильянты, отдайте деньги за сирот... В воскресенье на куртаге сама я княжну Катерину буду просить и к Делафонше съезжу *.

И что же? По Настенькиным хлопотам да по ее просьбам взяли ведь в Смольный-то двух капитанских дочек, а когда они отучились, Боровковы замуж их выдали... И какое приданое Настенька им сделала!..

Да так ли еще она куролесила, mon pigeonneau, то ли еще дерзким своим языком говорила!.. Выглянь-ка за дверь, Андрюша, комнатных девок там нет ли. Не подслушали бы... Про это знать им не годится.

До того под конец дошла,— шепотом продолжала бабушка,— что везде, где ни бывала, зачала ровно в трещотку трещать, будто бы благородному шляхетству ни крестьянами, ни дворовыми владеть не должно... Они, говорит, такие же люди, что и мы... Слышишь, mon petit?..

---

* Княжна Катерина Долгорукова — первая начальница Смольного монастыря, Делафон — ее помощница.

Самое себя к холопам приравняла!.. Никто, говорит, не волен с своего человека за провинность взыскать... Понимаешь, голубчик, куда клонила?.. А все философия да поганые книги, что по целым ночам читала!.. Все, бывало, у нее Жан-Жак, да Жан-Жак,— вот тебе и Жан-Жак!.. Подлым вольности захотела!.. Да ведь вольность-то дана, mon pigeonneau, шляхетству, дворянскому корпусу за службы дедов и прадедов, а Настасья Петровна моя хамовой породе захотела вольности!.. Знатные персоны за то очень на нее сердились и грозились укоротить язычок Настеньке — значит, либо в монастырь на смиренье, либо в сумасшедший дом за решетку... Испужалась, надо думать — перестала... Ну сам посуди, mon coeur, пристойно ли девке таким манером рассуждать! Ничуть не славно и совсем даже неловко!.. Завсегда у нее в голове беспорядок был!.. Потому и звали ее «порченой».

А то какая еще у нее дурь в голове была. Летом Боровковы жили на даче, а прежде, когда Настенькина мать здорова еще была, в подмосковную они ездили. В деревне-то, как ты думаешь, что она? С бабами да с девками деревенскими была запанибрата... Вот до какого безобразия дошла!.. И что еще выдумала — стала к отцу с матерью приставать, чтоб наняли дьячка деревенских ребятишек грамоте учить... Умора!.. Ну с какой стати мужику грамоте уметь? Крестьянское ль это дело? Мужик знай пахать, знай хлеб молотить, сено косить, а книги-то ему зачем в руки. Да дай-ка ему книгу-то — пропьет ее в первом питейном... Ну, Боровков Петр Андреич на такую глупую причуду любезной дочки не согласился однако. А тут по скорости с женой его удар приключился, в деревню ездить перестали, так Настенькины затеи и не пошли ни во что...

Было уж ей тридцать годов, а по-прежнему была из себя хороша, кажется, краше еще с летами-то делалась... А замуж не шла и выходить не хотела... Много петиметров из самых знатных персон по ней помирало, однако ж она тому не внимала и мушек с виска да с левой бровки ни для кого не сняла... А охотников до нее было много, отбою от женихов не было. Оно и понятно: девка не бесприданница — в Кеславле с деревнями в Зимогорской губернии тысячи полторы домов, красота на редкость. Придворные кавалеры и гвардии офицеры декларасьоны ей объявляли, только Настенька речи их меж ушей про-

пущала и хоть бы раз для кого на правой стороне губки мушку приклеила: осмелься, дескать, и говори...

Иные господчики, по старому обычаю, свах засылали... Однако ж не было им ни привету... ни ответу... А тех, которым, по женихову сродству и по его position dans le monde[1] можно было наругаться маленько, Петр Андреич с репримандами со двора спускал.

Кого ждала Настенька — какого царевича, какого королевича — не знаю. А и то надо сказать, mon coeur, что ведь и на самом деле царевич к ней раз присватался — не пошла. Пьет, говорит, очень, да нос больно велик. Из выезжих был: из грузинских, не то из имеретинских — много тогда этаких царевичей на Пресне в Москве проживало. Только уж дураковаты были, да на придачу горькие пьяницы и драчуны.

По времени все возненавидели Настеньку. Все стали ей косые взгляды казать: старые девки и дамы за то, что про воспитанниц неумно говорила да сплетни ихние на чистую воду выводила, молодые красоте ее завидуючи, петиметры за ее sang-froid, а благородное шляхетство за неподобные речи насчет холопов... Самых что ни на есть знатнейших людей супротив себя поставила. Можешь себе вообразить, mon pigeonneau, сановников-то самых, опору-то престола, ворами да казнокрадами в публике безо всякого конфуза зачала обзывать. Не безумная ли?.. Имени, бывало, не помянет, а про чьи дела брякнет, у того ой-ой как под тупеем зачешется. За то больше и невзлюбили ее. Всякая, дескать, дрянь, девчонка какая-нибудь, да в великие государственные дела соваться вздумала! А пуще всего опасались, чтоб грехом государыня столь зловредную девку приблизить с себе не соизволила, конфиденткой не сделала бы, в камерфрейлины не взяла бы... Государыня и то на куртагах и в Эрмитаже беспримерную аттенцию Настеньке оказывала, а однажды поутру даже про важные дела с ней говорить изволила... Княгиня Катерина Романовна даже надулась за это на Настеньку... Оно и понятно, mon petit,— всякому ведь до себя... Ну, и боялись...

До поры до времени однако ж терпели Настеньку. Пущай, дескать, девка досыта наругается, девичья брань на вороту не виснет. А как подвела Настенька Мякини-

[1] Положению в свете *(франц.)*.

на Гаврилу Петровича под гнев государыни, так и начали знатные персоны промышлять — какими бы судьбами неспокойную девку спровадить из Петербурга, духу б ее в столице не осталось, в воду бы канула, заглохла бы где-нибудь в деревенской глуши, а ежели поможет господь, так где-нибудь и подальше — куда, значит, Макар и телят не гонял.

А подвела Настенька под гнев и опалу Гаврилу Петровича Мякинина вот каким манером. На петергофской дороге у отца у ее, Петра Андреича, дача была. По лета́м, с той поры как заболела сама-то Боровкова, они живали на самой той даче... Ходила тут к Настеньке из ближней деревни крестьянская женка, грибы к столу носила, ягоды, овощ всякий. Аграфеной звали, а была из экономических. Переехали один год Боровковы на дачу — нейдет Аграфена: сморчки прошли — нейдет, земляника прошла — нейдет, малина зачалась — Аграфены нет как нет. Думала Настенька, что она померла. И очень жалела, к подлому-то народу уж очень пристрастна была.

Лето за половину поворотило, как однажды рано поутру заслышала Настенька знакомый голос: «зелены хороши, огурчики-голубчики зелененькие, бобики турецки, картофель молодой». Кликнула Настенька бабу, зачала ее расспрашивать, куда это она запропастилась, по какому резону половину лета у них не бывала.

Заголосила бабенка:

— Ах ты, милая моя барышня! Ведь господь своим праведным судом нам несчастьице послал. Самое горемычное дело до нас, грешных, дошло. Должны в разор разориться, по миру пойти.

— Что такое? — спрашивает Настенька.

— Хозяина-то моего, седьма неделя, как в тюрьму посадили.

— Как так?

— Да так же, родная, посадили, да и все тут.

— Да что ж он сделал?

— Ох, уж дело-то его, матушка, такое, что не знаю, как рассказать тебе. Провинился, моя любезная, мой Трифоныч, провинился и не запирается — точно, говорит, моя беда до меня дошла — виноват. Люди говорят, в Сибирь его сошлют, да и меня, слышь, с ним. А я к

тому делу нисколько не причастна, только что печку топила да хлебы пекла...

— Да что ж он сделал? В душегубстве попался, аль в разбое?

— Ой, нет, моя хорошая! Такой ли человек мой Трифоныч? Ему господь и грамоту даровал — божественные книги читает,— сделать ли ему такое дело!.. А уж по правде сказать тебе, белая ты моя барышня, так я, грешный человек, частенько подумываю: не в пример бы лучше было Трифонычу в разбое аль душегубстве попасться... Для того, что по убийственным и по разбойным делам хоть не зачастую, а все же таки из тюрьмы люди выходят, а Трифоныч-от мой, по своей простоте да по глупости, в такое дело втюрился, что и повороту нет из него...

— Да что ж он сделал такое?

— Ох, матушка моя, большое дело он сделал: орла двенадцать лет жег.

— Как орла жег? Какого орла?

— Орла, матушка, точно орла. В печке двенадцать годиков жег... Это в прямое дело, что жег. Двенадцать лет, сударыня!..

— Да говори толком — что такое?

— Да видишь ли, белая моя барышня,— в печке-то у нас в самом поду орел был, и это точно, что на нем каждый день дрова горели — и хлебы завсегда пеклись на нем. Жег, родная моя, точно что жег.

Толку добиться Настенька не могла, а дела не покинула. Стала разведывать, по скорости вот что узнала, mon coeur.

Когда выстроили Зимний дворец, государю Петру Федоровичу захотелось беспременно к светлому воскресенью на новоселье перебраться. Весь великий пост тысячи народа во дворце кипели, денно и нощно работали, спешили, значит, покончить, зашабашили только к самой заутрене. А луг перед дворцом очистить не могли: весь он был загроможден превеликим множеством домов и хибарок, где рабочие жили, и всяким хламом, что от постройки оставалось. Смекнули — полгода времени надо, чтоб убрать весь этот хлам, и немалых бы денег та уборка стоила, а государю угодно, чтоб к светлому воскресенью луг беспременно чистехонек был. Как быть, что делать? Генерал-полицеймейстером в те поры Корф

был — он и доложи государю: не пожертвовать ли, мол, ваше императорское величество, всем этим дрязгом петербургским жителям, пущай, дескать, всяк, кто хочет, невозбранно идет на дворцовый луг да безданно-беспошлинно берет, что кому приглянется: доски там, обрубки, бревна, кирпичи. Государь Петр Федорыч на то согласился... Поскакали драгуны по городу — в каждом доме повещают: идите, мол, на дворцовый луг, да что хотите, то и берите безданно-беспошлинно. Петербург ровно взбеленился: со всех сторон, из всех концов побежали, поехали на луг... И вообрази себе, mon pigeonneau, в один день ведь все убрали. А было это в самую великую пятницу. И от нас из дому на дворцовый луг людей с лошадьми посылали — полтора года, mon petit, после того дров мы не покупали. Хороший был распорядок — все очень довольны остались.

Савелий Трифонов, Аграфенин-от муж, в самое то время в Петербурге с подводой был. Услыхавши, что полиция народ ко дворцу сбивает, и он, сердечный, туда поехал, набрал целый воз кафелей со поливами да голландского кирпичу. А у него в дому на ту пору печь плоховата была: он ее жалованным-то кирпичом и поправил... Да на грех угораздило его кафель-от с орлом в самый под положить.

Двенадцать лет прошло,— Трифоныча в то время, как монастырщину государыня Катерина Алексеевна поворотила на экономию, в волостные головы миром изобрали. Тут не возлюбил его управитель ихний, что от коллегии экономии к монастырским крестьянам был приставлен, Чекатунов Якинф Сергеич. Как теперь на него гляжу: старичок такой был седенькой и плутоват, нечего сказать... Смолоду еще при государыне Анне Ивановне был в армейских офицерах и, сказывают, куда как жестоко хохлов прижимал, когда по недоимочным делам в малороссийской тайной канцелярии находился. Трифоныч, должно быть, как-нибудь не ублаготворил его, он и взъелся... Однако ж, каких подкопов ни подводил под Трифоныча, не мог поддеть. Времена-то не те уже были, не бироновщина.

Приезжает Чекатунов в волость, где Трифоныч в головах сидел, прямо к нему, разумеется, для того, что на хозяина хоть и волком глядит, а угощенья ему подай. Папушник Аграфена на стол положила: «рушьте, мол,

сами, ваше благородие, как вашей милости будет угодно».

Чекатунов стал резать папушник — глядь, а на нижней-то корке орел.

— Это что? — крикнул он грозным голосом.

— Орел,— говорит Трифоныч,— орел, ваше высокородие.

— Да у тебя царский, что ли, хлеб-от? Из дворца краденый?.. А?

— Как это возможно и помыслить такое дело, ваше высокородие? — отвечает Трифоныч.— Глядь-ка что выдумал! Из царского дворца краден!.. Я ведь, чать, русский!.. Изволь в печку глянуть, тамо в поду кирпич с орлом вложен, на хлебе-то он и вышел.

Посмотрел в печку Чекатунов, видит — точно орел.

— А где, говорит, ты взял такой кирпич?

— А на дворцовом лугу,— отвечает ему Трифоныч: в то самое время, как по царскому жалованью народ после дворцовой стройки хлам разбирал.

— Так это ты двенадцать лет царского-то орла жжешь,— закричал Чекатунов, схватив Трифоныча за ворот.— А? Да понимаешь ли ты, злодей, что за это Сибирь тебе следует.

Трифоныч в ноги. А Чекатунов расходившись — в железа Трифоныча, да в острог за жестоким караулом.

А Чекатунову такие дела не впервые творить приходилось. При Бироне в Малой России он за жженого орла людей мучил.

Дело повели крутенько. А было это в самое пугачевское замешательство. Чекатунов главному своему начальнику Гавриле Петровичу Мякинину таким манером дело Трифоныча представил, что будто он с государственным злодеем был заодно и в самом Петербурге хотел народ всполошить. Трифоныч был мужик домовитый, зажиточный, в ларце у него целковиков немало лежало: тут все прахом пошло.

Разузнавши доподлинно дело, Настенька, не молвивши отцу ни единого слова, приказала заложить карету, оделась en grande toilette [1] и в Царское Село... А там государыня завсегда изволила летнюю резиденцию иметь. Поехала Настенька с дачи раным-ранехонько

---

[1] В парадный наряд (*франц.*).

и в саду на утренней прогулке улучила государыню. А ее величество завсегда в семь часов поутру изволила свой променад делать. Остановилась Настенька у той куртины, где сама государыня каждый день из своих рук цветы поливала. Видит, бегут две резвые собачки, играют промеж себя; а за ними государыня в легком капоте пюсового цвета, в шляпе и с тросточкой в руке. Марья Савишна Перекусихина с ней, позади егерь. Увидала ее Настенька, тотчас на колени.

— Что с вами, милая? Отчего так встревожены? — спрашивает ее государыня.

— Правосудия и милости у вашего величества прошу.

Государыня улыбнулась.

— За того прошу, ваше императорское величество, за кого просить некому,— молвила Настенька.— За простого мужика, за невинную жертву злобы и лихоимства. В тюрьме сидит, дом разорен... Честный Савелий Трифонов из богатого поселянина навек нищим стал.

Только что Настенька эти речи проговорила, государыня внезапно помрачилась, румянец на щеках так и запылал у ней. А это завсегда с ней бывало, mon coeur, когда чем-нибудь недовольна делалась.

— Не знаете, за кого просите! — с гневом проговорила государыня.— Трифонов — вор, соумышленник государственного злодея.

— Ваше величество, беззащитного поселянина оклеветали... Опричь бога да вас, никто его спасти не может... Рассмотрите дело его.

Ни слова не промолвя, государыня отвернулась и пошла в боковую аллею... Настенька осталась одна на коленях.

Недели через три Трифонов был на волю выпущен и все добро его назад было отдано. Чекатунова отрешили, Гавриле Петровичу Мякинину было сказано: жить в подмосковной.

В перво же воскресенье Настеньке велено было на куртаге быть. Государыня с великой аттенцией приняла ее. При многих знатных персонах обняла, поцеловала.

— Благодарю вас за то, что избавили меня от величайшего несчастия царей — быть несправедливой,— сказала ей государыня.— Мы основали наш престол в человеколюбии и милосердии, но по навету злых людей я едва не осудила невинного. Бог вас наградит.

И все зачали увиваться вкруг Настеньки. На другой же день весь grand monde перебывал у Боровковых с визитами, даром что кому двенадцать, кому двадцать верст надо было ехать до ихней дачи... Только и речи у всех, что про Настеньку да про злодейство Мякинина с Чекатуновым.

А про себя не то думали, не то гадали знатные персоны... Подкопы подводить зачали под Настеньку...

В то время, mon enfant, самым важным вельможей был Лев Александрович Нарышкин... Нраву отменно веселого, на забавные выдумки первый мастер. Как пойдет, бывало, всех шпынять, так только держись, а все как будто спросту. Государыня его очень жаловала. Когда еще великой княгиней была, большую доверенность к нему имела — и когда воцарилась, много жаловала. Человек был, что называется, на все руки... Ежели на куртаге бывало невесело, а Нарышкина нет, государыня всегда, бывало, изволит сказать: «видно, что Льва Александровича нет». По чести сказать — мертвого, кажется, умел бы рассмешить, а праздники задавал — не то что нам — чужеземным, иностранным на великое удивленье бывали.

Давал он бал у себя на даче. Знатная дача была у Льва Александровича по петергофской дороге. Какие он на ней фейверки делал, люминации с аллегориями * — сказать, mon bijon невозможно. Сам Галуппи музыкой, бывало, правит — старый человек был настарый, а зачнет музыкантами командовать, глаза у седого так разгорятся, ровно у молодого петиметра, когда своей dame de l'amour [1] ручку пожимает... Сады какие у Нарышкина были, фонтаны!.. По чести сказать, как войдешь, бывало, в его люминованные сады — ума лишишься: рай пресветлый, царство небесное — больше ничего...

Parole d'honneur, mon petit [2].

Раз, как теперь помню, накануне Ильина дня, приезжает к нам Настенька.

— Ты, говорит, к Нарышкину завтрашний день на праздник поедешь?

— Нет, говорю, ma délicieuse, не поеду... Для того, что инвитасьоны [3] не получили.

---

* Фейерверки, иллюминация.

[1] Возлюбленной *(франц.)*.

[2] Честное слово, дитя мое *(франц.)*.

[3] Приглашения *(франц.)*.

А меня досада так и разбирает... Как так? Боровковы будут, мы не будем!.. Обидно!.. Была я тогда молода, к тому ж не из последних... Муж в генеральском ранге — как же не досадно-то?.. Сам посуди, mon pigeonneau...

Поздравляю, говорю поздравляю, ma délicieuse, что к Нарышкину поедешь... А мы люди маленькие, незнатны... Куда уж нам к Нарышкину?..

— Особливо мне то чудно,— говорит меж тем Настенька,— что на празднике будут только самые первые персоны. Из девиц: Веделева Анета, Шереметевых две, Панина, Полянская, Хитрово... Все les frailes de la cour. Какими судьбами меня пригласили — ума приложить не могу.

— Значит, ma douceur, и тебе la fraile de la cour скажут... Будешь, говорю, во времени — и нас помяни.

Захохочет Настенька, да так и залилась.

— Нашла, говорит, la fraile de la cour! По чести сказать, к лицу мне будет!..

А сама охорашивается, стоя перед зеркалом... Нельзя же, mon coeur, — женская натура... Кто из молодых женщин мимо зеркала пройдет не поглядевшись? Ни одна не пройдет mon pigeonneau, поверь, что ни одна... Потому что у каждой о всякую пору одно на уме — как бы мужчинку к себе прицепить... Ты, mon coeur, не гляди, что они молчат да кажутся les inaccessibles [1]. Поверь бабушке, голубчик мой, что у каждой женщины лет с четырнадцати одно на уме: как бы с мужчинкой слюбиться... Ей-богу, mon cher... Притворству не верь... Которая тебе по мысли придется, смело приступай... Рано ли, поздно ли, будет твоя... Поверь, mon bijou,—я ведь опытна... Смелости только побольше, голубчик, а будет к концу дело подходить,— дерзок будь... На визги да на слезы внимания не обращай. Для проформы только визжат да стонут... Видишь, mon petit, как бабушка-то тебя житейской мудрости учит... После сколько раз помянешь, поблагодаришь меня, старуху, за мои les instructions... [2] Верь, mon agneau, и в стары годы и в нынешние pour chaque femme et pour chaque fille [3] ничего нет приятнее, как объятия мужчины... Изо всей силы, mon

---

[1] Недоступными (*франц.)*.

[2] Поучения (*франц.)*.

[3] Для каждой женщины и для каждой девушки (*франц.)*.

petit, к себе прижимай, мни, кости ломи — тем приятнее... Про что, бишь, я говорила, Андрюша?

— Да все про Боровкову, бабушка... Как она к Нарышкину сбиралась и охорашивалась, стоя у вас перед зеркалом...

— Точно, голубчик, точно... Изогнула она этак набок талию, ручкой подбоченилась, а глазенки так и горят... Ух, как отменно была хороша, ух, как славна!.. А близиру ради тоже прикидывается — я, дескать, дурнушка.

И вдруг пригорюнилась она:

— Нет, говорит, Параша — какая я frail de la cour?.. Вот если б государыня взяла меня заместо Матрены Даниловны.

— Христос с тобой, говорю я, Настенька. Сама не знаешь, что мелешь!.. В дурки захотела!.. Какой тут промен, ma délicieuse?

— Большой, говорит, промен! Родись я мужчиной — генерал-прокурором захотела бы быть, всякий бы час государыне докладывала, как болеет народ, как ищет суда и правды, а найти не может!.. А родилась женщиной — в дурки хотела б, в шутихи... Эх, как бы мне надеть чепчик с погремушками... Сколько бы правды тогда рассказала царице!..

— Дуришь, Настенька! То говоришь — шутов не надо; то сама в дурки лезешь.

А она:

— Не понимаешь ты ничего, говорит.

Тем и кончили.

На том нарышкинском празднике государыня изволила добрые ведомости объявить,— с туркой мир был заключен. С теми ведомостями прислан был премьер-майор Соколов. И того Соколова Нарышкин позвал на праздник; государыня так приказала. А премьер-майор Соколов dans la grande société был совсем темный человек, и никто из знатных персон не знал его. Приехавши к Нарышкину, ровно в лесу очутился, бежать так в ту же пору. Прижался к уголку, думает: «ахти мне, долго ль в муке быть».

Настенька, заметивши Соколова не в своей тарелке, подошла к нему, зачала про Молдавию расспрашивать, про тамошние нравы и порядки... Премьер-майор растаял, глядя на ее красоту — с первого взгляда заразился.

Говорят они этак в уголку — как вдруг зашумели, забегали. Александр Львович с женой на крыльцо. Галуппи стукнул палочкой, и грянул полонез. Государыня приехала... Соколов с Настенькой в паре пошел, и когда полонез окончился, к нему подошел князь Орлов Григорий Григорьич *. А приехал он с государыней.

— Ба, ба, ба! — говорит.— Здравствуй, Соколенко, какими судьбами ты здесь?

Соколов низко кланяется, доносит князю Григорию Григорьичу, что с мирными ведомостями прислан.

— Как я рад, что нахожу тебя здесь и вижу здоровым и благополучным,— сказал князь Григорий Григорьич и стал целовать премьер-майора.— Ко мне пожалуй, братец! Не забудь, Соколенко...

Тотчас все гурьбой к Соколову. В знакомство себя поручают.

Государыня, заметившая ласки князя Григорья Григорьича к Соколову, спросила, как он его знает...

— Наш, кенигсбергский,— говорит князь.— В прусскую войну мы с Соколенкой на одной квартире стояли... Старый приятель!

А Соколенкой любя премьер-майора князь Орлов называл. Такая привычка была у него: русских кликал похохлацки, а хохлов — по-русски.

Приметил князь Григорий Григорьич, что Соколов с Настеньки не спускает глаз.

— Аль заразился?..— спрашивает.

Молчит премьер-майор, а краска в лицо кинулась.

— А ведь она пригляднее, чем Лотхен, будет?..— говорит князь.— Помнишь Лотхен?

Соколов ни жив, ни мертв. Придворного этикету не разумеет, что отвечать на такие затейные речи — не придумает.

— За ней тысячи полторы дворов,— говорит князь.— А сама столь умна, что всех кенигсбергских профессоров за пояс заткнет... Хочешь?..

Молчит премьер-майор.

— Постой,— говорит ему князь,— я тебя с отцом познакомлю.

И, взявши Соколова под руку, подвел к Боровкову, к Петру Андреичу, и говорит ему:

---

* Анахронизм, каких много в «Бабушкиных россказнях». Много путала покойница.

— Вот, ваше превосходительство, мой искренний друг и закадычный приятель Антон Васильевич Соколенко... Прошу любить да жаловать.

Познакомились. Не шутка,— сам Григорий Григорьич знакомит.

Утром премьер-майор к Боровковым на дачу, через два дня опять... И зачастил.

Недели с две таким манером прошло. Вдруг повестку от камер-фурьерских дел Петр Андреич получает — быть у государыни в Царском Селе.

Когда он оттуда домой воротился — лица на нем нет. Прошел в спальню, где больная жена лежала... Настеньку туда же по скорости кликнули...

— Знаешь ли,— говорит Петр Андреич,— светик мой, зачем государыня меня призывать изволила?

Молчит Настенька. А в лице ни кровинки — чуяло сердце.

— Жениха сватает...

— Кого? — спросила Настенька.

— Соколова Антона Васильича, того самого премьер-майора, что из Туречины с миром приехал.

Молчит Настенька.

— Человек, казалось бы, хороший. С самим князем Григорием Григорьичем в дружбе, опять же и матушки государыни милостью взыскан...

Ни слова Настенька.

— Призвавши меня, изволила сказать государыня: «Я к тебе свахой, Петр Андреич, у тебя товар, у меня купец». Я поклонился, к ручке пожаловала, сесть приказала.— «Знаешь, говорит, премьер-майора Соколова, что с мирными ведомостями прислан? Человек хороший — князь Григорий Григорьич его коротко знает и много одобряет». Я молчу... А государыня, весело таково улыбаясь, опять мне ручку подает... J'ai fait le baisement[1], а ее величество, отпуская меня, говорит: «Сроду впервые в свахи попала, ты меня уж не стыди, Петр Андреич». Я было молвил: «Не мне с ним жить, ваше величество, дочь что скажет». А она: «Скажи ей от меня, что много ее люблю и очень советую просьбу мою исполнить...»

---

[1] Поцеловал руку (*франц.*).

Ни гу-гу Настенька. Смотрит в окно и не смигнет.

Обернулась. Перекрестилась на святые иконы и столь твердо отцу молвила:

— Доложите государыне, что исполню ее высочайшее повеление...

Суета в доме поднялась: шьют, кроят, приданство готовят. С утра до ночи и барышни и сенные девки свадебные песни поют.

А жених еще до свадьбы себя показал: раз, будучи хмелен, за ужином вздумал посудой представлять, как Румянцев Силистрию брал, а после ужина Петра Андреичева камердинера в ухо.

Свадьбу во дворце венчали... Я в поезжанах была, mon pigeonneau, и государыня тогда со мной говорить изволила... Очень была я милостями ее обласкана... А какой изрядный фермуар Настеньке она пожаловала!.. Брильяны самые крупные, самой чистой воды, караты по три, по четыре в каждом, а в середке прелестный изумруд, крупнее большой вишни, гораздо крупнее... Через неделю после свадьбы, на самый покров, Соколову сказано: быть воеводой в сибирском городе Колывани.

По первому пути и поехала в Сибирь Настенька.

А уладил ту свадьбу и выхлопотал Соколову сибирское воеводство — вовсе не князь Григорий Григорьич и не Нарышкин Александр Львович, а те знатные персоны, что Настенькина язычка стали побаиваться... Это уж мы после узнали...

НА СТАНЦИИ

Рассказ

Надвигалась грозовая туча; изредка сверкала молния, порой раскатывался гром в поднебесье... Стал накрапывать дождик, когда приехал я на Рекшинскую станцию.

Станционный дом сгорел, на постройку нового третий год составляется смета: пришлось укрываться от грозы в первой избе.

Крестьяне в поле, на работе. В избе восьмилетняя девчонка качает люльку, да седой старик шлею чинит.

— Бог на помочь, дедушка!

— Спасибо, кормилец!

— Что работаешь?

— Да вот шлею чиню. Микешка, мошенник, намедни с исправником ездил, да пес его знает, в кабак ли в Еремине заехал, в городу ль у него на станции озорник какой шлею изрезал... Что станешь делать!.. На смех, известно, что на смех. Видят, парень хмельной, ну и потешаются, супостаты... Шибко стал зашибать Микешка-то, больно шибко. Беда с ним да и полно.

— Что он тебе?.. Сын али внук?

— Какой сын! В работниках живет.

— Зачем же ты пьяницу в работниках держишь?

— А как же его не держать-то?.. Его дело сиротское — сгинуть может человек... А у меня в дому все-таки под грозой. У него же мать старуха, вон там на задах в кельенке живет. Ей-то как же будет, коль его прогоню?.. Она, сердечная, только сыном и дышит.

Пережидая грозу, долго толковал я с Максимычем — так звали старика. Зашла речь про исправника. Максимыч его расхваливал.

— Исправник у нас барин хороший, самый подходящий,— говорил он.— Не то чтобы драться, как покойник Петр Алексеич,— царство ему небесное! — словом никого не обидит. Славный барин — дай бог ему здоровья, — все творит по закону. А покойник Петр Алексеич — лютой был, такой лютой, что не приведи господи. Зверь, одно слово, зверь. А нынешний, Алексей-от Петрович, барин тихий, богобоязненный: вот третий год доходит — волосом никого не тронул. А сам весь в кавалериях, а на правой рученьке двух перстиков нет: на войне, слышь, отсекли.

Вот уж третий год сидит он у нас в исправниках и все по закону поступает. Уложенна книга завсегда при нем. Чуть какую провинность за мужиком приметит, тотчас ему ту провинность в Уложенной сыщет и даст вычитать самому, а коли мужик неграмотный, пошлет за грамотеем, не то за дьячком, аль за дьяконом, аль и за попом... Велит статью вслух прочитать, растолкует ее, да что по статье следует, то и сделает, а каждый раз ма-

ленько помилует. Ведь во всякой статье и большой есть взыск и маленький: так Алексей Петрович, дай бог ему здоровья, все маленький кладет... И всегда судит на людях, сотские каждый раз всю деревню собьют, чтобы все видели, чтоб все слышали, как он суд и расправу дает. «Терпеть, говорит, не могу творить суд втайне, пущай, говорит, весь мир знает, что я сужу по правде, по закону, по совести...» И точно... Всегда взыск делает, как в Уложенной книге батюшка царь написал... И завсегда маленько посбавит взыску-то... Отец родной, не барин... Все им довольны остаются. Бога благодарят за такого исправника.

Спервоначалу, как наехал, мужички, как водится, сложились было всей вотчиной: хлеб-соль ему поднесли и почесть. Хлеб-соль принял: «от хлеба от соли, говорит, грех отказываться, и потому я, по божьему веленью, его принимаю, а взяток и посулов брать не могу, а потому и вашего мне не надо. Не такой, говорит, я человек, служил, говорит, богу и великому государю верой правдой, на войне кровь проливал и не один раз жизнь терял. Стало быть, взятками мне заниматься нельзя, мундира марать я не должен. А закон, говорит, буду над вами наблюдать строго: у меня, говорит, чтобы все как по струнке ходило. Наперед приказываю, чтобы в каждом доме весь закон исполнялся. Не то, говорит, держите ухо востро. Наперед говорю: строго взыщу, как по закону следует, взыщу. Мне, говорит, что? Притеснять мужика и от бога грех, и по своей душе не могу, потому что век свой в военной службе служил. А что закон предписывает, содержать буду крепко и супротив закона ни единому человеку поноровки не дам».

На такие речи осмелились мужички спросить Алексея Петровича: про какие же это законы изволит он речь вести. «Про все, бает, законы говорю, сколько их ни на есть, чтобы все исполнялись до единого».

Мужички опять осмелились доложить:

— Мы-де, ваше высокоблагородие, законов не разумеем. Люди мы не мятые, грамоте не знаем, законов не читали, и в остроге мало которые из нашей вотчины сидели... Там, слышь, законам-то старые тюремные сидельцы всех обучают...

На это слово молвил Алексей Петрович:

— Милые вы мои мужички! Есть в нашем Российском государстве такой закон, что неведением законов отрицаться не можно: стало-быть, вы, ничего еще не видя, передо мной супротивность закону сделали, коли говорите, что закон вам неизвестен... На первый раз прощаю... Суди меня бог да великий государь — беру грех на душу; а вперед держите ухо востро́. Да помните у меня: ежели кто осмелится ко мне со взятками подойти аль с почестью, так я распоряжусь по-военному: до полусмерти запорю. Слышите ли?

Замялись мужички. Обидно, знаешь, стало: перво дело — почестью побрезговал, а они сто целковеньких со всяким было усердием; другое дело, больно уже темные речи загибает. Сразу-то разумных его речей и вдомек взять не могли.

Шлет он по малом времени наперед себя рассыльных... Свят, свят, свят господь бог Саваоф!..— торопливо крестясь, прервал речь свою Максим, когда яркая молния чуть не ослепила нас, и в ту ж минуту с треском и будто с пушечными выстрелами загрохотал гром над нашими головами.

— Ай, господи, батюшка! В поле-то кого не зашибло ли,— скорбно проговорил Максимыч, немножко оправившись... И, мало помолчав, вполголоса продолжал речь свою про исправника.

— Шлет Алексей Петрович по всем волостям, по всем вотчинам повестить, новый, дескать, исправник едет, в каждом бы дому по закону все было. А что такое по закону — ни бумагой, ни речью того не приказывает. Приезжает к нам в деревню Рекшино... Дело-то было зимой, перед масленицей; чуть ли в саму широку субботу *. Во всяком дому побывал, на что келейны ряды, и те исходил, ни единой кельёнки не проминовал. А у самого в руках Уложенная.

К первому зашел к Захару Дмитричу: изба-то у него с краю. Вошел, как следует, только в шапке, и, снявши ее, на стол положил. По-нашему, по-крестьянскому, это бы грешно, а по-вашему, по-господски то есть, может, так и надо. У Захара дедушка слепенький есть — лет девяносто с лишком старичку. Сидел он той порой на кути́. И с ним поговорил Алексей Петрович, про ста-

* Суббота перед масленицей. Самые большие базары по селам.

ры годы расспросил и про то, уважают ли его внучата, доволен ли ими. С хозяйкой поговорил, за досужество в избе похвалил и все нашел по закону, в порядке. Да, выходя из избы стал на гóлбец * и заглянул на печку.

— Зачем, говорит, Захару рогожка-то на печи?

— А вот, батюшка, ваше высокоблагородие Алексей Петрович, слепенький-от дедушка-то спит на эвтом самом месте. Ему рогожка-то и подослáна.

— Ну,— говорит Алексей Петрович,— это дело не ладно, этого закон не позволяет.

— Да ведь, батюшка, ваше высокоблагородие,— проговорил Захар,— на печи-то горячо живет, без рогожки-то старец спину сожжет... Без рогожки никак невозможно.

— Пущай, говорит, дедушка на полатях спит, а рогожу на печи держать закон не дозволяет.

— Да ему, батюшка, ваше высокоблагородие, на полати-то и не взлезть. И на печку-то с грехом лазит. Намедни упал, сердечный, да таково расшибся, что думали, решится совсем, за попом даже бегали. Дело-то его ведь больно старое.

— На полати не взлезет, так на лавке вели ему спать, а рогожи на печи не держи: закон запрещает.

— Как же это возможно, ваше высокоблагородие,— сказал Захар.— Где ж это видано? Где ж слепому старцу и быть, как не на печи? Дело его старое: на лавке холодно. Да и нельзя, батюшка Алексей Петрович. По-нашему, по-крестьянскому — старшему в семье на печи место, как же сам-от я с женой на печи развалюсь, а дедушку на лавку положу? Такое дело сделать: и в здешнем свете от людей покор, и на страшном суде Христос ответа потребует.

— А когда так,— говорит Алексей Петрович,— так постели дедушке на печь тюфяк, да только чтоб не сеном был набит, не соломой, не мочалой, потому что все это запрещено. Набей его конской гривой либо пухом.

— С нашими ли достатками, батюшка, ваше высокоблагородие, такие тюфяки заводить?.. Чем пуховый тю-

---

* Деревянный пристенок у печи.

фяк справлять, лучше на те деньги другу лошаденку купить.

— Как знаешь,— говорит Алексей Петрович,— я ведь тебя не неволю. Только смотри у меня, вперед берегись. Теперь я с тебя по закону невеликое взыскание возьму, а ежели вдругорядь на печи рогожу найду, взыскание будет большое. Помни это. Было ведь, кажется, вам всем приказано, чтобы все готовы были, что законы я буду содержать крепко. Рассыльного нарочно присылал... А вам все нипочем! Не пеняйте же теперь на меня... Грамоте знаешь?

— Господь умудрил,— говорит Захар.

Алексей Петрович ему Уложенну в руки.

— Читай вот в этом месте,— говорит.— Читай вслух.

Вычитывает Захар: «кто порох да серу, селитру да солому али рогожу на печи держать будет, с того денежное взыскание от одного до ста рублей».

Взвыл Захарушка, увидавши такой закон. Сам видит, что надо будет разориться. Все заведение продать и с избой вместе, так разве-разве сотню целковых выручишь. Вот-те и рогожка!

Повалился в ноги Алексею Петровичу, хозяйка тоже, ребятишки заголосили, а дедушка хотел было поклониться да сослепа лбом на ведро стукнулся, до крови расшибся. Лежит да охает.

— Помилосердствуйте, батюшка, ваше высокоблагородие,— голосит Захар,— ведь это выходит, что мне за рогожку надо всем домом решиться... Будьте милостивы!.. Мы про такой закон, видит бог, и не слыхали... От простоты... Ей-богу, от одной простоты, ваше высокоблагородие.

Алексей Петрович на то кротко да такосо любовно промолвил:

— Неведением закона, братец ты мой, отрицаться не повелено. На это тоже закон есть.

— Да где ж я,— вопит Захар,— сто целковых-то возьму? Люди мы несправные, всего третий год, как с братовьями разделились.

Так ведь вот какой добрый барин-от, дай бог ему доброе здоровье! Другой бы не помилосердствовал, сказал бы: «вынь да положь сто целковых», и говорить бы

много не стал; а он только десятью целковыми удовольствовался... Добрая душа, правду надо говорить!

Пошел Алексей Петрович от Захара к Игнатию Зиновьеву. Изба-то рядом. Ну там все этак же. Обошелся чинно, ласково, безобидно... Свят, свят, свят, господь Саваоф, исполнь небо и земля величества славы твоя!..

Опять ярко-синяя молния, опять страшный громовой удар. Старик со страхом крестился, ребенок визжал, девчонка со страху под лавку запряталась.

Оправившись, Максимыч так продолжал речь свою:

— А хоша у Игнатья тоже рогожка на печи была, да, услыхавши про беду у соседа, на двор ее выкинул. Алексей Петрович противного у него не приметил, да, выйдя из избы, полез на чердак.

— А где, говорит, у тебя кадка с водой, где, говорит, швабра?

— Какая кадка, батюшка, ваше высокоблагородие? — спрашивает Игнатий.

— А ради пожарного случая, говорит, которую велено ставить. Где она?

Игнатий ему:

— Мне, батюшка, ваше высокоблагородие, по разводу, на пожар с ухватом ходить. И на доске, что у ворот прибита, ухват намалеван. Про кадку да про швабру впервой слышу.

— Как впервой? Да ведь у тебя должна же быть кадка с водой на чердаке?

— А на что ж она потребуется, осмелюсь спросить вас, батюшка Алексей Петрович? Дело теперь зимнее: вода в кадке замерзнет, какая ж от нее польза будет? А шваброй-то что тут делать, когда божьим гневом грех случится? Теперь на крыше снегу-то на аршин. Да и летом, коли за грехи несчастный случай доведется, не со шваброй мне на крыше сидеть, а скорее бежать на пожар с ухватом. И на доске намалевано, что с ухватом. А ежель по соседству загорится, так уж тут, батюшка, ваше высокоблагородие, не до швабры, не до ухвата: тут скорей за свое добришко хватишься, чтоб на задворицу его для бережья повытаскать.

— Да ты много-то, милый мой, не растабарывай,— говорит Игнатию Алексей Петрович.— Не я выдумал, чтоб кадка да швабра у тебя на чердаке была. Царское повеление, законом предписано. На-ка, вот, читай.

— Да я, батюшка, слепой человек: грамоте не обучен.

Велел грамотника призвать. Тот же сердечный Захар пришел. Подал ему спервоначалу Алексей Петрович двенадцатый том... Так, кажись, закон-от прозывается.

— Читай, говорит, вслух.

Вычитывает Захар, что у всякого крестьянина на чердаке надо быть кадке с водой и швабре.

— Фу, ты, прорва какая! А мы и не ведали.

После того Алексей Петрович Захару Уложенну в руки. Показывает статью.

— Читай, говорит, да погромче, чтобы все слышали.

Вычитывает Захар:

«Коли у хозяев домов нет в готовности на случай пожара сосудов с водой, с того брать по закону от пятидесяти копеек до пяти рублей».

У всех руки так и опустились, для того, что ни у кого на чердаках ни кадок с водой, ни швабры и даже никакой посуды, про какую Захар вычитал, с роду не бывало... Ко всякому мужику Алексей Петрович потрудился на чердак слазить. Все перед законом остались виноваты.

Что ж ты думаешь, кормилец? Ведь добрый-от какой! Закон уж велит пять целковых за ту провинность взять, а он, дай бог ему доброго здоровья, только по зелененькой со двора справил... Такой барин, такой добрый, что весь свет выходи — другого не найдешь. Дай господи ему многолетнего здравия и души спасения!.. Хороший, хороший человек...

— Лошади готовы,— сказал вошедший мужик.— За смазочку бы старосте надо...

— Прощай дедушка!..

— Прости, родной, прости!.. Дай бог тебе благополучно!

— Так хорош у вас Алексей Петрович? — спросил я его еще раз по выходе.

— Расхороший-хороший,— отвечал Максимыч,— такой хороший, что не надо лучше.

Гроза промчалась... Свежо, благовонно. Стрелой летели добрые кони вдоль по уезду, что так благоденствовал под отеческим управленьем доброго Алексея Петровича.

ГРИША

Из раскольничьего быта

Давно то было... Лет пятьдесят и побольше того в уездном городе Колгуеве жило богатое семейство Гусятниковых.

В дальнем углу городка, на самом на всполье, строенья Гусятниковых целый квартал занимали: тут были и кожевня, и салотопня, и свечной завод, и клееварня. До сих пор стоят развалины большого каменного их дома; от других строений следа не осталось — все вычистило в большой пожар, когда в два часа погорело полгорода.

И теперь есть в Колгуеве Гусятниковы, но люди захудалые, обнищалые! Из купцов давно в мещане переписались: старики только что не с сумой ходят, молодые — в солдатство по найму ушли. Сгиб, пропал богатый дом, а лет пятьдесят тому назад был он славен, в Казани и в Астрахани, в Москве и в Сибири... Какие были богачи!.. Сколько добра было в доме, какую торговлю вели!.. Все прахом да тленом пошло!

Держался дом Гусятниковых матерью теперешних обнищалых стариков. Покамест жива была Евпраксия Михайловна, жили в богатстве и почете; не стало ее — все на иную стать пошло,— унесла она с собой и прежнюю честь, и прежнее довольство, и прежнее житье-бытье Гусятниковых. Как схоронили ее, так и зачали сыновья путаться; путались они, путались, да лет через десяток и спать не ужинавши стали ложиться. А не были ни воры, ни бражники: люди тихие, обходительные и не дураки... И никакого после материной смерти божьего насланья не было — ни пожара, ни потопа, ни суда, ни иного какого разорения. И в казенные подряды не вступали и откупов не держали... Такова уж судьба.

Правда, перед смертью Евпраксии Михайловны было горе у них. Но, кажись бы, от того горя нельзя было в кон разориться. Судьба, одно слово — судьба!

Отец Гусятниковых, муж Евпраксии Михайловны, торговал бойко, но дела не совсем в порядке держал. Когда помер, а помер-то он в одночасье, на чужой стороне — в Саратове никак,— чуть было не пришлось дела

закрывать. Евпраксия Михайловна молодой вдовой осталась, на руках семья: пять сыновей, две дочери — мал мала меньше. Седьмым ребенком на сносях ходила, как пали к ней вести, что сожитель побывшился.— «Порешились Гусятниковы»,— заговорили по купечеству... Родила Евпраксия Михайловна, справилась, сорочины по муже справила и сама за дело взялась.— «Куда молодой бабенке с такими делами возиться,— заговорили купцы,— от таких дел и у старого купца затрещит голова! Куда ей?»

В немощах человеческих господь силу являет: молодая вдова в три-четыре года делà на лучшую ногу поставила, кожевенный завод, при муже чуть не заброшенный, так подняла, что сделался он первым по губернии, и на Макарьевской ярмарке гусятниковская юфть стала всем знаема. Сыновей Евпраксия Михайловна вырастила, выучила, переженила, дочерей за хороших людей замуж повыдала: одну в Казань, другую в Муром, третью чуть ли не в Арзамас. Сыновья не делились, все при матери жили даже и тогда, как своих детей переженили. Одно слово — так хорошо да ладно устроила все Евпраксия Михайловна, что и мужчине не всякому так удастся. И наградил ее господь многолетием: видела Евпраксия Михайловна внуков женатых, нянчила, холила правнуков, ото всех людей почтена была за жизнь строгую, подвижную. Правдой жила: много потаенного добра творила она, много раздала тайной милостыни, и на смертном одре поднесла господу три дара: первый дар — ночное моленье, другой дар — пост-воздержанье, третий дар — любовь-добродетель.

Страннолюбие поревновала Евпраксия Михайловна. Кто ни приди к ее дому, кто ни помяни у ворот имя Христово — всякому хлеб-соль и теплый угол. С краю обширной усадьбы, недалеко от маленькой речки, на самом на всполье, сердобольная вдовица ставила особую келью ради пристанища людей странних, ради трудников Христовых, ради перехожих богомольцев. Много тут странников привитало, много бедного народа упокоено было, много к господу теплых молитв пролито было за честную вдовицу Евпраксию.

Женского пола странние люди у Евпраксии Михайловны в самом дому привитали; сама она с дочками, покамест замуж их не повыдала, да со снохами за стран-

ницами, ради бога, ходила... Мужской пол по старому уставу должен жить особо, послужить старцу должен мужчина,— того ради ставила Евпраксия Михайловна на усадьбе особую келью, а потом искала человека, смотрел бы он за келейкой денно-нощно, был бы при ней неотходно, приносил бы старцам и перехожим богомольцам горячую пищу; служил бы не из платы, а по доброму хотенью, плоть да волю свою умерщвлял бы, творил бы дело свое ради бога. В страхе господнем вспоенные, вскормленные сыновья сами на то дело позывались, но Евпраксия Михайловна им на то говорила:

— Полноте-ка вам, детки! Разве вам того неизвестно, что каждому человеку от бога своя дорога, каждому человеку от господа забота? Вам дана забота — вести торг честный, на келейное дело вы, мои ребятки, не сгодились. Сем-ка присмотрим сироту такого, был бы смирный да богобоязный, бога ради работящий, бога ради терпеливый. По силе помощь ему подадим: барский, так выкупим; вольный, рекрутску квитанцию выправим — станет он у нас старцев покоить да бога молить об отпущеньи наших согрешений... Ладно, что ли, ребятки?

Сыновья матери ни в чем не перечили, а по такому делу и подавно. Решили искать сироту. По скорости отыскали такого.

После колгуевского мещанина Аверьяна Самохинского, горького пропойцы, что возле кабака и жизнь скончал, оставался сын Григорий. Не было у него ни роду, ни племени; как есть — круглый сирота. Было уж ему лет тринадцать, а мальчишка все меж дворов мотался: где съест, где изопьет, где в баньке попарится, а все именем Христовым. Только и праздник, бывало, Гришутке, как иная бабенка, сжалившись над ним горемычным, обносок подаст ему. И пойдет сироте тот обносок за нову рубаху. Паренек был смирный, тихий, послушный: — нужда да сиротство чему не научат? И открыл ему господь разум: выучился Гришутка грамоте самоучкой, ходя по домам безграмотных мещан, читал им псалтирь да четьиминею. И возлюбил Гриша божественные книги, и уж так хорошо пел он духовные песни, что всякий человек, что в суете век свой проводит, заслушается, бывало, его поневоле. А был он из раскольников, из «записных» — из самых, значит, коренных — деды,

прадеды его двойной оклад платили, указное платье с желтым козырем носили, браду свою пошлиной откупали. Это было с руки Евпраксии Михайловне: и сама она с детками «по древлему благочестию» прибывала. Только были они не злой какой секты, а по беглому священству — по Рогожскому, значит, кладбищу.

И взяла к себе в дом Евпраксия Михайловна бездомного сироту Гришу. Обмыли его, одели, рекрутскую квитанцию купили и, по доброй его воле, по его благому хотенью, приставили к богадельной келье. Там, за кафельной печкой-голанкой, устроили ему особую каморку. В той каморке, об одном малом оконце, стал жить и подвизаться молодой келейник, а в свободное время, когда в келейке ни скитских старцев ни перехожих богомольцев не бывало, читал книги о житии пустынном, о подвижниках Христовых, что в Палестине, и во Египте, и в Фиваидских пустынях трудным подвигом, ради господа, подвизались.

Живет Гриша у Евпраксии Михайловны год, живет другой, живет третий, старцам и странним людям служит, божественные книги читает.

Отверстою душою, умом нераздвоенным внимает он древним сказаньям о подвигах отцов преподобных. С жаром, с любовью читает «Повесть об индейском царевиче Асафе». Вот думает, бывало, Гришутка: «Вот — и царевич был, и царством владал, жил в белокаменных палатах, было у него золотой казны несметно, всяких сокровищ земных неисчетно... Променял же царские брашна на гнилую колоду, сладкие меда на болотну водицу...» И западала в юную голову Гриши крепкая дума — как бы ему в дебрях пустынных постом и молитвой спасать свою душу... Разрасталась, расширялась у него та дума, и, глядя на синеву дремучего леса, что за речкой виднелся на краю небосклона, только о том и мыслил Гриша, как бы в том лесу келейку поставить, как бы там в безмятежной пустыне молиться, как бы диким овощем питаться, честным житием век свой подвизаться, столп ради подвига себе поставить и стоять на том столпе тридесять лет несходно, не ложась и колен не преклоняя, от персей рук не откладая, очей с неба не спуская...

Стоит, бывало, стоит юный келейник, вперя вдаль свои очи, стоит, ничего не слышит, по душе у него сла-

дость разольется, и, сам не знает отчего он заплачет; заструятся по впалым бледным ланитам горючие слезы, и запоет он тихонько стих в похвалу пустыне:

О, прекрасная мати-пустыня!
Сам господь тебя, пустыню, похваляет:
Отцы по пустыне скитались,
И ангелы им помогали...
Прекрасная ты пустыня,
Прекрасная ты раиня,
Любимая моя мати!
Прими ты меня, мать-пустыня,
От юности моей прелестной!
Научи меня, мати-пустыня,
Жить и творить божье дело!

И долго-долго, бывало, тихим тоскливым напевом поет Гриша свою песню, глядя на синеву лесную. Спустится на землю вечерняя тень, черной полосой вытянется лес по закраю неба, а он все поет да поет любимую песню... Яркие звезды одна за другой загораются в небе, полный месяц выкатится из-за леса, серебристым лучом обольет он широкие луга и сонную речку, белоснежные песчаные берега и темные, нависшие в воду ракиты, а Гриша, ни голода, ни ночного холода не чуя, стоит босой на покрытой росой луговине и поет-распевает про прекрасную мать-пустыню...

Подвизался Гриша житием строгим; в великие только праздники вкушал горячую пищу, опричь хлеба да воды ничего в рот не брал. Строгий был молчальник, праздного слова не молвил, только, бывало, его и слышно, когда распевает свои духовные псалмы... И что ни делает, где ни ходит, все молитву господню он шепчет.

На усадьбе Евпраксии Михайловны много жило народу: тут стояли заводы кожевенны, салотопны, свечной, клееварный, тут же кошму из шерсти валяли, овчины выделывали,— одних работников что тут жило? А кроме того, по торговой части приказчики да артельщики и другие наемные люди — и все-то жили в особых избах, каждый со своим семейством. Так устроила своих домочадцев добрая, заботливая обо всем Евпраксия Михайловна. По задворью, по огороду, по всему широкому усаду день-деньской народ так и снует, так и кишит, так и носится роем. С раннего утра до поздней ночи стоном стоят голоса... На таком-то великом многолюдстве, на такой-то суете шумной слова ни с кем не

молвил Гриша-келейник... Ходит, опустя очи долу, ничего не видя, ничего не слыша, и беззлобно, безответно переносит злые насмешки рабочих, щипки да рывки мальчишек. Но глумленья, укоризн и всякой досады от них Гриша-келейник не боялся, все озлобленья суетных людей принимал с весельем, почитая их за благодеянья... Зато пуще огня, пуще полымя боялся он женского пола. Наслушался от перехожих старцев и сам в книгах начитался, что женская лепота горше всякого другого соблазна, что самых строгих подвижников враг человеческого рода, диавол, всегда иский кого поглотити, уловляет в геенские сети женской греховной красотою.

А молодые девчата — десятков до трех их жило на усаде — изловят, бывало, Гришу на огороде либо на вспольe, хвать его за руки, да и ну — вкруг себя вертеть, тормошить, обнимать его белыми, как молоко, полными упругими руками... А сами звонкими, смеющимися голосами страстно, любовно ему напевают:

Монашек, монашек,
Купи нам калачик,
Мы тебя, монашек, поцелуем,
Под ракитовым кусточком побалуем...
Монашек, монашек,
Купи нам калачик.

Молитву за молитвой творит бедный Гришутка, крепко защурив глаза, чтоб не встретиться взором с светлыми, пуще огня палящими девичьими очами... Дня пò два, пò три после того искушенья бывал он сам не в себе... И накладывал он пост втрое строже, насыпал в каморке кремней и битых стекол, ходил по ним босыми ногами, клал тысячи по три поклонов, налагал на плечи железны вериги и прилежно читал книгу Аввы Дорофея. Хочется заглушить в душевном тайнике память о жгучем, томительном, захватывающем дыханье чувстве, что сладко-огненной струей пробегало по всем его суставам и, ровно пламенной иглой, насквозь кололо его бедное сердце, когда белолицые, полногрудые озорницы, изловив его, сжимали в своих жарких объятьях, обдавали постное лицо горячим, сладострастным дыханьем... Стоит Гриша на кремнях, на битых стеклах, перед книгой Аввы Дорофея, громким голосом истово и мерно ее читает, а все слышится ему звонкий хохот Дуняши, самой озорной изо всех усадских девок... Завсегда, быва-

ло, эта Дуняша первая подустит на келейника девок, первая подманит подруг на вспольe, первая затащит Гришу в круг девичий, первая заведет игры, первая успеет обвить шею постника жаркими руками и с громким, далеко разносящимся в вечерней тиши смехом успеет прижать отуманенную голову его ко груди своей лебединой...

Стоит Гриша, бóрзо, истово лестовку перебирая, бессчетно кладет земные поклоны, а потом читает «Скитское покаянье»: «Согрешил есмь душею, и умом, и телом, сном и леностью, во омрачениях бесовских, в мыслех нечистых». Так шепчет Гриша, глядя в «Скитское покаянье», но слова звучат без участья ума — помыслы мятежного, полного прелестей мира восстают перед ним в обольстительных образах, и таинственный голос несется из глубины замирающего сердца... Сладко, соблазнительно он говорит ему: «Помнишь Дуню молодую?.. Помнишь, как глаза у ней горели?.. Помнишь, как грудь колыхалась?..»

Вздрогнет всем телом Гришутка, вырвется отчаянный вопль из души его. Сам себя пугается, торопливо ограждает себя кресным знаменьем, и, судорожно схватив с налоя «Скитское покаянье», громко барабанит, не спуская глаз с книги:

«Грядет мира помышление греховно, борют мя страсти и помыслы мятежны. Помилуй, господи, раба своего, очисти мя окаянного, скверного, безумного, неистового, злопытливого, неключимого, унылого, вредоумного, развращенного...»

А голос свое:

«Вспомни, как горели очи ясные, как рделись багрецом щеки маков цвет... Вспомни, как, дрожа всем телом, изнывая в сердечной истоме, она обняла тебя... как прильнула к тебе алыми устами, как прижала тебя к белоснежной груди...»

— Изми мя от враг моих,— громко читает по книге келейник,— и от восстающих на мя; изми мя от руку диаволю; отжени от мене помрачение помыслов, дух нечист и лукавнующий; избави мя от сети ловчи, не вниди в суд с рабом своим...

А голос сердечный:

«Брось молитву!.. Вон из кельи!.. К ней поди!.. Посмотри, как в светелке она спит одна у окна... Высоко

поднимается грудь, и раскрыты уста, и дыханье ее горячо...»

— О, господи!.. падаю...— шепчет келейник,— спаси...

А голос:

«Как бы сладко прильнуть к красоте молодой!»

Последние силы собрал Гришутка, прогнать бы только лукавого беса... И крепко ухватил он лестовку, хочет молитву читать на прогнанье бесовских мечтаний... Но сухие, дрожащие уста нехотя вторят тайному, сердечному голосу: «Как бы сладко припасть к ее персям щекой огневой...»

А где она огневая?.. Всю в посте иссушил...

Вдруг стукнуло оконце... растворилось. В белых рукавах, в белом переднике, в бледно-розовом сарафане, с распущенными длинными темно-русыми волосами, в венке из свежих васильков, вся облитая сияньем месяца, лукаво улыбаясь и прищуря искрометные глазки, глядит на постника белотелая, полногрудая красавица Дуня. Страстью горячей, ничем несдержимой, страстью любви пышет она...

— Здравствуй, Гриша, голубчик!.. Здравствуй, дорогой мой, желанный!..— ясным голоском крикнула и, заливаясь резвым хохотом, кошечкой прыснула к подругам на всполье. И в тиши ночной раздается над речкой девичья песня:

Мы посеем, девки, лен, лен, лен,
Мы посеем молодой, молодой...

Стоит Гриша босой на кремнях, на стеклах, как вкопанный,— лестовка из рук выпала, «Скитское покаянье» на полу валяется, давят плечи тяжелые вериги. Тихо шепчет келейник:

— Ах, ты, Дуня, моя Дуня!..

А с поля несутся веселые звуки ночного хоровода:

Как во городе было во Казани,
Сдунинай-най-най — во Казани.
Молодой чернец постригался,
Сдунинай-най-най — постригался.

А свежий воздух майской ночи теплым, душистым потоком так и льется через отворенное Дуней оконце в душную келью стоящего на кремнях и стеклах постника. Тихо рыдает отшельник, по распаленному ли-

цу его обильно струятся слезы, но они не так ему сладки, как те, что лились прежде, когда, глядя на зеленый лес, в самозабвении, певал он песню в похвалу пустыне.

Идут день за день, год за годом — Гриша все живет у Евпраксии Михайловны. Темнеют бревенчатые стены и тесовая крыша богадельной кельи,— поднимаются, разрастаются вкруг нее кудрявые липки, рукой отрока-келейника посаженные, а он все живет у Евпраксии Михайловны. И сам стал не таков, каким пришел — и ростом выше, и на вид возмужал, и русая борода обросла бледное, исхудалое лицо его.

Много всякого народу перебывало на глазах Гриши: раскольники ближние и дальние, каждый трудник, каждый перехожий богомолец, идут, бывало, к Евпраксии Михайловне о всяку пору, ровно под родную кровлю. Кто ни брякнет железным кольцом о дубовую калитку страннолюбивой вдовицы, кто ни возвестит о себе именем Христовым, всякому готов теплый угол, будь раскольник, будь единоверец, будь церковник — все равно, отказу никому не бывало. «Все люди — Христовы человеки»,— говорила Евпраксия Михайловна, когда скитские матушки иль читавшие негасимую «канонницы» зачнут, бывало, началить ее: сообщаешься-де со еретики, даешь всякому пристанище — и покрещеванцу, и никонианину, и бог весть каким иным сектам.

Много разного народа видал Гриша; но еще не случилось видать таких подвижников, про каких писано в Патериках и Прологах. «Неужли,— думает он, бывало,— неужли всех человеков греховная, мирская суета обуяла?.. Неужли все люди работают плоти? Что за трудники, что за подвижники?.. Я и млад человек и страстями борим, а правила постничества и молитвы тверже их сохраняю».

Поднимала в тайнике его души змеиную свою голову гордость треклятая. И немало старался он разогнать лукавые мысли, яко врагом внушенные, яко помысл гордыни, от нее же — читывал он и великие подвижники с высоты ангелоподобного жития падали... Тщетны труды, напрасны усилия — самообольщение и гордость смирением, гордость многотрудным своим подвигом, не-

слышно и незримо подтачивали душу его... «И в самом деле,— думывал он,— что ж за трудники, что за постники, что в богоданной моей келейке привитают? Днем на людях, только у них и слóва, как Христову рабу довлеет жить на вольном свету: сладко не есть, пьяно не пить, телеса свои грешные не вынеживать, не спесивому быть, не горделивому, не копить сокровищ и тленных богатств земных, до сирых, убогих быть податливу,— а ночью, как люди поулягутся и уйду я в каморку — честные старцы по вечерней трапéзе не на прàвило ночное становятся, а, делом не волóча, к пуховику на боковую. Иной, бывало, всю ноченьку насквозь деньги просчитает, что собрал у христолюбцев и дателей доброхотных, другой с полштофчиком дó свету пробеседует; а двое сойдутся — того и жди, что вместо душеспасительных словес про баб да про девок речь поведут... Что ж это за трудники, что за подвижники?..»

Сидит, бывало, Гриша пришипившись в каморке, сидит, а сам в щелочку смотрит, с трудников глаз не спускает, глядит, сколь добрым подвигом иной старец в тиши ночной подвизается. Но, глубоко проникнутый духом суеверия, не верит Гриша телесным очам, силится прозреть очами духовными, гонит от мятущегося ума мысль о непотребстве старца и на то свой помысл простирает: «враг-де это, лукавый дух, бесовское мечтание грешным очам моим представляет». И зачнет творить молитву от дьявольского наваждения, а сам все смотрит, как старец с водочкой беседу ведет либо деньги считает.

Насилуя себя, держа ум в таком напряженьи, и день и ночь воображает себя окруженным темною силой демонов, что являясь в соблазнительных óбразах, силятся уловить его в сети, совратить с тесного пути, увлечь в шумный, полный суеты, многопрелестный мир... Уверился Гриша и в том, что по ночам не Дуняша в оконце постукивает, не она с ним на речке заигрывает, но некий-от эфиоп, сиречь бес присподний, в девичьем образе выходит из геенны смущати его... «Окаянный-от, думает, все больше во образе жены с трудниками борется; и в книгах писано, что в древние времена в киновиях и великих лаврах синайских, в пустынях египетских и фиваидских преподобным отцам беси в женском образе все больше являлись... Такой уж у них, у проклятых, обычай! А все на пакость человеку».

Приходили раз к Евпраксии Михайловне двое старцев, оба раскольничьи мнихи. Один сказался из Чернолесского скита, другой — бродячим иноком... Таких немало по захолустьям. Наскучит жить в ските, где надо правилам подчиняться, настоятелю повиноваться, иль будучи изгнаны из обители за бесчинство, непутные старцы пускаются бродить по белу свету. У одного доброго человека поживут, у другого, да этак бродя из деревни в деревню, из города в город, век свой меж людей и проколотятся. И такие есть, что не только в скитах не живали, не видывали их. Надел изволом манатейку с кафтырем и пошел странствовать да слыть за инока честного.

Скитский старец — звали Мардарием — приехал в Колгуев на монастырской подводе с просительным письмом к «благодетельнице» Евпраксии Михайловне от чернолесского игумена Пафнутия: прислать на монастырскую потребу ржицы да пшенички, маслица да рыбки, а будет милость — и деньжонками не оставить. Был тот Мардарий старец тучный, красная рожа, плешь во весь лоб, рыжая борода, широкая, круглая, чуть не по пояс. Отдав жирную скитскую лошадь на попеченье работникам Евпраксии Михайловны, он зашел сначала в батрацкую избу, снял меховой треух с головы, распоясал красный гарусный кушак, нагольный тулуп, и обрядился во весь иноческий чин: свиту надел, камилавку с кафтырем, в левую руку лестовку взял и стал как надо быть иноку. В пути такой одежды носить не дерзал: в уезде — исправник да становой, в городе — городничий. Как раз за такую одежду, как за внешнее оказательство ереси, угодишь за решетку. Войдя к Евпраксии Михайловне, Мардарий положил уставной семипоклонный начал и, поклонясь в пояс во все стороны, подошел к хозяйке. Евпраксия Михайловна, как богата, в каком почете ни жила, творит по уставу метания, к стопам Мардария припадая, говорит ему:

— Прости, честный отче! благослови, честный отче!

— Бог простит, бог благословит,— отвечает Мардарий и, вручая вдове просительное письмо игумена, заводит речь уставную.

— Христианския жизни доброжелательнице, ко смиренным бедным, убогим скорая помощнице, крепкая хранительнице святоотеческого предания, добродетеля-

ми, яко солнце, сияющая, смирением, яко бисером многоценным, украшённая, честная вдовице, божия раба Евпраксия! Ко твоей любви, убогие, притекаем, от твоих великих щедрот обильныя милости чаем. Се же и письмо просительное отца нашего игумена Пафнутия и всей о Христе честной братии. Обнищахом, госпоже, оскудехом: озлоблени суще в обители нашей, гладу и хладу и всякой тесноте и угнетению, нищете и нагохождению предани бяша к тебе вопием, многомилостивая вдовице Евпраксия! Отверзи щедрую руку твою, благоволи от праведных трудов своих некое подаяние нищенствующей братии учинити, да узриши сыны сынов своих и да сподобишися велия и богатыя милости от самого царя небеснаго в сей век и в будущий.

— Садиться милости просим, честный отче,— отвечает Евпраксия Михайловна,— рада по силе-помощи. Чем вас потчевать, батюшка? Девицы, кликнете Гришу! Здоров ли, батюшка, отец Пафнутий?

— Здрав телесне, в душеспасительных подвигах обретается,— отвечал Мардарий, садясь.

Это было в моленной горнице. Вся передняя стена уставлена древними, богато украшенными иконами; под ними висят дорогие пе́лены: парчовые, бархатные, золотом шитые, жемчугом низанные. Перед иконами ослопные свечи, негасимые лампады... На скамьях три невестки Евпраксии Михайловны, да с полдюжины скитских матерей и канонниц, а у притолоки бродячий старец отец Варлаам — здоровенный, долговязый парень лет тридцати пяти, искрасна-рыжий, с прыгающими глазками и редкой бородкой длинным клинышком. Поклонился Мардарий Варлааму, тот ему «метания» сотворил и сел на свое место... Оба ни гу-гу; сами друг на дружку поглядывают.

Закусочку подали. Изобильна была предложенная тра́пеза на утешение иноков: икра паюсная, стерлядь вислая, вязига в уксусе да тавранчук осетрий, грузди да рыжики, пироги да левашники, ерофеичу графинчик, виноградненького невеликая бутылочка.

— Благословите, отцы честные, откушайте,— потчует иноков гостеприимная вдовица.

— Можно,— порывисто молвил Мардарий и чинно, положив три поклона, принялся за вязигу, Варлаам рыбного употреблять не дерзает: «По обету пятый год на

сухоядении обретаюсь»,— говорит. Опричь хлеба да груздочков ни к чему не приступил.

— Водочки-то, отцы честные, водочки-то откушать?

— Не подобает,— так же порывисто ответил Мардарий. А Варлаам даже повесть от Пандока * рассказал, откуда взялось хмельное питие и как оно человека от бога отводит, к бесам же на пагубу приводит.

Не нарадуется, глядя на воздержанных и подвижных гостей, Евпраксия Михайловна. И она, и келейницы, и канонницы прониклись чувством высокого к ним уваженья, а у Гриши, что, войдя по призыву хозяйки в горницу, стал смиренно у притолки, сердце так и распаляется: привел-де наконец господь увидеть старцев благочестивых, строгих, столь высоких подвижников. Дух у Гриши занимается, творит он мысленную молитву, благодаря бога, что приводится ему послужить столь преподобным старцам.

— Побеседуйте меж себя, честные отцы,— низко кланяясь Мардарию и Варлааму, говорит Евпраксия Михайловна, когда кончили они тра́пезу,— просветите нас, скудоумных, разумной беседой своей.

И велела каноннице сыновей кликнуть, и они бы насладились от духовной трапезы, от премудрой беседы святоподвижных отцов.

Пришли. Уселись. Глянули старцы друг другу в очи и, нахлобучив камилавки, опустив главы долу, повели благочестную беседу.

— Рцы ми, брате,— начал Мардарий: — кто умре, а не истле?

— Лотова жена — та умре, но не истле, понеже в столп слан претворися — соль же не истлевает. И доднесь тот славный столп стоит во стране Пелестинской, на святой на реце Иордане.

Вздыхает Евпраксия Михайловна, охают и отирают слезы келейницы, а Гриша дивится скорому и столь мудрому ответу честно́го отца Варлаама.

— Что есть, брате,— продолжает Мардарий: — ключ древян, замо̀к во́ден, заяц убеже, ловец утопе?

Ключ древян — жезл Моисеев, замо́к во̀ден — Чермное море, заяц убеже — Моисей со израильтяны, ловец потопе — Фараон зломудрый, царь египетский.

* Раскольничье новоставленное (в XVIII веке) сочинение, наполненное вздорами о картофеле, табаке, чае и пр.

Подумал малое время Мардарий, еще вопрос предложил:

— Что есть, брате, стоит град на пути, а пути к нему нету; идет посол нем, несет грамоту неписаную?

— Град на пути — то Ноев ковчег, понеже плаваше по непроходному пути, сиречь по потопным водам: посол нем — то есть чистая голубица, а грамота неписана — то есть сучец масличный, его же принесе в ковчег голубица к Ною за уверение познания, что есть суша, и Ной праведный, зря той сучец, с сынами и дщерями, со скотом и со птицы и со всяким гадом, бывшим в ковчеге едиными усты и единым сердцем прославиша благодеющего бога.

— А осмелюсь, отец Мардарий, вас спросить,— вмешалась хозяйка: — всякие ли скоты были у Ноя в ковчеге?

— Всякие, матушка Евпраксия Михайловна, всякие были; одной твари не было...

— Какой же это, батюшка?

— Рыбы! — во все горло закричал Варлаам и, схватив обеими руками осетрий тавранчук, пошел уписывать его за обе щеки. Все переглянулись. А отец Варлаам к ерофеичу десницу простирает.

— Прорвало! — сквозь зубы прошептал Мардарий и еще ниже опустил главу свою.

— Батюшка!.. Отец Варлаам! — с ужасом вскочив с лавки, вскрикнула одна из канонниц,— не сквернись ради господа!

— Не замай его, Матренушка,— молвила тихонько Евпраксия Михайловна, удерживая за рукав канонницу.— Не видишь разве? — Христа ради юродствует...

А Гриша ног под собой не слышит. Не понимает, что вкруг него делается. И беседа мудрая, и безобразие немалое. «Что ж это такое,— думает он: — прямым ли делом отец Варлаам юродствует, иль это враг лукавое мечтание очам моим представляет?»

Мардарий пришипился — ни гу-гу, только лестовку перебирает. А отец Варлаам стаканчик нà лоб, да еще, да еще. И псалму запел:

Прошу выслушать мой слог,
Что в печали сложить мог,
Во темныих во лесах...

— Подтягивай, Мардарий!

— Провидец, провидец! — зашептали матушки-келейницы.— С роду не видывал отца Мардария, а узнал ангельское имя его.

Однако ж Мардарий не подтягивает, опустя голову смотрит вниз да половицы считает. А Гриша шепчет молитву на отогнание бесовских мечтаний и думает: «Чего ради бысть знамение сие?» А Варлаам-то заливается:

А вот наша вся отрада:
Хлеб, вода — и вся награда —
Живи да ие тужи...

— Да подтягивай же, Мардашка!.. Хвати стариной!.. А ты, раба божия Евпраксия, водочки-то подлей!

— Винограднененького не соизволите ли, батюшка? — отвечает Евпраксия Михайловна, наливая в рюмку сантуринского.

— Не подобает!.. Настойки давай!.. Мать твою как звать?

— Евдокией, отче, Евдокией.

— Ладно, я ужо по ней канон за единоумершего справлю... С поклонами!.. А водочки-то подлей... Ну, пой же, Мардашка; подтягивай и вы, красавицы-девицы, скитские белицы... Валяй!

Щи да кашу поставляют,
За велико почитают —
    Изрядной вот обет.
Пирожка кусок дадут,
То подумаешь и тут,
    Как-то его съешь.

— Валяй, матери!.. Катай, канонницы!

И певец сладкогласный, оглянуться не успели, как поел все пироги и левашники.

Вместо водок, сладких вин —
Поставляют квас един:
И то за гостя чти.

— Да подлей же настойки-то, Михайловна!

По обеде все по кельям
И как будто от безделья
    Правило несем.
Тогда с горя и досады
Поискать пойдешь отрады —
    Во деревню, за лесок...

— А на деревне-то пташечки-сударушки! Вот такие ж красотки, как вы!

И пошел канонниц хватать да щупать.

— Юродствует,— шепчут они,— юродствует.

А Варлаам допевает песнь душеспасительную:

Лишь пойдешь за монастырь
Да возьмешь в руки костыль,
Вслед уже бегут.
Как злодеи набежали
И как вора сохватали,
Тут же цепию грозят.
Вина хотя не видал,
И игумен закричал:
«Протрезвить должно его».

— А я ни капельки не пьян. Дьявол пьян, а инок никогда не бывает пьян: это бес..

Приведут в келью, запрут,
Ключ игумну отдадут,
А тут хоть умри!
Сутки двое так томят,
Ничего не говорят,
Глядят, аки зверь!

Да как пустится в присядку. И пошел иную псальму припевать:

Эй, ты, калина-малина.
Валяй, старцы, на Бисериху!
А девки да молодки
На Купалу на Ивана,
Да на самого болвана,
Эй, на Ярилу-молодца!
Уж и я ли не Ярила?
Уж и я ли не Гаврила?
Эх, вы, голубки,
Глядите-ка старцу сюда!

И цап-царап молодую хозяйкину невестку за рукава беломиткалевые... Запустил десницу за ворот...

— Чтой-то за безобразие?.. Господи!—закричала невестка, недавно взятая из Москвы и еще не знавшая таких подвигов преподобных отцов.

— Юродствует, матушка, юродствует!—шепчут ей.— Это он плод чрева твоего благословляет.

Спровадили кой-как блаженного юроду в Гришину келью. Не обошлось без греха: дорогой на усаде двух работников искровянил... Добравшись до места, не разо-

блачась, повалился на пуховик и тотчас захрапел во всю ивановскую.

Не раз случалось Грише видать бесчиние старцев; но такого и он еще не видывал. Когда, бывало, они ночью, в келейной тиши, тихомолком бесчинствуют, всю беду на дьявола он сваливал. «Известно,— думает,— окаянный силен; горами качает. Представить человеку сонное мечтание либо неподобное видение — ему нипочем». Но сколь ни вспоминал юный келейник изо всего прочтенного им — в «Патериках», в «Прологах», в «Книге о Старчестве» и в разных «Цветниках» и «Сборниках», — нигде нет того, чтобы бес, вселясь в инока, при двадцати человеках такие дела творил... «Разве что в самом деле юродствует?» — Об юродах же Гриша читал и слыхал немало, самому ж видать их еще не случалось... «Юрод— отец Варлаам, — думает он, — иначе как же можно, чтоб иноку при мирском народе, в камилавке, в кафтыре, грибезовским горлом скаредные песни петь, плясать бесовски и непотребства чинить».

Но когда ночью услыхал Гриша беседу проспавшегося Варлаама со старинным приятелем его Мардарием, когда узнал он, что Варлаам за пьянство из десяти скитов был выгнан, а за непотребство два раза в остроге да в рабочем доме сидел, а один раз своя же, братья, раскольники, ему за бесчинство на девичьих посиделках бороду спалили,— смекнул тогда юный подвижник, что Варлаамово юродство на иную стать уложено.

«Что ж это за старцы, что за столпы правой веры?— размышляет Гриша.— Где ж те искусные старцы, что меня бы, грешного, правилам пустынной жизни научили? Где ж те люди, что правую бы веру уму моему раскрыли?.. Неужли кроме меня нет на свете человека, чтоб истинным подвигом подвизался и сый борим дьяволом устоял бы в прельщеньях, не поругался бы святому своему обещанью?».

Шире и шире разрастались горделивые думы в распаленной голове Гриши. Высокоумие вконец его обуяло. Еще поглядел он на несколько старцев, еще послушал их разговор — и сказал богу на молитве:

«Господи: есть ли человек праведен паче мене?»

С ранней молодости наслушался Гриша о нынешних последних временах, о том, что народился антихрист и пустил по земле нечестие: стали люди брады брити,

латинску одежду носити, чай, треклятую траву, пити, табачное зелие курити, пачпорты с бесовской печатью при себе держати.

Куда деваться от него? Смотрит в книги, видит, что от злобы антихриста истинные Христовы рабы имут бежати в горы и вертепы, имут хорониться в пропасти земные; а кто не побежит из смущенного мира, тот будет уловлен в бесовские сети и погибнет погибелью вечной... Ключом кипит горячая кровь — только то и держит на уме Гриша, как бы найти ему искусного старца, жителя пустыни, чтоб бежать с ним в дебри лесные. И распалялось злобой Гришино сердце на всех, кого считал он антихриста слугами. Лелеял он в душе своей правило раскольничьих ревнителей: «стабашником, со щепотником и бритоусом и со всяким скобленным рылом—не молись, не дружись, не бранись». И дошел до убежденья, что «никонианина пришибить — семь пятниц молока не хлебать». И не дрогнула б рука у него, если б зло сотворить кому из церковников... Евпраксия Михайловна и тени не имела такой нетерпимости, не раз журила она Гришу за вырывавшиеся у него подчас злобные словеса, но журьба доброй хозяйки его не трогала. Мрачно молчит, слушая речи ее, и душой болеет: «вот, дескать, и добра, и милостива, а вдалась же в суету греховную: совсем обмиршилась».

Глядя на бесчинство старцев, на безобразие перехожих богомольцев, не думает больше Гриша, что бесы его смущают, гордыня вконец обуяла его. Без грусти, без сердечной истомы смотрит он в щелочку из своей каморки, как честные отцы со штофом беседуют, иной раз и курочкой не брезгуют. Бесчинство старцев, их разговоры о вещах непотребных радуют его. Насмотревшись на них, спешит он босыми ногами на кремни да битые стекла, налагает вериги, кладет земные поклоны сотню за сотней. Уста шепчут кичливую молитву о прощении бесчинных старцев, а в душе тайный голос твердит: «Господи! да есть ли же где-нибудь человек праведен паче мене?»

Перестал Гриша на речку ходить, перестал от зари до зари воспевать прекрасную мать-пустыню, забыл про сладкие слезы, что во время былое по целым часам текли из глаз его, устремленных на черневшую вдали полосу леса.

Зато сильнее прежнего мучило Гришу другое. Многого он начитался, многого он наслушался от привитавших в его келье. Не раз слыхал, как поповщинские раскольники спорили меж себя насчет нового австрийского священства; много раз слыхал, как поморцы хулят поповщину за попов, федосеевцы поморцев за браки, филипповцы федосеевцев за то, что не по уставу кладут поклоны, а бегуны сопелковские всех проклинают, кто в своем доме живет. И все-то друг друга обзывают еретиками, все-то чужому толку наносят укоры, все хвалят одну свою веру...

И день и ночь размышляет Гриша: «Где ж правая вера, где истинное учение Христово?» И молится Гриша со многим воздыханьем и со многими словами, да пошлет к нему господь человека, что указал бы ему правую веру.

Раз, поздним вечером, ранней весною, звякнуло железное кольцо калитки у дома Евпраксии Михайловны. Тихим, слабым, чуть слышным голосом кто-то сотворил иисусову молитву. Привратник отдал обычный «аминь» и отпер калитку. Вошел древний старец высокого роста. Преклонные лета, долгие подвиги сгорбили стан его; пожелтевшие волоса неровными всклоченными прядями висели из-под шапочки. На старце дырявая лопатинка, на ногах протоптанные корцовые лапти; за плечами невеликий пещур.

— Что тебе, дедушка? — спросил привратник.

— Ох, родименькой! — зашамкал беззубый старик, задыхаясь и тяжело опускаясь на прикалитную скамью,— указали мне боголюбцы путь в дом сей ко благочестивой вдовице, к Евпраксии Михайловне.

Привратник, не впервые принимавший странников, впустил его.

— Один, что ли, старче, аль еще кто есть с тобой? — спросил он его.

— Один, родимый ты мой, один.

— Пойдем, старче.

И повел его в дом. Евпраксия Михайловна вечернее правило тогда с канонницами справляла. Велела старца ввести.

— Мир дому сему,— сказал он, уставно, истово помолясь перед облитыми лампадным светом, сребропо-

злащенными иконами, и до самой земли поклонился хозяйке.

— Садись, старче божий, садись, обогрейся! Вишь у тебя лопатиночка-то какая ветхая*. А на дворе-то морозно, время-то погодливое... Сядь-ка вот здесь, старче... Да велите-ка, матери, Гришеньку кликнуть, «господь, мол, гостя даровал». Сними пещур-то, старче; ишь как умаялся. Принесите горячего кушанья, матери. Да топлена ль у Гриши келейка-то? Пустошничать что-то зачал, Христос с ним. Да и старцы давно не привитали — третья никак неделя. Не диво — непогодь такая, распутица. Сними-ка ты, старче божий, пещур-от.

И, не дожидаясь ответа, сама стала снимать со старца ношу его, но, коснувшись плеч, отшатнулась и прошептала молитву. Она тронула плохо прикрытые рубищем, вросшие в тело старца железные вериги.

Старец снял пещур. Евпраксия Михайловна бережно, творя молитву, поставила его под образа.

Вошел Гриша. Полузамерзший старец маленько поотдохнул в жарко натопленной моленной.

— Господа ради, сокрый меня грешного на малое время в стенах твоих, боголюбивая матушка,— тихо проговорил он.

— Рада всей душой, старче. А можно ль святое имя твое узнать?

— Грешный инок Досифей...

— Ах, батюшка, отче Досифее! Что ж ты не поведал ангельского своего чина?

И, творя «метания» — как она, так и бывшие с нею в моленной,— уставно покланялись старцу по дважды, приговаривая: «Прости, честный отче, благослови, честный отче».

— Бог простит, бог благословит,— отвечал Досифей. И сам сотворил всем «метания».

— Откуда грядешь, куда путь держишь? — заговорила Евпраксия Михайловна после уставного обряда.

— Града настоящего не имею, грядущего взыскую,— отвечал старец,— путь же душевный подобает нам, земным, к солнцу правды держати, аще тако отец небесный устроит. Телесный же путь кто исповесть?

* *Лопать, лопатинка* — *рубище* (в восточных и приволжских губерниях, верхняя одежда) в Сибири и на Севере.

«Бегун сопелковский»,— думает Гриша, давно наметавшийся середь перехожих богомольцев.

— Праведны речи твои, отче Досифее, праведны твои речи,— полушепотом, набожно говорила Евпраксия Михайловна.

Несколько минут молчанья. Старец сидит, тяжело опустившись; движеньем губ творит он молитву, а слов не слышно. Радостным ликом, светлыми очами смотрит вдовица на прохожего трудника и тоже тайно молитву творит. Безмолвно сидят келейницы, истово перебирая лестовки. Мерно чикает маятник стенных часов, что висели у входа в моленную.

— В пустыне жил я, матушка,— тихой речью заговорил обогревшийся старец.— В пустыне я жил — недалеко отсюда — в Поломских лесах. Немалое время провождал, грешный, в пустыне... Келейку своими руками построил, печку сложил ради зимнего мраза; помышлял тут и жизнь свою грешную кончить... А вот — две недели тому — на самое сборное воскресенье попущение божие было. Отлучился аз, грешный, раде телесныя нужды, дровишек набрать из буреломника. Подхожу к келейке — только дымок от головешек мало-мало курится... Сгорела!.. Немалое время жил я в той келейке, матушка, сорок лет, и не было ко мне ни езду ни ходу; сорок лет людей не видал... Сгорела!.. Привык я к келейке, матушка, чаял в ней помереть, домовину выдолбил — думал в ней лечь, в келейке стояла у меня... Сгорела!.. Годы мои старые, а плоть немощна. Не снести без келейки зимняго мразу — треба нову поставить... И вот, слыша от боголюбцев про твои великия добродетели, добрел я до тебя, Евпраксия Михайловна,— дай пережить у тебя до лета; не оставь меня, грешнаго, ради Христа. А летом, богу изволющу, побрел бы я опять в свою пустыньку, опять бы кельеночку поставил, домовинушку бы сделал... Не оставь Христа ради!

И дряхлый Досифей пал к ногам Евпраксии Михайловны. А она его поднимает, сама земное поклонение творит, а слезами так и обливается.

— Слышала, говорит, старче, слышала про ваше несчастье. Пала и к нам весть, что исправник в Поломски леса выезжал — старцев ловить, келейки жечь. Экий злорадный какой, прости господи!

— Не кори его, Евпраксия Михайловна,— сказал на то Досифей.— Не моги корить. Аль не знаешь завета: «твори волю пославшего»?.. Послушание паче поста и молитвы... Тут не злорадство его, а божия воля... Без воли-то господней влас со главы человека не падает. И то надо памятовать, что житие дано нам тесное, путь узкий, тернием, волчцами покрытый. Терпеть надо, матушка, терпеть, Евпраксия Михайловна: в терпении надо стяжать душу свою... Слава Христу, царю небесному, что посетил и меня своим посещением... Вот что!

— Праведны, старче, речи твои,— сказала Евпраксия Михайловна,— правда во устах твоих! Но за что ж они на нас так лютуют? Ведь и они во Христа бога веруют. За что же?

— На то господне смотрение. Стало быть, надо так. Не испытуй сотворшаго!..— строго промолвил старец.

Досифея напоили, накормили; Гриша в келью его проводил.

— Бог спасет, родименькой, бог спасет,— говорил старец на усердные послуги Гриши, когда тот, затеплив лампадку перед иконами, к месту прибрал старцев пещур, закрыл ставни, а потом с обычными «метаниями» простился и благословился по чину.

— Бог простит, бог благословит,— ответил Досифей.— Ох, ты, мой любезненькой!.. Спасибо тебе... Подика ты, малец, подь-ка, раб божий, спокойся.

Ушел Гриша в каморку за печку-голанку. И тотчас к щелке.

И видит: оставшись в манатейке и в келейной камилавке, хотя и был истомлен трудным путем, непогодой, на великое ночное правило старец остановился, читает положенные по уставу молитвы. Час идет, другой, третий... Гришу сон клонит, а старец стоит на молитве!.. Заснул келейник, проснулся, к щелке тотчас — старец все еще на правиле стоит.

Дожил Досифей у Евпраксии Михайловны до той поры, как реки спали и можно стало лесом ходить. Никуда не выходил он. Кроме Евпраксии Михайловны да ее сыновей никого к себе не пускал. Не только в Колгуеве, на самом усаде Гусятниковых мало кто знал о прохожем старце... Гриша был при нем безотлучно.

Не видал еще он таких старцев... Смирил в себе гордыню, увидев, что Досифей не в пример строже его правила исполняет, почти не сходит с молитвы, ест по сухарику на день, а когда подкрепляет сном древнее тело свое — господь один знает.

Собрался Досифей в путь-дорогу. Евпраксия Михайловна денег давала — не взял; новую свиту, сапоги — ничего не берет; взял только ладану горсточку да пяток восковых свеч. Ночью, перед отходом старца, сел Гриша у ног его и просил поучить его словом. В шесть недель, проведенных Досифеем в келье, не удалось Грише изобрать часочка для беседы. То на правиле старец стоит, то «умную молитву» творит, то в безмолвии обретается.

— Скажи, отче, поведай рабу своему, в коей пустыне спасал ты душу свою, где подвигом добрым подвизался? Меня тоже в пустыню влечет, на безмолвное, трудное житие... Поведай же, отче, поведай, где такая пустыня?

— Нет моей красной пустыни!.. Нет ее больше!..— с грустью отсоветовал старец.— Сгорела моя келейка, домовинушка в ней сгорела... Пришел, ан только одне головешки...

— Слышал, отче, слышал... Ироды!.. Пилаты!..

— Где Ироды, где Пилаты? — встав с лавки и во весь рост выпрямляясь, строго Гришу спросил Досифей.

— А твои лиходеи?.. Никониане!.. Укажи мне их, отче, укажи твоих злодеев... Я бы зубами из них черева повытаскал.

— Во Христа ты веруешь? — спросил старец Гришу, строго глядя на него.

— Верую, отче святой,— по-старинному верую.

И перекрестился истово двуперстным знамением.

— А слыхал ли ты, друже, как Христос на Лобном месте, на кресте за жидов молился?

— Читал, отче... Господь грамоте сподобил меня, сам про это читал.

— А читал ли, что перед тем от них он терпел?.. И заушения, и заплевание, и по ланитам биения... А не было за ним греха ни единаго... И все-таки за мучителей молился... А нам-то что повелел он творити? Са-

мую-то первую заповедь какую он дал?.. Помнишь ли?.. Любить врагов повелел... Читал ли о том?

— Читывал, отче.

— А читал ли, что всякая кровь взыщется?

— Читывал... Да их ведь не грех. Они ведь еретики.

— Они люди, Гришенька. Всяк человек кровью Христовой искуплен. Кто проливает кровь человека — Христову кровь проливает. Таковый с богоубийцами жидами равную часть приемлет.

Быстро подскочил Гриша ко старцу... Смирения как не бывало. Глаза горят, кулаки стиснуты.

— Да ты какого согласу сам-от будешь? — спросил он Досифея нахальным тоном.

— Христианин.

— Хвостом-то не виляй, не отлынивай!.. Не напоганил ли ты у меня своим еретицким духом келейку?.. Не по никоновой ли тропе идешь?

— Держуся книг филаретовских и иосифовских...

— А говоришь, что никонианин такой же человек, как и мы, старым крещеньем крещенные? По-твоему, пожалуй, и в пище и в питии общение с ними можно иметь?

— Можно, Гришенька... Мало того что можно, — должно.

— Да ты в своем ли уме?

— Должно. Знай, что споры о вере — грехи перед господом. Все мы братья, все единаго Христа исповедуем. Не помнишь разве, что господь, по земле ходивши, и с мытарями ел и с язычниками — никто не гнушался? Как же мы-то дерзнем?.. Святее, что ли, мы его?..

— Да ведь они щепотники, в три перста молятся.

— А сколькими перстами повелел господь самаряныне молиться?.. Читал ли ты, что богу надобно кланяться духом и истиной?.. А два ли, три ли перста сложишь... это уж самое последнее дело...

— Уйди от меня!.. Уйди, окаянный!.. — отскакивая от старца, закричал Гриша.— Исчезни!..

«Это бес лукавый; черный эфиоп в образе старца пришел меня смущати»,— думает Гриша и, почасту ограждая себя крестным знаменьем, громко читает молитву на отогнание злых духов.

— Запрещаю тебе, вселукавый ду́ше, дьяволе... Не блазни мя мерзкими и лукавыми мечтаниями, отступи от

мене и отыди от мене, проклятая сила неприязни, в место пусто, в место бесплодно, в место безводно, идеже огнь и жупел и червь неусыпающий...

А старец в ноги Грише... Слезами обливаясь, молит не убивать души своей человеконенавидением... Долго молил, наконец встал, положил на путь грядущий семипоклонный начал.

— Сам господь да просветит ум твой и да очистит сердце твое любовию,— сказал Досифей заклинавшему бесов келейнику и тихо вышел из кельи.

Гриша сам не в себе. Верит несомненно, что целые шесть недель провел он с бесом... Не одной молитвой старался он очистить себя от невольного осквернения: возложил вериги, чтоб не скидать их до смерти, голым телом ложился на кремни и битые стекла, целый день крохи в рот не бирал, обрекая себя на строгий, безъядный пост на столько же дней, на столько ночей, сколько пробыл он с Досифеем.

Но целый день и весь вечер чудятся ему разные мечтанья: стуки в столе, бесовские звуки в стенах, топоты ножные, скакания, свист и толк, страшные кличи и нелепые грезы, гудения свирели, волынки и бубнов. И чем больше склонялся день к вечеру, чем гуще и темней становилися сумерки, тем громче и громче слышались Грише бесовские звуки. Вот и молодой месяц блеснул в небе золотым краем, звездочки вспыхнули на востоке, а заря вечерняя бледнеет. Стих людской гомон, настала теплая, благовонная майская ночь, а Гриша все борется с бесами, все читает молитвы...

И слышит: издали, с речки, из-за зеленых ракит несутся звуки волынки, гудка, новорощенной свирели и громкой песни семиковской:

Покумимся, кума, покумимся.
Мы семицкою березкой покумимся.
Ой Дид-Ладо! честному Семику,
Ой Дид-Ладо! березке моей.
Еще кумушке, да голубушке: —
Покумимся!
Покумимся!
Не сваряся, не браняся!
Ой Дид-Ладо! березка моя!

— Иждену ж я тебе, душе проклята... Иду брань сотворить со дьяволом! — воскликнул Гриша и выбежал быстро из кельи, устремился на всполье.

И видит: многое множество красных девиц поет и пляшет у надречных ракит. Все в белом, у всех на головах венки, у всех в руках березовые ветки. Одаль молодые парни сидят — кто с сурной, кто с волынкой, кто с новорощенной свирелью. В полночный девичий семиковский хоровод им мешаться не след... И слышит Гриша ясные, веселые голоса живого семиковского хоровода:

В Арзамасе, в Арзамасе,— на украсе
Соходилися молодушки в един круг,
Оне думали крепку думу заедино:
Уж мы сложимтесь, молодки, по алтыну,
Мы пойдемте к арзамасскому воеводе.
— Ох, ты, батюшка наш, арзамасский воевода!
Ты прими, сударь, пожалуйста, не ломайся,
Дай нам волю, дай нам волю над мужьями!

Бодро, твердым шагом, с поднятым вверх двуперстным крестом бежит Гриша на борьбу с бесовскою силой. Громко, истово читает заклятья:

— Запрещаю вам, стихийныя силы и всякие порождения дьявола!.. Заклинаю вас страшным и престрашным, неприступным...

А семиковский хоровод все громче да громче:

Как возговорит арзамасский воевода:
«Вот вам воля, вот вам воля над мужьями,

Вот вам воля, вот вам воля на неделю»...

Что за воля, что за воля на неделю?
Все едино, все едино, что неволя.

— Исчезни и отыди в злосмрадный огнь геенский, княже бесовский, со аггелы своими!.. Отыди в место пусто, в место безводно, в место бесплодно,— заклинает Гриша.

А у ракит игра своим чередом. Другую песню запевают:

Дай нам шильцо да мыльцо,
Белое белильцо
Да зеркальцо.
Копейку да денежку —
За красную девушку!
Ой Дид-Ладо!
Семика честнаго яичницу!

— Запрещаю тебе, вселукавый душе, проклятый Сатано!..— говорит Гриша, приближаясь к бесовскому полку.

Но девицы, завидя его, разом встрепенулись. С гиком, с гамом завели старую песню:

Монашек, монашек,
Купи нам калачик!
Мы тебя, монашек, поцелуем,
Под ракитовым кусточком побалуем.

И вереницей кинулись на Гришу. И ну его целовать, миловать, к сердцу прижимать... А он, все-таки видя не дев земных, но бесов преисподних, знай читает свое, посылая их «в место пусто, место безводно, место бесплодно»...

И неведомо, как то случилось,— но некий от черных эфиоп, во образе полной жизни и огня, высокогрудой Дуняши, смутил строгого постника, строгого молчальника, строгого веригоносителя, что недавно с полным сознаньем говорил на молитве: «Господи, есть ли человек праведен паче меня»...

И сотвори ему бес пакость велию...

Встало солнце. Целый день Гриша отплевывался, вспоминая, что сталось с ним. Хочет молитву читать, но бес, во образе Дуни, так и лезет ему в душевные очи. Все-то мерещится Грише — ракитовый кустик над сонной речкой, белоснежная грудь, чуть прикрытая миткалевой сорочкой.

Лишь на третий день пришел в себя Гриша. И, вспомня про ночь, про ракиты, про речной бережок — залился он горючими слезами: «Погубил я житие свое подвижное!.. К чему был этот пост, к чему были эти вериги, эти кремни и стекла?.. Не спасли от искушенья, не избавили от паденья... Загубил я свою праведную душу на веки веков...»

На другой день после того, как бес, во образе Дуни, сотворил Грише пакость велию, попросился к Евпраксии Михайловне на ночлег инок, каких в келье у нее еще не бывало. Сухой, невысокого роста, с живыми, черными, как уголь, горящими глазами, был он одет в суконное полукафтанье, плотно застегнутое на медные, шарообразные, невеликие пуговки. Реденькая бородка была тща-

тельно расчесана; недлинные, но гладко примазанные волосы спускались с головы кудрявыми, черными как смоль прядями. Поступь тихая, степенная, осторожная — ни дать ни взять, кошачья. Инок был такой чистенький, такой гладенький, речь была такая томная, сладостная, вкрадчивая. Был не стар, звал себя Ардалионом.

Дня три он прожил у Евпраксии Михайловны, и не было еще никого, кто бы так по сердцу пришелся Грише, как этот постник и молчальник. Хотя, по его словам, и держал он странствие только по таким людям, что сами древних обычаев держатся, а все-таки ел и пил из своей посудины; воды, бывало, не зачерпнет из общей кадки, сам сходит на речку, сам почерпнет водицы в берестяный свой туесок. И к вареву, что принесет, бывало, ему Гриша с поварни Евпраксии Михайловны, пальцем не коснется, оком даже не взглянет, пока не очистит молитвой, не положит сотни земных поклонов: столь доброопасную строгость в общении с малознаемыми людьми имел... Сперва все допытывался он у Гриши об Евпраксии Михайловне, да не про то, как душу спасает, какого держится толку, из каких старцев у нее отец духовный, а в каком капитале, каковы у нее дела по торговле, воротились ли из Москвы сыновья, за наличные ли деньги товар они продали... И все будто стороной, мимоходом. Говорит ему Гриша, что знает, про что услыхал ненароком; а отец Ардалион тяжко вздыхает: «Ох, суета, суета! — говорит.— Как-то за эту суету на страшном Христовом судище ответ давать? Всяким людям, чадо, уготована часть в царствии небесном; внидут в селения праведныя и тати, и разбойники, и блудники, и сластолюбцы, аще добрым покаянием, постом и молитвою очистят грехи свои; не внидут же токмо еретик и богатый... Нет им части в славе божией!..»

Ночью с правила не сходит Ардалион — лестовок по сту стоит.

По душе пришелся Грише такой строгий, суровый, а проклятия на впадших в суету так и льются потоком из уст его. На третью ночь, когда уж все стихло, и Ардалион, поставив в особом углу медные образа свои,—чужим иконам он не поклонялся,— хотел становиться на правило,— робко, всем телом дрожа, подошел к нему Гриша. Кладет перед ним уставные «метания», к ногам припадает.

— Жажда душа моя,— говорит,— учительного словеси твоего, отче святый, стремится к тебе дух мой... Не отвергни меня, грешного!

— Чего ты хочешь, чадо, от меня неискуснаго? — тихо спрашивает Ардалион, сидя на скамье.

— Дай мне часть в молитвах твоих праведных, дозволь с тобой на правило стать... А потом учи меня... До смерти готов служить тебе, до смерти готов от тебя поучаться.

— Добр извол твой, чадо!.. Добр твой извол... Но на общение в молитве с тобой дерзать не могу..

— Отче святый,— я правой веры, я старой веры — никоея ереси нет во мне... Великий я грешник перед господом; но ни еретиком... ни идоложерцом не был.

И градом катились слезы по щекам восторженного Гриши.

— В нынешния, последния времена,— тихой, вкрадчивой речью заговорил Ардалион,— мир преисполнен ересей... Благодать взята на небо, и стадо избранных верных христовых рабов малеет день ото дня. Да, чадо, вселенная стала пуста, нет в ней больше истинного благочестия, темный облик злолютых ересей всю землю мраком покры. Пустил враг-дьявол по людям многопрелестную власть свою. Все осквернено: и грады, и села, и домы, и стогны — смрад сатаны дышит повсюду. Как волки в овчиих кожах, являются слуги его, глаголя: «я правой веры, я старой веры». Все старообрядцами нарицаются — и те, что зовутся поповщиной, а вера их пестра, и те, что поморцами прозваны, федосеевцами, филипповцами — но все они единаго порожденья, геенской ехидны. Крещение их — несть крещение, но паче осквернение... Всяк, имеяй часть с ними — еретик и от бога отвержен... Какую-бострогую жизнь ни повел он в трудах, в посте, в молитве, в милостыни, в нищелюбии и страннолюбии — всуе трудится. На челе и на десней руце его — антихриста печать... Уготован он дьяволу и аггелом его, того ради, что он — еретик.

— Где-ж правая вера, отче святый? Скажи... Выведи меня на истинный путь.

— Вера истинная — в пещерах, в вертепах, в пропастях земных. Теперь все в мире растлено прелестью антихриста,— и земля, нечестием людей на тридцать сажен оскверненная, вопиет к богу, просит попалить

ее огнем и очистить от скверны человеческой. Кто спасения ищет, все должен оставить — и отца, и мать, и родных, и друзей, ото всего отрещись и бегать в пустыню. Не следует жить под одною кровлей — твоя ли она, чужая ль, все равно — беги и странствуй по земле, дондеже воззовет тя господь. Свой кров иметь — грех незамолимый, никакими молитвами его не избудешь, никакими поклонами его не загладишь, никаким делом душевнаго спасения от него себя не очистишь. Буди, яко птица небесная,— тогда вся вселенная будет твоя!.. Беги и брань твори со антихристом!..

— А где он, отче? И как с ним брань творити?..

— Брань со антихристом — противление заповедям его. Прехвальнее того подвига и спасительнее для души нет ничего.

— Я готов, отче,— порывисто вскрикнул Гриша, вскочив на ноги.

До того он сидел при ногах Ардалиона.

И мигом сиявшее душевным восторгом лицо его омрачилось. Снова припал он к стопам Ардалиона и, обливаясь слезами, заглушая слова рыданьями, молвил:

— Недостоин я, отче святый, недостоин такой благодати. От юности моей бороли мя страсти, не устоял, окаянный... Не устоял супротив сетей дьявольских: осквернил тело и душу. Пал я, отче святый... Погубил целомудрие!..

— Что такое? Поведай мне, чадо, без всякой утайки,— как отцу духовному, поведай.

И сказал ему Гриша повесть дней своих от того дня, как взят был в келейку Евпраксии Михайловны, сказал, как думал он подвигом молитвы и изможденнем плоти спасти душу, и как с ним боролся дьявол... Все, все поведал ему до самой той ночи, как на празднике Семика он, в уме иль вне ума, соблазнен был некиим отэфиоп...

— Встань, чадо,— кротко, с любовью отвечал Ардалион на его слезы и рыданья.— Сие есть плотское токмо прегрешение, сие есть не грех, но токмо падение. И велико твое падение, но всяк грех,— опричь еретичества,— таково оплаканный, не токмо прощается, но покаянием паче возвышает душу павшаго. Есть грехи телесные горше того, те слезами не очищаются... Таков брак... Сие есть смертный грех, потому что в браке

человек каждый день падает и не кается, и даже грех свой вменяет в правду. То грех незамолимый — прямо ведет он во тьму кромешную!.. А кто падет, как ты пал, и покается — чист от греха. Хочешь ли очиститься от всякия скверны?

— О! хочу, отче святый! Но как?.. Научи, наставь!..

— Должно креститься в правую веру и имя другое принять... Паспорты и всякия бумаги откинуть, ибо на них антихриста печать. И податей не платить: — то служение врагу-антихристу. И ни к какому обществу не приписываться: — то вступление в сонмище антихриста и сидение на седалищах губителей. И ежели вопросят тебя: кто ты и коего града? — ответствуй: «града настоящего не имею, а грядущаго взыскую». И твори брань со антихристом... Повлекут тебя на судилище — молчи... Претерпи раны и поношения, претерпи темничное заточение, самую смерть, но ни единаго слова ответствовать не моги и тем сотвори крепкую брань со антихристом. Помни то, что первые мученики с людьми препирались — и сколь светлые венцы получили; ты же со антихристом, сиречь самим дьяволом, боротиться имешь, и аще пострадешь доблественно, паче, всех мученик венец получишь, начальнейшим над ними будешь, понеже не с простым человеком, но с самим дьяволом побиешися... Хощеши ли креститися в правую веру?

— Хочу, отче святый, хочу...

— А знаешь ли, чадо, каким узким, каким трудным путем, волчцами и тернием покрытым, входят избранники в сию область спасения?.. Ведаешь ли, каким подвигом ищущие правой веры достигают светлаго собора верных, их же имена писаны в книге животной?.. О, сколь труден подвиг! Сколь неудобоносимо то иго!

— Поведай мне о том подвиге, отче!.. Я готов...

— Ни пост, ни вериги, ни иные твои подвиги, ими же добре подвизался еси, не спасут тебя, чадо, не введут во область спасения, куда, яко елень на потоки водные, столь жадно стремится душа твоя!.. Всуе трудился, ни во что применились молитвы твои, деннонощныя стоянья на правиле, пост, воздержание, от людей ненавидение... Всуе трудился еси!.. А сколь

светлы селения земных аггелов, праведников во плоти, сколь неизреченныя радости в их избранном соборе!.. И я знаю путь к тому собору и могу показать оный путь!..

— Скажи мне, отче!.. Скажи путь, в онь же пойду!..— всем телом дрожа и лобзая ноги Ардалиона, с исступлением говорил Гриша.— Отдам тело на раздробление: узнать бы лишь тот путь и хоть на час един войти в райския светлицы земных ангелов!.. Что нужно мне, отче, чтобы достигнуть светлаго собора избранных?..

— Смирение и послушание... Слышишь ли? — послушание!

— Готов, отче, тебе и всем в правой вере сущим оказать всякое послушание...

— Не простое то послушание, но совершенное отсечение своей воли, совершенная смерть всякаго помысла, всякаго пожелания... Ты должен будешь делать только то, что велят, своей же воли отнюдь не иметь... Можешь ли принять на себя столь тяжкое иго?

— Могу, отче!

— Иго неудобоносимо, друг... Тяжеле того подвига нет на земле и никогда не бывало... Воистину ли можешь снести его?.. Ведь ты должен будешь творить всякую волю наставника, отнюдь не рассуждая, но паче веруя, что всякое его веленье — есть дар совершен, свыше сходяй... Чтоб ни повелел он тебе — все твори... И хотя б твоему непросвещенному уму и показалось его веление соблазном, хотя б дух гордыни, гнездящийся в сердце, и сказал тебе, что повеленное — греховно и богопротивно,— не внемли глаголу лестну — твори повеление... Твори без думы, без рассуждения, но только помни, что буее божие — премудрость есть человеком.

— Как же это, отче? — слегка поколебавшись, спросил Гриша.— А ежель, примером сказать,— повелят молоко в пост хлебать?

— Хлебай без рассужденья... Мало того — велят человека убить — твори волю пославшаго...

— Еретика!.. готов!.. Не оскверню рук, паче же омыю их окаянною кровию!.. Как пророк Илия вааловых жрецов — перепластаю еретиков, сколько велишь!

— Не одного еретика, врага божия... Велел бы я

тебе: послушания ради — самому в срубе сгореть, гладом смерть приять, засыпать себя рудожелтыми песками, в пучину морскую кинуться: твори волю мою... И если хоть един помысл греховного сомнения, хоть одна мысль сожаления внидет в душу твою — всуе трудился — уготован ты антихристу и аггелом его....

Вздрогнул Гриша.

— Можешь ли ходить путем верных? Хощеши ли, да имя твое вписано будет в книгу животную?

— О, хочу, хочу!

— Пляши и пой песню бесовскую! — прищуря глаза и зорко глядя на Гришу, сказал Ардалион.

Ровно варом обдало Гришу. Отпрянул от старца на другой конец кельи, ужасом покрылось лицо его. Подняв руку с крестным знамением, задыхаясь от внутреннего волнения, читает он:

— Заклинаю тебя страшным именем господа бога живаго — отыди в место пусто, в место безводно...

— О, маловер! — с укором, качая головой, сказал Ардалион.— О, несмысленный Галат!.. Где ж твое послушание?.. Где ж отсечение воли?.. Где отриновение помыслов гордыни?.. Нет, друже, неудобоносимо для тебя иго... Не можешь подъяти его праздным и раздвоенным умом твоим... Сего малого испытания не мог снести — внял глаголу духа лестна и лукава... Всуе трудился!.. Нет тебе части в светлом сонме избранных!.. Влачи жизнь в сетях антихриста!.. Погибай погибелью вечною, буди там, идеже смола кипящая, огнь неугасимый, червь неусыпающий... Говорил я, что ты должен творить всякую волю наставника, не смущатися духом, паче же веровать, что буее божие — премудрость есть человеком?.. Поди от меня!.. Что мне и тебе? Кое общение свету ко тьме?.. Маловер несмысленный!.. Не видать тебе гор Кирилловых...

— Чего?

— Гор Кирилловых, что у Малого Китежа*. Стоят оне над Волгой-рекой, рядом с горой Оползень... Когда по Волге плывет сплавная расшива мимо тех чудных гор Кирилловых, и на той расшиве все люди благочестивы,— Кирилловы горы расступаются, как врата великия растворяются, и выходят оттуда старцы

* Городец на Волге — Нижегородской губернии, Балахонского уезда.

лепообразные, един по единому... Процвели те старцы в пустыне невидимой, яко крини сельные и яко финики, яко кипарисы и древа не стареющая; просияли те старцы, яко камение драгое, яко многоценные бисеры, яко звезды небесныя... Выходят старцы лепообразные, в пояс судоходцам поклоняются, просят свезти их поклон, заочное целованье братьям Жигулевских гор... И когда расшива проходит мимо тех Жигулевских гор, должны судоходцы исполнить приказ старцев гор Кирилловых, должны крикнуть громким голосом: «Ох, вы, гой еси, старцы жигулевские!.. Привезен вам поклон от горы Кирилловой: кирилловы старцы с вами прощаются, прощаются они, благословляются»... Расступаются тогда высокия горы Жигулевския, растворяются врата великия, белым алебастром об ину пору забранныя, и выходят на берег старцы лепообразные, един по единому... И, подняв паруса белые, вольной птицей полетит расшива на Низовье... Не насвистывай ветра, бурлак, лежа на брюхе — без свиста паруса легкие наедятся ветра могучаго — понесут расшиву куда надобно... А забудь судоходцы исполнить завет горы Кирилловой — восстанет буря великая, разверзутся хляби водныя и поглотят расшиву с судоходцами... Таковы блаженные старцы горы Кирилловой, таковы лепообразные старцы Жигулевских гор.

— Где ж те горы? Где ж те старцы? — спросил вполголоса Гриша...

— Туда ходу нет маловерам... К ним может пройти только истинный раб Христов, воли своей не имеющий, в душе помыслов нечистых не питающий, волю пославшаго творящий без рассуждения... И не только в Жигулях и на горе Кирилловой процветают крины райские, во иных во многих пустынях невидимых просияли светом невечерним светила богоизбранныя... Путь же их прав, вера истинна; имена их в книге животной написаны... И сияют те светила от древности лет... Там, за Керженцем — пролегает дорога, давным-давно запущенная. Нет по ней езду коннаго, нет пути пешеходнаго, а не зарастает она ни лесом ни кустарником... То — «Батыева тропа»... Проходили тут татары поганые от стольного града Володимира в чудный Китеж-град. И тот чудный град доселе невидимо стоит на озере Светлом Яре. . Летним вечером, когда гладью станут во-

ды озера, ни ветер рябью не кроит их, ни рыба, играючи, не пускает широких кругов,— сокровенный град кажет тень свою: в водном лоне виднеются церкви божьи златоглавыя, терема княженецкие, хоромы боярския... Живут в том граде люди блаженные, пустынные жители преподобные... Тамо жизнь беспечальная; жизнь без воздыхания, день немерцаемый, утехи райския... И всяк человек, иже смирил душу свою послушанием, уведает путь в чудный град тот и вкусит от блаженныя жизни живущих тамо земных ангелов.

— Скажи тот путь...

— Послушание без рассуждения... Кто возжелает всем сердцем, всею душою, всем помышлением оставить сей многопрелестный мир; кто нераздвоенным умом, несомненно, без рассужденья, обещается идти в благоутешное пристанище, тому чудныя врата сокровеннаго града отворятся... Никому в мире не поведавши, ни отцу ни матери, ни роду ни племени, творя лишь послушание наставника, ступай тропой Батыевой — иди, тщетного в себе не помышляя и о том, чтоб вспять возвратиться, не думая... Будешь терпеть лютый глад, будешь терпеть мразный хлад,— иди тропой Батыевой,— пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град... Нападут звери лютые, наскочит на тебя змея подколодная,— иди тропой Батыевой, пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град. Восстанет буря великая, хлынут на тебя ручьи дождевые, заскрипят по лесу сосны столетния, повалятся деревья буреломныя,— иди тропой Батыевой, пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град... Накинутся лютые демоны, нападут на тебя змеи огненныя, окружат тебя эфиопы черные, заградит дорогу сила преисподняя,— а ты все иди тропой Батыевой — пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град.

— Скажи мне путь, в онь же пойду!.. Хоть бы денек там пребыть.

— Тамо — жизнь бесконечная. Час един — здешних сто годов. ...И не один таковой сокровенный град обретается; много их по разным местам и пустыням. Господом богом ради избранных поставлено... Ради тех, что бегают от антихриста в горы, вертепы и пропасти земныя, по реченному Ефремом Сирином... Там же, за Вол-

гой, на озере Нестиаре другой сокровенный град... А подальше в лесу невидимая церковь стоит. В стары годы стояла она в Василь-городе, на Суре, на реке... Был праздник господень — Преполовеньев день, пошел крестный ход на Суру воду святить,— двинулась за крестами и церковь божия... Сура-река расступалася, как ворота растворялася, принимала людей, что за крестами шли, принимала и церковь божию... И перенеслась церковь за Суру за реку, за Волгу-реку, за Ветлугу-реку, и доселе стоит невидимо — в лесах... а в каких — поведать тебе, маловеру, нельзя... Стоят в ней люди васильгородские и будут стоять до второго Христова пришествия... Бысть един муж благочестив и боголюбив, житель единыя веси, неподалеку стоящей. Изыде той муж в леса, ловитву зверям деюще, и божиим изволением открылась ему церковь васильгородская. Пошел раб Христов, слышит: восьмой ирмос канона на святую пасху поют: «Сей нареченный и святый день». ...Сладко райское пение, вкруг церкви благоухание, свет лучезарный окрест сияет... Муж тот не знает — во сне он или в восторге... Прослушал один только ирмос и пошел обратным путем во-свояси, славя и благодаря бога за виденную столь чудную вещь... И гда прииде в весь свою — ни единаго знаемаго обрете, и ни един житель тоя веси его не познал. И бысть молва велия и многое рассуждение в людех... Муж же той имя свое поведал им, глаголя, что лишь накануне отыде из веси той в лес, звериныя ради ловитвы, жену и детей своих называя и дом свой указуя... И дивляхуся вси... По мале времени обретоша по соседству мужа древня, ему же бе вящше ста лет. И поведа той старец: «Бывшу мне во отрочестве, слыхал аз, многогрешный, от родителей был-де в их веси человек добродетельный и благочестивый, имя то самое имеяй, каковым пришлец сей чудный себя нарицает... Тот человек во едино время отыде в лес, звериныя ради ловитвы, и не возвратися»... И поведа людем чудный муж, како видел он в дебрях лесных церковь васильгородскую и слышал ангелоподобное пение. И егда поведа, испусти дух и переселился в жизнь вечную... И познаху люди, что егда блаженный един ирмос: «Сей нареченный и святый день» слушал — сто годов протекло, и более. И восхвалиша господа и рекоша друг ко другу: «дивен бог во святых своих!» ...И аз знаю путь к церкви васильго-

родской и могу указать тот путь несомненно спасения ищущему...

— Отче, отче! Скажи мне...

— Имеешь ли послушание?

— Имею, отче... Я сейчас...— И, взирая распаленными глазами на Ардалиона, подпер руки в боки, готовый пуститься в пляс. Запел-было:

«Как во городе было во Казани...»

— Довольно...— сказал Ардалион.— Больше не надо. Благо твое послушание... Аще всегда будеши таково творити волю мою без рассуждения — узриши благая Иерусалима... Можешь ли теперь же творить брань со антихристом?

— Могу, отче... Где?.. Покажи треклятаго, да брань сотворю.

— Антихрист, чадо, многоглавен, многоумен и многоязычен. Все, что не нашей веры — антихрист. Вся эта пестрая поповщина, хромыя души, как бывшая хозяйка твоя со всем своим мерзким отродьем — антихрист!

— Иду — задушу и ее и всех!..

— Щука умрет — зубы останутся... Не тронь... Зубы вырви у ней.

— Какие зубы?..

— Зубы ада — его сила... Сила днешняго антихриста — деньги. Ими все творится пагубы ради человеческой... Можешь ли вырвать зубы из мерзких челюстей его, окаяннаго?

— Могу, отче. Знаю, где сундук. В моленной. Хожу туда по ночам лампадки поправлять. Могу, отче!.. Иду...
И пошел-было к двери.

— Постой,— сказал Ардалион.— Время не приуспе... Час не пришел... Хощеши ли креститься в праву веру?

— Хочу, отче... Где же?

— Идем на речку — время благоприятно.

Пошли... И в ночной тишине перекрестил Ардалион Гришу под той ракитой, где сжимал он в объятиях Дуню... Полная луна бледным светом обливала обнаженное тело юного изувера, когда троекратно под рукой Ардалиона погружался он в свежие струи речки. Ночь благоухала, небесные звезды тихо, безмолвно мерцали, в лесу и в приречных ракитах раздавалось громкое пенье соловьев.

И нарек Ардалион имя ему — Геронтий.

— Благослови, отче! — с исступленным жаром сказал Геронтий наставнику, когда воротились они в келью.

— Благословен грядый во имя господне!..

Без ума, со всех ног бросился Геронтий... Ардалион стал поспешно сбирать в пещур пожитки, чутко слушая, не зашумели ль. Печку потом затопил.

Принес Геронтий сундук. Насилу дотащил.

Сундук разбили. Деньги вынули, бумаги в печь покидали.

— В пустыню! — молвил Ардалион.

И, наскоро положив семипоклонный «начáл», вышли на вспольe, речку в брод перешли и бегом пустились к лесу.

Дня через три хоронили Евпраксию Михайловну — умерла в одночасье.

Запутались с той поры Гусятниковы.

СЕМЕЙСТВО БОГАЧЕВЫХ

I

СЕМЕН РОДИОНОВИЧ БОГАЧЕВ

Лишь только путник спустится с крутого склона дороги, прорытого между двух довольно больших холмов под самым губернским городом В***, и переедет реку Кимжу, когда-то глубокую и многоводную, а теперь хотя и быструю, но мелкую, как тотчас же во всей окружающей обстановке заметит резкую перемену. Прежняя глинистая почва, при первом дожде превращающаяся в какой-то липкий кисель, переходит в не менее утомительный для пешехода сыпучий песок; вместо прежних гладких полей и лугов, по которым, как островки, были разбросаны там и сям небольшие рощицы, взорам путника представляется громадная пойма, а за ней синеют обширные сосновые леса, потомки тех лесов, которые в прошлом столетии сплошной непроходимой грядой тянулись далеко за Кимжу и наконец сливались с когда-то знаменитыми лесами Муромскими.

Так едете вы верст девяносто. Но вот лес мало-помалу начинает редеть, все дальше и дальше отодвигаясь от дороги, и наконец вы выезжаете на огромную поляну, на которой широко раскинулась зеркальная поверхность громадного озера, на отдаленном берегу которого вы видите какие-то странные, своеобразные постройки, общим видом напоминающие не то крепость, не то какой-то средневековый замок. Широкая плотина охватила озеро с южной стороны; посредине этой плотины возвышается большое и красивое двухэтажное здание, в нижнем этаже которого вы видите огромную арку; левее здания целый ряд построек, похожих на длинные каменные сараи; над одним из этих сараев бьет целый ряд огненных фонтанов, которые, по мере того как сумерки начинают окутывать землю, становятся явственнее и явственнее; за сараями возвышается увенчанный пятью главами красивый храм. Вы едете дальше, и до слуха вашего начинает долетать смесь самых разнообразных звуков; тут вы слышите разом шум и плеск падающей воды, грохот вертящихся под ее напором колес, какой-то отдаленный и глухой гул, и все это заглушается страшными громовыми ударами, раздающимися из одного из сараев, над которым высоко подымаются огненные столбы.

— Что это за крепость? — невольно спрашиваете вы ямщика.

— А это Селезневский завод Богачева, — отвечает возница. — Вон видишь: длинные-то сараи — это и есть самый завод, а где огненные-то столбы ходят, это молотовая.

— А это что за двухэтажный дом с воротами?

— Это господский дом да разные господские заведения,— поясняет ямщик.

Едем дальше.

Миновав небольшую деревушку «Выселок», мы поехали вдоль какой-то каменной постройки, тянувшейся с добрую четверть версты; далее началась массивная ограда во вкусе екатерининских времен; потом мы въехали в довольно узкие ворота, и взорам нашим представился грандиозный дворец. Посредине он двух этажей, а по бокам его идут два одноэтажные флигеля; правый из них отделяет господский двор от заводской базарной площади, посреди которой воздвигнут красивый храм, а левый флигель упирается в то длинное каменное здание,

вдоль стены которого мы только что ехали. Правее ворот еще двухэтажный корпус; это заводская контора.

Войдемте же в господский дом.

Пройдя огромный, мрачный, вымощенный чугунными плитами коридор нижнего этажа, мы очутимся на крыльце заднего фасада дома, выходящем в сад. Вид с крыльца превосходный: прямо перед вами расстилается широкая, усыпанная песком эспланада, края которой с необыкновенным вкусом убраны бесчисленным множеством цветов; левее эспланады видны огромные и красивые оранжереи, а прямо перед вами, слишком на 120 сажен, тянется грандиозная липовая аллея, огромные деревья которой ясно свидетельствуют об ее более чем полувековом существовании; в конце аллеи видны развалины большой каменной беседки, а далее, как зеркало, блестит огромное озеро.

Между оранжереями и восточной стеной сада лежит огромный пустырь, в котором, кроме глуши и дичи, вы не встретите ровно ничего; где-то где торчит одиноко какое-нибудь жиденькое деревцо да куст можжевельника; посредине пустыря глубокий овраг. Тяжелое впечатление производит это как бы забытое всеми место сада, к которому, кажется, никогда и не прикасалась рука человеческая. Это так называемый «Страшный» или «Пантюшкин» сад, имеющий свою таинственную историю.

Но возвратимся к дому.

Поднявшись по одной из лестниц, ведущих из мрачных сеней во 2-й этаж, и повернув налево, вы входите в роскошный зал, убранство которого великолепно; такие залы нельзя встретить в частных домах; они присущи только царским чертогам. По бокам залы два балкона: один выходит на эспланаду сада, другой на господский двор, озеро и заводские постройки с их огненными фонтанами, шумом и грохотом. Вид с этого балкона восхитительный. Влево от залы начинается целая амфилада поистине царских комнат, а за ними следуют уже и жилые покои. Это жилая половина дома. Правее зала расположен также целый ряд комнат, но они необитаемы и представляют страшное запустение и развалины, незаметные только снаружи. Нижний этаж по расположению комнат напоминает верхний, а под этим этажом находятся подвалы, частью от времени разрушившиеся,

и молва гласит, что из некоторых подвалов когда-то были подземные ходы, выходившие в поле. Молва эта, может быть, и справедлива, если принять в расчет время и обстоятельства, среди которых жил основатель и первый владелец селезневского завода, Семен Родионович Богачев, имя которого и теперь, более полувека спустя, произносится на заводе с каким-то паническим страхом.

— Кто же был этот грозный Семен Родионович? — спросит читатель.

Прадед Семена Родионовича, Кирилл Дементьев Богачев в конце XVII века числился в разряде «тульских казенных кузнецов и ствольных заворщиков»; иными словами: был житель Тулы и принадлежал к податному сословию, между тем как предки его в первой половине XVII века числились в разряде бояр и детей боярских. Каким образом утратилось потом дворянское достоинство Богачевых, неизвестно; но как бы то ни было, Семен Родионыч и его родной брат Иван принадлежали к податному сословию и в половине прошлого столетия значились «железных водяных заводов содержателями». В это время братья Богачевы имели в Туле несколько фабрик: молотовую, гвоздевую, катальную и др., на которых и работало до полутораста человек, частью вольнонаемных, а частью купленных Богачевыми на чужое имя. Для такой купли они имели даже особого «подручного» человека, некоего чиновника Долговского, на имя которого и совершали купчие крепости.

Семен Богачев был человек твердого характера, человек в высшей степени энергичный и, что называется, широкая натура, и потому узкие рамки тульской деятельности оказались ему тесны; он задумал устроить что-либо более грандиозное, и вот его проницательный взор остановился на глухой, лесистой и многоводной местности верховьев Оки, богатой углеродно-кислым железняком.

Как раз кстати меньшой брат Иван женился в то время на богатой девушке, и Семен, недолго думая, предложил брату употребить женин капитал в дело; тот согласился, и вот в 1755 году в 4-х верстах от Оки возник первый завод Богачевых — Унженский, а через три года на границе губерний В*** и Р*** возник и известный уже читателю завод Селезневский, а спустя 8 лет они основали превосходный завод Пыхсинский,

служивший любимым их местопребыванием. В 1783 году братья полюбовно разделились: Селезневский завод, вместе с тремя другими, всего более 10 тыс. душ, достался Семену Родионовичу, а в том же году императрица Екатерина II возвратила Богачевым и их прежнее дворянское достоинство.

Впрочем, при приобретении земель действовала не одна купля, а Семен Родионович употреблял для этого и иные средства.

В то время по верховьям Оки ютились целые разбойничьи шайки, для которых Богачев был истинной грозой; он всячески истреблял эти шайки, но зато первый же захватывал в свои руки имения мелких землевладельцев, из которых редкий не был в дружбе с разбойниками; в ограждение-то от них Богачев и построил свою усадьбу-крепость и для всякого случая сделал из нее подземные ходы в чистое поле. Молва гласит, что Богачев нередко пускал в ход еще и следующий забавный способ приобретения чужой собственности. Семену Родионовичу приглянулся, положим, известный участок земли, и вот он объявляет свою претензию на эту дачу; приезжают следователи; собирают крестьян-понятых, которых по приказанию Богачева тотчас же и ведут на барский двор, велят разуться и в их лапти насыпают земли с богачевского двора; затем понятые обуваются и идут на спорную дачу.

— На чьей земле стоите? — спрашивает следователь.

— На богачевской! — отвечают в один голос понятые, и дача, понятно, остается за Семеном Родионовичем.

А вот для примера и еще случай приобретения крестьян и земли, доказывающий полнейшее всемогущество Богачева. У одного из соседних помещиков Богачев оттягал деревню Роксаново, причем прежний ее владелец исчез неизвестно куда; наследники помещика начали дело; приехали следователи, которые осмотрели издали и самую деревню и, переночевав у Богачева, утром собрались ехать в Роксаново; вышли на крыльцо, и что же?.. Видят, что деревни как не бывало!

— Где деревня? — спрашивают следователи у понятых.

— Знать не знаем и ведать не ведаем! — отвечают те.— Да такой деревни у нас и не бывало!

С тем следователи и уехали от Богачева. После оказалось, что две тысячи человек работали в ночь пребывания на заводе следователей; деревню разнесли по бревнышку, а землю вспахали, так что и следа деревни не осталось, а жителей ее Богачев разослал по своим заводам.

Вообще Семен Богачев был человек с железным характером, непреклонной волей и большой самодур; но, будучи в то же время человеком умным, умел ладить с сильными мира сего, а потому всякое самодурство и сходило ему с рук. Он был любим даже князем Потемкиным-Таврическим и находился с ним в дружеской переписке. Хотя лично с князем и не был знаком, но зато заочно умел заслужить своими подарками полное его расположение; зимою, например, Богачев посылал князю свежие фрукты из своих великолепных оранжерей, а когда, говорят, Потемкин стоял под Очаковом, то Богачев посылал ему туда соленых рыжиков и других любимых князем яств. Одним словом, он как нельзя лучше умел угодить вельможному князю. Зато с местными властями Богачев обращался вполне бесцеременно. Раз по какому-то делу приехал к нему губернатор, но Семену Родионовичу почему-то не заблагорассудилось его видеть, и он велел сказать губернатору, что он принять его не может. Делать было нечего, и губернатор поехал в ближайший уездный город К***. Между тем Богачев вручил одному из своих слуг пакет, велел обогнать губернатора и, дождавшись на крыльце его городской квартиры, вручить пакет его превосходительству. Слуга исполнил приказание в точности, а превосходительство остался такой выходкой Богачева очень доволен, так как в пакете было вложено 50 тысяч рублей. Самодурство Богачева иногда доходило до того, что он считал для себя все возможным; невозможного для него ничего не было, а время и расстояние для него как бы и не существовали. Уездный город К*** город отчасти татарский; татары народ довольно честный, и потому Богачев вел с ними большую дружбу; особенно он любил некоего Селима, которому потом составил большой капитал и выстроил в К*** дом. Раз Селим приехал к Богачеву.

— Ну, что твой дом? — спросил Богачев.

— Да еще не отделан,— ответил Селим.

— Ну, так останься у меня на день.

Селим остался. Вдруг около полуночи Богачев разбудил Селима и велел ему ехать домой. Приехал Селим в новый дом и видит, что точно какой-то волшебной силой дом был превосходно отделан. Сто человек Богачев отрядил накануне в К ***, и они-то в течение суток вполне отделали дом Селима.

В числе прочих заводов у Богачева был завод Верхнеунженский, стоявший в непроходимом месте. В 1788 году Россия объявила войну Швеции. Богачев, пользуясь этим случаем, предложил государыне отлить безвозмездно для артиллерии пушки и ядра. Государыня охотно приняла предложение; пушки были отлиты и кое-как при помощи солдат были доставлены в Селезневский завод Но тут случилось нечто неприятное для Богачева: офицер-приемщик начал браковать богачевские изделия; Семен Родионович этого не стерпел, рассерженный вбежал к офицеру, и что между ними происходило — неизвестно; известно только, что офицер неожиданно куда-то исчез, но куда, этого никто не знал. Приехал другой офицер, который все и принял, а Богачев за свои изделия получил чин, дорогие подарки и дозволение иметь почетную стражу, которая постоянно окружала его дом и конвоировала его карету.

Несмотря, однако, на непреклонную волю, сильный характер и строгость, Семен Богачев не был жесток.

Раз только проявил он свою жестокость. Однажды перед ним провинился какой-то Пантелей, или попросту—«Пантюшка». Богачев велел поставить его в деревянную рамку и подтянуть петлей за горло так, что тот мог стоять не иначе, как только на пальцах ног. Долго ли стоял в таком ужасном положении несчастный Пантюшка, неизвестно; только он был найден потом удавленным. Богачев приказал похоронить его по-христиански, но священник было заартачился. «Передайте попу, что если он не исполнит моего приказания,— сказал разгневанный Богачев,— то я познакомлю его с «домной» *. Делать было нечего: против рожна прать было нельзя, и Пантюшка был отпет по-христиански.

Таков-то был Семен Родионович Богачев.

---

* Заводская плавильная, или так называемая «домовая» печь.

Некоторые старожилы помнили его уже семидесятилетним стариком. По их рассказам, лицо он имел выразительное; на нем ясно отражались и его ум и его железная воля; лоб у него был широкий; брови тонкие, сдвинутые к широкому носу; губы тонкие; темно-русые с сильною проседью волосы он носил под гребенку. Он умер 19 декабря 1799 года, 73 лет, и похоронен у престола заводской кладбищенской церкви. Над могилой его поставлен двухсаженный каменный столб, увенчанный шаром и крестом.

Предание говорит, что незадолго до смерти Богачева случилось довольно странное происшествие. По случаю какого-то праздника, у Богачева был бал, а в саду иллюминация. Когда гости толпой пошли по главной аллее сада смотреть освещение и дошли до находившейся в конце аллеи каменной беседки, то вдруг на крыльце последней появился огромный черный человек с оскаленными зубами. Все, конечно, в испуге бросились назад и сообщили об этом Богачеву. Говорят, что Богачев, услыхав это, страшно побледнел и сказал: «это смерть моя приходила за мной!» И действительно, немного времени спустя Богачев умер.

II

НАСЛЕДНИКИ СЕМЕНА БОГАЧЕВА

Семен Родионович был женат, и от этого брака имел сына Сергея, которого мы будем называть «Сергей старший». Покойный Семен Родионович почему-то сильно недолюбливал его, а потому Сергей Семенович не только не жил с отцом, но никогда не бывал у него, а проживал на одном из его дальних заводов. Овдовев, Богачев жил с любовницей, какой-то Марфой Гавриловой, от которой также имел сыновей: Сергея младшего, Александра и Григория.

Когда Богачев умирал, то при нем не было ни сына Сергея, ни внука Петра, уже семнадцатилетнего юноши, вообще не было никого из родных, а его окружали одни только приказчики и другие его служащие, которые и спросили умирающего: кому он предоставляет свое громадное имение и состояние?

— Тому,— отвечал Богачев,— кто кого одолеет.

Когда Семен Родионович умер, то тотчас же об этом

известили его законного сына и наследника, Сергея старшего, который немедленно приехал и похоронил отца.

Вскоре после смерти грозного и полновластного Богачева началось постепенное разорение его имущества и упадок всех его заводов; начались между законными и незаконными его наследниками нескончаемые дела и процессы, которыми в то время буквально были завалены различные присутственные места; начались всевозможные споры и кляузы, тайное и явное расхищение его громадного имущества и вообще всякого рода «темные дела».

Недаром же Богачев сказал, умирая, что его имение достанется тому, кто одолеет; видно, сердце его чуяло всю ту неурядицу, которая началась вслед за его смертью.

Первый наложил руку на все огромное имущество покойного его законный сын Сергей Семенович, человек в то время уже вдовый и пожилой, живший с любовницей, какой-то Федосьей Григорьевой, от которой имел сына Луку и двух дочерей. Эти дети жили при отце вместе с его законным сыном Петром, но жили под названием «воспитанников», и хотя были крещены в местной заводской церкви, но, по приказанию самого Сергея Семеновича, в метрики записаны не были. На их воспитание отец не щадил никаких средств, и действительно, его «воспитанники» получили превосходное образование и впоследствии составили себе блестящую карьеру: Лука добился чина полковника, а его сестры вышли за генералов.

Между тем любовница покойного старика Богачева, видя, что Сергей Семенович сделался единственным наследником, объявила себя второй законной женой Семена Родионовича и требовала от Сергея Семеновича себе и своим детям законной части имения; однако Сергей не признал законности ее брака и послал об этом государю всеподданнейшее прошение, в силу которого императором Александром I и был утвержден единственным наследником отцовского имения, но с тем, однако, условием, чтобы это имение он не мог ни продать, ни заложить; дело же о законности брака Марфы Гавриловой государь повелел передать на рассмотрение св. синода.

Таким образом, Сергей Семенович был утвержден в правах наследства, а его любовница, Федосья Григорьева, сделалась полной в имении хозяйкой.

Здесь невольно является вопрос: был ли в самом деле покойный Богачев женат на Марфе Гавриловой? Вероятнее всего, что не был, потому что, если бы действительно он был женат на ней, то будучи человеком в высшей степени аккуратным, он наверное позаботился бы об имени и звании своих детей и о их гражданских правах, тем более, что он хорошо знал, что эти вторые дети после его смерти будут иметь сильного соперника в лице Сергея старшего. Однако такой заботливости о детях покойный Богачев не оказал; да наконец, если бы Семен Родионович действительно был обвенчан с Марфой Гавриловой, то его брак не прошел бы незамеченным на заводе и наверное живо сохранился бы в памяти местных жителей. Но ничего подобного мы не видим. Точно так и св. синод не нашел возможным брак Марфы с Богачевым признать действительным, вследствие чего Марфа Гаврилова и была обязана подпиской: «впредь непринадлежащим ей званием и достоинством не именоваться».

Однако этим дело ее не кончилось, а, как увидим дальше, с этого оно главным образом и началось.

Сергей Семенович, сделавшись полновластным после отца хозяином, в 1800 г. уехал с любовницей, законным сыном Петром и тремя «воспитанниками» в Петербург, где и прожил до самой смерти, случившейся в 1816 году.

В течение этого времени его любовница, ставя на вид то обстоятельство, что у Сергея есть законный сын Петр, неотступно убеждала его обеспечить ее «воспитанников». Сергей согласился и отдал на ее волю выбор средств обеспечения. Тогда она прежде всего удалила из Петербурга законного сына Петра, который 10 лет почти без всяких средств и прожил на Селезневском заводе, между тем как Федосья неограниченно стала распоряжаться всем громадным имуществом покойного Богачева. Она вывезла из Селезневской усадьбы все драгоценности, продала огромные заводские леса, приобрела на свое имя богачевские дома и в довершение всего отбирала от заводской конторы всю наличную выручку, не оставляя денег даже для расчета с рабочими. Такими-то способами

она в непродолжительном времени составила себе и своим детям капитал не менее 10 милл. р. ассигн., захватив при этом в свои руки капитал и имение покойной законной жены Сергея, т. е матери Петра. Наконец незадолго до смерти Сергея, она обвенчалась с ним, человеком уже совершенно больным, и заставила его хлопотать о признании «воспитанников» его законными детьми. Действительно, благодаря деньгам и какому-то счастливому случаю, «воспитанники» Сергея, т. е. незаконный его сын Лука с двумя сестрами, в 1814 г. высочайшим повелением были признаны законными. Петр, живя вдали от семьи, ничего этого не знал, и узнал обо всем уже по смерти отца, когда приехал в Петербург.

Напрасно несчастный наследник в просьбе на имя государя доказывал свои законные права на наследство: в просьбе ему отказали, а сенат указом велел предоставить управление имениями всем наследникам Семена Богачева сообща, с тем, чтобы в продолжении двух лет они полюбовно разделились. Но так как раздела не последовало, то все богачевские имения и поступили в заведование местной дворянской опеки, которая длилась 31 год и так успешно опекала громадное имущество Семена Родионовича, что сделала заводам убытка с лишком на 3 миллиона рублей, за каковые деяния опекуны в 1835 г. высочайшим повелением и были преданы уголовному суду, а частям главных наследников: законного сына Петра, Луки, Григория младшего, незаконного от Марфы Гавриловой сына старика Богачева, был учинен сенатом раздел.

— Что же сталось с любовницей покойного Семена Родионовича, Марфой Гавриловой? — спросит читатель.

Долго ли она жила на заводе по смерти старика Богачева, неизвестно; но в 1806 году она проживала уже в Петербурге, где ожидала решения сената о признании ее законной женой Семена Богачева и где она явила на могущую достаться ей по разделу часть дарственную запись на имя своего старшего сына, Сергея младшего; однако она не дождалась окончания дела и умерла в 1828 г., а через два года ее дети: Сергей младший, Александр и Григорий, были признаны законными наследниками. Почти 30 лет тянулось это дело, а пока оно тянулось, два старшие ее сына, Сергей и Александр, успели умереть, и в живых остался один только Григорий.

Между тем, за год до признания детей Марфы законными наследниками, в петербургскую гражданскую палату было подано духовное завещание Марфы, и было подано одним из известных в то время казуистов и человеком весьма тонким, неким отставным секретарем Климом Ивановичем Багрянцевым, известным более под названием «отставной чернильницы», который самолично и писал завещание безграмотной Марфе. Это завещание по существу своему было очень замечательно: взглянешь с одной стороны, Клим Иванович, по смыслу завещания, оказывался душеприказчиком и распорядителем части, могущей достаться Марфе Гавриловой; с другой стороны, тот же Клим Иванович оказывался не только распорядителем, но и полным хозяином этой части, могущим, по своему усмотрению, наградить наследством лиц, поименованных в особом расписании, приложенном к духовному завещанию. Гражданская палата это завещание утвердила и выделила из имущества старика Богачева часть Марфы Гавриловой Багрянцеву, не уведомив, однако, об этом завещании прямых наследников Семена Родионовича.

Читатель, вероятно, помнит, что в 1835 г. имуществу старика Богачева был произведен сенатом раздел, по которому незаконный сын его, Григорий, получил себе Селезневский завод, Лука и Петр — другие заводы, а на долю бедного Клима Ивановича досталось не более, не менее, как 4 500 душ крестьян, городские дома, покосы и т. п., всего на сумму более миллиона рублей.

Такой раздел поразил Богачевых. «Кто этот Клим Иванович,— спрашивали они друг друга,— и что это за завещание, о котором мы и не слыхивали?» И вот они за разъяснением этих вопросов обратились к сенату.

Сенат объявил им завещание Марфы Гавриловой, но, пока шла по этому поводу переписка и дело тянулось,— а в старину, как известно, дела тянулись подолгу,— достопочтенный Клим Иванович владел да владел миллионною частью Марфы, но вдруг случилась для него маленькая неприятность.

Одна из наследниц Семена Богачева, именно вдова Сергея младшего, указала петербургской гражданской палате на существование записи, которой Марфа Гаврилова предоставляла свою часть Сергею младшему, как своему сыну, а местная В-ая палата в то же время об-

ратилась к Климу Ивановичу с такого рода запросом: «В завещании Марфы Гавриловой упомянуто об оставленном вам расписании, в котором обозначено:«кого и чем из ее части следует наградить», но расписания этого вы не представили» и т. д. Хотя и после этого напоминания Клим Иванович продолжал дело, но в конце концов делать было нечего, и вот через 10 лет по смерти Марфы он наконец представил палате это злополучное для себя расписание, и вот после всей этой оказии те лица, коим все сие ведать надлежало, растолковали наконец непонятливому на этот раз Климу Ивановичу, что он в завещании хоть и назначен душеприказчиком и распорядителем части Марфы Гавриловой, но что это-де не значит, что вы владелец и собственник этой части, а потому-де вы и должны от этой части отказаться в пользу ее сыновей и законных наследников: Сергея, Александра и Григория, а так как эти лица примерли, то отдать эту часть малолетним детям Григория, над которыми будет учреждена опека.

Итак, Клим Иванович волей-неволей должен был наконец расстаться с миллионною частью Марфы Гавриловой, из которой в продолжение многолетнего своего управления он повысосал порядочно-таки соку и составил себе порядочный капиталец, а потому и после такой неприятной для него оказии тужить ему, конечно, особенно было не о чем.

Как ни бедствовала при жизни Марфа, но она жила аккуратно и, в виду получения будущих благ, не делала долгов; не то пошло после ее смерти. После нее один за другим умерли ее два сына: Сергей меньшой и Александр, и остался в живых один только Григорий, который, получив один всю материнскую часть, в самом непродолжительном времени наделал до 700 тысяч рублей долгу, и в 1840 г. правительство нашло нужным учредить над ним опеку.

Следует сказать при этом, что Григорий был не мот и не кутила, а, напротив того, человек очень тихий и скромный, хотя и не совсем трезвой жизни. Каким же образом произошел такой значительный долг?— спросите вы. А произошел он очень просто. До получения своей наследственной части Григорий жил в Петербурге в крайней нужде и, постоянно имея надобность в деньгах, делал займы, причем, занимая рубль, он давал вексель

на десятки рублей, благо в Петербурге нашлось немало людей, дававших на таких условиях взаймы будущему наследнику Богачева; таким-то простым способом долг Григория и вырос до громадной цифры.

В 1838 г. в жизни Григория произошла значительная перемена: он женился на красивой и образованной девушке Варваре; молодая Богачева тотчас же отстранила от мужа различного рода проходимцев и взамен того сама стала оказывать на него самое благотворное во всех отношенях влияние, которое, впрочем, продолжалось недолго: в 1845 году Григорий умер, а в начале 1846 г. умерла и Варвара, оставив двух малолетних детей, сына и дочь. Однако поправить дела Григория, да и вообще дела наследников Богачева, было уже невозможно, так как все его громадное имение в самом своем основании было потрясено еще Федосьей Григорьевой, а потом вдосталь разбито благодетельной опекой. Как будто над всем богачевским имением со всех сторон понадвинулись грозные тучи, и невозможно было предвидеть, разразятся ли они страшною грозою или рассеются постепенно, и нельзя было предвидеть, когда опять прояснится горизонт над богачевскими имениями, да и прояснится ли он?.. Прежде всего заводы и прочее имение старика Богачева были кругом в долгу; над ним тяготели долги частные, долги опекунскому совету, подати горному правлению, правительственные ссуды, различные пени и, вдобавок ко всему этому, гибельные для заводов *заторжки*.

Может быть, не всем читателям знакомо это злополучное слово, а потому постараемся объяснить смысл его простым и наглядным примером.

В 1834 г. один из опекунов богачевских заводов, некто Пирогов, горный чиновник Васильков и селезневская заводская контора заключили с купцом Авдюшкиным и К⁰ контракт о запродаже ему имеющихся налицо и будущих заводских изделий, на сумму 1½ милл. рублей. Такого-то рода контракты на запродажу заводских изделий на местном заводском жаргоне и назывались заторжкой. Эта заторжка была настолько невыгодна, что опекун Пирогов не счел возможным скрыть ее невыгоду перед местной дворянской опекой; однако опека, хорошо помня, что как ни невыгодна для заводов эта заторжка, но что в результате ее непременно достанется

«всем сестрам по серьгам и всем старцам по ставцам»,— эту заторжку утвердила. Полнейшая же невыгодность этого контракта была ясна до очевидности: напр., цены назначены так низко, что приходились даже ниже своих заводских цен, не говоря уже про цены базарные; но и это еще не все. По условию, заводы, или, вернее, опекуны заводов, могли, по своему усмотрению, делать (и делали) уступку по 17 к. с пуда и с этих цен, а из этих уступок образовались, конечно, у покупщиков крупные суммы, на которые Авдюшкин и К⁰ опять-таки покупал заводские изделия; таким образом и выходило, что Авдюшкин платил хозяину за его же изделия его же собственными деньгами. Мало того, Авдюшкину дозволено было иметь на заводе свой амбар для склада изделий; но что всего любопытнее, так это то, что богачевские заводы обязаны были платить Авдюшкину за провоз своих изделий на Селезневский завод, в его, Авдюшкина, амбар. Наконец одним из пунктов контракта Авдюшкин обязан был внести в заводскую контору, в виде задатка, 215 тыс. рублей; но при этом интересен способ, которым должен был зачитаться задаток, а именно: на какую сумму в продолжение месяца Авдюшкин наберет изделий, половина этой суммы должна быть зачтена в уплату задатка; но так как, до времени полного зачета задатка, часть его неминуемо должна остаться в кассе конторы, то ведь не лежать же этим деньгам непроизводительно для тех же покупщиков компании Авдюшкина; и вот положили в виду этого на том, что та же несчастная и без того уже разоренная заводская контора обязана платить Авдюшкину за незачтенную еще часть задатка известные проценты! Одним словом, разорение заводов полное и велось вполне систематически. Наконец дело было доведено до того, что в конторе не оказалось уже и денег для уплаты мастеровым и на другие заводские нужды. Как бы вы думали, читатель, как поступили в этом случае заводские опекуны? Да вот как: они вступили в сделку с Авдюшкиным и выкинули такую штуку: так как в заводской конторе денег не было, то они, опекуны, просили Авдюшкина рассчитываться за взятый им товар не помесячно, как было до сих пор, а понедельно, и притом чистыми деньгами, т. е. без зачета задатка, контора же обязалась эту задаточную сумму, с причитающимися на нее процентами, обратить в дол-

говую статью. Авдюшкин, понятно, согласился, и вот богачевские знаменитые заводы затянулись в долги, которых, конечно, не платили, потому что и платить было нечем, и вот, по прошествии 5-ти лет, на селезневской конторе оказалось долгу 104 тысячи, да, кроме того, заводы со времени этой несчастной заторжки понесли около 400 тыс. убытка.

Авдюшкин и К⁰ стали требовать уплаты изделиями, но заводы платить оказались не в состоянии: денег не было, а требуемого Авдюшкиным количества изделий выработать они не могли... Осталось одно — вступить в новую, невыгодную для заводов сделку с Авдюшкиным; так и сделали...

Такого рода разорительные заторжки велись беспрерывно с 1821 по 1838 год, когда наконец правительство приняло участие в судьбе несчастных заводов и, прекратив заторжки, сняло таким образом с заводов эту мертвую петлю.

На заводах Петра и Луки дела шли не так плохо, потому что над ними, худо ли, хорошо ли, наблюдали сами владельцы, но опекуны имущества Григория были не лучше селезневских опекунов и точно так же, разоряя постепенно его заводы, дошли наконец до того, что в один прекрасный день все уцелевшее дорогое движимое имущество селезневского дворца будто бы сгорело в находившейся в конце садовой аллеи каменной беседке, в которой и печи-то никогда не было!

Вот какая горькая участь постигла громадное имение и громадное состояние знаменитого в свое время заводчика — Семена Родионовича Богачева.

В ЧУДОВЕ

Быль [1]

Быть в Нижнем-Новгороде и не видать Ивана Кондратьича Рыбникова было все равно, что̀ быть в Риме и не видать папы. А видеть Ивана Кондратьича можно

---

[1] Действительный рассказ покойного Ивана Кондратьича Рыбникова.

было каждый божий день: поутру в депутатском дворянском собрании, а вечером в дворянском клубе. Тридцать три года прослужил он депутатом и чуть ли не пятьдесят лет был членом клуба.

Бывало, усядемся с ним возле бильярдной; человека два-три из неиграющих в карты подсядут, и пойдут у нас нескончаемые россказни. Раз зашла беседа заполночь; говорили про старинные псарни, про медвежью охоту. Кто-то рассказал о нечаянной встрече одного помещика с лесным бояриным, Михайлой Иванычем Топтыгиным. Помещик, совсем безоружный, чудом спасся от когтей разъяренного зверя. Толковали о том, что̀ должен был испытать помещик в обществе Мишеньки... Иван Кондратьич молча прошелся раз-другой по комнате и, остановясь перед нами, молвил:

— Со мной хуже было!

Все знали, что Иван Кондратьич не охотник. Удивились.

— Где ж это, Иван Кондратьич?

— В Чудове, Новгородской губернии.

— Как же это случилось? Расскажите, пожалуйста!

— Пожалуй — теперь можно.

— Пожалуйста, пожалуйста, Иван Кондратьич!

— Я еще молод был,— начал Иван Кондратьич,— двадцать с небольшим мне тогда было. Теперь, по новым порядкам, человек в двадцать лет — совершенный, умнее стариков, а в наше время — молокососом считался... Да... Однако я уж тогда и дворянству послужил и в отставку выйти успел. Завелись лишние деньжонки — дай слетаю в Москву, погляжу, что̀ за Москва белокаменная... А она в ту пору отстраивалась после французского разоренья... Собрался, поехал. И встретился я в Москве с нашим помещиком, с Андреем Петровичем Приклонским. Он тогда в откупа вошел; сначала дела у него пошли хорошо, своя винокурня была, а потом спуталось как-то: взыскания пошли, споры да иски — скверное дело. Оттого и жил он в Москве: в сенате хлопотал.

Встретились мы с ним, обрадовались... Обедал я как-то у него. Вдвоем обедали. Андрей Петрович и стал мне откровенно про свои делишки рассказывать.

— Вот беда-то,— говорит,— здесь у меня все на мази, а в Петербург до зарезу надо съездить — справки

там пособрать да барашка в бумажке кой-кому сунуть. Самому отлучиться нельзя, пожалуй, все дело испортишь. А верного человека нет. Хоть волком вой!

Толкуем этак, того, другого перебираем, кого бы можно в Петербург послать. Тот тем не годится, другой другим, а ехать — послезавтра.

— Знаешь ли что̀, Иван Кондратьич? — говорит Андрей Петрович.

— Что̀? — спрашиваю.

— Сделай дружбу — съезди!

— Легко сказать: съезди, — отвечаю ему. — Да как ехать-то?

— Не твоя беда: на мой кошт поедешь.

— Не в коште сила, — говорю. — Деньги что̀! Я и сам думал на Петербург посмотреть. А то̀ возьмите, что в Петербурге я не бывал, приеду, как в лес: никого не знаю, за дело взяться не умею. Чтоб не испортить как-нибудь.

— Об этом, — говорит, — не беспокойся. Дам письма к приятелям, все у тебя выйдет, как по маслу. Мне нужен ты только для верности... А на тебя во всем полагаюсь: дело соседское.

— Соседское-то оно соседское. Только ведь я в откупах никакого толку не смыслю. Особенно по заводу, тут уж ни бельмеса не понимаю. Испортить боюсь. Вот что̀.

— Ицку пошлю с тобой.

А это — жид был, на заводе винокуром служил. Жидам строго было тогда запрещено в столицах проживать.

— Разве, — говорю, — он здесь? Ведь запрещено...

— Мало ль что̀ запрещено! Не одна сотня жидов на Москве живет, хоть и запрещено.

— Без паспорта?

— Зачем без паспорта? С паспортом, только паспорт-от у него припрятан. Не на виду, значит...

— Как же в полиции-то?

— Мой дворовый человек — и вся недолга̀.

— А в Петербург-от как же его? Там ведь насчет паспортов еще строже московского.

— Здесь Ицка мой, в Петербурге будет твой.

— Не досталось бы?

— Не ты первый, не ты и последний.

Поладили. На другой день поутру привели лошадей. Ицка на облучок, а я в дормез Андрея Петровича. Отличный дормез: венской работы. Покатили шестериком. Барином ехал.

В Петербурге прожил больше месяца. Что̀ нужно было, обделал хорошо. Поехал с Ицкой в обратный путь.

Вечерком приехали на Чудовскую станцию. Ямщик лихо подкатил дормез к подъезду «путевого дворца»,— так назывались тогда станции по новой, только что выстроенной шоссейной дороге из Петербурга в Москву. Дом большой, каменный, у подъезда фонари горят. Проезжающих нет, только парная тележка стоит. Лошади, значит, будут.

Был октябрь на исходе; я прозяб, даром что в дормезе сидел; сильно подмораживало. Вышел из экипажа, иду по лестнице — освещена. Вот, думаю, как бы везде такие станции были, ездить бы сполàгоря. А то по нашим местам избушки на курьих ножках: тесные, грязные, а клопов да тараканов видимо-невидимо.

Вхожу в комнату — большая, мебель прекрасная. У притолоки смотритель в струнку вытянулся... «Экий порядок!» — думаю.

— Лошадей! — приказываю смотрителю, а сам подаю ему подорожную.— Шестериком! Да дормез надо подмазать. Распорядись, любезный, а я покамест у тебя чаю напьюсь.

Тогда просто было: станционным смотрителям благородные «ты» говорили.

Смотритель подорожную взял, а сам ни с места. Иду дальше. Перед диваном — большущий стол. На нем маленький самоварчик. Пьет чай какой-то старикашка, сухой, сердитый, с кудреватыми волосами, в сереньком сюртуке. Такой неприглядный. «Должно быть, из земского суда»,— думаю... Подошел я к столу, шапку положил, шарф с шеи размотал — тоже на стол. Обернулся, вижу: смотритель стоит, как вкопанный.

— Лошадь, говорю.

Молчит смотритель, ровно солдат во фрунте.

Я опять к столу. Поворотился задом к старику, опять иду к смотрителю.

— Что-ж,— говорю,— оглох ты, что ли?

Смотритель налево кругом и скорым шагом марш за дверь.

— Что̀, молодой человек? Откуда едешь? — сердито прогнусавил старик.

В наше время старые люди молодых тыкали: это обидным не считалось. Сухо ответил я:

— Из Питера.

— Что ж, ты, мой друг, сам-от петербургский?

— Нет!

— Откуда ж?

— Из Нижегородской губернии.

— Помещик?

— Помещик.

— Гм!.. Богатый?

— С меня станет.

— То-то: шестериком ездишь!.. В кармане-то, видно, густо.

— Чахотка.

— Не по-чахоточному ездишь. Здесь ведь прогоны большие.

— Это уж мое дело, говорю, — а сам думаю: «что̀ это он пристал ко мне?»

— Чайку не хочешь ли? — спрашивает.

— Да вот смотритель, каналья, до сих пор не распорядился. Я сам хотел здесь чай пить.

— Пьем вместе: у меня пареной травки в чайнике много. Выпьют же даром.

— Пожалуй...— сказал я.— Да вот прежде смотрителя надо хорошенько повернуть.

Подойдя к окошку, отворил я форточку и крикнул: «смотритель!»

Раз крикнул, два крикнул, три крикнул: ни духу ни послушания. Ровно все вымерли. А слышно: чуть-чуть копошатся.

— Что̀ горячишься? — гнусит старик.— Аль крепко надо спешить? Зазноба, что ли?

— Некуда мне спешить, а досадно, что смотритель порядков не знает: проезжающих нет, а он лошадей не дает... Вам ведь парочку?

— Да, парочку. Я все на парочке езжу.

— Что ж это он? И глаз не кажет! — с досадой говорю я про смотрителя.

— Не кипятись. Успеешь, мой друг. Выпей-ка лучше чайку стаканчик.

И, вынув из обитого тюленьей шкурой погребца граненый стакан, налил чаем и придвинул ко мне.

— С прикуской пьешь, али внакладку?

— Внакладку.

— Как же тебе не внакладку? Богат! Помещик! — И положил сахару в мой стакан.

— А что̀, мой друг,— спросил он, немного помолчав: — служишь, что ли?

— Теперь не служу.

— Что ж так?

— Да так, по грамоте о вольности дворянства. «Хочем — служим, хочем — нет».

— Гм! Что ж поделываешь?

— Да ничего не делаю.

— Уж будто и ничего? В Петербург-от зачем ездил?

— Не по своему делу,— отвечаю, прихлебывая чай.

— По чьему же?

— Соседа по деревне — Приклонского Андрея Петровича.

— Что̀ же у него за дела?

— Самые поганые,— говорю,— по откупам да по заводу винокуренному.

— Гм! Что ж за дела такие?

— Хорошенько-то и не знаю. Мое дело было справки взять да кой-кому руки смазать.

— Что ж, смазал?

— Смазал.

— И пошло дело?

— Еще как пошло-то!

— Гм! А где смазывал?

— Известно где! — И сказал, где смазывал.

— Гм! И взяли?

— Еще бы не взять!

— И не поморщились?

— Не ежа, чать, в руки-то совал, а деньги. Зачем же морщиться?

— Гм! Выпей еще стаканчик.

— Выпью. А сами-то вы откуда будете? — спрашиваю я у него.

— Недальный. Тоже помещик.

— Новгородский?

— Новгородский. Вот недалеко̀ отсюда деревнюшка у меня есть.

— А едете откуда?

— Неподалеку отсюда по делишкам ездил... А как твое имечко святое?

— Иван.

— По батюшке-то как звать?

— Кондратьич.

— А фамилия какая?

— Рыбников.

— Как же это ты, друг мой, Иван Кондратьич, дельцо-то сладил? Говорят, винное дело мудреное. Разве сам прежде кабацкой частью занимался?

— Не бывал я по кабацкой части и не буду... Не дворянское дело... Да что́ это однако здесь за смотритель? Вот я поверну его по-своему!

И пошел было к дверям.

— Да ты крикни опять его в форточку. Авось услышит,— гнусит старик.

— И в самом деле,— молвил я.

Кричал-кричал я в форточку, и грозил смотрителю, и ругался — ответа нет как нет. А под окном шушукают.

— Ицка! — крикнул я.

Молчат.

— Ицка! Ицка!

— Что̀ у тебя там за Ицка такой? — спрашивает старик.

— Жиденок.

— Как жиденок?

— Да так жиденок. Жидом родился, так и значит жид.

— Гм! Что ж он тут делает?

— Да со мной едет.

— И в Петербурге был?

— И в Петербурге был.

— Жид-от?

— Да! А что?

— Паспорта разве не спрашивали?

— Зачем паспорт? Ицка у меня за крепостного дворового человека.

— Гм! Как же это ты, Иван Кондратьич, на такое дело решился?

— Отчего ж не решиться? Не я первый, не я последний. А я бы еще стаканчик выпил.

— Пей, Иван Кондратьич, пей, мой друг!

И старик налил мне еще стакан чаю.

— Ну что̀, как у вас в губернии?

— Ничего, слава богу!

— Урожай хороший?

— Порядочный.

— В вашей губернии народ зажиточный, мужики богатые?

— Исправный народ,— ответил я.— Не то, что здесь.

— А здесь разве тебе не нравится?

— Нет, не нравится.

— Чем же не нравится?

— Да как же это? Всех мужиков в солдаты хотят поворотить. Штабов да казарм вокруг Новгорода настроили — одно только стеснение... Мужику дай простор, он и будет исправен. А это на что похоже?

— Что ж тут нехорошего? — спросил старик, немножко насупившись.— Молод еще ты, сударь, так рассуждать!.. Над этим делом работали умы государственные.

— Черта с два!.. Государственные умы!.. Еще здешний, а не знаете, что тут Аракчеев всем ворочает.

— Так Аракчеев, по-твоему, не государственный человек? — глухо и как бы с одышкой прогнусил старик.

— Далеко кулику до Петрова дня!.. Да что̀ об этом дьяволе толковать! Налейте-ка лучше еще стаканчик. А я вас за то отличной пуляркой угощу. Вот только Ицку кликну.

— Не суетись, мой друг. Подожди — успеешь. Ведь нам с тобой торопиться некуда. Потолкуем пока.

— Зачем же из пустого в порожнее переливать да время даром терять?.. Закусим и марш: вы в деревню, а я в Москву белокаменную.

— А что ж, Иван Кондратьич, в вашей-то губернии, без Аракчеева, разве легче житье-то?

— У нас, батюшка, свои Аракчеевы есть... Чинами только не выше, а то б и почище его были.

— Кто ж это такие?

— А хоть исправники, например... Что̀ они теперь творят!.. У мертвого волос дыбом станет.

— Что ж такое?

— Да хотя бы насчет березок. Какому-то черту пришло в голову березками дороги обсаживать.

— Эта мысль тоже графа Аракчеева!

— Должно быть, что так... Хорошему человеку придет ли на ум такая штука? Теперь мужик летом, чем бы на пашне работать, береги каждую березку, окапывай ее, очищай; подсохнет — новую сади... Лист на которой чуть пожелтеет — поливай ее, либо новую сади. Одна покормка земской полиции чего станет?.. Березки-то, известно дело, не вырастут, а по двадцати копеек с дерева уж собрано.

— Куда же?

— Известно куда! Не нам с вами.

— Земска полиция?

— А то кто же?

— Гм! Сильно берут?

— Да как же и не брать-то?.. Свет на том стоит. Все берут.

— Неужли все?

— Да кто ж враг себе, кто откажется? В Петербурге сам царь живет, да с меня взяли же; а у нас вдалеке и бог простит.

— Гм! Так ты, друг мой Иван Кондратьич, давеча сказал, что у вас в губернии свои Аракчеевы есть. Значит, по-твоему, и Аракчеев взятки берет?

— Взяток не берет, зато с мужиков по три шкуры дерет.

— Гм! Не хочешь ли еще чайку-то?

— Нет. Я вот за пуляркой схожу. Спит мой жид, должно быть.

Накинул я шинель, шапки не взял: оставил ее на столе, возле старика. Вышел я из комнаты, сошел вниз.

— Где, говорю, смотритель?

— Здесь, ваше благородие,— отвечает он.

Смотрю: подле тележки стоит. А в тележку лошади заложены отличнейшие.

— Что ж лошадей?

— Сейчас, ваше благородие. Позвольте только графа отправить.

— Какого графа?

— А графа Аракчеева.

— Где он?

— А чаем-то вас потчевал.

Поднимаюсь наверх тихохонько. Отворил дверь, стал у притолки. Руки по швам.

Аракчеев по-прежнему сидит на диване, погребец запирает. Взглянул на меня.

— Аль со смотрителем поговорил? — спрашивает.

Открыл я рот. Хвать, язык-от не ходит.

— Подь сюда, Иван Кондратьич!

И ноги не действуют.

Сам подошел ко мне, положил руку на плечо и гнусит:

— Вот тебе, молодой человек, урок. С незнакомыми языка не распускай. Говори подумавши. Чего хорошо не знаешь, про то судить не берись... Да и жидов в столицы не вози... Прощай, друг мой!.. Да заруби на носу: про что мы с тобой говорили, про то знают только ты да Аракчеев. Помни же это!

И ушел. Слышу, тележка покатила по шоссе. Тотчас крик да говор пошел на улице.

До самой смерти Аракчеева никому не смел я заикнуться про нашу встречу. Твердо помнил, что велено было на носу зарубить. С Аракчеевым шутить было нельзя — Сибирь не своя деревня.

Раздался клубный звонок.

— Ну, прощайте, господа! звонок. Штрафа платить не намерен,— сказал Иван Кондратьич и ушел из клуба.

ПРИЛОЖЕНИЯ

НАЧАЛО НЕОКОНЧЕННОЙ АВТОБИОГРАФИИ П. И. МЕЛЬНИКОВА

Я родился в Нижнем Новгороде 22 октября 1819 года, как сказывали мне, в самый благовест к обедне, в деревянном доме деда моего Павла Петровича Сергеева. Он еще цел, находится на углу Мартыновской и Тихоновской улиц возле удельной конторы. Отец мой, капитан Иван Иванович, служил тогда начальником жандармской команды, не имевшей впрочем тогда того значения, которое получила восемь лет спустя; тогда это была конная полицейская стража. Мать моя, Анна Павловна, была второю дочерью Сергеева. Я родился первенцем.

Род наш довольно старый, хотя его и нет не только в Бархатной книге, но и в разрядах. По преданию, предки наши вышли с Дону, где и до сих пор существует фамилия Мельниковых. У меня был старинный образ Спасителя, пропавший в Петербурге во время пожара 28 мая 1862 года (когда Апраксин двор сгорел, министерство внутренних дел и часть Троицкого переулка, в котором я жил). На нем была надпись, что он пожалован царем Иваном Васильевичем Василию Мельникову, но кто таков был этот Мельников, не знаю. В XVIII ст. Мельниковы, небогатые и незнатные дворяне, служили в рейтарских полках иноземного строя.

В 1700 году, как видно из «Обозрения поместных прав и обязанностей», составленного Ивановым (Москва, 1836), шестеро Мельниковых имели недвижимые имения с крестьянскими дворами. Мой прадед Федор Васильевич Мельников, живший в первой половине XVIII ст. и служивший тоже в рейтарах, не имел офицерского чина и прожил наследственные имения. Сын его, мой дед Иван Федорович, был секунд-майором, служил в морских батальонах, а в конце царствования Екатерины — советником Пермского наместнического правления *. Был он еще молодым

* В 1858 году, познакомившись с управляющим морским министерством Краббе, я просил его справиться в морском министерстве о службе моего деда. Из доставленных мне выписок оказывается, что он родился в 1759 году, в графе «из каких служб» показан «прежних служб из рейтарских детей». В 1772 г., т. е. тринадцати лет от роду, зачислен в военную службу солдатом, а потом в том же году капралом, а 20-ти лет в 1779 году — счетчиком. В 1783 году 24 лет от роду получил офицерский чин курьера при адмиралтейсте коллегии, в 1786 году мая 1 (27 лет) подпоручиком, января 1-го 1788 г. (29 лет) поручиком; из патента, у меня сохранившегося, видно, что он 1 января 1790 г. (31 года) морских батальонов из поручиков произведен в капитаны, а в январе 1791 в секунд-майоры (32 лет), уволен из морской службы по болезни; из документов видно, что у него левую ногу переехало пушечным колесом и оторвало три пальца. В том же году он поступил в Пермское наместническое правление советником при генерал-губернаторе Модерахе.

человеком, когда приехал в Казанское наместничество, влюбился в одну сельскую поповну, звали ее Лизаветой Ивановной, фамилию отца ее не знаю, но брат ее Александр Иванович носил фамилию Псаломщикова и долго служил в Казанском университете почти с самого его открытия в канцелярии совета или университетском правлении.

Поэтому, казалось бы, и бабушка моя должна быть Псаломщикова, но ведь тогда в духовенстве так велось, что отец носил одну фамилию, а сын другую, родные братья имели разные фамилии. Фамилии даваемы были в семинариях их ректорами или самими архиереями, иногда без всякой нужды, а так, ради монашеской потехи.

У дедушки было три сына: Василий, отец мой Иван, родившийся 25 сентября 1788 года в Казани (дедушка тогда служил поручиком в Казанском адмиралтействе), Дмитрий и дочь Надежда, родившаяся в Перми. Вскоре после рождения этой дочери он, из советников наместнического правления перешедший на должность советника же пермской гражданской палаты, бывши в Екатеринбурге, влюбился в девятнадцатилетнюю девушку Марью Степановну Федорову, дочь какого-то чиновника. Вследствие того произошел раздор в семействе советника и кончился тем, что бабушка Лизавета Ивановна уехала с детьми в Казань, а дедушка в Екатеринбурге в Успенской церкви обвенчался с молоденькой красавицей. Это было в 1796 году. За это он поплатился службою, которая пошла было хорошо, ибо тридцатидвухлетних советников в секунд-майорском чине тогда было очень немного. Его же родные в Казани — Веригины вступились за его детей. Дошло до сведения императрицы (перед самою ее кончиной) о браке его от живой жены, дедушку отставили от службы, старшего его сына Василия Ивановича 12 лет определили в гвардию, откуда он попал в гатчинские войска и при Павле Петровиче получил 200 душ в Ардатовском уезде Нижегородской губернии (сельцо Миякуши, и теперь находящееся во владении моих двоюродных братьев). Бабушка Лизавета Ивановна сошла с ума и бедствовала с детьми в Казани. Ей помогали дальние родственники ее мужа Веригины и некоторые богатые казанские помещики: Родионовы, Бойховские и др. и, сколько мог, брат ее Александр Иванович Псаломщиков.

Дедушка с молодой женой уехал в Петербург. Он жил там в приходе Владимирской церкви в Троицком переулке, где лет через 60 после того я долго жил. Жил весело с приятелями коллежскими асессорами Пименовым и Маркеловым Никифором Семеновичем. Дедушка имел состояние порядочное и жил открыто в Петербурге, когда семья его бедствовала в Казани. Со старшим сыном, бывшим в Гатчине, он почти не видался. Еще в Пермской губернии в июле 1796 года, когда он был советником гражданской палаты, подвернулся ему лейб-гвардии Преображенского полка сержант Онуфрий Андреевич Гедеонов, молодой и богатый человек, очень полюбившийся дедушке. В июле 1796 года он дал Гедеонову 12 000 руб. ассигнациями — деньги по тому времени значительные — под залог деревни Сосновки.

Были у дедушки в долгах немалые деньги и на других лицах.

В 1799 году дедушка Иван Федорович умер на сороковом году от рождения. Перед смертью 28 августа 1798 года он написал духовное завещание, засвидетельствованное его приятелями

Пименовым и Маркеловым, подписались и духовники: дедушкин — священник Владимирской церкви, священник Иван Федоров и его жены — Петропавловского крепостного собора протоиерей Василий Алексеев. Зачем последний — неизвестно. В завещании было сказано «даю сие завещение *законной*(?) жене моей второго брака Марье Степановне, дочери Мельниковой, урожденной Федоровой, в том; что по усердию моему к ней и на случай кончины жизни моей завещаю ей во владение имение наше как то: дворовых людей, разные вещи и наличные деньги, сколько оных за уплатою нажитых нами долгов оставаться будет, равным образом оставляю ей и взыскание по искам моим и производящимся в судебных местах делам долговые на разных людях деньги и купленные и заложенные мне лейб-гвардии сержантом Гедеоновым и, наконец, сманенных им дворовых людей, поелику все сие приобретено мною из полученного за нею в приданое имения и за прожитием вместе с ней оставшееся, которое все без остатка ей собственно и принадлежит, а не детям моим от первой моей жены рожденным, которым ни до чего вышеписанного не касаться и никакого ей, Марье Степановой дочери, чрез то беспокойство не делать».

Таким образом все имение досталось второй, незаконной жене. Что оно приобретено на приданые деньги Марьи Степановны — несправедливо, тут дедушка, влюбленный до безумия в нее, маленько покривил душой. Когда он умер, вдове Марье Степановне 1 сентября 1799 года из комиссариатской экспедиции адмиралтейства выдан паспорт, как законной жене его. Он за подписом оберштер кригс-комиссара Берха, с которым дедушка был дружен. Из копии ее паспорта видно, что Марья Степановна в 1806 году 4 июля получила из кабинета Его Величества 75 рублей, а 15 февраля 1807 года в Андреевском соборе на Васильевском острове священником Андреем Никитиным обвенчана петербургского посада с мещанином Иваном Кузминым. Ей в то время было 32 года. Что сталось после того с Марьей Степановной, не знаю.

У бабушки Лизаветы Ивановны с детьми из родового имущества осталось лишь несколько образов, в том числе пропавший у меня во время петербургского пожара 1862 года, обручальное кольцо и серебряный сервиз. Когда умер Иван Федорович Мельников, казанские родные его стали хлопотать о наследстве в пользу его законных детей и об определении на службу моего отца. Он по просьбе восемнадцатилетнего своего брата Василия Ивановича, которого любил император Павел Петрович, не в пример другим определен был одиннадцати лет от роду лейб-гвардии в Семеновский полк унтер-офицером (9 марта 1800 г.) и оставался при матери, а затем также по ходатайству брата 1 января 1801 года был отставлен из военной службы для определения к статским делам коллежским регистратором, имея от роду только 12 лет. При Павле Петровиче это бывало не часто для незнатных людей.

Брак дедушки с Марьей Степановной признан был незаконным. Стали взыскивать долги с Гедеонова, но в одном присутственном месте крысы, по просьбе должника, выели из векселя со слова: «надцать тысяч» до означения, в какой губернии и уезде находилась заложенная деревня Сосновка, так что в векселе сохранились слова: «занял я (Гедеонов) Пермского наместничества гражданской палаты у советника секунд-майора Ивана Мельникова

деньги государственными ассигнациями две... округ в деревне Сосновке принадлежащую на мою часть» и т. д. Безграмотные крысы выели хорошо, подьячие знали, где помаслить бумагу. Гедеонов доказывал, что он занимал только двести рублей и что по неозначению, где именно находится Сосновка, требовать эту деревню наследникам Мельникова нельзя. Гедеоновы были богаты, Мельниковы бедны и не получили с богатого ни копейки. Так водилось и водится.

У Марьи Степановны остались все родовые бумаги дедушки, кроме его патента на чин капитана. Оттого при записке в родословную книгу род наш попал не в шестую, а во вторую часть.

Двенадцатилетний коллежский регистратор, отец мой, рос и учился в Казани; при открытии там университета (1805 г.) он хотел было поступить в студенты, но хотя и принимали тогда чуть не всякого, с самыми ограниченными сведениями, отец мой не попал туда, потому что латинского языка вовсе не знал, а по математике знал только четыре арифметические правила. В это время шла война с Наполеоном, собиралось в России земское войско или милиция. На выборах казанского дворянства отец мой, будучи 18 лет, был выбран сотенным начальником милиции. Начальником его был избранный дворянством в губернские начальники Л. Н. Энгельгардт, бывший сродни по жене дяди Василия Ивановича. Энгельгардт любил отца моего и держал его при себе. Это автор известных записок о временах Екатерины, умерший в 1836 году. Выйдя впоследствии из военной службы с мундиром, отец мой всегда носил милиционный мундир с малиновым воротником и маленькими золотыми пуговицами, с зеленым пером на треугольной шляпе и золотую медаль на владимирской ленте с надписью: «за веру и отечество земскому войску». В этом мундире он завещал и похоронить себя. При роспуске ополчения он, по совету Энгельгардта, в 1808 году перешел в действительную военную службу в Уфимский пехотный полк, которым некогда командовал Энгельгардт и в котором оставалось еще много его сослуживцев. Там служба пошла было хорошо, но, влюбившись в одну польку, отец в 1811 году, чтобы не разлучаться с нею, перешел в Каменец-Подольский гарнизон, в котором и находился в войну 1812 года. Роман с полькой кончился, однако, тем, что она вышла за какого-то пана; тогда в 1813 г. отец поступил в действующую армию в Великолуцкий пехотный полк штабс-капитаном; сделал поход за границу в 1813 и 1814 годах, а по окончании войны в 1816 году, за болезнью, переведен в Нижегородский гарнизонный батальон и в 1817 году назначен начальником жандармской команды, при том батальоне находившейся.

В Нижегородскую губернию на службу звал его старший брат Василий Иванович, поселившийся в пожалованном ему ардатовском имении. Здесь он женился на дочери соседа Любови Васильевне Жуковой *, вошел через это в родство с местными помещи-

* Брат ее Разумник Васильевич был женат на Марье Степановне — сочинительнице «Вечеров на Карповке» и других повестей, имевших успех в тридцатых и сороковых годах. Мать Любови Васильевны, рожденная Бутурлина, Марья Сергеевна, была двоюродная сестра Энгельгардта. Его мать Надежда Петровна и Сергей Петрович Бутурлин, отец Марьи Сергеевны, были брат с сестрою. По этому, весьма, впрочем, дальнему, родству Л. Н. Энгельгардт и считал отца моего «своим».

ками, был долго предводителем дворянства Ардатовского уезда и умер в августе 1837 года на моих руках в буквальном смысле этого слова. Василий Иванович и братьев своих хотел видеть около себя, вследствие его вызова отец мой поселился в Нижнем, а дядя Димитрий Иванович, женившись на Бигловой, сделался помещиком Темниковского уезда Тамбовской губернии.

В январе 1818 года отец мой женился на дочери нижегородского исправника, надворного советника Павла Петровича Сергеева, Анне Павловне. Дедушка Павел Петрович был человек в своем роде замечательный. Он пользовался уважением и был избираем дворянством в исправники в продолжение тридцати шести лет и ничего не нажил, когда по тогдашним нравам исправники в два или три трехлетия наживали по две, по три сотни душ. Учился он, как говорят, на медные деньги, но образовал себя чтением. Иностранных языков не знал, но в конце прошлого столетия и отчасти в начале нынешнего выходило множество переводов дельных книг, особенно французских. Дедушка на книги денег не жалел, и у него была большая библиотека: по смерти его, половина ее досталась моей матери, и я с раннего детства с ней ознакомился; тут были переводы греческих и римских классиков, исторические сочинения, переведенные с французского путешествия, все новиковские и академические издания, сочинения всех русских писателей от Кантемира и Ломоносова до Карамзина и Жуковского. Когда он ослеп, он заставлял дочерей читать ему вслух и все дожидался, когда мы, его внуки, выучимся грамоте и будем читать слепому дедушке *. Павла Петровича все уважали, как я сказал, но в особенной приязни жил он с нижегородским уездным предводителем дворянства, князем Петром Сергеевичем Трубецким (отцом декабриста). Мать моя еще девочкой подолгу гостила у Трубецких в их Лапшихе и была много обязана им своим образованием, она была очень дружна с ровесницей своей княжной Елизаветой Петровной (впоследствии графиня Потемкина). Вторая жена князя Петра Сергеевича — Марья Петровна, рожденная Кромина, была родственницею Сергеевых — отсюда и близость моего дедушки с Трубецкими **. Впоследствии старушку княгиню знал я в Петербурге, когда она жила у своего сына князя Никиты Петровича. Она умерла около 1860 г.

У Павла Петровича Сергеева были две дочери, старшая, Александра, в 1815 г. вышла замуж за имевшего хорошее состояние новгородского и симбирского помещика Никиту Захаровича Жилина, внука астраханского губернатора, повешенного в его

---

* Павел Петрович Сергеев, по должности исправника, усмирял мордовский бунт и производил следствие о «Кузьке-Боге», мордовском пророке. В «Отечественных записках», кажется, 1865 года, напечатана большая статья об этом «Кузьке-Боге», в которой действительные факты, почерпнутые, вероятно, из официальных источников, перепутаны со множеством нелепейших выдумок. Между прочим, там напечатано, что мордва в 1809 году разорвала нижегородского исправника, т. е. моего дедушку, как древляне Игоря, на деревьях. Но после того, как моего дедушку разорвали, он прожил 15 лет и скончался в 1824 году. Никакого открытого восстания мордвы против властей не было, если и было неповиновение, то лишь помещику графу Сен-При.

** Первая жена князя Трубецкого была родная сестра знаменитому нижегородскому магнату, князю Егору Александровичу Грузинскому, бывшему лет сорок губернским предводителем. Он умер в 1852 году девяноста лет от роду.

симбирской деревне Енгалычеве Пугачевым, а через два года вышла замуж и моя мать. Вскоре после этого дедушка ослеп, оставил службу, переселился в город Балахну, купил там дом и доживал свой век.

Связные мои воспоминания начинаются с пятилетнего возраста. Нас было в это время трое сыновей: я, брат Николай годом моложе меня и Федор, родившийся в 1823 году в Лукоянове, где, по выходе из военной службы, служил мой отец по дворянским выборам. В том же Лукоянове жил родной дядя моей матери, Николай Петрович Сергеев, у которого была предобрейшая жена, впрочем, безграмотная, вывезенная им из Сибири, бабушка Александра Кузьминична. Люди они были пожилые, а детей не было; когда родился брат Федор, они упросили отца моего с матерью отдать его им в дети, за что они сделают его единственным своим наследником. Согласились, и Федор был даже окрещен в доме Николая Петровича. Между тем дедушка Павел Петрович стал очень слаб и писал к обеим дочерям, чтобы они со своими семьями приезжали в Балахну провести с ним последние его дни. Вследствие такого вызова отец мой вышел в отставку и поехал со всеми нами в Балахну весной 1824 года, Жилины из Новгородской деревни приехали еще ранее. Путешествие наше на долгих помню отрывочно: живо помню Арзамас, поразивший меня своею огромностью, множеством церквей и каменной мостовой, дотоле мною невиданной, помню высокие кирпичные стены строившегося тогда огромного собора в память избавления России от французов, помню даже постоялый двор, в котором мы останавливались, и громкие крики петухов, немилосердно кричавших на крытом дворе его. После того в Арзамасе в первый раз я был уже студентом, но без труда отыскал тот постоялый двор. Но Нижнего Новгорода, через который мы тоже проезжали, совсем не помню, кроме дома дяди моей матери Федора Герасимовича Шебалина, преемника дедушки Павла Петровича по должности нижегородского исправника. Как теперь помню его в угольной комнате его небольшого, но чистенького дома со множеством статуэток из севрского и саксонского фарфора, бывших в шести этажерках за стеклом *, помню и Федора Герасимовича с его длинной фигурой и его длинным чубуком и сухопарую красивую жену его Анну Андреевну, дочь французского эмигранта де Барраль, полковника нашей службы, бывшего тогда командиром Нижегородского батальона.

Помню даже, как модница и щеголиха Анна Андреевна нахмурилась, когда я назвал ее «бабушкой», и как она, когда муж ее с моим отцом вышли в другие комнаты, со слезами на глазах поверяла свое странное горе моей матери. Она, дочь полковника, ездила в карете четверней, а теперь, вышедши замуж за капитана, должна ездить только парой... Впоследствии я узнал, что Шебалины были не в ладах с полицмейстером, который говорил, что он остановит шебалинскую карету и собственноручно отпряжет форейторскую пару, исполняя закон, дозволяющий четверней ездить только дворянам штаб-офицерского чина. Едва ли он даже не исполнил обещание.

---

* Они так и простояли на одном месте, равно как и все мебели, до 1867 года, когда умер дедушка Федор Герасимович.

На пути из Лукоянова в Балахну мы заезжали в Миякуши к дяде Василию Ивановичу. Он, уездный предводитель с Анной на шее (тогда не малая редкость в провинции), был важною особой в Ардатовском уезде. Но я мало помню его, зато крепко врезалось в моей памяти свидание с бабушкой Елизаветой Ивановной, в тихом сумасшествии доживавшей свой век у старшего сына. Как теперь гляжу на чистенькую опрятную старушку, всю в черном, сидевшую в вольтеровских креслах у растворенного окна в тенистый сад. Она вся была окружена цветами, весь флигель, занимаемый бабушкой, был заставлен цветущими растениями. Она очень любила цветы, и уход за ними составлял единственное ее занятие. Она не скоро узнала моего отца и мать: узнав, много плакала и, взяв меня на руки, посадила к себе на колена и легонько похлопывала по моему лицу цветами белой сирени. Я знал, что бабушка сумасшедшая, и страшно боялся, чтобы она меня не съела. Сумасшедших я до того времени никогда не видывал, а от нянек много слыхал про бабу-ягу, евшую маленьких детей. Воображение пятилетнего ребенка представляло мне бедную бабушку Елизавету Ивановну бабой-ягой. Она меня благословила образом, много целовала и, поставив нас с братом Николаем перед собой, положила на наши младенческие головы свои исхудалые, морщинистые руки и со слезами на глазах говорила что-то много, часто повторяя «растите, мои внучки милые, да не будьте в дедушку». Впоследствии я уже понял и смысл этих слов помешанной старушки и те слезы, которые потекли из блестящих каким-то особенным блеском голубых глаз ее по впалым, сморщенным щекам. Вскоре бабушка Елизавета Ивановна скончалась и похоронена при церкви села Нучарова.

В Балахне мы поместились в доме дедушки Павла Петровича. Дом хотя был и довольно поместительный, но, когда поселились в нем обе дочери умирающего старца с мужьями и шестерымй детьми у обоих, стало тесновато. Дом был на речке Нетече у въезда в село Кубенцово, подле большого каменного дома Николая Яковлевича Латухина, военного советника, двоюродного брата жены Павла Петровича, моей бабушки Надежды Степановны. У него была жена полька Тереза Ивановна и дочка моих лет Анюта *. Это были очень богатые по тому времени люди, у единственной дочери было две, если не больше, гувернантки, которые было и нас с братом да двоюродных братьев и сестер Жилиных начали учить по-французски, а Тереза Ивановна при этом нещадно кормила нас конфектами, и такие уроки продолжались с утра до вечера. Многому мы, разумеется, не научились, да этого и не требовалось — вся цель этого ученья состояла в том, чтобы нашего крикливого общества не было в дедушкином доме, где догорали последние дни почтенного старца. Латухин был из балахнинских купцов, его родственники и сам он имели солеварни в Балахне, кроме того, у Николая Яковлевича был стеклянный завод. И солеварни и завод были близко, и мы не столько времени занимались с гувернантками, сколько проводили его на солеварнях и на заводе. К дедушке нас водили редко, он страдал водянкою в груди;

* Потом она была замужем за полковником Гриневичем, лет двадцать бывшим балахнинским предводителем дворянства до самой смерти в шестидесятых годах.

и редко выпадали спокойные для него часы. Он меня очень любил, меня и Владимира Жилина, и обоим любимым внукам, лаская их полумертвой рукой, говаривал: «учитесь, учитесь, да читайте больше. Читайте Записки Сюлли и Деяния Петра Великого (Голикова)... Петра Великого чтите, он наш полубог!..» Разумеется, мы не понимали его слов, но имена Сюлли и Петра Великого врезались в мою память, и уже после мать моя растолковала мне предсмертный завет дедушки. Это с ранних лет заставило меня полюбить историю, и много лет спустя, когда я начал печатать статьи свои, большею частью исторического содержания, у меня нередко было на уме: «Ах! как бы было хорошо, если бы живы были мать да дедушка и прочитали бы печатные статьи мои!..»

В половине сентября 1824 года утром мы играли в бане с моим ровесником, братом двоюродным Владимиром Жилиным, сделанными при нас на стеклянном заводе бутылками, когда вдруг какая-то из нянек прибежала к нам и, схватив нас за руки, бегом пустилась к дому, говоря: «дедушка умирает!» Помню тесную, битком набитую людьми комнату, запах ладана, высоко поднимающуюся грудь дедушки, помню, как он подал руку моей матери, а она положила ее на мою голову, помню унисон ильинского попа, читавшего отходную, помню, как Тереза Ивановна прикладывала к губам дедушки бритвенное его зеркальце, а потом крики, вопли, рыдания... Дедушки не стало. После него остались деревни в Семеновском уезде, поступившие моей матери и ее сестре.

Через четыре месяца по смерти дедушки, в январе 1825 года, были дворянские выборы, и новые семеновские помещики были избраны дворянскими заседателями — отец мой в земские, а дядя Жилин в уездный суды. Мы переехали в Семенов.

Семенов — где протекло мое детство и где лет через 25-ть, после того как меня привезли туда ребенком, привелось мне исполнить высочайшую волю императора относительно упразднения Керженских и Чернораменских раскольничьих скитов — и был и есть маленький лесной городок.

АВТОБИОГРАФИЯ П. И. МЕЛЬНИКОВА

Павел Иванович Мельников родился 22 октября 1819 г. в Нижнем Новгороде.

Род Мельниковых возник при царе Михаиле Феодоровиче, в конце XVII столетия. Шестеро Мельниковых было в числе «ближних людей», владевших в конце XVII века населенными имениями. Отец П. И.-ча, капитан Иван Иванович, 11-ти лет от роду был унтер-офицером лейб-гвардии Семеновского полка, а в 1801 году, будучи 12 лет, уволен к статским делам с чином коллежского регистратора. В 1807 г. он вступил, по выбору казанского дворянства, в земское войско (милицию), и, по роспуске его, остался в военной службе, был в походах во время борьбы с Наполеоном, в 1819 году вышел в отставку из военной службы и до смерти своей (1837) служил по выборам дворянства Нижегородской губернии. Мать, Анна Павловна, урожд. Сергеева (дочь нижегородского помещика), умерла в 1835 году.

До 10-летнего возраста учился дома, с 10 до 15 лет в Нижегородской гимназии, где, кончив курс в 1834 г. (тогда в гимна-

зии было еще 4 класса), поступил в Казанский университет по словесному факультету, где и кончил курс в 1837 г. на 18-м году от рождения. При выпуске получил степень кандидата (в университете по старому уставу было 3, а не 4 курса). Первоначальным развитием своим обязан он своей матери, которая любила литературу и историю, сама много читала и сына своего приучила к чтению. Еще у десятилетнего ребенка были у него толстые тетради, в которых по линейкам переписывал он Пушкина, Дельвига, Баратынского и Жуковского. Двенадцати лет он знал наизусть всю «Полтаву», много отрывков из «Онегина» — многие из мелких стихотворений Пушкина он знал наизусть еще прежде. Будучи в гимназии, а потом и в университете, он посвятил себя изучению истории. В 1838 г. он поступил на службу старшим учителем истории и статистики в Пермскую гимназию. Один год, в продолжение которого собирал сведения о том крае, объехал некоторые заводы, обозревал Усольские солевари. Это было первое знакомство П. И. Мельникова с русским народом, знакомство, на которое впоследствии он употребил много времени, чему способствовали и служебные его занятия. А изучал он народ так, как должно изучать его — «лежа у мужика на полатях, а не сидя в бархатных креслах в кабинете, да не разъезжая по почтовым дорогам по казенной надобности» *. Через год был переведен в нижегородскую гимназию. Здесь на родине своей он начал заниматься преимущественно русской историей, изучая ее по изданиям Археографической комиссии и другим источникам. В это время он сблизился с бывшим тогда директором Нижегородской ярмарки графом Д. Н. Толстым, бесспорно образованнейшим человеком из всех нижегородцев того времени: влиянию дружбы с графом Толстым П. И. Мельников многим обязан, он обратил его деятельность на изучение русской истории, древностей и русских расколов, которые он впоследствии изучил в такой подробности, что ныне признается специалистом по этой части. В начале 1841 года Мельников, будучи еще 21 года, обратил на себя внимание покойного министра народного просвещения графа С. С. Уварова, который, узнав об его занятиях, назначил его членом-корреспондентом Археографической комиссии и поручил разобрать архивы присутственных мест и монастырей Нижегородской губернии. Разбором их занимался он и впоследствии, когда оставил ученую службу. В то время, когда он разбирал эти архивы, дано было ему в 1842 г. по именному высочайшему повелению поручение сделать разыскание, не осталось ли потомков Козьмы Минина. Это было по следующему случаю: в 1836 году блаженной памяти император Николай Павлович, быв в нижегородском Спасопреображенском соборе, подошел к гробнице Минина, поклонился пред нею до земли и спросил губернатора: остались ли потомки Минина. Губернатор не мог дать положительного на это ответа, и государь приказал ему разыскать, нет ли потомков или родственников бессмертного спасителя России. Такое разыскание губернатор поручил полицмейстеру, как лицу, на обязанности которого по закону лежит отыскание всякого рода неизвестных лиц в городе. Года четыре отыскивал полицмейстер потомков Минина и, наконец,

* «Поярков», в «Рус. вестнике» 1857 года.

огромная родословная отправлена была в Петербург. Явилось множество потомков, рассчитывавших на щедроты государя: тут были и купцы, и мещане, и солдаты, и кантонисты, но не доставало одного — доказательства действительности их происхождения от Минина. Родословная была возвращена, разбор ее и продолжение разысканий поручено было Мельникову как занимающемуся разбором архивов. Составленный по этому случаю разбор П. И. Мельников из официального переделал в литературную статью и напечатал в «Отечественных записках» 1842 г. Потомков же Минина он не мог отыскать по простой причине: единственный сын Козьмы Минина, стряпчий Нефед Кузьмич, умер бездетным, и пожалованные Минину имения были взяты на государя. Но, занимаясь этим делом, П. И. Мельников открыл несколько совершенно новых сведений о Минине и вообще об эпохе 1612 года и в одной купчей крепости отыскал, что Минина звали не Кузьма Минин, а Кузьма Захарыч Минин-Сухорук *.

В 1844 году новый нижегородский губернатор кн. М. А. Урусов пригласил П. И. Мельникова принять на себя редакцию неофициальной части «Губернских ведомостей». Он принял это предложение и издавал их с 1845 до половины 1850 года. Это были единственные «Губернские ведомости», которые издавали не один раз в неделю, как обыкновенно, а по два раза. В них заключается множество исторических, статистических и этнографических сведений, большею частью составленных П. И. Мельниковым, хотя он, как редактор, и не подписывал под ними своей фамилии. Заметим, между прочим, что псевдоним Печерский, под которым П. И. Мельников известен в литературе, употреблен им в первый раз в издаваемых им «Ведомостях», именно в 17 № 1850 года под статьею «Концерт в Нижегородском театре».

Оставив в 1846 году гимназию, через год П. И. Мельников поступил вновь на службу чиновником особых поручений при нижегородском военном губернаторе. Здесь он начал изучать народ лицом к лицу, изучая его до тех пор лишь в кабинете по книгам и бумагам. Как велика была деятельность Мельникова в это время, довольно сказать, что, не ограничиваясь одной служебной деятельностью, он в то же время издавал «Губернские ведомости», управлял статистическим комитетом, был распорядителем выставки сельских произведений, которую и описал **, разбирал архивы и печатал найденные в них древние акты (до 150 в «Губернских ведомостях» 1848 г.).

Не оставлял он и занятий нижегородскими древностями, которые он изучил так подробно, что во время посещения Нижнего Новгорода высшими сановниками, учеными и путешественниками губернатор обыкновенно назначал П. И. Мельникова для указания местных достопримечательностей. Таким образом в 1850 году он удостоился высокой чести указывать нижегородские достопримечательности великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам.

В 1850 году он переведен на службу в министерство внутренних дел, где и до сих пор продолжает ее, состоя в чине статского советника и в должности чиновника особ. пор. V класса при мини-

---

* «Москвитянин» 1850 г. № 21 и 1852 г. № 6.
** Журнал Мин. Госуд. Имущ. 1850 года.

стре. До 1852 года он не оставлял Нижег. губ., занимаясь ревизиею городских учреждений, причем имел возможность изучить быт купцов и мещан, с которым до того он был мало знаком. Повесть «Красильниковы», напечатанная в «Москвитянине» (1852 года № 8), была плодом этого изучения.

В 1852 году он был назначен начальствующим статистической экспедицией, которая отправлена была в Нижегородскую губернию. Работы этой экспедиции, находящиеся теперь в министерстве внутренних дел, состоят из тринадцати огромных томов, в которых описана самым подробным образом каждая населенная местность губернии. Только Нижегородская и еще Ярославская губернии до сего времени описаны с такой подробностью. С 1853 по 1857 год он был в постоянных разъездах по приволжским губерниям, имея такие поручения, которые требовали близких и непосредственных сношений с народом. Близкое знакомство с народом видно в его сочинениях. На вопросы, предложенные ему почитателями его таланта — где он так изучил народный язык, П. И. Мельников обыкновенно отвечает: на барках, в скитах да на мужицких полатях *.

Литературную деятельность П. И. начал с 1839 года — первая статья его была напечатана в «Отечественных записках» 1839 г. № 11 под названием «Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь», ряд статей, в которых преимущественно описывалась Пермская губерния, продолжались в «Отечественных записках» 1840 и 1841 года, кроме одной статьи («Поездка в Кунгур»), напечатанной в «Москвитянине» (1841, № 5). По обстоятельствам, от него независимым, он должен был прекратить в 1841 году продолжение печатания этих дорожных записок, а в 1843 году и совершенно перестал печатать свои сочинения. В эти первые три года его деятельности напечатаны в «Отечественных записках», кроме «Дорожных записок», следующие статьи: «Исторические известия о Нижнем Новгороде», «Нижний Новгород и нижегородцы в смутное время», «Солнечные затмения, виденные в России до XVII столетия» и несколько других статей исторического содержания. В «Литературной газете» 1840 г. напечатал он «О персидских праздниках при Сассанидах», писанное еще в университете и обезображенное опечатками до высшей степени, особенно в персидских словах, кроме того, в той же газете помещал он статьи о Нижегородском театре (без подписи фамилии), и там же были помещены первые и притом неудачные опыты его в беллетристике. именно две главы из «Елпидифора Перфильевича» и стихотворение «Великий художник», подражание Мицкевичу. Чтобы видеть, как смотрел П. И. на эти сочинения, приводим несколько слов из письма его к брату его, убитому в 1843 г. на Кавказе: «Ты пишешь, что в кубанской глуши добыл «Литературную газету» и восхищался «Елпидифором» и «Художником». Плохой

* В 1847 году, когда в Астрахани появилась холера, последовало высочайшее повеление осматривать всех людей, плывущих вверх по Волге на Нижегородскую ярмарку, но с тем, чтобы цель этого осмотра сохранялась в тайне для того, чтобы не произвести опасений холеры на ярмарке, что могло бы повредить успешному ее окончанию. Этот «секретный карантин» находился под начальством П. И. Мельникова, который по этому случаю более месяца провел с бурлаками, переходя с барки на барку у Чечерской брандвахты.

же у тебя вкус, если только восхищение твое не произошло единственно от родственного чувства. Никогда не прощу себе, что я напечатал такую гадость, если бы можно было, я бы собрал все листки «Литературной газеты», не только на Кубани, но и по всей Великой, Малой и Белой России и все бы их в печку. Я еще мало знаю людей, чтобы писать повести, я даю тебе и себе честное слово не писать ни стихов, ни прозы до тех пор, пока не узнаю жизнь получше. История и статистика — особь статья. Покаюсь тебе, кстати, еще во грехе: написал я повесть, и повесть большущую, в 14 главах под названием «Звезда Троеславля», да этого еще мало — послал ее к Краевскому, но, слава богу, он возвратил мне ее для переделок, я ее и переделал на фидибусы — раскуривал трубку этими фидибусами чуть не полгода.— Вот какова огромная звезда была».

С 1845 по 1850 г. П. И. всю свою деятельность ограничивал работами для издаваемой им газеты. Быть редактором «Губернских ведомостей» — дело трудное: надобно почти все самому писать. И действительно, первые 9 месяцев 1845 года от первого слова до последнего написано самим редактором, а в остальные затем годы по крайней мере две трети газеты были им писаны. Из больших статей, помещенных в «Губ. ведом.», упомянем о следующих: 1) «Иван Петрович Кулибин» (1845), писанная по запискам этого замечательного человека, доставшимся П. И. Мельникову; — статья, к сожалению, не кончена. 2) «Нижегородская ярмарка» (1846) — это тоже не конченная статья, была после кончена, дополнена и издана в свет особой книгой под названием «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород, 1846, in 8°, 292 стр. Эта книга обратила на себя внимание ученых *, и автор ее в том же 1846 г. был избран в члены императорских обществ: Русского Географического и Московского сельского хозяйства **. 3) «Нижегородские события с 1462 по 1700 год» (1846). 4) «История Нижнего Новгорода до 1350 г.». 5) «Нижегородское великое княжество» (1847 год). 6) «Духов монастырь» (в Нижнем Новгороде) — статья, после напечатанная отдельной книгой (1848). 7) «Описание города Княгинина» (1849). 8) «Балахна, уездный город Нижегородской губернии» (1849 и 1850) — в 1850 году напечатана отдельной книгой.

В 1850 году П. И. Мельников оставил занятия по редакции «Нижегородских ведомостей». В то время, когда он принимал в них участие, самые лестные отзывы слышались о «Нижегородских

---

* Об этой книге вот как отозвалось Императорское Географическое Общество: «Автор имел благую цель изобразить состояние внутренней нашей торговли в минуту сильнейшего ее годового напряжения, на торжище, где три части света — Россия, Европа и Азия — меняют свои избытки. Представляя в книге своей официальные, непросвещающие цифры, г. Мельников должен был употребить много труда и усердия, но несколько беглых замечаний, подчерпнутых им из собственных разведок, касательно происхождения товаров, распродажи их ходебщиками, направления путей и способов сбыта и проч., гораздо более поучительны, нежели все эти мнимые числа (официальные), и нельзя не пожалеть, что шестилетние наблюдения автора составляют лишь малую часть его книги (записки Им. Рус. Геогр. Об. III-152 и 153).

** Кроме того, П. М. избран в члены Император. Археологического Общества и особым высочайшим повелением назначен членом Временной Нижегородской Археографической Комиссии.

ведомостях» от ученых и журналистов *. В 1847 году П. И. Мельников имел уже 19 сотрудников и в том числе известных литераторов графа В. А. Сологуба и М. В. Авдеева. Известный археолог наш архимандрит Макарий при содействии П. Ив. Мельникова начал заниматься русскими древностями, и первые его сочинения печатались в «Нижегородских ведомостях». Можно сказать положительно, что до 1845 года нижегородцы не знали истории своего края, но с тех пор познакомились с прошедшим их родины, и в Нижег. губ. явилось много скромных, но полезных деятелей. До какой степени П. И. Мельников умел возбудить в нижегородцах сочувствие к истории края, можно видеть из того, что, когда во время великого поста 1847 года открыл в зале Александровского Дворянского института публичные чтения «о России и Нижнем Новгороде в начале XVII столетия», то на эти лекции в таком небольшом городе, как Нижний **, собирались по 350 слушателей ***, не считая воспитанников дворянского института, гимназии и семинарии, а по окончании этих лекций губернский предводитель Н. В. Шереметьев письменно, от лица всего дворянства Нижегородской губернии, благодарил П. И. Мельникова, как дворянина нижегородского, за эти чтения. О способности же П. И. Мельникова держать публичную речь и об умении его сильно действовать на слушателей засвидетельствуют все участники Казанского обеда, бывшего здесь, в Петербурге, в ноябре прошлого 1857 года.

С 1850 по 1852 год П. И. Мельников помещал статьи свои в «Москвитянине», из которых более других замечательна: «Павловская промышленность» (1851, № 14). Вслед за тем он в том же «Москвитянине» (1852, № 8) напечатал первую повесть свою «Красильниковы».

Выше было сказано, что после неудачных опытов на поприще беллетристики П. И. Мельников дал себе слово не писать, пока не узнает народ,— и двенадцать лет он ничего не писал в этом роде. Между тем в 1849 г. поселился в Нижнем Новгороде известный литератор В. И. Даль, с которым П. И. Мельников и прежде был знаком, теперь они сблизились еще более, и почти все свободное время П. И. Мельников проводил в семействе В. И. Даля. Этот первостепенный знаток русского быта и уговорил его приняться за литературу. Это было в 1851 году. П. И. Мельников, по служебным занятиям изучавший быт купцов и мещан, написал «Красильниковых» и прочитал эту повесть в семейном кружке В. И. Даля. Одобрение такого писателя, как Даль, заставило П. Ив. Мельникова нарушить данное слово, и он послал «Красильниковых» в «Москвитянин», подписал псевдоним свой Печерский, который придумал он потому, что жил в Нижнем Новгороде на Печерской улице, рядом с удельной конторой, где жил Даль. Повесть «Красильниковы» посвящена Далю как литератору, вызвавшему П. И. Мельникова на новое поприще литературной деятельности. «Москвитянин», в котором помещены «Красильниковы», мало расходился в публике, и потому повесть эта не могла обратить на себя особенного внимания публики, хотя «Современник» тотчас же

---

* См., например, статью «Москвитянина» 1846 года «Нижний Новгород» и «Нижегородские губернские ведомости» № 6.

** Число жителей без войска 20 000 об. пола.

*** Записки Географ. Общ. IV—302.

указал на эту повесть как на замечательное явление в русской литературе (1852, № 5). «Давно мы не читали в русской литературе,— сказано было там,— ничего, что бы подействовало на нас так глубоко, что бы поразило нас такою простотою и верностью изображения, таким отсутствием всякой искусственности, как превосходная повесть под заглавием «Красильниковы», помещенная в 8 книжке «Москвитянина» и подписанная Андреем Печерским. Повесть эта обличает в авторе, имя которого мы встречаем в первый раз в печати (если только оно не псевдоним), тонкую и умную наблюдательность и при этом большое умение владеть языком. Перед силою, сжатостью и безыскусственностью его рассказа, в котором нет ни одной слабой или неверной черты, ни одного неуместного, вычурного слова, где действительность является без прикрас, без подмалевок, без ухищрений фантазии, бледнеют даже некоторые рассказы лучших и талантливейших современных писателей. По верности действительности, по меткости и по силе впечатления этот рассказ может быть поставлен наряду только с лучшими произведениями». «Отечественные записки» и другие журналы также дали одобрительный отзыв о «Красильниковых». Но после этого П. И. Мельников молчал еще пять лет. Не столько служебные занятия, сколько неуверенность в своих силах отклоняли его от печатания своих рассказов. Много было у него начатых работ, немало и конченых, но, написав что-нибудь, он по обыкновению прятал написанное на полгода или и более и потом перечитывал; если ему не нравилась работа, он по обыкновению бросал ее в огонь, чтобы потом как-нибудь не попалась она в типографию,— такое всесожжение нередко повторяется у него и до сих пор. В 1857 году он напечатал в «Русском вестнике» «Пояркова», «Дедушку Поликарпа», а вслед за ним «Старые годы» — бесспорно лучшее его произведение. «Старые годы» его — глубоко поэтическая панихида над нашими беспутными годами, по выражению критика «Библиотеки для чтения» (1857, № 8). Здесь П. И. Мельников обнаружил, по замечанию того же критика, такое изучение частного быта половины XVIII ст., какого мы не встречаем ни у одного из наших повествователей, кроме Пушкина и Гоголя. Выведенные в «Старых годах» личности не только этнографически, но и психологически верны: они думают, говорят, действуют, движутся как живые люди, а это, несомненно, обнаруживает в авторе поэтический талант. Есть места, где его исторический этюд переходит в драматические сцены, исполненные удивительно художественно»...

За «Старыми годами» следовал «Медвежий угол» — смело, резко и бойко сорвавший маску с мнимо порядочных людей и выставивший на всеобщий позор злоупотребления, о которых прежде не только не печатали, но и громко в обществе не говорили. Этот рассказ произвел чрезвычайно сильное впечатление, и замечательно то, что по появлении его везде заговорили, что под именем Линквиста описано действительное лицо, но одни утверждали, что это лицо находится в том, другие уверяли, что оно в другом городе, так что в редкой губернии не нашлось своего Линквиста. Сверх того, в «Русском вестнике» 1857 года помещен рассказ «Непременный», а в 1858 г.— «Именинный пирог». Теперь с.-петербургский книгопродавец Давыдов издает сочинения П. И. под названием «Рассказы Андрея Петровича Печерского».

В 1859 году П. И. Мельников издает ежедневную политическую и литературную газету «Русский дневник».

В сочинениях П. И. Мельникова выражается твердая, глубокая вера в прогресс и в великое будущее Русской земли, в сочинениях его везде проявляется задушевиая любовь к простому народу и горькая насмешка иад людьми привилегированных сословий, исказившими себя ради подражания Западу. Но он вместе с тем и не славянофил, ибо от души говорит: «Нет, что бы ни говорили любители старины, как бы ни величали они времена мимошедшие, а как всмотришься поглубже в эту пресловутую старину, да как вглядишься попристальнее в жизнь наших предков — нелицемерно воздашь хвалу господу, что не судил он нам родиться полтораста лет тому назад, а сотворил русскими людьми XIX столетия. Прошли, миновались беспутные старые годы! Благодаря бога они и не воротятся... Прошла пора дикого самоуправства, тупого презрения к народу, безверия, смешанного с ханжеством и боязнью черта, надменного высокомерия, так легко и быстро переходившего в подлость и унижение. Слава богу!»

Но к простому народу и старым годам автор полон глубокой симпатии: «народ наш,— говорит он,— сметливый, добрый и умный народ, не был заражен этой безнравственностью. Вооружаясь терпением, чист, свеж, бодр и юн вышел он из горнила испытания...» («Старые годы»).

На современный народ так смотрит автор: много ли, много ли, кажется, нужно для того, чтобы народ любил, уважал человека? Слово приветливое, да участие в скорби и болезни, да уважение к исконным правам человечества, да зверем не гляди — вот и все. А главное дело — справедлив будь, человеком будь, да не верти мужика по-своему, и будет он весь твой и душой и телом по конец жизни своей. И умрешь, так он добром тебя помянет, не забудет он тебя в своей простой, бесхитростной, не лукавой молитве пред господом... Правды, правды побольше Русскому человеку — больше ничего ему не нужно... («Непременный»).

Выводя на свежую воду творимые в потемках злоупотребления, П. И. Мельников более всего нападал на казнокрадство: «всяко казенно дело,— говорит он в «Медвежьем углу»,— оттого казне дорого стоит, что всякий человек глядит на казну, как на свою мошну и лапу в нее запускает по-хозяйски. Всякому барину казной корыствоваться не в пример способнее, чем взятки брать, для того, что с кого взял, тот еще, пожалуй, караул закричит, а у матушки казны языка нет, за то и грабят ее, что без ответа».

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание, кроме известных романов П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах», включены наиболее значительные его беллетристические произведения, а также некоторые очерки. В первый том вошли повести и рассказы, написанные в 1852—1860 годах. В этих произведениях наиболее полно проявились главные особенности таланта Мельникова-Печерского в первый период его литературной деятельности.

КРАСИЛЬНИКОВЫ

Из дорожных записок

Впервые напечатано в журнале «Москвитянин» за 1852 год, № 8. Подпись — А. Печерский. Как и в большинстве последующих его произведений, в основе «Красильниковых» лежат конкретные факты жизни, с которыми сталкивался Мельников-Печерский во время многочисленных и продолжительных служебных разъездов. В воспоминаниях сына писателя, А. П. Мельникова, имеется такое свидетельство: «Когда читаешь «Красильниковых», так и кажется, что происходит все это не то в с. Богородском Горбатовского уезда, не то в с. Катунках — Балахнинского,— селениях, известных своим кожевенным производством» (Сборник, стр. 25).

Правда, после успеха «Красильниковых» Мельников снова надолго замолчал. Теперь это объяснялось уже не только его неуверенностью в своем писательском призвании. В сущности, весь его жизненный опыт давал ему для его творчества такой материал, который сам по себе заключал обличение господствовавших в то время в России порядков. А цензурные условия последних лет царствования Николая I были таковы, что малейшие признаки подобного обличения были основанием для запрета любого произведения и навлекали на писателей самые свирепые гонения.

Однако можно предполагать, что в годы вынужденного молчания Мельников не переставал накапливать, обдумывать и систематизировать жизненный материал для будущих своих произведений. Только этим и можно объяснить, что в 1856—1857 годах, когда после смерти Николая I и поражения самодержавно-крепостнической России в Крымской войне цензурный гнет был несколько ослаблен, он в короткое время написал целую серию обличитель-

ных повестей и рассказов, сразу выдвинувших его в число наиболее популярных и влиятельных литераторов тех лет.

ДЕДУШКА ПОЛИКАРП

Впервые напечатан в журнале «Русский вестник» за 1857 год, т. 5.

Стр. 79. ...*палестина не малая* — здесь в значении: местность, край.

...*попенные* — плата за срубленный лес по числу оставшихся на месте прорубки пней.

Стр. 82. ...*лаж* — доплата при обмене бумажных денег на серебро.

ПОЯРКОВ

Впервые напечатан в журнале «Русский вестник» за 1857 год, т. 7.

Этот рассказ произвел большое впечатление на читателей и критиков тех лет. Н. Г. Чернышевский писал о нем так: «Поярков» по своему направлению... сходен с рассказами г. Щедрина, но это не подражание «Губернским очеркам»... Г. Печерский... по всей справедливости должен быть причислен к даровитейшим нашим рассказчикам. Его «Семейство Красильниковых» произвело сильное впечатление своими чисто литературными достоинствами независимо от направления. В «Пояркове» талант его обнаружился не менее замечательным образом. По художественному достоинству этот рассказ останется одним из лучших произведений нашей литературы за настоящий год. Людей, которые могут писать очень дельные и благородные рассказы, довольно много; людей, которые могут писать произведения, отличающиеся чисто литературными достоинствами, также довольно много. Но таких, которые бы соединяли значительный литературный талант с таким знанием дела и с таким энергическим направлением, как г. Печерский, очень мало... Надобно жалеть о том, что он пять или шесть лет молчал, напечатав своих «Красильниковых». Если он опять вздумает поступить так же после «Пояркова», на нем будет тяжелая вина, которой не простит ему никто из его почитателей,— он должен писать» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 736).

СТАРЫЕ ГОДЫ

Впервые напечатан в журнале «Русский вестник» за 1857 год, т. 4.

По свидетельству сына писателя, А. П. Мельникова, в основу этой повести легли события, которые были еще свежи в памяти старших современников Мельникова-Печерского. «А Заборье в «Старых годах» с его шумной многолюдной ярмаркой,— вспоминал сын писателя,— разве это не с. Лысково на Волге с существовавшей близ него лет сто назад (до 1816 года) Макарьевской ярмаркой? А князь Заборовский, владелец Заборья, разве это не знаменитый владелец с. Лыскова, князь Грузинский, известный при-

чудник и своевольник начала прошлого столетия, на земле которого находилась добрая половина великого русского торжища, где он распоряжался как полновластный хозяин? До сих пор уцелел старинный парк князей Грузинских, от которого так и веет «Старыми годами». А этот целый ряд легенд и преданий о самодурстве Григория Александровича кн. Грузинского, последнего владельца Лыскова из этой фамилии, да они целиком рисуют образ князя Заборовского из «Старых годов». Например, предание о том, как кн. Грузинский от самой своей усадьбы до волжского берега на расстоянии четырех верст приказал своим людям гнать плетьми исправника, осмелившегося явиться к нему с напоминанием об уплате казенных податей, или о том, как, поссорившись из-за борзых собак с государственным канцлером, графом Румянцевым, приехавшим в Лысково для осмотра Макарьевской ярмарки в связи с вопросом о переводе ее к Нижнему, Грузинский запретил давать лошадей именитому гостю, и никто не смел ослушаться князя; графу Румянцеву пришлось каждый день платить рублей по пятидесяти за проезд четырех верст к берегу Волги на ярмарку тайком от Григория Александровича. Григорий Александрович, умерший в глубокой старости, под конец своей жизни страдал бессонницей и поэтому никогда ночью спать не ложился; его дворец всю ночь был освещен, как в самых парадных случаях, он ходил из комнаты в комнату и изредка присаживался в кресла подремать; вся дворня, вся комнатная прислуга была на ногах, а у пристани в с. Исадах на Волге стояло несколько троек. Всякий, кто высаживался на этой пристани, обязан был, оставивши свой дальнейший путь, ехать в усадьбу князя, где всегда был готов великолепный ужин. Разве все это не напоминает нам князя Заборовского из «Старых годов»?» (Сборник, стр. 25—26).

«Старые годы» — одно из самых популярных обличительных произведений второй половины 50-х годов XIX столетия. В этом смысле весьма характерно обращение, которое Мельников-Печерский напечатал в газете «Русский дневник»: «В 1857 году помещены были мною в «Русском вестнике» повесть «Старые годы» и рассказ «Медвежий угол». Ни полного собрания моих сочинений, ни одного которого-либо отдельными книжками я до сего времени не печатал. Между тем в Москве, в Петербурге и в некоторых губернских городах появились в продаже «Старые годы» и «Медвежий угол» в виде вырезанных из «Русского вестника» листов, брошюрованных в особой обертке. По достоверным сведениям, число таких брошюр находится в продаже до 400; они продаются по 1 рублю серебром каждая.

Я не давал никому права на подобную продажу и потому покорнейше прошу гг. книгопродавцев и покупателей смотреть на эти брошюры, как на пущенные в продажу не только без согласия, но даже и без ведома их автора...

Со стороны редакции «Русского вестника» в этом деле, как я совершенно убедился, нет контрафакции. Противу поступка г. Свешникова нет положительного закона.

Но, обращаясь к суду общественного мнения, выражаю следующее: нарушает или не нарушает права литературной собственности этот поступок?

Засим объявляю, что хоть и обещал редакции «Русского вестника» поместить в этом журнале роман мой «Свадьба уходом» и

другие статьи, но после продажи г. Свешниковым моих сочинений не считаю себя обязанным исполнить мое обещание: названный роман и другие статьи, назначенные для «Русского вестника», будут напечатаны, думаю, в «Современнике», частью в «Русском дневнике» («Русский дневник», 1859, № 59).

Стр. 116. ...*Гедимин* — великий князь литовский (с 1316 по 1341); ...*великий князь Василий Дмитриевич* (1371—1425) — старший сын Дмитрия Донского; ...*у цесаря римского* — то есть у императора Австро-Венгрии; ...*у короля свейского* — то есть у шведского короля.

Стр. 118. ...*самого Разумовского* — Разумовский Алексей Григорьевич (1709—1771) — фаворит императрицы Елизаветы Петровны.

Стр. 147. ...*в Хинской земле* — старинное русское название Китая.

Стр. 160. ...*дородоровых* — шитых золотом.

Стр. 164. ...*срачицу целует...* — то есть сорочку.

Стр. 170. ...*у высоких потентатов* — у владетельных царствующих особ.

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Впервые напечатан в журнале «Русский вестник» за 1857 год, т. 10.

НЕПРЕМЕННЫЙ

Впервые напечатан в журнале «Русский вестник» за 1857 год, т. 12.

ИМЕНИННЫЙ ПИРОГ

Впервые напечатан в журнале «Русский вестник» за 1858 год, т. 4. В этом рассказе Мельников использовал некоторые детали из отрывков ранней своей повести «Новый исправник», напечатанных в 1840 году в «Литературной газете» Краевского.

БАБУШКИНЫ РОССКАЗНИ

Впервые напечатаны в журнале «Современник» за 1858 год, №№ 8—10.

Стр. 236. *Лопухин*, Иван Владимирович (1756—1816) — известный масон. *Шешковский*, Степан Иванович (1727—1793) — начальник Тайной канцелярии при Екатерине II, известный своей палаческой жестокостью.

Стр. 239. ...*великолепный князь Тавриды* — Потемкин Григорий Александрович (1739—1791) — государственный деятель и полководец.

Стр. 266. ...*Катерина Романовна* — княгиня Дашкова (1743—1810) — одна из влиятельных дам при дворе Екатерины II.

ГРИША

Из раскольничьего быта

Впервые напечатан в журнале «Современник» за 1860 год, № 3.

СЕМЕЙСТВО БОГАЧЕВЫХ

Впервые напечатан в газете «Афиши и объявления» за 1884 год, №№ 343—346, под заглавием «Семейство Барбашевых». В предисловии к этой публикации было сказано: «Рассказы эти печатаются против рукописи Мельникова в несколько сокращенном и отчасти измененном виде, что, впрочем, нисколько не уменьшает ценности рассказа».

В ЧУДОВЕ

Быль

Впервые напечатан в газете «Северная пчела» за 1862 г., № 30.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Начало неоконченной автобиографии П. И. Мельникова.

Впервые напечатано в Сборнике, т. IX, стр. 67—75.

Автобиография П. И. Мельникова.

В Сборнике, т. IX, где она перепечатана, о ней сообщено следующее: «В 1859 г. в «Художественном листке» Тимма появилась биографическая заметка о П. И. Мельникове. В рукописном отделе Императорской публичной библиотеки хранится оригинал этой заметки. Он писан весь рукою П. И. Мельникова и представляет таким образом автобиографию» (Сборник, стр. 76). В настоящем издании автобиография печатается по Сборнику без воспроизведения черновых вариантов, вычеркнутых самим Мельниковым.

М. Еремин

СОДЕРЖАНИЕ

П. И. МЕЛЬНИКОВ
(Андрей ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений
в восьми томах

Том I.

Оформление художника
Б. В. Столярова.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 12/XI 1975 г.
Подписано к печати 29/III 1976 г.
Бумага типогр. № 1. Формат 84×108 1/32.
Объем 19,84 усл. печ. л. 21,92 уч.-изд. л.
Доп. тираж 10 000 экз. Изд. № 795. Зак. 1359.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70683

